

НОВЫЙ МИР

6

1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(854)

Июнь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — На изломах. Двучастный рассказ	3
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ — Кармен, стихи	26
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Свобода выбора. Роман без сюжета	35
МАРИНА КУДИМОВА — Бал, стихи	137
АЛЕКСАНДР РЕВИЧ — Тарханская элегия, стихи	139
ВЛАДИМИР ЛЕВИНЗОН — Звонок, стихи	142
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Клетка, повесть. Окончание	144

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ — На распутье	169
-------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ПОПОВ — Паспортная система советского крепостничества	185
--	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕКСАНДР СОКОЛЯНСКИЙ — ...а только гость случайный. Выставка «Москва — Berlin. Берлин — Moskau. 1900 — 1950». Заметки посетителя	204
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН — Собеседники хаоса	212
-------------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	215
-------------------	-----

Александр Архангельский. Странные сближения.
Ольга Майорова. «Великолепное панибратство»

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Ирина Роднянская. Единый текст.

Юрий Кублановский. Спасение через слово.

Майя Злобина. Свободный голос.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Ольга Кузнецова. — I. Александр Генис. Американская азбука. II. Александр Жолковский. Инвенции. III. Андрей Левкин. Письма ангелам; Андрей Левкин. Тварь, больница, клоуны et c.; Андрей Левкин. Смерть в СПб.; Андрей Левкин. Наступление осени в Коломне 234

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ:

Сергей Костырко. — Кривая Пеано. (И. Грекова. Свежо предание. Роман) 238

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ:

И. Р. — Н. Н. Шнейдман. Русская литература, 1988 — 1994. Конец эры 242

КНИЖНАЯ ПОЛКА 246

ПЕРИОДИКА 249

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

НА ИЗЛОМАХ

Двучастный рассказ

1

Кто в тот год не голодал? Хоть отец и был начальник цеха, но *не брал* ничего никогда сверх, и никого к тому не допускал. А в семье — мать, бабушка, сестра, и Димка на 17-м году — есть-то как хочется!! Днём у станка, ночью с товарищем с лодки рыбу ловили.

А цех у отца какой? — снаряды для «катюш». На харьковском Серпе-Молоте доработались — прервать нельзя! — до того, что город уже горел, чуть к немцам не попали, уезжали под бомбёжкой — и закинулись до Волги.

Война? как будто катила она к концу, фронты уходили — но что там дальше будет? А ещё сяжок — и призыв. И уже узнав складность своего характера и ума — на весну этого, 44-го, сдал Дмитрий экстерном сверх 9-го и за 10-й класс, да «с отличием». И с сентября можно ринуться в институт. А куда? Добились с другом до такой справочной брошюрки: «ВУЗы Москвы». Ох, много названий, ещё больше — факультетов, отделений, специальностей, — а что за ними скрывается? чёрт не разберет И — как бы решали? и — как бы решились? — но в Энергетическом, Шоссе Энтузиастов, прочли: «трёхразовое питание»! И это — всё перевесило. (А по себе сам намечал: юридический? исторический?) Ну, такая в ногах легкость — покатили!

И — приняли. Общежитие в Лефортове. Только трёхразовое — как считалось? Щи — это уже раз, уполовник пюре из гниловатой картошки — это уже два... А хлеба — 550 плохого. Значит: днём учишься, уж там как, вечерами-ночами — грузчиками. Заплатят папиросами — иди на рынок, меняй «дукат» на картошку. (Ну, отец помогал.)

А год Двадцать шестой — уже весь заметали в армию. А год Двадцать седьмой — качался, туда ли, сюда. Но — удержался. Да кончилась война, оттого.

Война и кончилась — она и не кончилась. Объявил Сталин: теперь — *восстанавливать!* И пошла жизнь по тем же военным рельсам, только без похоронок, а: и год, и два, и три — *восстанавливать!* значит — и работать, и жить, и питаться, как если б война продолжалась. Уже был на 4-м курсе, отложил себе 400 рублей — новые брюки купить, а тут — громыхнул слух: будет *реформа!* И — кинулись люди в сберкассы, сразу две очереди, одни сдают, другие берут, не угадаешь, как надо. И Митя Емцов — не угадал, прогорели и брюки. Но сразу и выигрыш: ни стипендии, ни зарплаты не разделили на 10, и карточек — больше нет. И на январскую стипендию купали ржаного хлеба — в обжор, да ещё и чай с сахаром. А директор их

института — была солидная, властная женщина, жена Маленкова, нахлопотала ещё и повышенных стипендий, получил и Емцов. Так он — креп.

Да креп не только от питания, и не только в учёбе. (Отбирали на атомную энергетику и на автоматику-управление авиационные — выбрал второе, ещё долго не догадываясь, что иначе б заперся на годы и годы как в тюрьме.) Креп он — и на общественной, комсомольской работе.

Это приходит незаметно и не по замыслу: чего мы стоим — мы узнаём только с годами и по тому, как окружающие воспринимают нас («нерядовой»). Все замечают, что ты по природе динамичен, что ты подаёшь самые быстрые предложения, как с чем быть коллективу; что твои мнения одерживают верх над другими. Так — садись в президиум собрания! Сделаешь доклад? Отчего бы нет? И слова в речи легко сцепливаются. Кого там поддержать, кого разоблачать? И ребята аплодируют. И за тебя голосуют. И так это гладко, само из себя: комсомольский вожак; с 3-го курса — секретарь факультетский; с 5-го — заместитель общеинститутского. (Но для этого уже надо быть кандидатом партии. Однако распоряжение ЦК: с 48-го года прекратить приём в партию — то есть за войну слишком много напринимали. А вот — «в виде исключения принять товарища Емцова»? На партийном собрании сидят же и фронтовики, зароптали: почему — его? почему — исключение (для щенка)? Зал — против. Но встаёт директорша, представительная, уверенная — да чья жена? кто этого не знает? — и веско опускает в зал: «На то — есть соображения.» И — всё. Проголосовали и фронтовики.)

А вскоре — ты ещё не кончил института, уж никакого тебе «распределения» — взяли в московский горком комсомола — замзавотделом студенческой молодёжи. (А что там в институт осталось доезживать — зачем на трамвае? позвонил в горком — и едешь на «победе»; вызываешь второй раз — и из института, уже на квартиру, не в общежитие, опять на «победе».)

Да, взветрили тебя пыхом-духом — но перед ребятами нисколько не стеснительно, потому что в том нет никакой кривины: ты ничего не добивался, не хитрил, а вот — вынесло, само. И ещё в том, что комсомольское дело — честное, верное, даже священное! (Первый раз вошёл в горком комсомола — ну, как верующий в церковь, с замираньем.) И что это — бьющая живая струя нашей ослепительной общей жизни: после такой всемирной победы — и как вливаются в страну восстановительные токи! и как гремят отовсюду успехи грандиозных строек! и ты — этого часть, и направляешь своё студенческое поколение — туда, в эти замыслы и в эти свершения.

И с гордостью написал отцу (тот и остался так, на своём цехе, и на Волге, уже в Харьков не возвращали их). Отец может взвесить, что значит выбиться своими силами. Сам сын кузнеца — а поднялся в инженеры. И жену взял из полтавской дворянской семьи, искавшей защитного крыла в ранние Двадцатые. (А потом сильно сердился, когда та с матерью разговаривала по-французски.) В 1935 он перенёс злополучие ареста по клевете (семью сейчас же стеснили, шредеровский рояль стал в подвале на боку) — но через полгода оправдали, — и дивность этого освобождения ещё больше укрепила пролетарскую веру отца в добротность нашего строя, его отродную преданность ленинскому пути.

Да только, вот, в горкоме комсомола что-то стало меняться? Не все тут благоговели, войдя. А у кого и в идейном горении сказывалась недохватка — наигранность проступает, не спрячешь. Да и правда, своим интересам чуть отдайся — утягивают с силой. А кто-то кого-то подсиживает, занять пост повыше. Вдруг — второго секретаря горкома застали в кабинете на диване с секретаршей. Ну, и оргвыводы...

Гори — не гори, а двигаются в нашу жизнь ещё и *факты*. Вот — Факт: начиная с замзавотделом и вверх, ежемесячно двигается в пальцы тебе — длинноватый конверт болотного цвета, всегда одинаковый. И называется он — *пакет*. А внутри — ещё раз твоя месячная зарплата, но уже точная, без вычетов, налогов, займов. И солжёшь ты, если станешь уве-

рять, что тебе это не-приятно, не-нужно, не-приемлемо. Оно как-то именно — приемлемо, деньги-то всегда пригодятся к чему-то.

Женился на сокурснице — но и медового месяца нет: ведь в горькое надо дежурить до двух-трёх часов ночи, как и вся служебно-партийная Москва не спит по воле и привычке Сталина. На этой «победе» приехал в четвёртом часу домой — ну как жену будить? Ей в 6 часов вставать, чтоб ехать на электричке на работу.

А дела и обязанности — расширялись в размахе. И учреждали Международный союз студентов (там общался с самим Шелепиным), и включали его во всеобщую борьбу за мир, ну тут и подсобная работа — писать речи для крупного начальства, вроде: «Не допустим, чтоб ясное небо родины снова застлала клубы войны!» Какая работа скрытая, какая нескрытая, — а был на виду, и голову носил высоко.

И тут — приехал к нему в отпуск отец. Пожил неделю. Послушал сына, присмотрелся. Но не выразил той отцовской гордости, как Дмитрий ждал. Хуже. Вздохнул и сказал: «Эх, в погонялы ты подался. А надо бы — самому ворочать, на производстве. Дело — это только производство.»

Дмитрий был уязвлен, обижен. Он чувствовал себя — в постоянном полете, а если земли касался, то ходил — тузом. И вдруг — погоняла?

Да отец и читал только «За индустриализацию». И жил — «для счастья народного», как повторял не раз.

Сын отверг — как ворчливость отцовскую. Но текли недели — и что-то стало внутри — сверлить, подавливать. Отцовское осуждение — оно, оказывается, гирей на сердце ложится. От кого бы другого — отмахнулся легко. А тут?..

А не прав ли отец: какое «дело»? И сам видишь: трёп, да трёп, да подсижки, да интриги, да пьянки. Оглянуться на сотрудников — ведь королюбые они. И чиновники. А если есть у тебя способности — куда на большее? (Только — на что именно? Ещё непонятно.)

Но — уже нелегко расстаться и с пакетами, и с «победой».

Точило в нём, точило. А решиться нелегко.

Вдруг — как-то смаху, необдуманно, — накидал заявление об уходе. И подал.

Но — какое такое заявление? Как это член партии может писать *заявление? Против* воли Партии? Так это — неустойчивый элемент в нашей среде! И — такую подняли баламутину, и такую задали Емцову прокатку, и так отмордовали на партсобрании — сидел варёным раком, и только признавал и признавал свою вину.

Да может и к лучшему. Карьера выправилась опять. (И вот такие поручения-загадки: в одном институте студенты создали, якобы в шутку, «Общество защиты гадов и пресмыкающихся». А если посмотреть проницательно? — ведь это политическое подрывное дело.)

А тут — крупная перетруска в Москве: на пленуме МК — МГК партии её привычного первого секретаря Попова — такого прочного, импозантного, неколебимого — вдруг свалили. (Интрига была — Мехлиса, его врага, а решение — Сталина, прочистить тех, кто в войну зажил, а в обвинениях не поскупилась: почему асфальтную дорогу за город провёл как раз до дома своей любовницы, и не дальше?) Вместо Попова назначили Хрущёва.

А тут подкатил день комсомольского юбилея. Комсомольский актив принимали в Георгиевском зале, банкет. Живой и щедрый Хрущёв, с круглой, как обритой, головой, пообещал: «Старайтесь! старайтесь — и все будете в секретарях ЦК!»

И вдруг какой-то бес повернул язык — Емцов безоглядливо выскочил:

— Никита Сергеич! А можно вопрос?

— Можно.

— Вот два года, как кончил я институт, а диплом мой лежит в тумбочке. Люди на производстве — разве не нужны? Готов идти, куда пошлёт партия

(А звучало-то как! — в Георгиевском зале. Сам своей отвагой полюбился.)

Хрущёв, недолго думая, боднул подвижной лысой головой:

— Товарищ Сизов, я думаю — просьбу можно рассмотреть?

«Рассмотреть!» — из руководящих уст — это уже приказ! (Не ожидал такой крутой бесповоротности! Поспешил, выскочил?..)

Сизов вызвал на собеседование. Расположительно: «Да зачем же ты так? Сказал бы нам. Да мы б тебя ещё в ЦК продвинули.» Ну уж, упущено. «И куда ж ты хочешь?» — «В авиационную технику.» — «ВИАМ? ЦАГИ?» — «Да нет, на прямое производство!»

А пошло через министерскую аппаратную — и назначили на периферию. Правда, выбрал город, откуда и приехал, где родители. Замысловатые, замаскированные у нас названия: «Агрегатный завод» — пойдешь разбери, что за этим скрывается? А за этим — и авиационное электрооборудование, автопилоты, дозировка топлива, но туда же и ширпотребский заказ: наладить производство бытовых холодильников, позор нам с таким разрывом отставать от Европы!

По славе, что «сам Хрущёв его направил», — довольно быстро стал начальником цеха. (А от горкомовской зарплаты с пакетом — падение сразу в 5 раз, ой-ой! уже ощутимы даже 30 рублей «хлебной надбавки».) Только цеху его как раз — выпуск холодильников! Вот, стоит английский образец, всего только задача: точно скопировать. Но чёрт его знает, скопировали в точности, а секреты какие-то не ухватили: в контуре то трубка какая засоряется, то от холода своего же и замерзает начисто. Покупатели — возвращают с жалобами и проклятьями, «не холодит!», магазины — с рекламациями.

Но облегчало работу, что и в эти годы, начало 50-х, ещё сохранялась на заводе беспрекословная дисциплина, как если б война и сегодня шла, — даже на их «пьяном заводе», как в городе звали (на промывку аппаратуры отпускали им много спирту).

Смерть Сталина — сотрясла! Не то, чтобы считали Его бессмертным, но казалось: он — Явление вечное, и не может *перестать быть*. Люди рыдали. Плакал старый отец. (Мать — нет.) Плакали Дмитрий с женой.

И все понимали, что потеряли Величайшего Человека. Но нет, и тогда ещё Дмитрий не понимал до конца, какого Великого, — надо было ещё годам и годам пройти, чтоб осознать, как от него получила вся страна Разгон в Будущее. Отойдёт вот это ощущение как бы всё продолженной войны — а Разгон останется, и только им мы совершим невозможное.

Был Емцов, конечно, не рядовой, не рядовой. Нерядового ума, энергии. На заводе не столько уж требовались институтские знания, сколько живо справляться с оборудованием и с людьми. Дома опять почти не бывал. А ведь уже и сын родился, — а когда воспитывать? времени ни чутельки. Но главный урок жизни он получил от директора Борунова.

Директоров сменилось несколько, держались по году, по полтора. Последнего, и с ним главного инженера, сняли «за выпуск некачественной продукции»: нагрянули комиссии от безжалостного Госконтроля, от прокуратуры, завод остановили, допросы по кабинетам, все в жути. И вот тут новым директором вступил Борунов — рослый самодородный красавец, лет сорока. Не улыбкой, нет, но чем-то светилось на его лице уверенное превосходство: что он знает, как исправить любое положение.

И — да, поразительно! За две-три недели и весь завод и цех холодильников стали — другими. Люди как будто попали в мощное электромагнитное поле: их всех как повернуло в одну сторону, и они все смотрели туда, и понимали — одинаково. Про нового директора передавали басенные эпизоды, подробности. (Тут Емцов был неделю в отгуле, уезжал на зимнюю рыбалку, не явился по вызову, а когда явился, секретарша Борунова: «Сказал: больше в вас не нуждается.» И три дня не допускал до лица своего!) Вдруг объявил в январе: «С 1 февраля завод будет работать ритмично!» И на демонстрационных досках за каждый день каждому цеху стали рисовать или красный столбик (выполнил план), или синий (провалил). И

такой пошёл порядок, что при синих столбиках и жизни нет никому в цеху. Значит, цепляйся, когтись! Вот, как будто, пошли холодильники? а из гальванического цеха не успевают доставить решётчатые полки к ним. Мелочь, тьфу! — а сдать без них нельзя. Начальник гальванического умоляет: «Ты подпишись, что сегодня принял, а я тебе завтра утром доставлю.» И другой раз, и третий, — а нехватка всё дальше. Емцов отказался, и тому поставили синий. На следующей планёрке Борунов: «Емцов — вон отсюда!» Емцов даже руки вскинул просительно: ведь прав же! Нет, как перед скалой. Подсёкся.

Приглядывался на планёрках: чем Борунов берёт? ведь не криком, не кулаком. А: уверен он, что — выше любого своего подчинённого. Интеллектуально. Скоростью перехвата мысли. Остроумием. Разящей меткостью приговора. (Но все эти качества — Емцов находил и в себе!) С Боруновым — невозможно было спорить. Невозможно — не выполнить.

А вот возможно: обогнать в догадке — и предложить своё? Вот, стали приходиться перебивчиво и срывали весь план реле из Курска. Додумчиво — к Борунову: «Дайте мне самолёт! денег! Лечу с бригадой монтажников в Курск?» Просиял директор, сразу дал. На курском заводе Емцов и свою бригаду посадил регулировать релешки, и тамошнее совещание и митинг собрал. Сколько б нам ни обошлось! — а пошли одни красные столбики.

Недолго директором пробыл и Борунов. Только — не сняли его, а возвысили в секретари обкома.

Но за эту недолгую школу Емцов внутренне сильно вырос и усвоил: тут — не лично в Борунове дело, а Борунов (или всякий другой, или ты) идёт на гребне великого сталинского Разгона, которого хватит нам ещё на полвека — век. Вот единственное Правило: *никогда не надо выслушивать ничьих объяснений* (сомлеешь в объяснениях, скиснешь, и дело погубишь). А только: *или дело сделано — или не сделано*. Тогда берегись!

И людям — деваться некуда!! Выполнение — беспрекословное! А вся система — высокоуправляема.

И вскоре был уже главным технологом завода, ещё прежде своих 30 лет. А чуть за 30 — главным инженером.

Вот задача Партии: наладить выпуск магнетронов — мощных генераторов сверхвысокочастотных колебаний, они пойдут в противовоздушную оборону, в локаторы. Образцы? получите: вот — немецкий, вот американский. Копируй сколько хочешь, но с магнетроном задача похитрей, чем с холодильником: а как отводить тепло? а как снимать мощность? И мало просто генерировать высокую частоту — нет, надо в самом узком диапазоне, иначе не распознать целей. (На всё то сидели теоретические группы в конструкторских бюро.)

Шли годы — оборонный комплекс, раскиданный по стране, но связанный безотказными каналами поставок, решал одну за другой задачи, ещё недавно, казалось, невыполнимые. Уже передавали слова Хрущёва (крестного отца...): «Да мы теперь ракеты делаем как сосиски на конвейере.» Но чтоб эти ракеты летали по точнейшему курсу — вот задача с гироскопами: для быстроты запуска ракеты они постоянно включены — но оттого изнашиваются, и когда появился в технике лазер — домозговали до лазерного гироскопа, без трущихся частей и чья готовность мгновенна. И Емцов, уже привыкнув не застывать, всегда двигаться без понуждения, самому искать новые направления, — предложил приехавшему на завод министру и зав. оборонным отделом ЦК: поручите лазерную аппаратуру нам! (Шаг был — отчаянный! но понесло его, как камикадзе.)

Принято. И сразу вослед — в свои 33 года! — стал директором завода.

Было это в апреле 1960. А на 1 мая — сшибли нашей ракетой самолёт Пауэрса.

Но — как? Через несколько дней было крупное совещание у Устинова — тогда уже зампредсовмина, зам Хрущёва по обороне, но ещё всеми боками за своё прежнее министерство оборонной промышленности. (И молодой свежий директор первый раз попал на такую верхоту.) А от ми-

нистерства обороны пришли во главе с Байдуковым, и тот с захрипом, тяжелою выкладывал обвинения, что военно-промышленный комплекс проваливает советскую оборону.

Эти растреклятые американские У-2 (насмешливое совпадение названия с нашими низковысотными фанерными «кукурузниками») летали на высотах, не достижимых для наших истребителей, ещё и путая локаторы созданием фальшивых мишеней, бросали металлические ленты, наша система не различала уверенно характер целей, и сама наводка ещё была неточна, — зелен виноград сбивать эти самолёты.

И сейчас — Пауэрс беспрепятственно миновал наши системы противовоздушной обороны, пролетел даже прямо над зенитным полигоном Капустин Яр на Нижней Волге, из Ирана пересек половину СССР, по нему лупили — а сбить не могли. (Вместо него — сбили свой один.) И только на Урале в него улупили, по сути случайно. (А Пауэрс предпочел плен обещанному по контракту самоубийству иглой. Потом и книгу воспоминаний издал, деньги получил.) Тогда весь случай подали публично так, что Хрущёв сперва, из милосердия, не хотел сбивать. Но сами-то знали: куда годны?

Видно было, как Устинову тяжело, неприятно, — Емцов сидел совсем неподалеку, но не за главным столом, а в пристеночном стульном ряду. Устинов, с подёргиванием своего долговатого лица, явно искал, чем оправдаться, кому для этого слово дать, чтобы находчивые аргументы привёл?

И тут — Емцова внезапно взнесло, как когда-то перед Хрущёвым, или когда взялся выпускать лазерные гироскопы, — сразу и страх и бесстрашие, как в воздухе бы летел без крыльев — вот взмоешь или разобьёшься? — поднял руку просить слово, вверх и с наклоном к Устинову! (А внутри: ой, хоть бы не дал! На таких высоких совещаниях — опасней, чем на поле боя, чем на минном: чуть неосторожное выражение или малый перелом голоса уже могут тебя погубить. Впрочем, свои инженеры убедили его, что решение — уже близко.)

Устинов видел руку, однако сухопарому выскочке не рисковал давать: чего ляпнет, по молодости? Выступали один генерал, другой генерал, один директор, другой директор. И теперь уж каждый раз Емцов поднимал (хотя внутренне — ещё робел). Устинов посмотрел ему пытливо в глаза — и тут Емцов ощутил, как в глазах его зажглось — и пошло уверенным сигналом к Устинову. И Устинов явно понял, принял сигнал. И — дал слово.

Емцов вскочил пружинно, и заговорил энергично. Подталкивал его и тот опыт с гальваническим цехом: да, иногда надо признать сделанным — ещё и не сделанное! и с Курском: провал потом наверстаем, а красный столбик — должен стоять непременно! И хотя он знал, что Селекция движущихся целей всё не налаживалась, — но она *должна* наладиться! должна — по закону великого Разгона!

И самонадеянно потрянув головой — заверил генералитет, звонко:

— Проблема селекции высоколетящих целей — у нас уже решена. В короткие сроки она будет уже в практике.

Застыли, даже рты приоткрыли.

И на этом бы остановиться? Нет, ещё не полная победа. Теперь — очень озабоченно, но и надменно:

— По-настоящему мы уже заняты другой проблемой, и она стоит для всех: создать систему обнаружения низколетящих целей. Американцы то и дело снижают высоты...

Сотряс Совещание! В перерыве Устинов усмехнулся наградно: «Ну, не посрамил ВПК.» А ещё один видный генерал схватил Емцова под руку (Емцов не успел рассчитать — почему он? потом узнал — тот терял значение, хотел укрепиться) и повёл его в какую-то чуть не маршальскую группу: «Вот, мы...»

Так-то так, приятно, но и страшно: *а если не получится?* Да, могло бы и не получиться... Могло бы, если бы не Разгон! Ещё летом пришлось ему повторить и на другом совещании (шефы ВПК *горели*), что будто идёт как надо, — а всё ещё не было сделано!

Да тут не то что карьеру сломят — посадят...

Но у него был опыт Борунова: оказаться быстрее и проницательней своих подчинённых, не отдать им инициативы (а всё умное — тотчас подхватывать). Действовать на подчинённых психологически: синие столбики *не могут* появиться ни по каким причинам! Он уже ощущал себя — лютым производственным и озарённым директором. То и дело ночью к нему домой машина: «конвейер остановился!» или там что, — и он несётся на завод. (Уже и о нём рассказывают басенные эпизоды.) И он поверил в творимость чудес. Казалось бы, по естественным законам природы, — такой процесс нельзя заказать вперёд, такое сооружение может и не держаться, но есть и психологический закон: «Вытянем во что бы то ни стало!!»

И — вытянули. За 4-й квартал того же года завод получил знамя ЦК и Совета министров, директор — Героя Социалистического Труда.

А дальше — взлёт, и взлёт, и взлёт. (Да по глазам и повадкам любой заводской девушки — а много ль мы шагаем, не задевая в себе этих струн? — ощущал непреклонную свою победность. Да ведь у него и дворянская кровь текла — видна в окате головы и как держал её.) Завод его, шифрованно переименованный в «Тезар», — теперь воздвигался в новых и новых корпусах, набирал новые тысячи рабочих. Он выпускал — СВЧ-генераторы, сердца локаторов, и сложные системы питания к ним, а кто-то другой — волноводы к антеннам, а кто-то ещё — вычислительные комплексы для локаторов. Посылаемые на поиск сигналы должны быть переменной частоты, чтобы противник не успевал к ним привыкнуть и защититься. Строилась первая противоракетная оборона. Уже был создан «московский зонтик»: по 140 устройств на каждую из четырёх сторон света (через Северный полюс особенно ждали) с обнаружением летящих ракет за тысячу километров — и устройства эти в три пояса: внутренние потом добирают то, что пропустили внешние. И — тысяча целей обрабатываются одновременно, — а дальше электронно-вычислительными машинами распределяются по стрелебным комплексам: кому по какой цели стрелять. (И тут мы, в этом зонтике, — обогнали американцев!!)

Дальше пришла пора разделяющихся головок — поспедали мы за американцами и в головках. И по возвратным локаторным сигналам научились различать головки боевые от показных беззарядных.

И — сыпались на Емцова награды. И счёт потерял он этим высоким совещаниям, куда летал, и высоким кабинетами, куда, как говорится, чуть не любую дверь открывал ногой (не любую, конечно). Даже входил в комиссии по редактированию постановлений ЦК. И сколько этих физиономий с обвислыми щеками и подбородками, почти без мимики лица и глаз, а губы открывающих лишь чуть, по неизбежной необходимости произносить фразы — сколько их, навстречу Дмитрию Анисимовичу, нехотя меняли своё отродно неприязненное выражение. (Чужой был им этот оборонный директор — слишком молодой, худой, подвижный, с воодушевленными блистающими глазами и аристократическим лбом.) А Дмитрий Фёдорович Устинов — просто полюбил Емцова.

(Но — и надломился хребет карьеры: близкий друг Емцова, учёный-электронщик, посвящённый во множество наших секретов, поехал в Европу на конференцию — и не возвратился! — взбунтовался против Системы! И — Емцов закрепился *невыездным* — на два десятка лет! А могло бы и сильно хуже, и свергли бы вовсе. И, вот, как понять тебе этот непредугнанный внезапный поворот друга? *Понять* его — вообще нельзя, потерял голову. Не ради западных же благ, и тут ему хватало. Свободы? — но в чём таком ему не хватало свободы? А *лично* — предательство? Да что — «лично»! Из-за беглеца пришлось по всей системе противоракетной обороны менять все коды, номера, названия...)

А за эти 20 лет — «Тезар» всё разрастался. Заводоуправление — мраморный дворец. Но и новые цеха — загляденье, роскошные здания. Строили — денег не жалели. Это был уже не завод — а пять заводов вместе, в

одном каменном обносе, и три Особых конструкторских бюро (ещё секретнее самих заводов). И 18 тысяч рабочих и служащих. И вот в одном и том же директорском кресле (перенеся его несменно и в новое здание), просидел Емцов — скоро четверть века. Сохраняя всё ту же сухость фигуры, лёгкость походки и быстрый умный взгляд. Волосы — выпадали, а остаток на теменах не проседел. Распоряжался — только повелительно, и умел осадить любого. Было ему за пятьдесят.

В таком возрасте уже не жена приносит тебе второго сына — но сам сын ещё насколько гордостней, и горячей, и сгусток надежд, и обещанье продолжить тебя насколько дальше в годы! Ты — вместе с ним как будто ступаешь первыми ножками! Старший сын уж давно сам по себе, и не так пошёл, — но вот этот, через двадцать лет от первого, пойдёт каково! И сколько же дальнего смысла он добавляет в твою жизнь.

А Тезар всеми фундаментами только вращал и вращал в приволжскую землю, ещё прихватывая и прихватывая расширенным забором соседние жилые и луговые гектары, — но продукцией своей, но назначением и делом своим всё более впитывался в нашу оборону как всесоюзный гигант. С ним — и его безупустительный директор, не уставая застолблять всё новые направления поисков и производства. (А всё так же — *невыездной*: ему верило ЦК, ещё бы не верило! — а осторожность Спецуправления тоже не лишняя?..)

Да, оборона советская — и нападение же! — стояли всё так же несокрушимы и действенны. Но уму, знающему тоже и подробности секретных донесений из-за океана, притом уму живому, — с начала 80-х годов, от Рейгана, стало проясняться, что мы в гонке — уже не те, приотстаём. Этого нельзя было допустить, нельзя было дать себе остановиться! — но вот эти развислые в креслах, с мёртвыми глазами, нахлобученными бровями, прищурные, слушающие вполуха, неприязненные ко всякому, кто ниже их по должности, — как их протронуть? можно ли что довести до их мертвеющего сознания? (К старости не тот уже стал и Устинов.)

И вдруг — появился, проявился — Гор-ба-чёв! От первого же пленума ЦК — разбудил надежды. Оживём! Рядом с ним — и Лигачёв, и он дал Емцову даже выступить на Политбюро! А в Дмитрие Анисимовиче, ещё с затонувшей косыгинской реформы, — теплилось понимание, как уже тогда, в 65-м, приходило нам время перестраивать экономику — но трусливо, расслабленно, равнодушно упустили всё. А тогда — тогда промышленники чувствовали себя в боевой форме, и поверили в лозунг: теперь планировать — по-новому! стимулировать труд — по-новому! И Емцов — не одного себя выражал, когда горячо взялся читать доклады партийным аудиториям, даже в высшей партийной школе: что такое новая экономическая система и как она спасёт страну. Слушали — удивлялись. Тогда пригласил его и местный университет на курс лекций: «Основы экономической политики социализма» — и Емцов принял вызов, пошёл. А сам для себя уже тогда был погружён и в любовь к запрещённой кибернетике, зачитывался Эшби, — включил в свой курс и элементы кибернетики, какие успел перенять. Удивлялся и сам: ко всему, ко всему подходить с системных позиций! — а?.. (От благодарного университета получил кандидатское звание.)

Но потом — весь надув реформы выдохся как проколотый. И охолодел — на 20 лет. Ну, ничего, как-то жили. Наш век доживём и без реформы?

Нет, вот она! Горбачёв! Уже охладевая вера снова стала набирать накал. По старым, но обновлённым тезисам — пошёл Дмитрий Анисимович в университет читать лекции о современной системе управления промышленностью (однако уже без былой примеси кибернетики, разве угонишься за ней 20 лет?).

Но — Горбачёв? — о чём вы говорите? Этот близорукий несуразец — что он делал? Какие разрушительные спускал приказы, ляп за ляпом? Вводятся Советы Трудовых Коллективов! — и этот СТК рассматривает и *либо одобряет, либо не одобряет* план, спущенный министерством!? Да я вас

поймаю на слове: какая кухарка у себя на кухне такое допустит? — не то что директор могучего прославленного комбината! Нет, слушайте, ещё лучше: так называемый «трудовой коллектив» отныне будет *выбирать директора!* Да моя деятельность наполовину проходит вообще вне завода: все поставки, внешние связи, верховные органы, валютные закупки — и кто в трудовом коллективе, и какая шушваль может об этом всё судить? Бредятина! И ещё какая-то газетёнка, да притом литературная, открывает рубрику: «Если бы директором был я...» Шлите пожелания... Бывало в нашей жизни и раньше? У вас, может быть, и прекрасная память. Но у меня есть свойство обобщать. Так вот: это — конец!

Но какой ни конец — а всё живое должно жить. (А у тебя же — второй сын, растёт. Это — какая музыка в душе? Теперь-то и жить! И — сколько ещё жить!)

Так — и хлюпались, пять лет «перестройки». Находили решения «методом тыка», как говорят экспериментаторы. И уже — сами, подальности от тех, кто верхоправит, без каждого поклона в Москву. К концу 80-х годов все связи между предприятиями в СССР настолько распались, что уже нельзя было надеяться ни на какого поставщика. И монстр Тезар искал, как изготовить для себя побольше самим.

Но ещё и тогда — не знали настоящего горя. А вот когда узнали — когда разогнали Партию. Да! я — первый не любил этих вислобровых на самом верху, не смотрите на мои ордена, не считайте мои золотые звёзочки или сколько раз я выступал в прежнем ЦК, — рассматривайте, что я скромный человек, просто профессор кибернетики. Так. Но — партия была наш Рычаг. Наша Опора! А её — вышибли.

И кинулись в великую Реформу, как старый рыбак сказал у проруби на́балмошь.

А до Тезара дошло так. Ровно через три недели после мозговитого начала реформы, позднеянварским пасмурным днём, подали Емцову телеграмму из министерства обороны: «Отгрузку продукции шифр такой, шифр такой, остановить отсутствием финансов.»

Один в своём большом кабинете, но в издавнем кресле, — сидел Дмитрий Анисимович над телеграммой — и ощутил мурашки в волосах.

Как будто злой дух, демон, над самой головой низко-близко пролетел.

Или как будто великий красавец-мост через реку шире Волги — рухнул в минуту, только бетонный дымок ещё оседал.

Сорок один год, от Георгиевского зала, Емцов был производственник. Тридцать два года, от Пауэрса, — директор Тезара. А эта телеграмма вестила: всему конец...

Если у министерства обороны уже через 3 недели от старта «реформы» нет финансов на такое — то их уже и не будет. И мудрый человек обязан видеть всё насквозь — и до последней задней стенки. Это, действительно, всему конец. И самое неразумное — это защитно барахтаться, слать умолительные телеграммы, обманывать самого себя, оттягивать развязку. Да, сказано только «прекратить отгрузку», не сказано «прекратить производство», и в цехах и в складах ещё есть места, можно изготовлять и дальше.

Нет. Обрезать — сразу. Не длить агонию.

Он — час так просидел? не зажигал света, и вот уже полные сумерки в кабинете.

Зажёг настольную лампу Вызвал трёх ведущих И скомандовал отрешённо, мёртво, как уже не о своём по шифру такому, шифру такому — немедленно прекратить выдачу материалов цехам

А значит, Великий Разгон — кончен

В те недели из ста военных директоров девяносто пять ринулись в Москву доказывать: «Мы потеряем технологию! Дайте госзаказ, а мы пока будем работать на склад!» И боялись одного: только б не выключили из

казённого снабжения, «только б меня не отбросили в приватизацию». Разрушительное это слово пугало, как морское чудовище.

А Дмитрию Анисимовичу стало ясно как при температуре Абсолютного Ноля, минус 273: Электроника наша — кончилась. Высокие технологии погибнут безвозвратно, ибо не смогут сохраниться отрасли или заводы по отдельности: всегда до нужного комплекта будет чего-то не хватать. Система будет деградировать *вся целиком*, никак иначе. Наша высокая военная техника начнёт рушиться, рушиться — а потом никто её не восстановит и за десятки лет.

А ведь реформа Гайдара-Ельцина-Чубайса — гениально верна! Без горбачёвской половинчатости: надо разрушить всё — и всё — и всё — до конца! И только когда-нибудь потом, уже не нами, Карфаген будет восстановлен, и уже совсем не по нашему ладу.

Но когда этой заметавшейся компашке казённо-сплочённых директоров Емцов заявил: «А я — иду на приватизацию!» — «Да ты белены объелся! — взгневались оборонщики. — Да как это можно в нашем деле даже вообразить: приватизация? Да пока мы живы — никакой приватизации!»

— Д-да? — усмехался Емцов со своей неизречённой уверенностью, хоть и горькой. — Хорошо, давайте рассуждать, я вас сейчас разгромлю. Если я вас правильно понял: у нас, зато, например, продолжает расти металлургия? Гоним дешёвые стали, а спецстали загублены? У вас прекрасная память на прошлое. Но надо его забывать. Ни штаба ВПК, ни штата ВПК — больше не будет. И из продукции нынешнего уровня мы уже скоро ничего никогда не повторим.

Да среди всех дурацких лозунгов — «перестройки», «ускорения», «социалистического рынка», потом «реформы» (неизвестно по какой программе), был один проницающе разумный, если его не упустить. К директорам заводов обратились: «*Становитесь хозяевами производства!*»

Верно! Схвачено! Вот оно, заложено тут.

Но если ты номинально «хозяин производства» — почему же не стать им реально?

Однако стать *хозяином* — как это?

По неизведанному пути — первому всегда трудней. Но — и выигрыш времени, вот, для переконструкции Тезара.

Правда, нашлось ещё сколько-то подобных — «партия экономической свободы». Вступил к ним. Но: болтовня одна или политической власти хотят. Нет, не через политику решается.

Сперва Емцов поверил в содействие западных инвесторов. В гости на Тезар услужливо и доверчиво принимал приезжающих западных банкиров, широко по-русски их угощал. Очень вежливые, улыбчивые, хорошо ели икру, — а ни цента не предложили в содействие.

Но от государства — тем более одни шиши. Надо торопиться.

При теперешнем свободном выезде — поехал в Америку сам. Встречали очень хорошо — как «прогрессивного предпринимателя». И встречи, и консультации, и деловые завтраки-обеда. А вложений — и тут ни гроша не дали. Но давали, но дали всё один и тот же верный совет: такого монстра, как ваш Тезар, никто инвестировать не будет, на нём можно только проиграть. Вам надо разгромоздить его на много отдельных предприятий — и пусть каждое выбивается своими силами.

С полтавского детства хорошо помнил Гоголя: «Я тебя породил — я тебя и убью.»

В совете министров — суета, вертея, каждый добивается, друг друга отталкивают. Так втиснулся Емцов с вице-премьером в самолёт, и пока на конференцию летели — получил резолюцию на приватизацию Тезара и дробление его.

Да, если живое тело разрубить на части — они будут корчиться в поисках друг друга. А иного выхода нам не оставлено.

И вот теперь будет мой принцип: никаких нам ваших дурых госзака-

зов! — платите вперёд, тогда и заказ. Деньги раньше товара — не принято? А нам выхода не оставили: денежки — вперёд! Оборонную часть Тезара довёл до 5 процентов — до запчастей для противоракетной обороны, крохи. Раздробил Тезар на шестьдесят дочерних фирм, но надо всем и всеми — ты остаёшься генеральный директор. В их уставных фондах — что-то от прежнего Тезара, а на остальное — ищите богатых держателей, сами ищите. У каждой ячейки — свой самостоятельный интерес выжить, вот и корчитесь. Все шесть десятков — юридически равноправны, а генеральный директорат своё имеет, это по-новому называется «холдинг», держание.

Принцип для всех: отныне нам *всё равно, на чём зарабатывать деньги!* Высокую частоту на обработку гречки? Хорошо. А печи СВЧ, каких у нас не видано, в домашний быт? Гоните! Кто-то налаживает видеоманитофоны? Великолепно. Пластмассовые оконные рамы, детские игрушки. А кто ничего не наладил, и нечем зарплату платить? Значит, не платите. Значит, увольняйте рабочих.

Загудел весь город: «Радиоэлектронный завод перешёл на выпуск граблей!» (Недалеко от истины.) А кто знал о деле побольше — инженеры-электронщики или оборонные директора по всей стране: «Емцов разваливает империю Тезар!» Ещё не уволенные рабочие, но второй-третий месяц без зарплаты, и уже уволенные, кипели неутешимым гневом. Толпились, кричали у заводоуправления, проклинали директора. Емцов назначил — идти в клуб, на собрание.

И — такой же и в старости тонкий, гибкий как тростничок, с ясным взглядом и лицом — вышел под бурю. И ощущал в себе ту залихватскую дерзостную находчивость, которая уже несколько раз в жизни так пригодилась ему. Знал, как сейчас их ошеломит.

Зал — рычал. Емцов вскинул тонкую руку с длинными пальцами как учительскую указку, и, сколько ещё оставалось звонкости в голосе:

— А кто виноват? Сегодняшний Верховный Совет — кто выбирал? Директора? или трудящиеся? За кого вы голосовали? Выбирали вы — директоров, организаторов, хозяйственников, тех, кто знает дело?! Нет!! Вы кинулись выбирать новообъявленных *демократов*, да всё больше преподавателей марксизма-ленинизма, экономики, кабинетных доцентов и журналистов... Хасбулатова, Бурбулиса, Гайдара, Чубайса, да я вам тридцать таких назову, — кто выбирал?! Вот теперь — берите свои красные знамёна — и топайте к этим педагогам, ищите справедливости! А я — предусмотрительно спасаю вас! Я оставляю вас безработными, да, — но запомните: в 92-м году, а не позже! Вы, с Тезара, ещё успеете найти работу или приладиться к новому. А кто потопает со знамёнами за зарплатой — вот тот и останется с носом.

Легко перестраивать жизненный путь, взгляды, замыслы — молодому. Но — в 65 лет?

И ты — уверен, что прав. А в горле — жёлчь ото всего обвала.

Надо иметь неутерянную, выдающуюся гибкость ума: сразу переменить ото всего и изо всего, в чём ты прожил жизнь. Как будто всё то была трын-трава, а ты, вот, бодро зашагал по-новому.

И спотыкаешься же на каждом шагу. И печи СВЧ и видеоманитофоны — лучше и дешевле тезаровских хлынули из Японии. Значит, нечего и барахтаться, надо и эту самодеятельность прикрывать. (И ещё — увольнять, увольнять. Да и сами инженеры, служащие, рабочие уходили, не ожидая увольнения, — и кто уходил? Сперва самый талантливый слой, потом второй сорт. Осталась серая масса и балласт, из бывших 18 тысяч — только 6.)

Год прошёл — и четвертая часть осколков Тезара обанкротились, лопнули, распущены. А кто-то — вывернулся, находил прибыли. Надо всматриваться, искать никем не проложенные, не предусмотренные, не увиденные пути, да саму землю рыть — и под землёй искать, а хоть и в космосе. Вот мелькнула новинка: переносные, подручные телефонные аппараты, работающие через спутники, — подхватываем! строим для них базовые стан-

ции, коммутаторы и продаём абонентные номера, вот и прибыль! Да простые газовые счётчики, каких и у Газпрома нет, а всем нужны, — прибыль!

Да господа-товарищи, нам ничего не надо стесняться, нам подходит любая торговля! — хоть и граблями, хоть и шляпами, хоть и сдавать в аренду любые наши роскошные помещения, — наши дворцы и наши детские садики — хоть под магазин скандинавской мебели! хоть под супермаркет! под казино или под прямой бардак! (Только быт — и продавать, а старые цеха — кто у нас купит? А что — и государство, отказавшееся от нас, ещё и заберёт — за долги, за энергопитание.)

Но самая плодоносная идея была — создать свой банк, в сращении с успешными осколками Тезара. По своей-то поворотливости и не упустили короткую пору, когда банки открывались гроздьями, — а опоздавший пусть потом ногти грызёт. Банк — это нервное сплетение всего живого и творящего! И, сами не ожидали: через три года банк при Тезаре получил американскую премию «Факел Бирмингама». (В том штатном Бирмингаме когда-то началось возрождение в Великий Кризис, оттуда и премия.)

Те оборонные директора, которые и год и два всё ждали государственных заказов или производили в долг, — теперь жалко барахтались, как лягушки на песке. А Емцов — не только всё успел вовремя, но даже несколько не расслабился от излома, но даже расхаживал по прежним своим территориям по виду ещё властей и гордей, чем прежде, знаменитым тогда красным директором. Проходя казино, иногда и морщился: «этим импотентам, недоросткам, ещё сам заплатил бы, чтоб не слышать их музыки.» Он опять был — победитель, хоть и спрятал в дальний ящик стола свои прежние ордена и золотые звёздочки Героя. Гибкость ума и нестаеющий деловой азарт — и ты никогда не пропадёшь! Говорил:

— У меня такая идея, что делать деньги — оказалось интересное занятие. Никак не меньше, чем отбивать пульс ВПК или, скажем, соображать в кибернетике.

А сынок подрастает → пусть-ка поучится за границей.

2

В доме по улице Карла Маркса № 15 произошло покушение на банкира. Это был взрыв во входном тамбуре дома, но сам банкир остался жив и тут же уехал, с женой, на автомобиле.

В областное Управление по Борьбе с Организованной Преступностью сигнал о происшествии поступил поздно вечером. Дежурный лейтенант должен бы тотчас ехать на расследование, но, даже прихватив двух автоматчиков, ночью можно попасть в положение опасное: где один взрыв, там хоть и второй, и третий. Поэтому лейтенант подождал до рассвета — февральского, не раннего, — тогда и поехали.

Дом оказался кооперативный, самими жильцами были устроены внешняя стальная дверь и за ней тамбур. На двери и сейчас сохранился примагниченный остов одной из двух разорвавшихся мин. Внутренняя деревянная дверь была прорвана взрывом на уровне человеческой груди, и весь тамбур вкруговую иссечен осколками, усыпавшими пол: по предупреждению лейтенанта домовая служба ничего за ночь не тронула, а вечерние возвратные жильцы проходили с великой опаской. Лейтенант произвёл все замеры, составил описание случая. Самого банкира (по фамилии Толковянов, ещё молодой человек) в доме не оказалось. Из его квартиры — стандартной, двухкомнатной, что удивило лейтенанта, — никто на звонки не отозвался: они с женой так и не вернулись после взрыва, а двухлетний ребёнок, объясняли тут, наверно у бабушки.

На том закончив пока расследование, лейтенант спешно вернулся к себе в Управление, чтоб успеть до утреннего прихода на работу майора и других сотрудников. Успел. Но майор почему-то всё не шёл — а в 10 часов приехал сам подполковник Косаргин. Лейтенант рискнул пойти доложить прямо ему.

Подполковник был сорока лет, сейчас в гражданском костюме, но с явной военной выправкой, подтянут. Он 15 лет прослужил в Органах, ушёл оттуда года полтора назад. И уже с год был вот здесь.

Лейтенант всё доложил, показал и схематический рисунок. Один раз Косаргин поднял бровь, тоже усумнясь насчёт скромной квартиры.

— Что прикажете, Всеволод Валерьяныч?

Лицо Косаргина было худощавое, энергичное, и выражение его всегда — готовность к немедленному делу.

— Как Толковянова зовут, вы узнали?

— Да. Алексей Иванович.

— А сколько ему лет?

— Двадцать восемь.

По гладкому лбу Косаргина пролегла косоватая складка — раздумья? вспоминанья?

— Я, пожалуй, займусь этим сам. Звоните в банк, найдите Толковянова.

Лейтенант готовно повернулся, облегчённый, что ночное промедление не поставлено ему в вину, пошёл исполнять.

А Косаргин так и сидел. Его профессиональная память отлично держала: Алексея Толковянова привелось ему допрашивать в Восемьдесят Девятом, когда были волнения здешних университетских и столкновение с ними, через улицу напротив, курсантов пограничной школы: взялись курсанты, одними кулаками, поставить студентов на место. О Толковянове были данные, что он если не вожак студенческий, то из главных затейщиков. Тогда — допрос направлялся строго: вы не слишком очаровывайтесь «гласностью» и какие мерзости позволяют теперь печатать в газетах-журналах; ещё перехватите чуть-чуть — и таких, как вы, будем сажать, да в такой лагерь, что там и подохнете.

Тогда... Тогда — Косаргин ещё не мог бы вообразить, как оно всё покатится. И куда закатится. Да с какой быстротой и развалом! — дрогнули и сами Органы внутри себя, и самые умные и самые деятельные из чекистов стали — по отдельности — чего-то нового себе искать, и даже *уходить*. И — куда? Да в новые эти коммерческие компании, правления, чуть ли не и в те же банкиры, возбуждая естественную досаду у оставшихся и отставших... А вот — и студент подался туда, и без промаха успел, не то что ты? Этого кругообращения рассудок не мог охватить.

Но тем более нынешнее дело хотелось доследовать, даже для себя самого.

Толковянов оказался на месте, в банке, — и уже ждал к себе гостей из Управления.

И Косаргин поехал. На тихой улице оставил шофёра у нового семиэтажного, густо остеклённого здания банка с мудрёным названием, как это теперь выдумывают, пошёл внутрь. На втором этаже располагался и зал для клиентов, по западной манере, не остеклённый барьер. А, ещё от вахтёра, определили пришедшего сразу, несмотря на его штатскую одежду, — и вот ещё некий молодой человек встречал, и сразу повёл к председателю правления банка. Тот — и сам вышел навстречу, на комнату раньше.

Да! От того допроса скоро шесть лет, но Косаргин узнал с первого взгляда: он. Такой же высокий, и что-то простоватое в лице, как приодетый деревенский пастушок. Но не в костюме, как естественно бы возглавителю банка, а в небрежно-просторном оливковом свитере, правда с выложенным воротничком рубашки, посветлей, того же тона. На пальце — узкое золотое кольцо, как теперь носят обручальные.

А пришедшего — не заметно, чтоб узнал.

Вошли в директорский кабинет. Тут была смесь мебели: и современная, толстые низкие кожаные кресла около журнального столика, но и несколько старомодных, или поддельных под старину, стульев — жёстких, с высокими прямыми фигурными спинками, в обстав стола под зелёным сукном. А на стене — старинные же часы с бронзовым маятником и с мягким вкрадчивым боем, как раз пробили.

Косаргин отказался от кресла, с тонким портфеликом сел к зелёному сукну. банкир — за свой письменный стол, поперёк зелёному.

Хорошо собой владел: на лице не было страха, ошеломления от пережитого, а строгое внимание. Не упустил и в это утро побриться. Продолговатость лица ещё выявлялась продолговатыми же, высокими прилегающими ушами.

Косаргин назвал лишь — откуда он, не фамилию, — Толковянов не попросил удостоверения, и вот только в этом проявилось его рассеяние или растерянность.

Обстоятельства? Было так. Стальную дверь отпер — и вступил войти, а жена — сзади, следом. Вдруг подумал: ещё одну сумку у неё перенять, и — это секунда? полсекунды? — шагнул назад, когда уже должен быть в тамбуре, стальная дверь снова почти прикрылась — и внутри раздался взрыв. Кто послал сигнал — поспешил на эти полсекунды, счёл, что жертва как раз будет в тамбуре.

Улыбнулся кривовато, как бы извиняясь.

Простоватость его лицу придавал и самый простой начёс волос набок, по-мальчишески.

— И какие у вас предположения? Кто заказал убийство? Кто — взорвал?

Толковянов посмотрел глаза в глаза. Внимательно. Раздумчиво. Взвешивая.

И тут — узнал! — Косаргин враз понял по выражению.

Но сам — не пошёл навстречу, не напомнил.

И тот — ничего не назвал.

А — ещё задумался.

И, складывая раздвинутые вкруговую пять пальцев с пятью, как полушария, складывая — и как бы с усилием разрывая, складывая — и разрывая, ответил:

— Я не уверен, что ваше ведомство может эффективно в чём-то помочь.

Алёша не представлял, не предчувствовал, что на него будет покушение, и даже вот-вот.

А между тем, вступая на изломанный путь в этом потёмочном мире, — надо было и давно ждать, и всегда ждать.

Кто *заказал* — Алёша подозревал, хотя не доказать ничем: головка фирмы Элломас. Отношения с ними были в неустойчивом состоянии, требовали большой оглячивости, и сейчас Алёша, кажется, понимал, где и в чём промахнулся. Бывает одна неосторожная фраза — а выводы из неё потекли против тебя. Кто взялся за финансовое дело — тому никогда нельзя дать волю чувству, сорваться.

А кто *исполнял* — того ещё трудней найти? И вовсе не догадаться. Хотя только через *того* и можно начать разматывать.

Если ещё братья за этот розыск? А может быть перетерпеть?

И откуда вселяется в нас такое неотчётливое, непонятное движение: почему не перенял вторую сумку у Тани раньше, а вот именно в эти полмгновения?

А могли — и вдвоём успеть войти в ловушку...

Распорядок же дня у Алёши так регулярен, что ничего не стоило убийце и подгадать момент.

Но почему так сложно? не из пистолета просто, в упор?

А наверно, был замысел повести следы по-ложному: не здесь, в областном городе, но в Б*, откуда Алёша когда-то и приехал учиться в здешний университет, — в Б* недавно было два убийства, и оба так: взрыв мины дистанционным сигналом. Неплохо рассчитали.

Но кого убедишь, что с Б* — ни счётов, ни расчётов никаких нет, только нежные воспоминания детства и юности.

Нежные — это не только колодец в сохранившемся провинциальном дворе; ещё не вытоптанная травка кой-где по двору; целый квартал одноэтажных домиков с резьбой на посеревших издряхлевших фронтонах, и

мальчишки этого квартала. (С ними чего только не вытворяли: расклеивали по городу листовку «Бей попов!» и смекали, как бы им взорвать последнюю в Б* церковь. А повеяло, не будет ли с нами воевать Китай — так если дойдёт до Урала, то здесь, в Приволжье, по лесам будем создавать группы партизан.) И школа же — до чего интересное приютище от первого порога и с первого дня. А спустя пять лет — физика! а ещё спустя — химия! — что за дивные предметы, до сих пор не развиденные, не угаданные тобой в окружающем мире, а они всё время с тобой тут и были. По химии — замечательная учительница, да какая красавица! Химию учили все с воодушевлением, а Алёша и обогнал: с 9-го класса погнал вперёд и шире программы — и углублял своих же десятиклассников. Но — физика? Учитель был совсем никудышный, вялый, он просто не понимал о своём предмете, какое переливчатое вещество ему досталось в небережные руки. А уж опытов — совсем не умел ставить, всё готовил за него Алёша. И поперву, пройдя ещё до уроков за таинственную перегородку физического кабинета, он там бродил и грезил — среди этих вертимых кругов, искророждающих стержней из бока тёмной закрытой катушки, пришкаленных воронёных стрелок за стёклами приборов, стеклянных мензурок и трубок с насечками, всех видов пружин... Какое-то невидимое струение шло через это всё, и уже никакое кино со скачущими всадниками, пожалуй, не стояло рядом с этим завораживающим миром.

Но скоро, чуть постарше, огляделся Алёша, что всё это устарело, детскость ворожебный поток физики нёсся куда быстрее, и не здесь. Старшие надоумили его читать журналы — «Наука и жизнь», «Знание — сила» «Природа», — стал он бегать в городскую библиотеку и зачитываться там. Что делалось в мире! что делалось или было уже на пороге: электронно-вычислительные машины, миллионы операций в секунду, — без человека управляющие большими заводскими процессами! электронно-вычислительные, самопроизводящие подобных себе! они же — в радионавигации! перевод тепла в электричество без механических устройств! солнечные батареи! бурное развитие квантовой электроники, лазеры! видение и съёмка в полной темноте!! Как будто все отрасли физики, подобно гончим, одноминутно сорвались с привязей и кинулись по всем направлениям вперегон. Молекулярные часы. «Пограничные науки», физико-химический синтез веществ с заранее заданными свойствами. Вот-вот, на пороге — управляемый термоядерный синтез. Биотоки. Бионика: технические устройства, копирующие биологические системы. А в астрономии: теория Большого Взрыва! — Вселенная отнюдь не вечна: она *создана* — враз? И Чёрные Дыры, бесследно и безвозвратно поглощающие материю — в ничто??

А Алёшка — терял время в малокровности школьного кабинета, учил какую-то старь по параграфам!

Весь мыслящий мир нёсся, летел, кружился, преобразовывался в таком бешеном движении — нельзя было больше, нельзя было дальше задерживаться в отсталом городе Б*, хоть и в нём теперь есть заводы. Ну не успеют же открыть, изобрести всё, всё до барьера, до рубежа, что-то же и на алёшину долю останется?

С отличным аттестатом ринулся сюда, в университет, на физфак, и все первые два курса жадно засматривался по ждущим его направлениям. Надо будет захватывать — больше, чем одно направление, — и потому что жгуче интересно, и потому что чем множественней они — тем шире будет дальше выбор для удачи.

И эти два года — счастливейшие в его жизни! — Алёша учился с неистовостью и старался узнавать и услезживать, сколько только удавалось.

Да ещё и такое уверенное билось в груди: за что бы, за что бы я ни взялся, любое дело, каким займусь, — во всём будет успех! (Успевал быть и в активистах комсомола, не отдыхал никогда, а заглатывался делами. Даже восставил из полного хлама совсем уже выкинутую кем-то автомашину, «судорогу», аккумулятор каждый вечер тащил на третий этаж обще-

жития заряжать, утром — вниз, ребята смеялись-издевались, но и сами же просили: подвези, опаздываем!)

И вдруг после двух курсов, в Восемьдесят Шестом, — да когда только-только стонулись общественные надежды! — как отрубили жизнь: взяли в армию на два года.

Или уж раньше бы? или по окончании? — но почему как раз посередине??

Перегороженный вдох.

И, может быть, — невосстановимый.

Армия — и всегда не сахар, а тут был — самый разгул «дедовщины». А от «дедов» жалости не жди. Но в те годы и Алёша был не худ, как сейчас, а тяжёл и плотен, удар немалый, себя отстоял.

В армии взяли его на радиосвязь. Ещё и там пытался читать книги по физике. Да где уж... Покинул...

Потом стал почитывать газеты, смотреть телевизор — надо же и готовиться к жизни, которая так круговертно изменилась за два его армейских года. Кипели какие-то *неформалы*, какая-то общественная самодеятельность, невиданное что-то!

Вернулся из армии на третий курс университета — своего? а уже и не своего. Тот? а уже и не тот. (Хотя понимал, что среди множества наплодившихся теперь дутых вузов, вузов, да хоть и НИИ — их Университет ещё держал традиционную свою высоту.) Как будто армия вынула из души стержень живой — жажду к науке. Получал всё так же пятёрки, пятёрки, а потерял вот что: постоянное ощущение красоты в науке, когда даже прознобь берёт. Осталась уже не красота, а только возможность практического применения. Или более выгодного самоустройства, как и во всём нашем быте теперь?

А тут же бурлили в студенчестве эти разрешённые теперь самочинные общества, движения, и многих утягивало в них — потянуло и Алёшу: если можно искать для людей Справедливость — то как остаться в стороне? — это же с детства сидит в тебе святой мечтой: не жить же только для себя, но — для всех! А все структуры кругом — отяжелевшая рухлядь и так и просятся дробить их молодым размахом. И — собрания, союзы! одних разрешают, других нет, протесты, с лозунгами на улицу, теперь это можно, но тоже когда как. Много кипения на это ушло, и до драки с соседними курсантами, потом и допросы в ГБ. (Раньше — дали бы срок тут же, без звука.)

Да жизнь разнообразно потекла многими потоками. Вот появился закон, разрешено создавать кооперативы. Только открыть кооператив, получить разрешение — нельзя без *мохнатой лапы*. А тут — как раз те студенческие волнения, когда Толковянова таскали в ГБ, — и в университет приехал первый секретарь обкома. Разрешил задавать вопросы — Толковянов и потянулся: университет ремонтируется неэкономно, с перерасходом и пропажей средств; разрешите студенческий кооператив — мы отремонтируем лучше и дешевле. И — разрешили! Кидко бросились ребята. Первая хозяйственная смета, и работа от души, и реальный доход, — но уже катила по стране обратная волна: душить кооперативы все вообще! И — задушили.

Да это и не кооператив — на голом месте, без начальных денег. «Кооператив» удавался тем, кто им прикрывал уже готовые, только скрытые, деньги. А тут — хоть наладили хитрые замки к металлическим дверям, или дверные звонки с разными мелодиями или даже антенны-тарелки, ловить через спутники, — так и берут их, но и не берут, не доверяют «советским» товарам, ищут, ждут заграничных.

Тем временем — унылые накатывали сведения от уцелевших прежних алёшиных однокурсников, теперь кончавших. Выпуск престижного физфака — это всегда был уверенный шаг хоть в уголок нашей триумфальной науки, под величественные своды её мысли, в отдельную державу ведущих научно-исследовательских институтов. Но, вот, ребята искали, примерялись — и поникали: что-то случилось в Большой Науке, из неё как

выпустили дух (прежде того — поджали все финансы). А ещё в большем обомлении — аспиранты. Вакантных мест? стало даже больше? — а потому что учёные оттуда уходили, уезжали. Что-то огромное рухнуло, произошёл обвал и загородил дороги, и отнимал дыхание. Пустели коридоры институтов, в лабораториях углы затягивались паутиной, на столах наслаивалась пыль.

В это нельзя было поверить?.. Это был обрыв всей жизни! Оскорбление! — за что?..

Алёша, понесся надлом ещё от армейских лет, — теперь был лучше подготовлен перенести хоть и этот.

Да, видно, придётся жить как-то по-новому.

А уже началась эра «купи-продай» — неслыханные «фирмы»! фирмы! угадывали, как торгануть государственным же, но в рамках ещё неопытных законов, и сразу крупно нажиться. А от этой эры — как отстать? да и жить же на что, да и квартиру надо купить, чтоб жениться (на Тане, с 5-го курса литфака).

Пытался Алёша прибиться к одной фирме, к другой, — на обочине их, на подхвате, — и какое же ощущение отвратной пустоты, неكدелья. И отдать свою жизнь в такую пустомолку, «гонять воздух», ни на что творческое уже не надеясь, — невозможно?..

Однако по нынешнему времени — невозможно иначе. И только изумляться можно было, как иные партийные чины — прежде недоступные, каменноподобные на страже «народной собственности», — вдруг перелицевались в оборотистых, поспешных, усмотрительных, где можно пожить, и хватать, хапать взахлёб.

А ещё эти биржи, биржи отовсюду, как грибы? Первыми посещениями их Алёша был оглушён до очумления, неразборно гудела голова: брокеры, маклеры, азартные скупщики и продавцы ваучеров, бумаг, валюты, мигающие табло, быстросменчивые надписи, — и все куда-то кидаются (и ещё каждый бережёт свой портфель-дипломат — не пойдут ли потом по пятам за удачником и пришьют?) — да как вообще можно так жить?

А привыкать — придётся. Компания их сколотилась из трёх мысловатых друзей — ещё одного физика и ещё математика. Все — почти ровесники, сходны мысли, надежды, понятия жизни. Идей было много, но идеи — не деньги. Вот, видели, зарождаются коммерческие банки, иногда и мелкие. Ну совсем непривычное, чужеродное дело — однако отчаянно перспективное и гибкое: при прежнем жёстком государственном кредитовании никакому развитию не состояться. А мелкому банку — стать на ноги трудно, его шатает от каждого ветерка в экономике или политике. Да раньше: надо иметь немалые деньги — уплатить взятку за лицензию на открытие банка. А открывшись — надо иметь начальный капитал. К счастью, нашёлся, по-теперешнему, «спонсор», помог стартовать, имея-то цели свои. Назвались сразу раскатно: «Транс-Континентальный банк». А ютились сперва в двух подвальных комнатах — и удивлённым первым клиентам объясняли: «Да это — временно, у нас в главном доме сейчас ремонт.»

И вышло б дальше что? — но встретился Алёше старый его однокурсник Рашит, который потом университет бросил, но и в армии не был. Когда-то дружили. Теперь сошлись, выпили раз, выпили два — и Рашит сам вошёл в «Транс-Континентальный», а за ним стояли его земляки, — здесь, в этом городе, спаянные по землячеству, крепче обычного; землячество их освоило и в области сильные финансовые позиции, и уже впереплёт с областной администрацией, тоже искавшей *новые пути*. И в короткое время отгрохали семиэтажное здание, пять верхних этажей сдали в аренду, а банк поместился в двух нижних.

У Рашита были крепкие связи, у Алёши светлая голова, они дополняли друг друга, и зажили в ладу, все четверо, а доли — разные. Ступал Толковянов по неведомой почве, как первый космонавт по Луне. Но домозговался и тут: как чисто и быстро применить клиринг при распаде советских

торговых связей — чтоб они продолжали служить. Ну, а главное, конечно, был шанс — с постоянно прыгавшей валютой, и при правильном предчувствии это давало потрясающие прибыли. И тут тоже — оказался Алёша успешно угадчив.

А успех как покатит — то только держись, волна взносит и взносит (Что-то надо было знакомым плести: кто тебе так помог?..)

А на душе — гадко. Видно же, что вмазываешься в одно, другое, третье не вовсе чистое, а то и нечистое дело. А без этого не продвинуться. И ты же не один, член четвёрки, дело общее. Но может быть — до некоторого рубежа, а потом удастся, став на ощутимых деньгах, эту грязь с себя стряхнуть, и дальше бы — только честно? получить и проявить свободу действий? Если бы удалось — начал бы тогда делать и добрые дела: первое — школьному образованию помочь; может быть, где когда поддержать бастующих рабочих, чтоб своего добились, или, наоборот, поддержать полезный заводик, чтоб не развалился, вот сушку овощей сверхвысокими частотами? Живём не одним днём, где-то пожертвуем, а где-то выиграем.

Только вряд ли когда вырваться из этих втягивающих прокрутов. По делам уже и таких грязнохватов коснулся — озноб от них.

С Таней — обсуждали не раз. Она — и советчица, и бывает вперёд твоих мыслей, и поперёк им. Ей — еще больше хотелось, чтобы — чисто. Но и она понимала, как это невозможно, как это невылазно. И не бросить же теперь всё чистоплюйски и — что? кануть в нищету?

А потом ещё — отношения с властями. Проигрывая вкруговую везде и во всём, государственный аппарат сохранял только цепкость душить немислимыми, несуразными, нигде в мире не применёнными налогами, и сдавливал правилами, разбухающей документацией, — сам толкал всех в единственном направлении: обходить закон и обманывать. Так и пошли, на косых, не быть же редкими дураками. (Хотя и тут как бы хорошо: уже бы став сильно на ноги — платить государству честно: ведь в нём живём и через него живём. Но и от государства бы ждать не грабежа.)

И вот — взрыв.

Обсуждали с ребятами советно, но решать-то Алёше.

Если уж начали убивать — то и продолжат? И — кроме собственных пистолетов, ну автоматчика в банковском коридоре, — никто не прикроет, не защитит. И меньше всего — Борцы с Преступностью?.. Вон, в Элломасе — там, знал Толковянов, состоит клин не только собственно коммерсантов, но — и от этих Борцов, и от прямых криминалов, — это всё теперь переплелось неразрывно и сородственно.

А мы, в своём кругу, уж наверняка ли от них начисто убереглись?

Надёжно защититься? — только если Алёше немедленно и прямо укосылять за границу. И деньги на то — есть.

Такого — и ждали все. Весь город, кто знал, — такого и ждал, никто бы не удивился.

Но — бросить уже трёхлетнюю свою структуру? Тотчас разнесётся слух о бегстве главного банкира, вкладчики кинутся расхватывать вклады — и разлетелось всё предприятие в беспомощные дребезги. Сила банка — это сумма привлечённых средств.

Выдалось у них с Таней несколько тяжёлых вечеров.

Говорили. Молчали.

Так — и сынишку взрывом угробят?

Ещё молчали.

Вдруг Таня сказала, как будто некстати:

— Моя бабушка говорила: иглы служат пока уши, а люди пока души.

А, кажется, тут всё и было. Да ещё же: за границей, если не ставить на разбой и на контрабанду — то и не развернуться. Русские учёные? — пожалуй, там нужны. Да не мы, недоросли.

Внешне жизнь течёт, как текла. Никому не видимая борьба в душе, никому не внятное решение: остаюсь, как ни в чём не бывало!

Между тем домовый кооператив постановил: Толковянов должен за свой счёт починить обе входные двери и отремонтировать тамбур. Поскольку всё — из-за него...

Вот это — обидело: людям всего-то и дела? И — для кого же тогда стараться?

В эти самые недели — одного за другим убивали и в Москве, и — видных. Кого — пулями, кого взрывом.

Каждый день и ждёшь. Ещё б не жутко.

Стал носить бронежилет, ездить с автоматчиком.

А теперь же появилась и такая мода: «Награда тому, кто укажет...» Попробовать?

И дал объявление в газетах: кто укажет причастных к покушению — 10 тысяч долларов.

Не надеялся, просто так. Но, удивительно: уже через день подкинуто письмо: укажу! За 11 тысяч.

Удивила — малость этой разницы. Казалась насмешкой или провокацией.

Но предложена дневная встреча — в центре города, в людном сквере.

Да не тебе ж самому! — компаньон Витя, школьный друг, он и взялся пойти. (Ещё один — следить за встречей со стороны.)

И обошлось — без подвоха. Тот — готов назвать. Но нет, не 11 тысяч, а 25.

А вот это — было уже правдоподобно. Хотя Витя высмеял: нет, только 12 с половиной. Назвать заказчиков, назвать исполнителя. И фотографии принести. (Это — понадёжней.)

Тот — замаялся. Замаялся. Подумал — согласился.

Пока, за начало сведений — задаток. Заказчик служит в фирме Элломас. Исполнителя — не знаю. Заказчика — назову.

Расплатились.

Так Алёша и подозревал: Элломас! Но ведь кто-то постарше, из директоров.

А — дальше теперь? На совете дружков единодушно решили: дальше без Органов ничего не сделаем.

Не этично?

А по отношению к кому?

И Толковянов — позвонил Косаргину.

Да, в этом молодом человеке что-то было. Нынешняя встреча с ним отпечатлилась в Косаргине. Так вот пойдя угадай: был какой-то диссидентствующий долговязый студент, которого заслать бы подальше, куда-нибудь в Якутию, да и с концами. А вот — какой семиэтажный стеклянный отгрохал и какими делами ворочает, к нему хозяйственники льнут за поддержкой, помощи прореху в бюджете закрыть до срока. В это новое смурное проклятое время он ввинтился, как будто в нём и рождён.

А тебе, потому ли, что уже за сорок лет, и привык к порядку, — ох, не извернёшься легко, не втиснешься.

Органы!! Что виделось вечней и неколебнее их! Что было в позднем СССР динамичней, зорче, находчивей? В андроповские годы сколько же хлынуло сюда отборных с высшим образованием! Сам Всеволод Валерьянович кончил лишь юридический, но рядом с ним там трудились и физики же, и математики, и психологи: попасть работать в КГБ было и зримым личным преимуществом, и интересом, и ощущением, что ты реально влияешь на ход страны. Это были смышлённейшие мальчишки при уже стареющих, костенеющих ветеранах. (Зато и сколько же опыта у тех.)

И вдруг всё это здание — стройней и красивей московских высотных — не рухнуло, нет, но как-то стало дыривиться, проскваживаться — недоумениями, сомнениями и даже утечкой дрогнувших, кто по собственному желанию, кто по сокращению штатов, кто в правление Союза Ветеранов. А кто — и в ту же коммерцию. Этих — понимали сперва как измен-

ников Делу, а потом — завидовали им как ловкачам, удачникам, да нельзя ли успеть за ними?

Если б такое чудо — чтоб Органам вернулась прежняя Сила. Значение. Но может ли такое случиться? Упущены моменты.

А — куда всё, всё покатится? Не хватает ума предвидеть.

Косаргин презирал этих беглецов, запретил себе им подражать. Но щели — открывались всё шире, в прежнем прочнейшем здании продувало насквозь всё невозвратней. И главное — упало самосознание, потерялась Высшая Задача. И — не в бегство, нет, но как выбор все-таки преимущественной позиции в вихрях нового сумасшедшего времени — Косаргин перешёл на борьбу с организованной преступностью. (Совсем уж не отозваться на зов времени? что же, остаться деревянеть чуркой, где, может быть, никогда уже и никому не понадобится?)

Так вот, этот мальчик. Удивило в нём, что не просил помощи. По старой обиде? Или собирался бежать, скрыться? — тоже вроде нет.

Впрочем, отклонил помощь не надолго. Через малые дни позвал.

А штат Косаргина — формально, вяло, но следствие открыл само собой. Теперь Косаргин опять поехал сам. Опять в тот кабинет. Только на зелёном сукне застал три-четыре разбросанных увеличенных копии сто-долларовых бумажек, обтянутых плёнкой, — шутейные подставки?

И опять подтвердилось приятное впечатление недавней встречи с Толковяновым: какое-то простодушное деревенское лицеочертание его, а взгляд прямо в глаза, внимательный, с нахмуркой, но безо всяких метаний. И всё время тихий, ровный голос — не повысится, не разгорячится. И это — не поза, без усилия над собой, не состроено, — в обычае у него так? Каждый день могло повториться покушение — а страха не выдавал ничем.

Обсудили операцию захвата. Пара переодетых бойцов пошла в тот сквер, близ следующей встречи, — неужели тот так потерял осторожность, ничего не предусмотрел? По сигналу толковяновского друга — легко взяли.

Да, так замутился, растерялся, никакой подстраховки не имел. Ещё того неожиданней: сам-то он и оказался убийца, дальше — сам себя выдал!

Случай обнаружился — ничтожный, анекдотический. И опять-таки физик! — в цвет закруженного этого Времени. И — полный неудачник, уже два уголовных срока отсидел, оба раза выпустили прежде досидки. Жалкий-жалкий у него вид был, мзгяк. Всё ему — не удавалось, погряз в долгах, жена проклинала — и она же принесла от шурина, брата своего, предложение: убить, за 10 тысяч долларов, но — чтобы методом взрыва, обязательно. От безденежья, от жениной грызни задыхался — и взялся, 5 тысяч вперёд, в задаток. И вот — неудача. А разозлённые заказчики — как неосмотрительно связались с размазнёй, так и мелочно потребовали с него: за неудачу вернуть не взятые пять, а вдвое — десять. А тут — объявление, как и получить десять. Одурённой головой сляпал: одиннадцать, потом очнулся — двадцать пять. Вот — и фотографию шурина принёс.

Молодчики Косаргина кинулись за шурином — а уж нет его, начисто исчез. След остался, не сотрёшь: в Элломасе он и служил, но не на видном месте. А звено выпало — и ничего не докажешь. Остался в руках живой преступник, его показания, фотография ближайшего заказчика, предположения потерпевшего да соображения следствия. В таком виде и передали в суд.

Пока там текло — Толковянов дважды приезжал в Управление, опять встречались. У Косаргина было профессиональное ощущение, что всё-таки попали на жилу, и она могла бы даже и далеко повести

Далеко?. Уже Косаргин наталкивался: *далеко* — силы сверху не пустят

Говорили по делу — стали говорить и помимо дела. Потерявши в жизни свою уверенную твёрдую поступь, Косаргин потянулся понять этого успешливого молодого — а через то, может быть, в чём-то перенаправиться и самому? Нет уверенности, что и сейчас не зеваешь, не упускаешь какого-то выбора.

— А не выпьем? — вдруг предложил молодому человеку, да уже и протягивая руку к шкафчику в стене.

Тот повёл головой. Согласился.

Завязался разговор между ними на прямовщину. Как в их городе переслоились скрытые силы с тяжёлой валютой, и выскочки-грязнохваты, и прямые бандиты, — и как, и вообще ли можно когда в будущем это всё искоренить? И возможно ли у нас честное предпринимательство, когда именно и только его давит государство.

Тогда — и о самом государстве. А тогда, перелилось по сообщённым сосудам, — почему и не о самих Органах? — какие они суть сегодня и какими же им быть дальше? Для себя одних только? Или, всё-таки, может и для России?

У Толковянова в разговоре была манера: на опёртых локтях составлять изо всех десяти пальцев какие-то живые фигуры, с лёгкими перемещениями их, — как бы строил конструкцию? — помогал себе найти решение? не без напряжённости у бровей и лба. Потом переводил смыслённые, но спокойные глаза на собеседника. Ему — интересен был этот разговор, видно.

За все эти дни не проявилось в нём выражения гонимости, торопливости, испуга.

И как-то незаметно перешло, что Всеволод Валерьянович этому недавнему щенку стал сообщать свои заботы вовсе не служебные, а умозрительные: что же делать? ведь разворуют Россию до конца? и какие миллиарды уходят! (Наверно, смешновато звучало это от чуть не главного в их области Борца с Организованной Преступностью.)

А Толковянов всё это знал, но оценивал спокойно: что утекающие из России деньги всё равно через несколько лет, в следующие десятилетия, сами же к нам и вернуться, и будут вертеть наши же российские колёса.

Как это? вырубленные леса — не вернуться. И выгребанное из недр — не вернётся.

— И наворованное — останется у воров? — искренно возмущался Косаргин. Он дрожно ненавидел теперь этих хапуг. (А всокрыте — и завидовал им?..)

— Хоть и у них, — размышлял Толковянов. — А вернётся, и войдёт в нашу валовую сумму. Да, конечно, сегодняшних криминалов уже не избыть. Но всё это перестирается в одном корыте, вместе и с иностранными инвестициями.

Нет! Такого *благополучного* выхода — Косаргин не мог принять никаким сердцем.

А Толковянов пытался успокаивать и дальше:

— И мозги многие-многие, хоть и не самые лучшие, тоже вернуться, не все они там пристроятся.

А видно было, как он заножён, что, вот, бегут, бегут искать на тёплой стороне. А у нас стипендия аспирантов стала теперь — 10 долларов.

А что на улицах? Эти раскормленные морды в мерседесах встретятся на перекрестке и запрут всё движение: им поговорить надо! А милиционер трусливо уходит в сторону. Как — такое видеть *кадровому*?

Над рюмками, когда они всё больше друг друга понимали, Косаргин обмолвился даже так:

— Алексей Иваныч. Но вот вам, человеку с научно-техническим образованием... как вам кажется: что же в этой распроклятой обстановке делать нам? Ну, вот... нам... — пояснял он, не находя решимости выговорить то слово, те буквы, а имея в виду своих прежних застрявших сослуживцев. И даже — вообще?..

Толковянов не дал себе улыбнуться, и с большой рассудительностью стал искать варианты разумного поведения.

Домой Косаргин ехал мимо известного памятника Борцам Революции — заострённо вскинутой скалы, из корпуса которой веером выдвигались три головы — рабочего, солдата и крестьянина. Этот памятник, от ка-

кого-то уличного острослова, во всём городе называли «Змей-Горыныч». (И правда, что-то похожее.)

И усмехнулся: как же умеют меняться времена!

Да, самые невообразимые пути: вот — Косаргин. В ихней конторе по Борьбе сидят с автоматами бритоголовые мордени, — но это не всё же их лицо? Совсем не глуп Косаргин и, кажется, у своего прежнего подопечного готов чему-то и поднаумиться? Да кто умней — не может не понимать, что одно самоустройство — ничего не решает: займи ты хоть самую лучшую каюту — а если корабль тонет всё равно?

Да только: могут ли *они* меняться? Вспомнить его на допросах... Однако и не думать об *общем* деле России — никак нельзя, и нынешним гебистам тоже. Не всё — о себе. Хотя вот те *фирмачи* из Элломаса — у них ума только и хватает, что если б ещё и во власть пролезть, тогда их капиталы быстро учетверятся.

...Так прожили, от покушения, два месяца — и благополучно. И вкладчики верили в их «Транс-Континентальный», не забирали вкладов, даже увеличивали. Приезжали из районов сельхозобработчики — и те шли к ним сюда, а не в государственный, и не в финансовое управление.

А вот что: в конце апреля, оказывается, попадала Пасха. И Таня всхлopotалась, чего раньше не было, печь куличи и красить яйца.

— Нет, — взмолился Алёша, — только не крась, пожалуйста, не могу этих красных в руки брать. Куличи ладно — только не вздумай их святить, не буду есть.

— Да почему уж так? — кольчая прядка свесилась ей на лоб. — А бабушка всегда святила, и красила. Что ж это, не наша вера?

«Наша вера»? Они не говорили так раньше, но как будто и так, — а какая ж другая?

Ну, да, может быть религия и способна вывести человека из мрачного состояния, однако при чём тут свячёные куличи?

Таня к нему — щека к щеке:

— А ты не понимаешь, что мы были обречены? Что нас спасла какая-то Высшая Сила? И вот эти месяцы бережёт — Она же?

Да, можно сказать — и так. Но есть — и теория вероятностей. И виртуальные варианты любого опыта.

Впрочем — был же и Большой Взрыв.

Есть — и Чёрные Дыры.

И — непостижимая предусмотрительность молекул ДНК.

А ещё через несколько дней был суд над убийцей. И даже Косаргин изумился: при полном сознании преступника в покушении да и всех вещественных доказательствах — осудили его не за попытку убийства, а за «незаконное хранение оружия», 4 года лагерей, и не строгого режима.

Значит, хорошо подмазано.

Вот тут Толковянов сильно встревожился.

Попросил Косаргина получить из дела, в копии, — фотографию шурина.

А она-то — вот как раз она — пропала из судебного дела бесследно. Хотя числилась в описи...

На суде имена главных директоров-заказчиков не назывались, они могли и не знать, что Толковянов *знает*. Но вот столкнулся с одним из них на улице — в насмешку около университета, шёл посидеть на научной конференции, иногда потягивало туда, — еле заставил себя только взглядом скользнуть, а не выразить.

Бежать за границу? — конечно было спасением и жены, и сына, и себя. Но Алёша — не мог бежать.

Таню берёт, как хрупкое стекло. А бежать — не мог.

Сам себе удивлялся: каждый день ходишь в этом тяжком бронежилете, мелькает свой дежурный автоматчик, появилась и вторая квартира, для манёвра... Кого теперь не убивают? Кредиторов — по одному поводу,

должников — по другому. И заморочена голова вкладами, инвестициями, отчислениями, подсчётами баланса, налогами, поддержкой предприятий, — но во всей этой напряжённой замороченности, даже на измоте сил, сохранялся внутри, в груди, — неуничтожимый стерженёк: хоть по случаю, по чьему-то пересказу, по прогляженной научной статье, а следить: что в физике? Достиг слух об успешных опытах группы наших ребят: радиоактивным облучением повышают октановое число бензина. Это колоссально! — уменьшится мировая потребность в нефти. Арабы узнали — тут же кинулись: закупить изобретение и задушить его. От наших — никакой поддержки, им — всё спустя рукава, лишь бы свои карманы набить. И ребята — продали.

А всё-таки — наши, русские придумали! Нет, не умерла ещё ни русская наука, ни русское умельство.

«Погоди! — говорил он мысленно кому-то. Кому-то? сильно расплылся образ, но был ненавистен и гадок. — А мы ещё поднимемся!»

Однако — нет, проглядывалось так, что не банкир Толковянов будет русскую науку поднимать. Прочертили «валютный коридор» — не стало тех бешеных игр и прибылей. Государство допустило банкам наплодиться — но вовсе не думало их поддерживать. Напротив, надвигался регламент — на достаточность капитала, на устойчивость, на ликвидность. И стали слабые банки агонизировать. Ну, пока ещё держал рынок ценных бумаг, сколько-то обеспеченный государством. Или у кого были важные именитые клиенты — да не подслужлив был Толковянов к этим оборотням из номенклатуры, слегка тебе кивающим извольтельно. И самое больное: в этом, кажется, тупике — начался разлад, потом и раскол с друзьями-компаньонами. Куда отлетел их недавний энтузиазм, когда они росли на дрожжах своего успеха, в дружных беседах весело ставили пивные кружки на эти стодолларовые игровые подставки? Теперь один, и другой разногласили: нет, не так искать накоплений; нет, не так расходовать. Рашит первый, затем и другой потребовали отделить свою долю, а она и была главной. Деньги соединили их — деньги и разъединили.

Эти ссоры расстраивают — хуже упадка дел. Темно на душе.

Где касается денег — нет предела ни страстям, ни мести.

Вокруг Алёши поредел кружок близких. Вся финансовая ситуация стала — тьма, и не знаешь, где обнажится яма под ногами, или откуда высунется в тебя остриё. Шёл наугад: купил одно здание городского рынка; завёл два своих магазина; завёл десяток обменных валютных лавочек. А оборотных средств — не хватало, нужен ещё кредит. Где его взять? Пошёл просить у Емцова, тот покровительствовал Алёше: надо же смену растить.

Но покровительствовал всегда с весёлой развязностью:

— А, молокосос пришёл? Ну, как твои дела сосунковые?

Под семьдесят ему уже было — а всё тот же жизнелюбец, и женщин глазами не пропускал, и такой же подвижный фигурой и умом. И как он мог всё перенести? Ведь с каких высот свалился — а, по сути, кто теперь?

Никакой тупиковости Дмитрий Анисимович не видел: приняли путь — и пойдём, не робей! В стенку упрёмся? — ещё иначе повернём.

— Увязаеть? Тебя подкрепить? Ну, можно.

Но если тебе — ещё нет тридцати? И могут тебя прикончить? И отпадают друзья? И — сколько ещё нужно извилин мозговых на этот переменчивый лабиринт? И — вообще ли выбьешься?

И так — пожалел-пожалел-пожалел свою обнадёжную молодость, два первых курса физфака до армии. А может быть — надо было тогда устоять, не сворачивать? не соблазниться? Далеко-далеко виделся свет, и слабел.

А, ведь, фосфоресцировал.

МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ



КАРМЕН

1. Той ночью, рванувши из дому в самоволку, чтоб волчьим воем не испугать детей, на голое тело впотьмах натянув дубленку, незнамо зачем висящую на гвозде все лето (нет чтобы спрятать куда подальше), — и прочь со двора, и бегом вдоль безлюдных дач, и тут, обойдя ее на четвертом круге и став на ее дороге, я говорю:
— А знаешь, чего нельзя допускать в стихах?
Во-первых, врать. Во-вторых, говорить правду.

Ух, как ей понравилось это!

Она засмеялась (вы знаете ее смех, вы помните, сударь, того англичанина чопорного: и он, услышав смех ее, громко расхохотался, совсем как дурак набитый, каким и был);

она говорит:

— Ты где это прочитал?

— Да вот, — говорю, — придумал сию минуту.

Она говорит:

— Не может такого быть!

Она говорит:

— Когда бы ты попытался, из зависти иль со злости, вот так писать, как ты говоришь... Да нет, — говорит, — слабо! Слабо, — говорит, — бибабо! — И домой побежала, довольная этой рифмою (апропо — заимствованной из книжки про пионеров, которую детям я перед сном читал)...

Настигнув ее и схватив, как вора, за шкирку у самой калитки, у ящика для газет и писем:

— А ты, — говорю, — и живешь, как пишешь: все чистая правда — и каждое слово ложь. Сама, — говорю, — бибабо: кто тебе под юбку залез, — говорю, — тот и вертит тобою всяко, наверно и сам не догадываясь о том, что ты не Коппелия и не та заводная, Амалия, что ли, из фильма про Казанову. Ни скрытых пружинки в тебе, ни глубокой страсти; просунул палец — кивнешь головою: «Здрасьте!», второй пропихнул — салютуешь: «Всегда готова!», а третий продел — и вся душенька нараспашку, и — «Все, что прикажешь, на край земли и на плаху!»... Конечно, ты на Петрушку мало похожа — как, скажем, на рукавицу — нежная лайка...

Она засмеялась:

— Все вы — одно и то же... И мама сказала на днях, что я — балалайка... Но это неправда. И если рука мужская с перстами легкими, в золотистом ворсе, в веснушках и родинках, в трещинах и мозолях, окрашенная лесным иль морским загаром, голу-

бит меня и вытягивает в струнку, — то это рука дьявола или Бога! Второе — все-таки чаще: Бог меня любит!..

2. А ночь пахла Пасхою — в самый канун Успенья, а лес весь просвечивал траурною парчой, как будто в нем — погребение Плащаницы, а пруд, над которым жили мы в это лето, — он был чудотворный: во всякое время суток, во всякий день и в каждую пору года — он был не похож на себя самого нимало, он был не такой, как вчера и неделей раньше: то весь малахитовый, то покрывался пеплом, то бронзою отливал, то голубизною, то ряска его оливковый цвет меняла на млечный — и тотчас вспыхивала, как лава...

Он был — как бы вам объяснить это, сударь, — чуток не к ветру, не к обращению светил небесных, но к расположению духа моей любимой... Чтó пруд! она умела менять погоду! но пруд... это был несомненно коронный номер моей Карменситы, моей кареглазой крали...

3. Все лето дети чаще всего играли не в дочки и матери, не в дурачка подкидного, а в ящик видео.

В нем, представьте, сидел один человек. Он не курил, не пил, не ел, не делал «е-е», как сказали бы дети, — он просто шел по дороге; точнее, шел на месте — дорога сама под его ногами скользила справа налево, как транспортер, со всеми траншеями, дебрями и холмами, и в каждой точке сказочного ландшафта сидел убийца, один другого страшнее.

Смешной человек рожден был поесть и выпить, спеть песенку или выкурить сигарету, заняться «е-е» и просто остановиться — но эта дорога летела ему навстречу все прытче, и все увеличивалось число убийц, рожденных для выстрела из засады в него, бедолагу; и чтобы остаться жить, нажать надлежало кнопку или две: подпрыгнуть и выстрелить, опередив злодея, и снова подпрыгнуть и выстрелить на бегу — и так всю дорогу, все долгих двенадцать поприщ.

— Я правила понимаю, но не могу понять — хоть убей меня, — какова идея? — я ей говорю.

Она говорит:

— А это — не что иное, как жизнь. Пройти до конца двенадцать уровней. Ты на нее все ропщешь, все ждешь от нее уловок и пошлой мести; но это не лабиринт, а ходьба на месте, и глупо ждать снисхождения иль венца.

— Послушай, но если мне просто не повезло? Имею хотя бы я право начать сначала?

— В игре, — говорит, — ты имеешь право. Но даже в игре это будет уже нарушение правил.

4. Я начал игру — скорее из любопытства, и худо-бедно прошел, обливаясь кровью, пять уровней — и, осилив до середины земную жизнь, очутился в каком-то мрачном железобетонном бункере — с мужиком, на целую голову выше и вдвое шире меня в плечах, с карабином через плечо.

Он мрачно шагал по бункеру, заводной, с завидной тупостью, не обращая вниманья на то, как, скача по-заячьи и петляя, я бегал за ним и жарил очередями в него, — но, похоже, это был Ахиллес.

Он явно имел одно уязвимое место, известное детям, но скрытое от меня, — и он надо мной потешался, не отвечая на все мои выстрелы, отодвигая плечом с пути своего, а потом, под конец, брезгливо свергал в преисподнюю грубым пинком под зад.

Мне дадено было на схватку с ним три попытки — и все три раза творилось одно и то же: прыжки, и ужимки, и стреляных гильз бряцанье, пинок под зад — и паденье в тартарары.

Игра была сделана.

Я, шатаюсь, поднялся —

и тут же снова упал на стул, как алкаш.

«Последний раз!» — я сказал, нажимая старт.

На этот раз я был хитер и коварен.

Я взвешивал и отмеривал каждый шаг.

Я всех стрелков одолел — и летел на крыльях

к шестому уровню, без сомненья и страха,

туда, туда, на самую середину

земного пути, где все должно разрешиться,

где этот омоновец, этот гороховый шут,

где этот гад!..

5. И представьте:

влетая в бункер и слыша, как за спиною гремят засовы, — я затрепетал.

Я понял, что мне кранты.

О ты, преподобне отче наш Серафиме!

Когда на тебя в чащобе напали бесы

в обличии двух тупых мужиков с топорами, —

ты спасся молитвою! По твоему примеру

я пал ничком на железобетонные плиты —

но, очи воздев и скрестивши руки на персях,

я, вместо того чтоб запеть, источая слезы:

«Прости ему, Отче, не ведает, что творит!» —

стал звать на помощь истошно старшую нашу,

игравшую гаммы в комнате за стеною:

«Убей мужика, Наташа! Убей мужика!..»

Наташа, прервав свои гаммы, ко мне вбежала,

разжала мне длани, взяла вороненую штучку,

всю в кнопочках пестрых, мельком на экран взглянула,

легко, как по клавишам, пальцами пробежалась

по кнопочкам пестрым — и вышла, не говоря ни слова, и снова

села за инструмент.

А мой супостат завыл, замотал башкою,

согнулся, оплыл, рассыпался на детали —

и облаком серным истаял в один момент.

А я — был спасен.

6. Так и жили мы — в окруженье воинственных маршальских и генеральских вдов. А впрочем, были и люди: в одном из домов, откуда семья отвалила на лето на Мальту, до осени поселился оперный тенор, дабы сторожить их борзых и сиамских кошек.

И мы — подружились.

По вечерам он пел моей Карменсите Фауста, Лоэнгина, и герцога Мантуанского, и Тамино, Оттавио, Альмавиву, и дона Хозе, естественно. Он пел — а она играла, естественно.

Вы бы видели ее, сударь, сидящую за роялем: как хлопотала всем личиком, босою ножкой давила педаль скрипучую, и прогибалась спинку, и шурилась, обмирая, или, напротив, — тарасилась в ноты... Ах! она отдавалась его золотому горлу, она тащилась (уж вы мне поверьте) от пенья нашего друга!

Я это рискнул проверить — и не ошибся.

Я целый вечер смотрел на нее, любуясь, как, знаете, ночью люблюсь, над ней нависая: она вначале виду не подавала, но выдала ее узкая ножка босая, ее чумазая стопочка: эти пальцы — не более чем у девочки нашей меньшей, — давя на педаль, расправлялись и трепетали...

Потом, когда за ужином с нею рядом сидел, я ее приласкал как бы ненароком. Она была вся мokrёшенька, Боже правый!

7. Вы думаете, что я к нему ревновал? Да черта с два! она была равнодушна к заезжему тенору все остальное время, пока он не пел. А когда он пел, ваша милость, для счастья им самой малости не хватало: прерваться на полуслове, оборотиться друг к другу лицом — и, покамест еще витала над ними их музыка, с жадностию сцепиться — и смерть не смогла б объятий их разорвать.

Синьор, она совсем не умела врать, но я от нее не слышал ни слова правды, ни разу — и это было сильнее меня.

В ту ночь мы с нею крутили старую пленку, скандальную экранизацию мерзкой книги маркиза де Сада.

— Сознайся, ты его любишь?

— О да! — она засмеялась, не отвлекаясь от оргии на экране. —

Ты сам не видишь? — и ручку проворно сунула под одеяло.

— Да нет! — говорю. — Я имею в виду певца!

— А я на него, увы, не имею видов, — опять засмеялась и (под одеялом выдав мне порцию ласок) так пристально поглядела, так строго.

— Убью, — говорит, — если ты посмеешь предаться с ним низкой похоти... без меня! —
и снова хохочет, и острый язык мне кажется.

И знаете, добрый сударь, что я ответил?

— Клянусь, — говорю, — если с ним или с кем-нибудь я буду ближе, чем вот теперь с тобою, —
будь это мужчина или женщина, — пусть накажет...
нет, лажа какая-то... слушай: собственноручно вот этим
ножом ты выхлостишь меня!

И ножик свой кнопочный, купленный на толкучке,
хороший такой, чеченский или абхазский,
лежавший на полке, я ей положил на грудь.
Он был холодный-холодный, она — пылала,
но даже не вздрогнула, звука не проронила,
а только брови наморщила, принимая подарок мой несказанный
вместе с обетом, ей даденным в эту бессонную ночь.

8. Но что же — вы спросите — дон Хозе?
Судачить об этом я, сударь, стыжусь.
Мне кажется, я не вправе рассказывать больше того,
что и так вам ясно.

Она его поразила одним уколом —
ну, в точности, как быка, — в то самое место,
в ту самую нежную точку в курчавой холке,
где узкий клинок увязает по рукоять,
идя как по маслу, без видимого усилья,
насквозь пронизая не тушу, но жаркую душу,
томящуюся, будто облако грозное —
снаружи ржавое, розовое с изнанки.

Она в него ткнула ногтем — и он залился слезами, столь щедрыми... верите ль: целое лето они все лились, лились и не просыхали, а он говорил сквозь их пелену, улыбался, читал стихи, возглашал за ужином тосты — и все для нее одной, как и эти слезы!..

И только когда он пел, а она играла, глаза его были сухи. Вот так, мой сударь! И так оно в жизни нашей и сплошь и рядом! И чудо какое-то — если выходит в рифму, а чаще — одно и другое не совпадает.

Короче — беда!

9. Мы сидели после обеда и пили вино.
А она лежала поодаль, совсем голышом, на лужайке, и загорала.

— Давай погадаем, — сказал я дону Хозе
и взял со стола
растрепанный черный томик, похожий на Библию.
Это была «Кармен».

— Сперва на нее. — И Фортуна вот что открыла: «Красивой считаем женщину, у которой три тонкие вещи: волосы, пальцы, губы; три темные вещи: брови, ресницы, очи; о прочем — читайте в трактате Пьера Брантона «Галантные дамы»...»

— Теперь давай на тебя. — И выпало тенору: «Ты, милоч, обознался! Я шерсть кое-где ношу, но я — не овечка!..»

— Ну, Бог любит троицу. — И посредине страницы, совсем как те письма во дворце Валтасара, короткие девять слов проступили четко: «Я буду с тобой. Но я тебя не люблю»...

— Однако! — заметил тенор, остаток вина разлив по-братски в пустеющие стаканы. И мы их содвинули, и поглядели в глаза друг другу, и рассмеялись. И этот взгляд содвоенный, двойкодышащий, двусоставный мы перевели не сговариваясь на нее — лежащую на животе в мураве пожухлой, уже осыпаемой листьями золотыми, рябиновыми кистями и желудями.

На этой россыпи золота и рубинов, сапфиров и изумрудов она лежала, две тонкие ручки вытянув пред собою, две грудки не прикрывая от наших взоров, взирая сквозь нас задумчиво и зловеще, — точь-в-точь костяная ложечка для благовоний из зала сфинксов и вяленых фараонов, всех их затмевающая, величиной с ладошку, голышка, стоящая всех сокровищ мира, и жизни, и двух, и смерти, и двух смертей... мы с ним это видели, чувствовали и знали.

Мы видели: прошлой жизни уже не будет; мы чувствовали: не лето идет к финалу, но каждый из нас двоих (и еще, быть может, неведомый кто-то) — и это вот-вот случится, осталось каких-нибудь две или три страницы истории нашей, гибельной, но веселой, — и всё!..

10. — Так как же мы ее наречем? — воскликнул певец. Он только что получил немалые деньги за вышедшую в Севилье пластинку — почти невесомый радужный диск, не толще лезвия бритвенного, не больше, чем блюдечко чайное... и за экую мелочь — купил «Мерседес» (а точнее сказать, «Мерсédес»). Ее он пригнал из города накануне, и, собственно, мы в тот день ее обмывали.

Она была такого красного цвета, как ручка ножа моего, как ее маникюр, как майка певца с эмблемой «Спартака».

Она была такая красная, сударь, что кличка «Мерсédес» ей подходила не больше, чем маршальским нашим и генеральским вдовам — их знойные имена: Виктория, Эмма, Эльвира, Элеонора и Марианна. И странно: ведь нет среди них ни одной Прасковьи, Гликерии, Евфросинии и Агафьи — а в прошлом столетии были...

Она такая была неприлично красная,
что хотелось наречь ее Манькою, Зорькою или Нюркой —
ну, как в деревнях нарекают козу с коровой.

— Так как же мы наречем ее?

И она, в траве приподнявшись,
сидя вся нараспашку, глазами вмиг просветлев,
улыбнувшись криво и даже хихикнув, сказала певцу:

— ! —

Одними губами, на травяном наречье,
не слышном, но осязаемом,
если ветер, гуляя в округе, вдруг в траве увязает —
и всю ее, по отдельной малой былинке,
распутывает, оглаживает и клонит —
и кажется: должен гром греметь над землею,
и в недрах земных должно скрежетать железо,
а все же такая стоит тишина,
как будто тебя оглушило бомбой на поле боя,
и ты вопишь, прижимая к ушам ладони
и вновь отнимая в ужасе...

Этой ночью я что-то, сударь, долго не мог уснуть,
ходил на крыльцо курить,
на голое тело накинув ее дубленку,
и, честное слово, ладонь опустил в карман совсем не нарочно.

Я думал, что это — деньги.
Она имеет еще и такую привычку: по всем карманам рассовы-
вать сдачу, после ее собирая, когда истощаются средства (и на-
скребая приличную сумму)...

С ума сойти — это было письмо
от провинциального тореадора:
в столице впервые проводится бой быков,
и он приглашен назавтра туда явиться,
и если она пожелает его увидеть и быть с ним вдвоем,
в раздевалке, на стадионе, за час до начала, —
то вот он, к ее услугам.

Он ценит ее внимание. Он ее не любит.
Судьбе не угодно связать их жизни,
но если она пожелает — завтрашний бой,
в котором он, без сомненья, одержит победу,
он ей посвятит...

— А чего это ты не спишь? — услышал я за спиною.

11. ...ну, не успел я спрятать письмо!
А ведь все, мой сударь, могло пойти по-другому:
я слова бы не сказал,
она бы и звука ответного не проронила,
наутро я способ нашел бы ее удержать.

Но в нашей игре приключился незапный сбой:
нас вынесло на какой-то уровень новый,

на встречную полосу, на перекресток скрытый,
в маршруте не обозначенный.

И — кругами, рыча и руками размахивая,
хватая друг друга за горло —
и вдруг обнимая в страхе: «Прости!» —
и опять бегом вдоль железных заборов,
вдоль вилл нуворишей,
бегом, наутек друг от друга,
цепляясь за ручку, увы, из последних сил.

И так до утра.

А наутро она собралась,
надела все чистое, точно ей в гроб ложиться.
Я стал на пороге. Она подошла вплотную.
«Убей, — она говорит, — или дай дорогу!»
«Уйди, — она говорит, — или все пропало!»
«Уймись, — говорит, — ибо это предрешено!»...

И что я мог с ней поделать тогда? Убить?

Я в сторону отошел, и она шагнула с крылечка —
что в пропасть солдатиком.
И пошла восвояси (ать-два), по асфальту шелкая каблуками,
размахивая руками, вытянув шею,
все больше ее вытягивая, оголяя,
как будто на горизонте уже виднелась
юдоль ее вожденная,
раздевалка, пропахшая потом едким, на стадионе во имя
Владимира Ильича Динамо...

— А скоро она вернется?
— Наверное, скоро.
— А ты не уйдешь?
— Ну, куда же я на фиг денусь.

Примерно так мы беседовали за калиткой,
смотря, как она улепetyвает без оглядки,
без страха и без упрека, во все лопатки,
голубушка, чешет, поскольку надо идти всегда до конца.

И тут она обернулась — и, голову опустив,
назад побежала...

Ходили к пруду; потом пошли за грибами; вернулись домой;
она все время молчала; уселись за стол.

— У нас, — говорит, — нету соли.
— Схожу, — говорит, — к соседу.

В эту минуту с небес полило — да так, что в пяти шагах
ее за стеною ливня не стало видно.
Она растворилась в нем, он ее укрыл, как ангел-хранитель,
крыльями голубыми.
А пару минут спустя мимо наших окон
проплыла красная тень,
и стена дождя упала,
и только дым над землей клубился, и пахло бензином.

12. Потóм — да что же потом: на скользкой дороге, на каверзном перекрестке, на скорости, превышающей ту, что надо, на встречную полосу вынесло их, посмевших прорваться на уровень высший, неодолимый, головокружительный, — и лобовой удар!

Она говорила правду, Бог ее любит
все шестеро невредимы, они и те —
в той жалкой жестянке, с которой они столкнулись,
одна лишь Кармен, урожденная Мерседес,
представьте, в лепешку

Осыпанная стеклом,
еще не просохшая после щедрого ливня,
на правом сиденье, поджав под себя ступни,
она сидела, жмурясь и улыбаясь.
она во всем наконец достигла предела,
Она была счастлива...

Сударь, прошу прощенья, все это вранье
Ничего подобного в жизни — вы сами прекрасно знаете —
не бывает.

И что «Мерседес» в лепешку, а все живые,
и тенор, столь безнадежно в нее влюбленный,
и тореадор, который ее не любит,
и музыка, прерываемая слезами,
и ливень, идущий две или три минуты,
но все меняющий в мире, и среди лета
висящая на шатучем гвозде дубленка —
все это вранье. Но это чистая правда:
любовь долготерпелива, она милосердна,
она, как ребенок, верит всему на свете,
не мыслит зла, все пошлое покрывает,
и нету ни дна, ни крыши ей, ни запрета.

Она — как вот этот пруд, а не та игрушка,
пусть требующая опыта и сноровки
и все же всегда имеющая двенадцать,
всего лишь двенадцать уровней — и не боле.

Она — как вот этот ветер в осеннем поле,
которое он и всё сразу с разбегу любит,
и каждый стебель, стелясь перед ним до боли,
раскачивает, оглаживает, голубит.



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



СВОБОДА ВЫБОРА

Роман без сюжета

А что, если бы начиналось так:
«Мы, Николай Второй, в прошлом Император Всея Руси, соблаговолили бывшему Нашему подданному, писателю российскому Нелепину Григорию Григорьевичу поручить от имени Нашего изъяснить предстоящему над Нами суду все те особенности Нашего происхождения, воспитания, образования, а того более — особенности характера Нашего, кои для суда могут оказаться незамеченными и канут в Лету. При том, что для истории России, для истории русского самодержавия ничто существенное не должно быть утеряно.

Примечание.

Не будучи писателем широко известным как в государстве Российском, тем более — за пределами оно, Нелепин Гр. Гр. привлек внимание Наше, поскольку собственные его соображения о суде, над Нами предстоящем, волею Божьей стали Нам известны».

И правда: Нелепин был убежден, что суд этот историей уготовлен и только большевики, историю презирающие, решили проблему по-своему, по-большевистски (в подвале дома в городе Екатеринбурге). Но все равно история от своего не отступится, хотя бы и через сто и через двести лет. Тем более, что чем дальше в глубь веков уходит то или иное событие, тем милее оно для историков становится.

Нелепин же, говоря откровенно, в течение трех — пяти лет хотел написать роман и в романе этом действительно учинить над императором Николаем Вторым суд.

Что смущало нынче, в начале замысла, Нелепина — это собственная его авторская роль. Он-то кем должен стать? Адвокатом? Прокурором? Письмоводителем? Швейцаром в помещении суда? Зрителем происходящего судебного процесса?

Ну и, конечно, он надеялся на как-нибудь: вот уж соберу материалы, они и подскажут...

Жаль, что при всех обстоятельствах и вариантах суду останется неизвестным завещание бывшего императора Николая Второго писателю Нелепину, не найдется для этого места, но это было чисто субъективное и непринципиальное недоразумение, объективно же история вполне обошлась бы и без его писательских услуг. Тем более что Нелепин историком никогда не был, а нынче он если и был, так не более чем в качестве искателя литературного сюжета.

Отнюдь не к истории, а к современности относил он любые события, участников или свидетелей которых когда-либо в своей жизни лицезрел. После того как он умудрился встретить человека, жившего при крепостном праве, крепостное право стало для него современностью. Об убийстве террористами Александра Второго, тем более о революциях 1905 и 1917 годов, и говорить нечего — ведь собственная его мама этим событиям начала века была свидетельницей, в какой-то мере и участницей их.

В восприятии личности последнего императора России Нелепин ничуть не опасался субъективности. Скорее наоборот — он к субъективности стремился, хотел, чтобы знакомство состоялось так, как это обычно бывает: первое впечатление, второе, а если нужно — третье. Он плохо представлял себе атрибутику, окружающую императора: распорядок дня и порядок докладов Государю его министров, председателя Совета министров и председателя Государственного совета, приемы, балы, семейные события, такие, как дни рождения дочерей, к примеру, или как день рождения цесаревича. Он и не хотел, чтобы личность императора возникала из атрибутов, — нет, атрибуты должны исходить от личности, от того, как эта личность воспринимает свои обязанности и давным-давно установленный распорядок царствования на троне.

Нелепин готов был вносить поправки и коррективы в те представления, которые он сам называл представлениями «императорскими», он читал дневники Николая-царя и Николая-цесаревича, удивлялся посредственности дневника, который вел цесаревич во время своего чуть ли не кругосветного — исключая Америку — путешествия (вот уж где непременно надо было цесаревичу побывать, так это в Америке!), но он дорожил тем портретом, теми набросками к портрету, которые перед ним возникали.

Итак, Николай Второй был мужчина красивый и современный, носил уже не отцовскую бороду-бородищу и не брился наголо, а предпочитал бородку на манер чеховской. У него не было актерских данных, но обаяние, как бы даже вполне интеллигентное, было. Правда, Нелепин все еще не знал, можно ли поговорить с ним запросто о том о сем, или же императорство такой разговор начисто исключало?

Происхождение его интеллигентности было загадочным — откуда? Российская интеллигенция его ненавидела, самим понятием интеллигентности он вряд ли обладал (но термином пользовался), однако и сама-то интеллигенция этого понятия не имела: по Бальмонту, Надсону и Толстому ее истолковать было невозможно, по Чехову — время не дошло. Власть имущие, элита, императора окружавшая, почитали интеллигентность без аристократического происхождения за вздор. Разве только учитель истории профессор Ключевский мог как-то повлиять на ученика, да вот еще императрица-мать внушила ему интеллигентность в английском разрезе, когда душа участвует в ней лишь слегка, от случая к случаю, зато весь образ жизни высокоинтеллигентен.

Наверное, ни один император того времени не перенес столько оскорблений, обвинений, насмешек, как Николай Второй, но ничто, кажется, его не волновало, не задевало до глубины души, и не английская ли интеллигентность (на русской почве) ему в этом помогала? Конечно, в частной беседе, а то и в суде Нелепин мог вручить Николаю Второму статистику по поводу всяческих репрессий — как-никак, а на каждый день его мирного (годы революции не в счет) царствования приходилось по три смертных казни, а для ссылок без суда не надо было и закона: административно-ссылный — и все дела, поехал человек в Сибирь — в Шушенское (Ленин), в Якутию (Короленко), еще куда, — но вряд ли подсудимый этакой статистикой оказался бы смущен. «А что стало после меня? Когда меня, «кровавого», убрали? Когда убили? Покажите мне ту, последующую, статистику. Хотя бы и приблизительную, не говоря уже о точной, до одной человеческой единицы. В мое царствование такого рода учет был на высоте, а нынче?»

В 1913 году Россия куда как торжественно отмечала трехсотлетие императорского Дома Романовых. И в Москве, и в Петербурге его приветствовали сотни тысяч подданных, когда же императорская семья плыла на пароходе в город своего родоначалия Кострому и далее вниз по матушке-реке в Нижний Новгород, где император посетил знаменитую на весь мир ярмарку, непрерывные толпы людей приветствовали его и с правого, и с

левого берегов, крестьяне съезжались за сотни верст, жили здесь сутками, чтобы издали хотя бы, но своего императора приветствовать. И император был растроган (до слез), он несомненно уверовал, что народ простил ему его ошибки в войне 1904 года, в революцию года 1905-го, да и последующих лет. Тем более простит его Бог: как-никак, а помазанник-то он Божий?! Как могло быть иначе, если все люди рождаются и князьями, и крестьянами, и чиновниками и только один из них — императором?

Все так.

Но каким же образом, размышлял Нелепин, явился тогда год 1917-й с революциями, и тот же народ громил царский дворец, и те же крестьяне выходили на станции железных дорог, если был слух, будто в таком-то поезде, на запад ли, на восток ли, все равно куда, царская семья вознамерилась ускользнуть за пределы России? Либо народ хотел самолично расправиться со своим императором?

Нелепин не сомневался: история ответит, как, что и почему. Не верить истории Нелепин боялся..

Кроме всего прочего, на него большое впечатление производила образованность Николая Второго: английский, французский, немецкий... А еще польский Царство Польское входило в состав России, так как же иначе? Нелепин всегда млел перед полиглотами, они казались ему причастными к инопланетянам: забрось такого на Марс, он и там не пропадет, найдет с марсианами общий язык, важно только, чтобы марсиане на Марсе были в наличии, за остальным дело не станет

Нелепин полагал, что чем больше человек знает, тем больше у него оснований для существования, а главное, тем меньше у такого человека сомнений по поводу Вселенной, а значит, и самого себя, когда же он видел по ТВ малограмотных президентов и претендентов, его охватывала оторопь.

Он сам-то, Нелепин, хотя бы умел скрывать свои незнания, никогда не участвуя в разговорах, если тема была ему недоступна, а те и этого не умели. Больше того — всячески подчеркивали, что они подобное умение презирают.

А вот Николай Второй, догадывался наш писатель, не презирал, отнюдь, оттого и перед Думой стеснялся толкать речи, вообще был не речист, а свободное время использовал для семейных прогулок и для общения с Богом.

Вот здесь, в этом пункте, Нелепин императора подозревал в небескорыстии: уж очень удобным было близкое с боженькой знакомство, чуть что — «на все Божья воля!», император же хоть и на троне, а все равно как бы в сторонке

Впрочем, если уж Нелепин вознамерился судить власть — судить не отвлеченно, а в конкретном лице императора Николая Второго, — он, само собою, должен был отрешиться от симпатий-антипатий к этому лицу: император должен был оставаться для него императором и никем больше

Подобное отрешение у Нелепина иногда получалось, иногда — не совсем или не получалось вовсе. В таком случае, неправдашным каким-то получался он судьей и утешался отвлеченными размышлениями: почему-то из профессиональных судей почти никогда не получалось писателей. Из врачей — сколько угодно, из инженеров — тоже немало, об историках и словесниках и говорить не приходится, а вот из судебных работников — нет и нет, из тех все больше выходили политики. Странно... Странно, но факт.

Поразмыслив таким образом, Нелепин останавливал себя: «Ближе к делу!» — и снова вспоминал что-нибудь конкретное по поводу своего подсудимого. О том, например, как он еще подростком, когда его ровесники-гимназисты катались во время каникул на лодках с гимназистками по великим русским рекам и, катаясь, пели народные песни, — он, наследник престола, стажировался в разных родах войск: в пехоте командовал ротой, в кавалерии — эскадроном, в артиллерии — батареей, не говоря уже о том, что со всею серьезностью изучал военную историю и фортификацию.

С младенчества этот человек знал о том, какая деятельность ему предстоит, к чему направлены будут его духовные и физические усилия. Опять-таки никому из людей этого знать не дано, дано только ему. Учителя разъясняли ему теорему Пифагора, бином Ньютона, правила написания глаголов повелительного наклонения, знакомили и со статистикой, — одним словом, изучал все то, что преподавалось в любой гимназии, в любом реальном училище, но ведь ни один из гимназистов-реалистов не знал, для чего и в каких обстоятельствах эти знания ему будут необходимы, — а цесаревич знал, загадки для него в этом не было никакой.

В детстве же цесаревич сопровождал отца-императора в поездках по России и Европе, юношей совершил путешествие по маршруту Вена — Триест — Греция — Египет — Индия — Китай — Япония — Сибирь, тридцать пять тысяч километров, едва-едва не кругосветное путешествие по экватору. Во Владивостоке он уложил первую тачку земли в полотно открывшегося строительства Великого Сибирского железнодорожного пути, самого протяженного пути земного шара, затем назначен был председателем Комитета этого строительства. С двадцати одного года участвовал в заседаниях Государственного совета и Комитета министров.

Теперь, раздумывал Нелепин, представим себе, что при всем при этом у человека не было тех свойств характера, которые совершенно необходимы императору, все равно после такого образования и воспитания кем он мог быть, кроме как императором? Должен Суд это учесть? Получалось — должен! Кто за это «должен» нынче в ответе? Получалось — в ответе нынче он, Нелепин, со своей столь желанной свободой выбора.

...Вступая на престол в двадцать шесть лет, император сказал, что он «дал священный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь единою целью мирное преуспеяние, могущество и славу дорогой России»

А что другое он мог сказать, этот, по существу, и не русский уже человек? К тому же он помнил, что его династия, династия Романовых, триста лет назад спасла Россию в Смутное время и что, если ныне выпадет ему тот же удел, — он готов! Он должен быть готов!

И так же как Нелепин знал, что он в случае чего спасти Россию не сможет, так Николай Второй знал, что он обязан это сделать. О чем свидетельствовали и современники. Например, президент Франции Эмиль Лубе:

«О русском императоре говорят, что Он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский император Сам проводит Свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У него есть продуманные им, тщательно выработанные планы. Над осуществлением их Он трудится беспрестанно. Иной раз кажется, что что-то забыто. Но Он все помнит. Например, в наше собеседование в Компьене (1901 год) у нас был интимный разговор о необходимости земельной реформы в России. Император заверил меня, что Он давно думает об этом. Когда реформа землеустройства была проведена, мне было сообщено об этом через посла, причем любезно вспомнят был наш разговор».

И еще:

«Под личиной робости, немного женственной, Царь имеет сильную душу и мужественное сердце».

Действительно, в 1901 году император говорил г-ну Лубе: «Ставлю себе целью завершение предуказанной еще в 1861 году задачи создать из русского крестьянина не только свободного, но и хозяйственно сильного собственника».

Нелепин, надо сказать, отнесся к свидетельству Лубе не без сомнений: Франция в то время уже искала союза с Россией против Германии.

А немцы, в свою очередь, как бы не из тех же соображений старались — германский поверенный в делах России фон Рекс:

«...редко народ при восхождении на престол его монарха имел такое неясное представление о его личности и свойствах характера, как русский народ в наши дни... По личному впечатлению и на основании суждения

высокопоставленных лиц русского двора, я считаю Императора Николая человеком духовно одаренным, благородно одаренным, благородного образа мыслей, осмотнительным и тактичным; его манеры настолько скромны и он так мало проявляет внешней решимости, что легко прийти к выводу об отсутствии у Него сильной воли; но люди Его окружающие заверяют, что у Него весьма определенная воля, которую он умеет проводить самым спокойным образом».

«...обладал живым умом, быстро схватывал существо докладываемых ему вопросов». «Все, кто имел с ним деловое общение, в один голос об этом свидетельствуют».

«У него была исключительная память, в частности на лица» (фамильная особенность Романовых, отметил Нелепин).

Нелепину было приятно: знай наших! Однако приятность приятностью, а свидетельства соотечественников должны были иметь для него более существенное значение. И такие свидетельства имелись.

«Народ давно, со времен Ходынки и японской кампании, считает Государя несчастливым, незадачливым», — утверждал министр императорского правительства Александр Васильевич Кривошеин. Правда, отзыв этот не мешал ему служить царю с великим усердием, а Нелепин, тот к министру земледелия и государственных имуществ уже давно был расположен очень и очень. Нелепина удивляло, как Кривошеин готовился к деятельности министра: объехал чуть ли не всю Россию, вникая в земледелие, в состояние имущества каждой губернии. По идеям же своим он был столыпинцем.

Во время Гражданской войны Александр Васильевич стал правой рукой другого весьма симпатичного Нелепину русского генерала — генерала Врангеля. На пару Врангель и Кривошеин в Гражданскую войну, под конец ее, учинили Крымское правительство, снискав уважение местного населения. Они даже поправили экономику полуострова, вконец войной разрушенную. Не правда ли — дельный пример для современности?

Когда же красные через Перекоп ворвались-таки в Крым, правительство и армия Врангеля без паники, без потерь, а в полном порядке эвакуировались морем. С берега корабли провожали тысячи людей. Полный порядок — опять же пример? (Были, разумеется, о Врангеле, о Кривошеине мнения вполне противоположные.)

Ну а если ближе к делу, тогда следует вспомнить, что мнение Кривошеина об императоре разделяли многие министры. «Мы, — писали они Николаю, — теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине».

Не Бог весть как доверял Нелепин другому свидетелю, поэту Бальмонту, но и не учитывать его мнение было нельзя:

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать — Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот.

Дальше — больше. Так, спустя чуть больше двадцати лет после расстрела императора и его семьи, в 1939 году, Большая Советская Энциклопедия представляла дело таким образом: «Присущие Николаю Второму черты тупого, недалекого, мнительного и самолюбивого деспота в период его пребывания на престоле получили особенно яркое выражение».

И дальше:

«Беспощадное преследование революционной социал-демократии, система повседневного сыска и провокации, жестокие расправы со стачечниками — вот характерные черты политического режима царствования Николая Второго».

Тут Нелепину не мог не представиться год 1937-й, а также и годы Гришки Распутина при дворе, военные, страшные и нелепые для России годы, и ему хотелось чего-нибудь светленького.

...в юности, при первой же встрече, цесаревич Николай полюбил дочь великого герцога Гессенского, внучку английской королевы Виктории, принцессу Алису.

Родители оказались против: малопрестижный брак для российского престола, для династии Романовых, а родитель, царь Александр Третий, хоть и прослыл миротворцем — ни одной войны за тринадцать лет своего царствования не воевал, своего рода чуть ли не рекорд для России, — все равно был слишком известен нравом крутым.

Мать — царица Мария Федоровна — мягкостью характера тоже не отличалась, до конца жизни не простила сына, невестку же в глаза видеть не желала.

Тем не менее Николай женился на Алисе

Каково?! Вот оно и светленькое!

...император Николай Второй храбрецом, видимо, не был, но и смерти не боялся: сколько случилось на него покушений со стороны отечественных уж очень прогрессивных деятелей — семь ли, шесть ли, точно Нелепин не установил, — император ни одно из них будто и не замечал, держа, словно их вовсе не было.

Во время мировой войны император часто бывал на фронте, в ставке Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. «Мог ли Я уехать отсюда при таких тяжелых обстоятельствах, — писал император. — Это было бы понято так, что Я избегаю оставаться с армией в серьезные моменты». И тут же он принял на себя главное командование.

И правда — тот же А. В. Кривошеин утверждал, что полевое управление войсками формировалось «в предположении, что Верховным Главнокомандующим будет сам Император; тогда никаких недоразумений не возникало бы, и все вопросы разрешались бы просто, вся полнота власти была бы в одних руках».

...военный министр А. А. Поливанов (чем-то очень напоминавший Нелепину Павла Грачева) такое же высказывал мнение: «Подумать жутко — какое впечатление произведет на страну, если Государю Императору пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или, не дай Бог, Москвы».

...глава кабинета министров И. Л. Горемыкин, в свою очередь, свидетельствовал:

«Должен сказать кабинету министров, что все попытки отговорить Государя будут все равно без результатов. Его убеждение сложилось давно. Он не раз говорил мне, что никогда не простит себе, что во время японской войны Он не стал во главе армии. По Его словам, долг царского служения повелевает Монарху быть в момент опасности вместе с войсками, деля и радость, и горе... Решение это непоколебимо. Никакие влияния тут ни при чем. Все толки об этом — вздор, с которым правительству нечего считаться».

(Тем не менее многие министры протестовали против его решения, тогда-то они и написали, что теряют веру в возможность служить ему и Родине.)

...император: «Оставим на время заботы о всем прочем, хотя бы и важном, государственном, но не насущном для настоящей минуты».

Фотография была у Нелепина: две складные кровати, между кроватями тумбочка, шкаф у стены: спальня государя императора Николая II и наследника-цесаревича Алексея в Ставке Главнокомандующего, город Могилев-губернский.

(...помощников и советников по экономике либо по делам национальностей у императора не водилось, помощниками были министры. Очень странно звучало бы: помощник императора по нацвопросам. По экономике. По соцвопросам.)

...документы, которые от императора исходили, он писал... сам! Стилистикой языка владел в совершенстве.

Ах, Боже мой! — но ведь все это — детали, пусть крупные, но частности, начиная с многоточий. Нелепин мог бы приводить их дальше и дальше, но все это для отдела кадров времен Сталина — Андропова и более поздних, все — не что иное, как «дело» под № таким-то из архива КГБ!

Не годится! В идее Суда над властью Нелепин всего кагэбэшного стремился избежать. У него другой должен быть подход..

Житель Двадцатого Российского века, Нелепин видел свой век небывало тяжким и небывало же несправедливым. Он не был лишен догадки и о том, что каждый-то век россияне полагали точно таким же, и доказательства действительно шли по нарастающей, однако век XX все равно побивал все рекорды:

война 1904 года,

революция 1905-го,

война 1914 — 1918 годов. Первая мировая,

революции 1917 года,

Гражданская война 1918 — 1920 годов,

коллективизация и раскулачивание 1929 — 1933 годов,

репрессии 1937 года,

война 1941 — 1945 годов,

сталинские послевоенные репрессии 1946 — 1953 годов,

постсталинские лагеря 1956 — 1964 годов,

брежневские лагеря 1964 — 1982 годов,

война в Афганистане 1978 — 1989 годов,

война в Чечне 1994 — ? годов,

перестройка 1985 — ? годов

и, конечно же, экологические бедствия по нарастающей и по нарастающей с середины века.

Разобраться — так с самого начала века и по сей день Россия была психушкой, к тому же лишенной врачебного персонала.

Будто кто-то и когда-то вольно или невольно, сам того не подозревая, затеял осуществить над Россией эксперимент на выживание: выживет — не выживет? А если выживет — в каком остатке? Какими пороками и недугами наделенная? Одноглазой будет? Однорукой? Одноногой? С одним полушарием мозга?

Человеческой истории не бывает без исторических фигур, и кто-то положил же начало русскому столь знаменательному Двадцатому веку? А если этот век не более чем предтеча веков последующих, если он не более чем цветочек, а все ягодки впереди?

Нелепин долго и как бы не втайне от самого себя размышлял — кто?

Методика у Нелепина была: выстроить властителей России XX века в хронологическом порядке: Николай Второй — Львов — Керенский — Ленин — Сталин — Хрущев — Брежнев — Андропов — Черненко — Горбачев — Ельцин, выстроив, взять в толк, что в Двадцатом веке были в России империализм — капитализм — коммунизм во многих своих обликах, а нынче преобразования уже никому не известные и непонятные, без названий, без определений, так кто же все-таки в этом необычайном ряду владел перспективой?

Не было Нелепину ответа.

Все эти лица отмелькали перед ним, но ответа — ни в одном. Значит, по-другому: кто был, кто есть хуже всех?

Николай Второй хуже всех не был.

Хуже всех не был, однако с него-то век и начинался, век, который у всех встал поперек горла. Вот и решили, будто хуже последнего русского царя вообще никого не может быть. Оттого-то и был он расстрелян. На всякий случай — с семьей.

Бедный, бедный император всея России!

И не хотел быть императором, а все равно стал — коронацию сопровождала Ходынка. Свадьбу справил в траурные дни — тотчас после смерти отца.

Японскую войну затеял — и проиграл позорно. В революцию 1905 года угадал как кур в ошип, но не воспользовался шансом конституционной монархии, хотя именно такая монархия была бы ему по плечу. Ввязался в мировую войну — спрашивается, чего ради? Без памяти любил супругу, не очень-то умную женщину, и то и дело слушался ее беспрекословно. Готовил на царствование сына, хотя доктора и говорили: не жилец! Отрекся от трона в пользу брата Михаила, а тот и думать не хотел принять истерзанную державу от Николая Второго. Все братья-князья, все дядья и даже родная его мамá его не любили, а что же было ждать от народа?

Вот и грустил император в 1917-м под арестом в Царском Селе, и только и было у него дел — ухаживать за садиком. Это он умел, а еще умел отлично колоть дрова. Из Царского отправился в ссылку в Тобольск, из Тобольска — в Екатеринбург, там и был расстрелян. И останки продолжали маяться — останки бензином обливали, сжигали, тайно закапывали, спустя время откапывали снова — для опознания.

А ведь был прекрасным человеком — вежливым, сдержанным, образованным, послов всех государств приводил в умиление. Красив был.

И чувством ответственности обладал огромным, поистине императорским.

И надо же, прильнул к его судьбе некто Нелепин — Льву Давыдовичу, что ли, имел в виду перебежать дорогу? Лев Давыдович Троцкий страстно мечтал судить императора, никак не мог простить Свердлову, что тот успел первым, оказался ближе к Владимиру Ильичу.

Гуманитарий Нелепин вовсе не собирался кого бы то ни было расстреливать, упаси Бог! — уж лучше самого себя! Он хотел для истории, для нынешней перестроечной России извлечь какой-то опыт — не получилось. Он, конечно, не по-императорски, а тоже маялся: почему же Россия и ее власть никогда не совпадают, зато всегда это что-то разное, друг другу противоречащее?

Чем больше он пытался в вопрос вникнуть, тем меньше его понимал, а вот императорскую судьбу он должен был куда-никуда пристроить.

Если на то пошло, Николай Второй был Нелепину симпатичнее всех других: красив, по-императорски скромн, семьянин от души, а не в порядке законодательства и официальной порядочности. И вот еще — регалии к нему шли.

Нелепин всякого рода регалии — погоны, эполеты, аксельбанты, еще как там они называются, все эти побрякушки, — не любил, не понимал их значения, но на груди и плечах императора они свое значение приобретали. Во всяком случае, Нелепин не мог представить себе императора при галстукe.

Об императоре все, кто имел с ним дело, говорили: обаятелен. Нелепин тоже это обаяние почувствовал при первом же знакомстве, но в том-то и дело, что кто-кто, а он своему чувству поддаться не мог, не имел возможности: в судьи же вызвался! Сам вызвался, никто его к этому не обзывал.

Ну а раз так — тотчас и обвинение: японская война! Рассудить, так обвинение уголовное. Как только ее не ругали, эту войну: империалистической, авантюристической, безобразовской (по имени статс-секретаря Николая Второго А. М. Безобразова), — с чем только ее не сравнивали и не сравнивают до сих пор — даже с чеченской войной, как только не протестовала против нее русская интеллигенция — питерские студенты, те устраивали манифестации в честь побед японского оружия над Россией, — и ведь ничего из этих позорных обвинений опровергнуть было нельзя, так оно и было!

Вот тебе и обаяние императора — как было Нелепину одно с другим совместить, одно перед другим оправдать?

Да ведь и войны 1914 — 1918 годов — Первой мировой — Россия при мудром руководстве могла бы избежать, ведь ее собственных интересов в этой войне было куда как меньше, чем французских и английских. у Ни-

колая Второго и Вильгельма, тоже Второго, отношения до 1911 года были прямо-таки братские («Ники», «Вилли»), даже договор тайный между ними был, направленный против Франции, но вот поди ж ты — русский император все равно не изменил давнему-давнему правилу России — воевать за чужие интересы. Революция же 1905 года, последовавшая за войной японской, Его Величество ровным счетом ничему не научила, год 1917-й явился для него полной неожиданностью.

Год 1917-й даже и для Ленина-то явился неожиданностью, Ленин до апреля семнадцатого, до «Апрельских тезисов», и думать не думал о захвате власти, но тут подвернулся удобный случай — и он не растерялся.

Владимир Ленин, тот вообще не терялся никогда, всегда и ортодоксально умел подсуетиться, оставить на бобах другого российского социалиста — Георгия Плеханова, самого Карла Маркса и того обойти, заменить ему его советника Фридриха Энгельса. И кто же Ленину тот счастливейший случай предоставил? Сколько ни размышлял Нелепин, выходило: Николай Второй. Он.

И вот уже в последнем десятилетии нынешнего века Нелепин угадывает следствия десятилетия самого первого, затем и второго, а в том и другом десятилетиях правил Россией не кто-нибудь, а император Николай Второй... И коль скоро на то пошло, коли уж судить власть — с кого же и начинать?

Если вписывать историю в современность — с кого? Если у тебя явилась страсть отыскания истоков — с кого?

Вообще-то говоря, время прихода к тебе сюжета — более чем странное время, оно что-то такое вписывает в тебя, через тебя — в современность, а само не вписывается ни во что. Нигде твоего сюжета нет, нигде и ни в чем мире!

Как же не странно, если ты вдруг начинаешь существовать в сознании, что Россия не прогнозируется не только в будущее, но и в прошлое тоже? А лично ты как же, ты кто же в такой беспрогнозности? Без пути ни вперед, ни назад?

Как же не странно, если сюжет снится тебе ясно и отчетливо, а проснулся — наяву-то его и нет, только ощущение исчезнувшей отчетливости и осталось, больше ничего.

Как же не странно, если сегодня твой подсудимый император Николай Второй, такой образованный, такой обаятельный, в самые решительные для будущего своей державы моменты оказался столь банальным и примитивным? Для укрепления власти, рассуждал он, очень важно было где-то, все равно где, одержать военную победу! Победой поразить назревающую революцию!

Вот тут-то Николай Второй и нанес первое, а может быть, и главное поражение самому себе, своей душе, своему разуму, который обязан был быть разумом государственным и дальновидным. Долг служить Родине именно с того момента и лишился разумения. Ну а затем пошло и пошло. Гришка Распутин пошел прежде всех, военный министр Поливанов и всякое другое распутство.

История и после того оставалась благосклонной к императору (она вообще терпелива к умалишениям), еще и еще давала ему шансы, но он уже не способен был шансы воспринять, понять, что времена самодержавия отошли в прошлое, тем более — самодержавия русского.

Ему бы еще в 1906-м объявить себя монархом конституционным, пусть государственно думала бы Государственная дума, пусть правило бы думское правительство, его дело было бы — оставаться символом страны, принимать почетных зарубежных гостей, удостаивать или не удостаивать их своим вниманием, ну и — насколько это ему дано — сдерживать политические страсти. А тогда бы и Ленина не было. Ленин ведь весь вышел из враждебности и непримиримости к самодержавию (старший братец Александр повлиял), а конституционный монарх — какой это враг? — одно не-

доразумение. А Ленин кем бы был? Главой думской фракции социал-демократов-большевиков? С кем бы он в Думе сражался? В первую очередь с фракцией социал-демократов-меньшевиков, все с тем же своим учителем Плехановым

Сколько раз уже во время мировой войны монархисты уговаривали императора: Ваше Величество, умоляем вас — отрекитесь от престола, чтобы престол спасти! — нет, он все тянул, и чем же кончилось? Гражданской войной. Советской властью.

С императорами в те времена разные народы прощались по-разному Россия кончила вот так, Германия по-другому отпустила своего на все четыре стороны, однако не предоставила ему транспортных средств. Пешочком-то он далеко не ушел, не далее чем в соседнюю нейтральную страну Жил там долго, испрашивал у родной республики пенсию Испросил

Так представлял себе дело истории Нелепин, отсюда приходил он к одному и тому же выводу: СУД!

К этому — великому? — сюжету стремился всеми силами души и ума И еще стремился — в соответствии все с тем же сюжетом — лично встретиться с императором и поговорить с ним по душам.

Первой неожиданностью для Нелепина стало — об этом уже говорилось — то, что в предстоящем Суде он так и не мог огределить свое собственное место: или он в команде защитников подсудимого, или — в прокурорской? Он делал наброски соответствующих речей, защитительные речи вдруг оказались качеством повыше, но тоже не ахти. И те, и другие не достигали главной цели — судебного рассмотрения власти не только Николая Второго, но и власти как таковой, ее правомерности и необходимости, меры ее демократичности или тоталитарности, ее подсудности и неподсудности. Станным образом для Нелепина дело постоянно сводилось только к личности подсудимого, теряло свою философичность, а это его не устраивало: личность императора должна была служить Нелепину не более чем отправной точкой. У него не было желания погружаться в атрибутику, в обстановку дворца, в характеры всех членов семьи — нецарственно простеньких (за исключением разве что Марии) дочерей Николая Второго, болезненного наследника Алексея, не говоря уж об императрице Александре. В этом отношении всякого рода сплетен в литературе и без него хватало.

— СУД! — продолжал твердить Нелепин. — Суд не над личностью, а над властью!

СУД с самой большой буквы, то есть без приговора подсудимому, но с вердиктом по поводу власти. Всяческой, а заодно и сегодняшней!

В то же время вот что уже было, было бесспорно: покуда Нелепин собирал досье на императора в синие папочки, покуда папочки нумеровал, можно сказать, вел следствие, он со своим подсудимым, с императором Николаем Вторым, свел довольно близкое знакомство, если не сказать — приятельство. Подобной ситуации Нелепин ни в коем случае не предусматривал.

В течение ночи Нелепин нередко просыпался на два и более часа, обдумывал свой роман — и вот тут-то, не то во сне, не то наяву, и начинались и происходили между ними беседы. Пока что на общие и политические темы — о позиции Англии, о возможности сепаратного мира с Германией, о ценах на продукты питания в России в самом начале 1917 года.

Разговор же по наиболее существенному и животрепещущему для Нелепина вопросу — все о той же, о той же конституционной монархии — Нелепиным же и откладывался.

Его начал Николай Второй.

— Мы не понимаем нынешнюю действительность, — произнес он не по-императорски а довольно робко и неуверенно

— Я тоже не понимаю... — взаимно оробев, ответил Нелепин. А что еще мог он ответить? — А ваше время вы понимали?

— Время надо понимать исходя из собственных обязанностей. То есть из обязанностей перед Господом Богом, перед совестью, которой Бог награждает власть имущих. Нынче у вас на этот счет — как?

— Все может быть! — уже весьма запальчиво, хотя и не совсем, кажется, толково отвечивал Нелепин. — Может быть, и у нас имеется совесть!

Разговор заходил о Чечне. Император был в курсе: пользовался слухами — и вздыхал.

— Хуже, гораздо хуже, — вздыхал, — чем наша война с Японией в 1904 году. А откуда у чеченцев столько оружия?

Надо же — о Чечне! Да Нелепин и сам не умел об этом предмете думать: то нахал Дудаев, то затеявший войну — затеял и смотался — Грачев, а то и сам президент во множественном числе: «Мы!» «Мы и наши меры!»

Нелепин выкручивался как мог... Откуда-то — неизвестно откуда — у него в этот момент появлялось желание всячески реабилитировать свою собственную современность. Зачем? Зачем и почему, если он ее, собственную, то и дело поносил последними словами? Или имел место тот факт, что император все-таки был подсудимым, Нелепин же был следователем и судьей и ему очень не хотелось меняться ролями? К тому же — требования задуманного романа: если роли переменятся, будет очень неинтересно — какой может быть интерес в суде над Нелепиным?

Но так или иначе, оказалось, что с императором можно было иметь дело, а этого наш романист не мог сказать ни об одном из последующих русских правителей, включая, разумеется, самых последних, ныне существующих и как бы даже процветающих. Что им был Нелепин? Пешкой и то не был.

По-ленински ортодоксального самоутверждения он за императором не замечал, заметил же тоску и тревогу по поводу того, что когда-то, еще в прошлом веке, Бог возложил на Него императорство. Все последующие правители России о подобной тоске опять-таки понятия не имели, они к непреднамертанным своим обязанностям рвались, это рвение было главным их делом. Чем больше они уничтожали конкурентов в своем рвении, тем больше было в них гордости прямо-таки императорской, больше чувства своей безусловной, очень-очень высокой правоты. И даже так: чем хуже обстояли дела в государстве, тем больше находилось охотников этим государством руководить, не было таких высот, которые эти выдвигенцы не могли бы взять и преодолеть.

Николай Второй и Ленин-Ульянов, те не только знали русский язык, но и умели на нем и говорить, и писать, и думать — никто из последующих правителей этого уже по-настоящему не умел. Все по-русски виртуозно матерились, но это уже другое дело, хотя и престижное. На грамотном русском умел так же изъясняться и агитировать Лев Давыдович Троцкий, но это ему дорого обошлось.

А в Тобольске, в ссылке от Временного правительства, император играл в городки. Умел. Русская игра. Где, когда самодержец научился?

А в Крыму император ловил бабочек — доморощенный энтомолог.

Боже мой, а сколько свидетелей, прикидывал Нелепин, должно было явиться по вызову нелепинского Суда? Счета свидетелям не было, не предвиделось им конца: Ленин, Сталин, Плеханов, Гапон, Распутин, Столыпин, Кривошеин, великий князь Николай Николаевич, генералы Алексеев, Деникин, Врангель, князь Юсупов, десятка два кадетов во главе с Милюковым, Свердлов, Держинский, Зубатов, Л. и А. Толстые, Короленко, Горький, Колчак, Горемыкин, Государственный совет во всех его составах в период с 1894 по 1917 год включительно, Юровский, стрелявший в императора в упор. Ну а самое первое Советское правительство, самое интеллигентное за всю историю человечества, а в значительной степени и

дворянское и еврейское — опять же Ленин, а далее Чичерин, Кржижановский, Семашко, Троцкий, Луначарский, Цюрупа? Все, все — свидетели?

А что, если представить себе диалог между подсудимым Николаем Вторым Романовым и свидетелем Сталиным-Джугашвили? Без этого диалога какой же мог быть Суд над властью в России Двадцатого века?!

Свидетель Максим Горький (Пешков) обязательно должен будет объяснить Суду: 1) По каким причинам он противостоял императору Николаю Второму? 2) По каким причинам и соображениям изложил свои «Несвоевременные мысли» — мысли, опровергающие советскую власть? 3) По каким причинам и соображениям стал лучшим другом советской власти?

Свидетель Алексей Толстой — тоже: «...мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом»

Тут мир всех времен и народов привлечь в свидетели — все равно мало, того и гляди, неземные жители понадобятся! А кто будет переводчиком? Может быть, Николай Второй?

И как будут вести себя свидетели до Суда, во время Суда и после него? Отнюдь не исключено — перегрызут друг друга, наставят друг другу синяков, — а тогда сколько же еще судебных дел возникнет? А то — запьют-загуляют и в загуле назаключают договоров о дружбе, о содружестве?

Особое место, чувствовал Нелепин, должен занять среди свидетелей дворянин Феликс Дзержинский, пламенный борец со всеми, кто «готовил петлю для рабочих и крестьян», конкретно — с Троцким, Каменевым, Зиновьевым внутри ВКП(б) и Бог знает с какими еще контрреволюциями вне партии.

Железный Феликс в качестве свидетеля в Суде, инициированном Гр. Нелепиным, — ситуация невиданная в мировой судебной практике, а ведь Нелепин даже не имел не то что высшего, а хотя бы какого-никакого юридического образования! Не имел он и систематических знаний по истории ЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ, разве только по «Краткому курсу истории партии», но этого же — недостаточно!

Дилетант, да и только!

И как это прежде не приходило в голову, что дилетант! Когда же пришло, он растерялся донельзя и понял, что это такое — «донельзя»!

Конечно, ничего не стоило Нелепину всю вину за то, что Суд так и не состоится, списать на Николая Второго, но это было бы и очень уж банально, и весьма непорядочно. На императора и так уже столько было списано бед — должно было хватить на века вперед. Другое дело, что не хватило на век один-единственный. Двадцатый.

Нелепина оторопь брала, полное расстройство чувств у него, у дилетанта, наступало, стоило ему подумать о том, какие вопросы к Суду и к свидетелям могли возникнуть у императора, окажись он на подсудимой скамейке.

Каково было бы при этом положение Нелепина? Нелепинского воображения, по его собственному приказу полностью мобилизованного, не хватило бы для того, чтобы нарисовать себе только часть, положим — только одну двадцатую, этого положения.

И это при том, что Нелепин и не представлял себя в каком-нибудь другом качестве, кроме как в качестве демократа, у демократов же — это давно известно — воображение должно быть развитым. Да-да, если бы не демократическое мышление, каким бы это образом в его сознании возник его сюжет?

Никогда!

Судить власть не трибуналом, не «тройкой», не Политбюро, а всего-навсего гражданским судом по сценарию одного из граждан, приговаривать не к вышке, даже не к сроку, а только к вердикту «виновен — не виновен», — это что-то новенькое! По плечу ли новизна?

Едва задумав сюжет, Нелепин уже сомневался в нем, то есть — в себе. Сомневался, но сил отступить не было, не хватало. Для отступления сил надо было заметно больше, чем для наступления.

Когда бы Нелепин был фигурой более значительной, когда бы от него зависели судьбы других людей, он, ей-богу, сам над собою искал бы такого суда еще при жизни. Тем более — после смерти, и исключительно в на- зидание следующим поколениям. Этаким суд стал бы воплощением истин- ного демократизма.

Однако, в качестве истинного, демократизм Нелепину и не дался.

И что же решил Нелепин в этой ситуации? Он решил отлучить Нико- лая Второго от современности, обязательно отлучить: дожил император до третьего квартала 1918 года, а дальше никакой реанимации. Будь ты хотя бы и Царем Небесным — все равно никакой, ни в коем случае!

Однако и это бесповоротное решение не освободило Нелепина от свя- той обязанности защищать демократию от монарха и монархизма, защи- щать в принципе.

Дело оказалось не таким уж простым, как чудилось поначалу.

Монархии-то демократические сложности нипочем: ни ей избиратель- ных бюллетеней, ни разнопартийных программ, ни предвыборной и вы- борной борьбы, агитации и пропаганды — ничего подобного, а значит, и расходы из народного бюджета поменьше, чем на содержание парламента. Если же учесть расходы на аппарат президента — уже никаких сомнений: меньше и меньше.

И народу без забот: откуда и почему на его голову свалился власти- тель? Свалился — значит, воля Божия, праздной коронацию. Если же ко- ронация сопровождалась Ходынкой — опять все та же воля. Все просто, но все дело в том, что мир не идет от сложности к простоте, идет все к боль- шим и большим сложностям. К тому идет, чтобы современность была де- лом исключительно современников, и вот Нелепин уже не был потрясен тем обстоятельством, что судьбы России не прогнозируются ни в будущее, ни в прошлое.

Тут на днях в его письменном столе обнаружилась групповая фотогра- фия — все те, кто вчера, а может быть и сегодня, расстреляли императора с семьей. Человек двадцать, вид у всех более чем удовлетворенный... Еще бы — хорошо исполнили достаточно важное дело. Далеко не каждому до- водилось исполнить такое же.

Одна фигурка помечена крестиком — главный. Надо думать — Юров- ский. И что же подумал Нелепин?

Он подумал: труп надо было бы положить этим людям на переднем плане, иначе могут не поверить.

Еще он подумал, что Суд-то все-таки должен быть, что, может быть, никого на свете ближе, чем он, к этому Суду не было и нет, а все-таки он пошел на попятную. Не совершил поступка, так что все последующие пра- вители России могут спать спокойно. Ну, конечно, о правителях пишут и будут писать, их критикуют и будут критиковать, их поливают и будут по- ливать то елеем, а то совсем другими жидкостями, но это не суд с проку- рорами и адвокатами, с протоколами и деломпроизводством, которое в уме уже почти что выдал на-гора Нелепин.

Нелепин стал давать объяснения самому себе — как получилось?

Объяснения оказались самыми примитивными: будь он полностью освобожден от житейских забот, от необходимости зарабатывать на жизнь, от тревог за детей, за внуков, от уплат за газ, электричество, воду, за жил- площадь в целом, вот тогда бы...

Он и сам знал, что «тогда бы» — это только кажется, и не более того.

Ну а после встречи с монархом, которая планировалась Нелепиным как встреча тет-а-тет и происходила в каком-то не совсем определенном пространстве, Нелепин вернулся домой и в домашней обстановке понял бесповоротно: его сюжет не по нему!

Какие бы ограничения ни принимал он нынче для сюжета, какой бы ни применял к нему литературный жанр, на какое бы литературное на-

правление ни ориентировался, какой бы грядущей премией себя ни воодушевлял — ничего у него не получится. Ничего!

И как бы прекрасно было свой собственный сюжет кому-нибудь безвозмездно и благородно уступить?! Уступить было некому, мировая литература и та не возьмется, ни самая современная, ни самая историческая.

Суд над властью... Но как раз в тот момент Нелепин особенно чувствовал присутствие власти в его собственной жизни, присутствие с младенческой его поры.

Вот была гуглаговская советская власть, вот настало президентское, сенаторское и думское безвластие, но и то и другое определяют его образ жизни до мелочей, определяют направление его нынешних мыслей.

Вот он, бывший советский человек — хотя и не сидел в тюрьме, но все равно советский, — живет в квартире государственной, квартира приватизирована, но государство не то что его квартиру — всю семиэтажку запросто снесет, его, Нелепина, не спросит.

В личном пользовании Нелепина остается его физиология, но ему представляется, что не вся, а только частично и только на условиях аренды самого себя.

Вот он умрет, его будут хоронить, и опять процедура определится властью: она назначит ему и кладбище, и размер кладбищенских платежей, а того больше — взятки, которыми обложат его труп государственные чиновники из ведомства «Ритуальных услуг», да и многие другие ведомства не останутся в стороне, если можно будет хоть немножко не остаться. Если они тесно и успешно сотрудничают с частными, тоже ритуальными фирмами.

Из такого-то положения и хотел выкарабкаться Нелепин, и оказалось, что он все еще на что-то надеется, может быть, даже и на действительность: вдруг она какую-никакую встречу с кем-нибудь учинит, для того и учинит, чтобы изгнать тоску по сюжету его собственной конструкции?

Вдруг какое-нибудь хобби ему подскажет? Вдруг по подсказке он займется коллекционированием небольших, более или менее скромненьких, а все-таки сюжетиков? И даже — сюжетов? Он их соберет десяток-два, запишет в специальную тетрадочку, в специальной пронумерует, а потом и выберет из них какой-нибудь один?! Самый великолепный!

Ведь это же будет не что иное, как свобода, полная свобода выбора?!

Нынче скелеты императора, членов его семьи, его доктора выкапывают, показывают по телевизору: фиолетовые пятна на черепах, на костях рук, ног и тазобедренных — что-то вроде татуировки, которую нанесло на них время.

Чем не сюжет?

Специалисты усердно работают над этими скелетами, шуруют, пусть и осторожно, металлическими щипчиками, хотя требуется-то здесь инструментарий еще не изобретенный; тут даже лазер и тот примитивен.

Генетики тоже трудятся, устанавливают родственные связи между скелетами, и медики тут же, и археологи, и химики, и еще Бог знает какие специальности требуются, но никто не знает — кто же здесь требуется, чтобы учинить Суд?

Чем не сюжет? Чем не роман, хотя бы и под названием «Гибель сюжета»?

Или: скелеты закапывают обратно в землю в порядке государственного предостережения — ни один писатель не должен, не имеет права судить власть?

Так или иначе, но факт: Нелепин все еще заиклен на монархии, и не потому, что идея ему близка, что он идее симпатизировал, а как раз наоборот: потому, что судить монархию все-таки гораздо проще, чем любую другую власть — демократическую, республиканскую, социалистическую. Власть эта внятная, и судебные издержки гораздо меньше, чем в любом другом случае.

Нелепин, как он сам о себе думал, был человеком, которому отнюдь не чужды суждения простые, прагматические, и на этой-то простоте он и погорел, и поднял перед нею лапки кверху.

Чтобы быть от собственной несостоятельности подальше, он пустился в размышления общие, чуть ли не философские: стал думать об отношениях между знаниями и незнаниями. Вот так: каждое знание, едва обозначившись, вызывает множество ничем не обозначенных незнаний. Еще и при том, что человек каждое свое знание принимает за самопознание, хотя что-что, но сам-то человек для себя загадка навечно неразрешимая.

Когда же человек полностью убежден в том, что он руководствуется своей системой знаний, это — вопрос, это — сомнительно. А вдруг — и системой незнаний? Во всяком случае, Нелепин был убежден: система незнаний, очень строгая, последовательно требовательная, погубила его сюжет.

Вот так же она погубит и скелеты императорской семьи, погубит для истории, для суда современников.

Нелепин уже не раз приходил к выводу, что на его долю придутся сюжетики крохотные, самые что ни на есть житейские, самые случайные, что их-то и будет он заносить под №№ в специальную тетрадку.

Конечно, в них неизбежно будут вклиниваться жалкие осколки великого сюжета — для нищего и они хороши.

Сюжет № 1

ДЯДЯ МИША

Еще недавно, месяц-другой тому назад, Нелепин не только не замечал попутных пассажиров в метро, в автобусах, в троллейбусах, но и не любил их: они толкались. Кроме того, многие из них в общественном транспорте почему-то сидели, а он почему-то всегда стоял. Разве только в полдень в троллейбусах № 15 и 31 народа было поменьше, и он с удовольствием тоже усаживался. Иногда — у окна. Усаживаясь, обязательно о чем-нибудь думал. О чем-нибудь серьезном.

И только с недавних пор Нелепина стали занимать троллейбусные разговоры, больше того — он в них слегка участвовал. И так для себя решил: два самых интересных разговора — один с мужчиной, которого условно он назвал Мишей, и другой с симпатичной женщиной — Наташей — он занесет в свою новую «сюжетную» тетрадь. Занесет независимо от того, серьезный получится разговор или так себе. Два. Больше можно, меньше — нельзя.

В троллейбусах № 15 и 31 разговоры велись главным образом на политические и околополитические темы: почему, по какой причине президент не сошел с самолета в Ирландии? Почему дирижировал оркестром в Германии? А помните, он еще и под Москвой, в России, в Барвихе, кажется (уж эта всем гражданам ненавистная Барвиха!), с мостика в воду загудел? А Жириновский, тот всем дает жизни, но больше ничего не дает. Ну хотя бы дрался почаще в Думе, что ли? А Руцкой почему не поминает о двенадцати чемоданах с секретными документами? Приоделся, усики подправил и о чемоданах забыл. А почему это Гайдар лысый — чем объяснить? А Чубайс — рыжий. Значит — хитрый?

Ну, конечно, шли бесконечные разговоры о ценах, об инфляции, о пенсиях, о Мавроди: каждый как умеет, так и охмуряет русский народ. Русский народ — он настолько хороший, что охмурить его ничего не стоит. Каждый, кто хочет, именно так и делает.

А современность, та с очевидностью проявляется в порядках и беспорядках городского транспорта. Постояв на остановке троллейбуса минут тридцать — сорок, Нелепин хорошо это усваивал. Много зависит и от погоды, что идет: дождь, снег, жара, духота? Погода идет, а троллейбус или автобус не идет — обычное сочетание, как бы уже и природное. Посадка в троллейбус (автобус) — событие. Если и не историческое, так нынешнего дня — обязательно.

Между пассажирами одного сиденья запросто возникают нейтральные и даже вполне дружеские разговоры: как-никак, а привилегии людей сближают. Отсюда и беседы: почему нынче сахар, чем болен и болен ли президент, будут ли введены купюры нового образца, стоит ли вести переговоры с Дудаевым. Но это только между сидячими. Между стоячими — гораздо реже, между стоячими и сидячими — никогда, рознь почти что классовая.

Нелепину нынче тоже хотелось бы с кем-нибудь побеседовать — вдруг повезет! Насчет сюжета! И он выработал план активных действий: он поговорит сначала с Наташей, потом с Мишей. Впрочем, можно и наоборот — сначала с Мишей, а уже потом — с Наташей.

Неудобно же спрашивать — как вас зовут? Имя, отчество, фамилия — как? А твое какое дело? — спросят тебя. Хорошо, если только спросят.

Первой ему встретилась не Наташа — что было бы, безусловно, приятнее, — первым встретился Миша. В троллейбусе маршрута № 15.

Случилось это в полдень, в полупустом троллейбусе, все пассажиры сидели — маленькое, а все-таки счастье. Мирно было, тихо было, разговорчивая была в троллейбусе атмосфера.

Миша сидел у окна, внимательно смотрел на весенние мусорные улицы. Ему было за сорок, шапка еще зимняя, меховая, последнего срока службы, куртка нейлоновая, универсальная — и зимняя, и почти что летняя. Нелепин присмотрелся внимательно, Миша показался ему трезвым.

Он подсел к Мише в полном к нему расположении, даже и не продумав вопроса, с которого следовало бы начать беседу. Он спросил:

— Вы курите?

— Давай! — ответил Миша не оглянувшись. Продолжая внимательно смотреть в окно, положил руку на колено Нелепину.

— Чего — давать? — растерялся Нелепин.

— Папиросу! Можно и сигаретку. Можно. — Голос у Миши был с хрипотцой, доносился будто бы откуда-то издалека, неизвестно откуда.

— Я не курю!

— Издеваешься или — как? Или — поговорить захотелось?

— Вот именно — поговорить! — согласился Нелепин. Охотно и согласился-то.

— Так бы и сказал. Сказал бы: жизни нету — одна подлость. Власти нету — одно воровство. Порядку нету — один бардак.

— Можно о чем-нибудь еще? О чем-нибудь другом?

— А другое — оно где?

— Где?

— Там, где нас нету. Видать, интеллигент? Каким трудом живешь-то? Чем существуешь?

— Я... Я больше дома. У меня труд литературный.

— Неплохо устроился. Значит, жена вкалывает? Поди-ка, предпринимателя какого-никакого обслуживает? Понятно, почему не куришь — жена строжится. И — не пьешь, бедняга?

— Немного. Где-нибудь в гостях.

— Так-так... В гостях пьешь, а гостей не угощаешь? Такие сволочи тоже бывают... Сколь угодно.

— Вы-то и курите, и пьете? А во всем мире идет борьба с курением и с пьянством!

— Мало что во всем. У нас — поощряется. Инфляция и та старается не касаться водки. Пей, народ! Поддерживай государство! Президента поддерживай! Без поддержки все они — что? Без поддержки все они — ничего! Без водки наше государство, бюджет государственный голый, как без штанов. Ну? А где папироска-то? Пообещал — будь человеком и давай. Ты же не президент, чтобы обещать и в ту же минуту обещанное забыть? Ну?!

— Так нету же у меня! Неужели непонятно — нету!

— Конечно, непонятно! Сам не куришь, сам не пьешь, хотя бы других угостил, жмот! Для других у тебя мировая борьба с курением и с пьянст-

вом, да? А я говорю, если государство меня не поддержит водкой, повысит цену — я это государство буду громить! Я ему «Белый дом» устрою, будь здоров! Ты тоже имей в виду: я из афганцев, из самых ранних, я шутить не шучу. Я обещанное, хотя б и с живого, хотя бы и с мертвого, привык брать. Я оскорблений не потерплю!

— Трудная была война в Афганистане, — заметил Нелепин. — Тяжелая была война.

— Когда бы легкая, так это вовсе не война.

— А что бы это было — легкая война?

— Грабеж — вот что. Войти в дом, пошариться в доме, какое там есть добро, колечко снять с жены, мужа стукнуть, чтобы не вякал, не вздумал жаловаться, бежать в комендатуру — это правда что не трудно. И выучки особой не надо, буквально каждый может. Один раз сходил под чьим-то руководством, а во второй уже — вполне самостоятельно. Где папироса-то? — Миша похлопал рукой по колену Нелепина, рука была твердая, будто деревянная. Нелепин на его руку не смотрел, смотрел Мише в лицо. Ему показалось — с Мишиного лица глаз спускать не надо, иначе ударит.

Мишино лицо — он теперь обернулся к Нелепину — оказалось ярко-красного цвета, с лохматыми белесыми бровями, с большим ртом, с большим приплюснутым носом. Первоначальное впечатление Нелепина было неточным: Миша был заметно поддавши.

— Ну?! — произнес он с еще более решительным видом, и тут-то и пахло на Нелепина спиртным. — Ну?! — повторил Миша. — Сколько разов одно и то же повторять? Или — бестолковый, не понимаешь? Или тебе надо внушать? Чтобы понял?

— Внушать? Каким же образом?

— Ничего не понимает интеллигент! — с сожалением вздохнул Миша. — Всю жизнь интеллигент, да? И в детстве никто жизни не учил, да? Беда с вами, с такими! Вам бы только учить кого-никого, а учить надо вас! Всех и в самую в первую очередь. Ну, когда так, сейчас ты меня поймаешь! — Миша плюнул себе в ладонь, размахнулся и ударил Нелепина в щеку. Громко ударил, не так Нелепину было больно, как было ему слышно. Все му троллейбусу было слышно.

— Свинья! — заорал Нелепин и в беспамятстве и в злобе тоже съездил Мишу по физиономии. По носу и по щеке.

Оба вскочили. Нелепин оказался в проходе, ему легче было маневрировать, Миша находился между сиденьями, стоял левым боком, но бил с правой.

Пассажиры из соседних рядов молча ушли кто к заднему, кто к переднему выходу, одна, еще молоденькая, мамаша с маленьким, лет шести, мальчиком была в восхищении:

— Смотри, Толик, смотри, как этот того бьет! А теперь — тот этого! Здорово, а?!

Толик тоже ликовал:

— У-ух здорово! Ты смотри-ка, мамочка, сейчас они друг дружке врежут! Сейчас они врежут!

Водитель троллейбуса высунулся из кабины и громко предупредил:

— Граждане пассажиры! Будьте сознательными! Честно говорю: разобьете стекла — никого не выпущу, ни одного человека, пока не заплатите! Выходите все на улицу, там что хотите, то и делайте! А здесь — стекла!

И верно: троллейбус остановился, двери, передняя и задняя, открылись, пассажиры стали торопливо спрыгивать на тротуар, тем, кто остался, водитель объявил:

— Всем, всем сходите! Всем очистить салон во избежание недоразумений! Все сойдите! Кому ехать дальше — посажу снова, а сейчас — во избежание недоразумений!

Тут кто-то запротестовал: мы-то не деремса, мы-то при чем?

Водитель разъяснил:

— Такая на данный случай инструкция!

Пассажиры нехотя, но подчинялись. Через переднюю дверь вышли мама с восторженным мальчиком Толей, за ними — Нелепин.

Миша прыгнул через дверь заднюю, и Нелепин подумал — драка кончилась, но только он так подумал, тут же по краю тротуара Миша подбежал к нему и замахнулся. Нелепин уклонился и сильно ударил противника в грудь. Миша пошатнулся, покачался туда-сюда и упал на спину. Из рта у него показалась пена, он дышал хрипло, прерывисто, и какая-то женщина закричала:

— Бьют! Бьют! Насмерть убивают! — и побежала прочь. Другие пассажиры молча, толкаясь, усаживались в троллейбус снова.

Нелепин не знал, что делать. Хотел было бежать, но как теперь оставить Мишу? Вдруг начнет умирать? Придется звонить в «Скорую».

Какой-то прохожий, человек, должно быть, знающий, наклонился к Мише, пощупал у него пульс и сказал Нелепину:

— Что стоишь-то над ним? Караулишь-то чего? Караульник! Или он тебе друг? Он через пять минут встанет, вломит тебе и еще милицию позовет — вот этот меня избил! В милицию захотел, ага? Давно не был, ага?

Прохожий пошел дальше, а Нелепин постоял-постоял и тоже ретировался в молочный магазин. Через дверное стекло стал наблюдать — что еще с Мишей будет?

С Мишей не было больше ничего, прохожие обходили его стороной, кто помоложе — те просто через него перешагивали: молодые всегда куда-нибудь торопятся. Так прошло несколько минут; Миша, подрыгавшись лежа, сел. Посидел минуточку-другую, затем с трудом поднялся. Пошарил в кармане, вынул пачку папирос. Вставил папиросу в рот, еще пошарив, достал из кармана зажигалку. Закурил. Закурив, побрел прочь — мимо дверей, за которыми стоял Нелепин. Стоял неподвижно. Надо бы выскочить из молочного магазинчика и убить Мишу — надо бы, но Нелепин заметил: одна рука, левая, была у Миши деревянной. Во всяком случае — искусственной. Твердая, она-то и лежала у Нелепина на коленях, покуда они беседовали, а Миша требовал папиросу.

Инцидент так или иначе, а был бы исчерпан, если бы не одно обстоятельство: во время драки Миша плюнул Нелепину в лицо. Плевков был сильный, вонючий, отвратительный, и, вытирая с лица носовым платком собственную кровь и чужой вонючий плевков, Нелепин содрогался в отращении: теперь ему предстояло жить оплеванным! Он утешал себя: в первый раз, что ли? Кем он только не бывал оплеван: и правительством, и продавщицами, и деятелями жилищного управления — всех не перечислишь.

Однако до сих пор плевки были условные, нравственного, морального порядка, и пожаловаться можно было любому и каждому, едва ли не любой и каждый тоже ведь считал себя оплеванным, нередко — с ног до головы, но о нынешнем плевке и сказать-то было стыдно. Самому себе признаться, что ты натурально оплеван, — стыдно.

Пойти, побегать, догнать Мишу, избить его в злобе и ненависти? У Нелепина сил хватит, он знал — хватит, хватит! Но человек-то однорукий? Инвалид! Если не врет — инвалид Афгана... Кроме того, надо было спешить в поликлинику. Физиономия у Нелепина кровоточила: в стеклянных дверях магазина он видел свое отражение. Лучше б не видеть!

Мимо Нелепина входили-выходили люди с бутылками, со стеклянными банками под молочное, с авоськами; никто из них его не замечал. В магазине выбросили сметану и кефир, народа заметно прибавилось.

У «Склифосовского» Нелепина перевязывала торопливая женщина со следами крови на белом халате, седая уже.

Она, ни о чем не спрашивая, быстро, умело ощупала лицо Нелепина.

— Так вы **вовсе** счастливчик! — сказала она Нелепину.

— Я?!

— Ну а кто же еще! Редкий случай: ведь как вас разделали, живого места нет, а перелома ни одного! Переносица цела, челюсти целы, зубы все еще хорошие. Чем вас били-то? Твердым предметом?

— Кажется, твердым..

— Обычная история... А — не протезом ли?

Нелепин удивился догадливости докторши. Действительно, подумал он, вовсе не редкий случай во врачебной практике. Удивившись и помолчав, он сказал:

— Кажется..

— Ну вот, ну вот, а теперь — потерпите. Сейчас продезинфицирую и перевяжу. Походите в бинтах недельки три, а там пройдет. Следы, если останутся, — вовсе незаметные. Одна беда: бинтов в больнице полный дефицит. Если придете на перевязку, принесите свой бинт. Сможете?

— Смогу, — согласился Нелепин. — Вы мне, пожалуйста, лицо хорошенько промойте, боюсь заражения. Заражение вполне возможно.

— Спиды боитесь? Не бойтесь, очень редкое заболевание. Не знаю, как через год-два, а нынче шанс все еще почти равен нулю.

Нелепин терпел, слушал врача, думал: сюжет? Думал: он самый!

Сцена была, имела место, и этого было для нее самой вполне достаточно. Нелепин мог эту сцену домысливать, дополнять, все, что угодно, с ней делать — она все равно была.

Другое дело — дать сюжету название. Сюжет всегда имеет название. Пока у него нет заголовка, он ничто. Нелепин больше двух недель ходил на перевязки, а придумать так ничего и не мог. Ни юмористического названия, ни драматического, ни чего-нибудь совершенно глупого. (Откровенная глупость привлекательна своей откровенностью.)

Любопытно: Миша, несмотря ни на что превратившийся в дядю Мишу, являлся Нелепину как предмет его размышлений. Очевидно, дело было в том, что дядя Миша имел вид дяди Миши: мешковатый, с пестрой физиономией (красное с фиолетовым), курносый, с сильным запахом и с деревянной рукой хам.

Когда Нелепин только замышлял встречу и беседу в троллейбусе, он примерно таким своего собеседника и представлял, ну разве что не с деревянной, а с настоящей рукой, такого ему и нужно было в соответствии с его собственным замыслом. Ему хотелось, необходимо было жизненное разнообразие, он чувствовал свою замкнутость в круге физиономий «высококультурных».

Желание сбылось: чего хотел, о чем почти что мечтал, то и получил.

Он ведь заранее представлял человека из какого-нибудь не совсем жилого угла, в углах которого стояли пустые бутылки из-под водки, постель далеко не первой чистоты никогда не прибиралась на день, форточка же открывалась изредка, в виде исключения...

В замысле этом, в этом желании было и нечто идиллическое — встретиться с человеком, поговорить, удивиться, а то и пособолезновать: наде же, человек живет! Не только узнать, но и зафиксировать мнение такого человека по поводу власти, по поводу современности вообще. Собственно, Нелепин и без встреч, без собеседований это мнение знал, ошибиться в своем знании никак не мог, но ему нужна была непоколебимая конкретность, фольклор нужен был.

Дядя же Миша, разумеется, усматривал в лице Нелепина современного и заведомо ненавистного буржуа: чистенький, разговаривает на «вы».

Не то чтобы «чистенький» был новым и настоящим капиталистом — настоящие троллейбусом не ездят, у них «мерседесы», но таких средненьких, ни то ни се, дядя Миша презирал еще больше. Оттого-то и тянулся к ним: таким запросто можно что-нибудь такое выдать, и не только на словах.

Возможность была реализована, и дядя Миша, по всей вероятности нынче чувствовал удовлетворение. Вполне вероятно — немалое.

Нелепин же вел сам с собой собеседование на тему, которая от него не отступала: о власти.

Предположим, Нелепин обратился бы за помощью и за законностью в милицию: так и так — человек меня оскорбил в общественном месте, че-

ловек меня оплевал, оплевав, избил (переломов не нанес, хирургического вмешательства не понадобилось) — возбудите следствие привлечите к ответственности, оградите!..

В отделении милиции на такого посетителя-просителя глаза бы выпучивали: жив? Вот и благодари Бога! Ну а если бы в отделении узнали, что Нелепин первым обратился к дяде Миш: «Вы курите?», тогда, пожалуй, криминал был бы приписан ему

Кроме того, в выражении лиц милиционеров Нелепин, наверное, уловил бы предчувствие вполне возможного выбора если случится стенка на стенку, если дядя Миша — одна стенка, а Нелепин — другая, тогда данный милиционер, данное отделение милиции какую сторону выберут?

Иначе говоря: знай, в каком государстве и при какой власти ты живешь. Зная, делай самостоятельный выбор — то ли дядю Мишу убить, то ли ему пособолезновать калека — это раз, вернее всего, афганец — два, человек больной, падучая у него, — три

И т. д.

И в том же сомнении, которое касалось дяди Миши, природы власти и самого Нелепина, Нелепин под № 1 и занес сценку в специальную сюжетную тетрадь, но под заголовком не «Миша», а «Дядя Миша».

Занес, потом стал разбираться в собственной памяти: что-нибудь светлое и даже что-нибудь высокое захотелось ему в своей памяти обнаружить для записи сюжета № 2. Память — на то она и память: все-таки она хранит в первую очередь что-нибудь гуманное, как бы даже и вечное, а затем уже все остальное.

Сюжет № 2

ЧЕХОВ — СЕМЕНОВ

Да, да: при выборе сюжета нельзя, невозможно обойти память собственную. Память — та же жизнь. Та же или даже более жизненная. Она не столько прошлая, сколько текущая сегодня. Вспоминаешь-то ты в сию минуту...

Память даже больше «я» — «я» сиюминутного. Сиюминутность тебе навязана, а память — нет, она уже совершила свой выбор, именно поэтому она и жизнь твою знает лучше, чем знаешь ее ты.

Животное еще и потому животное, что у него нет памяти. Привычки — да, инстинкт — да, чутье, сформировавшееся в прошлом, — да, а память — нет. Память календарна.

Что и говорить — без «памятных» страниц Нелепин своих записок не мог представить. Глобальные или махонькие случаи вспоминались, значения не имеет. К тому же память тяготеет к приятностям, неприятности у нее на втором плане.

Так вот, Нелепин полагал, что у него была встреча с Чеховым. С Антоном Павловичем. Оставшаяся в памяти на всю жизнь.

Был и посредник — директор Дома-музея Чехова в Ялте. По фамилии — Брагин. Георгий Сергеевич.

Брагин когда-то работал редактором в «Худлите» (государственное издательство «Художественная литература»), Нелепин его еще там, в Москве, слегка знал, потом Брагин переехал в Ялту, в «чеховский дом». У него открылся туберкулез — уважительная была причина переезда.

А Нелепину, «начинающему», «молодому» — еще как они назывались, эти недоросли? — в ялтинском Доме творчества писателей Союза ССР отвели (бесплатно!) крохотную такую комнатку, даже и не комнатку, а терраску с солнышком насквозь, оттуда он и повадился посещать Чехова. Роман

надо было писать — первый! — нет, не очень-то шло, зато в «домик Чехова» он хаживал едва ли не каждый день и очень подружился с Брагиным.

Однажды Брагин, с видом несколько загадочным, спросил у Нелепина:

— А знаете — что?

— Нет, не знаю...

— А давайте-ка я познакомлю вас с Антоном Павловичем накоротке!

— То есть?

— То есть завтра приходите к закрытию музея, а тогда и узнаете, что значит «накоротке».

Вечер тот раз выдался подлинно ялтинский, черноморский; желтоватое, остывающее солнце клонилось к горам, окрашивая легкие облака над заливом густо-багровым и нежно-розовым с тончайшими оттенками оранжевого и зеленого; водная гладь расстилалась под этим небом, и была она без единой складки-морщинки, не оказалось на этой глади ничего, ни одной точки — ни катеров, ни кораблей, ни людей в лодках, только отраженное предзакатное многоцветие по голубому. Такую окраску и Айвазовский не передал бы, не сумел. Окраска — только для природы, только для самой себя, ни для кого больше! Кипарисы тоже были не шелохнувшись, будто извечно неподвижны, будто ни одна веточка на них не колебалась никогда: ни вправо-влево, ни вверх-вниз.

Известно было: час-другой — и солнце опустится за горы, наступят сумерки, ночь наступит, но сия минута казалась вечной, вечность, а не что другое, была ее смыслом, и в доме Чехова, во всех комнатах были распахнуты окна, и в дом вливался пряный воздух, Антону Павловичу все еще дышалось здесь легко.

Брагин и Нелепин прошли прихожей. Прошли будто бы в первый раз, будто не зная, где и что расположено. Заглянули в комнатку матери Чехова, вошли в столовую. Прошли столовой. Обеденный стол, стул, сидя на котором неизменно завтракал, обедал, ужинал Чехов, а рядом, с левой руки, хозяйничала его сестрица Мария Павловна.

Вошли в кабинет — осторожно, будто половицы могли под ними за скрипеть. Здесь стояли долго и неподвижно, потом Брагин отстегнул бечевку — она отделяла нишу, письменный в нише стол — и тихо сказал Нелепину:

— Сядьте! — и указал на кресло по ту сторону стола.

Нелепин обомлел:

— Нельзя же! Что вы?!

— А зачем я вас звал сюда? Сядьте! — подтвердил Брагин и отошел в сторону, чтобы не мешать, не стеснять Нелепина.

Нелепин сделал три шага и сел, потом и руки положил на письменный стол, будто писал. Осмелел. Не совсем, а все-таки. Все вокруг, почти что ничем не особенное, стало всем особенным, все предметы. Тем более — замыслы и тексты, которые здесь возникали, происходили именно отсюда, а затем шли по всему свету — по всем островам, полуостровам и материкам. Где были люди, там и они были. Сидя за столом Чехова, Нелепин вспомнил сценку, которая здесь произошла.

В одно из недавних посещений музея он присоединился к американской, а может быть английской, группе туристов, в который раз слушая пояснения сотрудницы музея. Он слушал очень внимательно, но вся группа — не очень, а одна молоденькая, хорошенькая, под мальчишку стриженная женщина — та смеялась, хлопала в ладоши, неизвестно, зачем она сюда пришла.

И вдруг она остановилась перед рисунком к «Даме с собачкой» — дама была в шляпке, в длинной, тех времен, юбке, на поводке — белая собачка спиц.

— Lady with a small dog?! — произнесла негромко эта веселая женщина, побледнела и, закрыв лицо руками, заплакала. Ее успокаивали, она — нет, не успокаивалась, она выбежала из дома...

Она не поняла, что находилась в доме Чехова, или не знала, что «Даму с собачкой» написал Чехов, и ей было очень стыдно.

Она и теперь, увидев Нелепин, плакала по ту сторону чеховского письменного стола, а Нелепин смотрел на нее с места Чехова и, растерявшись, не знал, что делать: заплакать тоже?

Когда он вышел к Брагину в столовую — ничего ему о случившемся не сказал. Очень хотелось сказать, но еще больше не хотелось.

И на кровать Чехова Нелепин прилег опять по требованию Брагина Простенькая кроватка, жесткая.

И котелок чеховский он надел на свою голову

А кожаное пальто накинул на плечи. Пальто великовато ему было.

В спальне, рядом с кроватью, стояла тумбочка, в тумбочке лежал револьвер старой системы, «смит-вессон», с барабаном.

Мирный из мирных человек, Антон Павлович Чехов, оказывается, владеет огнестрельным оружием. На всякий случай. Это принято было в чеховские времена, для каждого этот вопрос был вопросом личным: хочешь стрелять или стреляться — стреляй или стреляйся, общественность и правительство не вмешиваются, нужды нет.

Потому и дядя Ваня запросто стрельнул в профессора Серебрякова, своего гостя, и никто, даже сам гость, не обратил на это исключительного внимания. Просто, обидевшись, гость уехал, вопрос о применении огнестрельного оружия даже и не возник. А ведь жизнь ценилась выше, чем нынче, не боялась оружия, знала, как с ним обращаться.

Но это позже Нелепин о чеховском револьвере задумался, а в тот вечер он, в сумерках уже, в быстрых, в южных, вернулся в свою комнатку-веранду, в столовую Дома творчества ужинать не пошел, лег и долго лежал неподвижно, чтобы впечатления во всех подробностях оставались при нем.

Он с ними всю жизнь затем и оставался, объяснял себе, почему толстовская Ясная Поляна не производила на него столь же интимного, трогательно-скромного и благородного впечатления.

Лев Толстой ничуть не удивился бы, узнай он, что его Поляна станет на весь мир известным музеем, что музей этот будут посещать миллионы и миллионы людей из самых разных стран. А вот Чехов Антон Павлович, тот — нет, тот и не подозревал, что домик в Ялте станет музеем. Узнай Чехов об этом, он очень бы смутился и сказал бы: ладно уж, ладно — не будем об этом...

Великий учитель Лев Толстой метался чуть ли не всю жизнь, не зная, как ему жить, как умереть, а скромный доктор Чехов точно знал и то, и другое.

Чехову было все равно, к кому он ближе — к современному и сюжетному Толстому или к тем древним, которые гусиным пером писали бессюжетные «жития». Он редко ступал в социальную публицистику и никогда ни шага — в историю, в настоящем у него было собственное место, с которого он и шагнул в будущее, едва ли не дальше великана и мудреца Толстого. Но ни с кем и никогда он не делил ни прошлое, ни будущее. Полная самодостаточность.

Нелепин бывал в Таганроге, в Звенигороде, в Мелихове, в Ялте и в том московском доме странной архитектуры по Садово-Кудринской, 6, который Чехов называл «комодом», откуда он отправился в свое (публицистичное?) путешествие на Сахалин, куда с Сахалина вернулся. Здесь, на протяжении каких-нибудь трехсот метров, почти рядом с Чеховым жили в свое время и Чайковский, и Шаляпин. Конечно, случайность, но свойственная России: в ту пору гении водились в ней запросто.

Нынешнее Садовое кольцо давно перестало быть садовым, пересечение кольца с Большой Никитской стало горячей точкой Москвы: дым, гул, котлованы каких-то строек, тысячи машин, и ни одна не снизит скорости, никто из нее не выглянет — поглядеть на «комод», на дом Шаляпина или Чайковского. Нынешнему времени нет времени оглядываться куда-нибудь, тем более — в прошлое.

Нелепин же продолжал в «комод» захаживать, чеховская самодостаточность продолжала и продолжала его удивлять, Чехов все еще был для него и самым таинственным, и самым близким писателем жизни и смерти человеческой. Толстой написал большую вещь «Смерть Ивана Ильича». Чехов в рассказе «Архиерей» обошелся, говоря о смерти, одной строчкой.

В чеховской простоте было что-то невероятное (оказывается, и так бывает! Как только не бывает?). В чеховское время бурные происходили события: политические убийства без конца, забастовки, демонстрации, война с Японией уже шла, — ни одно из подобных событий Чехов будто бы и не замечал, писал о жизни самой обыденной, грустной, отличавшейся только тем, что ничем сколько-нибудь особенным она не отличалась. Сюжет в его вещах то ли был, а то ли его и вовсе не было?

Может быть, именно таким образом, размышлял Нелепин, Чехов и возвысил жизнь над событийностью, может быть, только казалось так, а может быть, и на самом деле сюжеты ему были не нужны, он их не искал, пренебрегал ими: вот стоит на столе пепельница — хотите, напишу рассказ о пепельнице? Да, Чехов был для Нелепина самым таинственным писателем, но вот еще в чем дело: таинственность-то, как бы и вовсе ничего не значащую, можно было и почитать, и любить, и трепетать перед нею, и в ней же обнаруживать совершенно очевидную, простую, доподлинную жизнь.

Теперь о Брагине. Который о Чехове знал все, но не так, как кое-что знал о нем Нелепин.

Брагин заболел раком легких и умер. В Москве, в Боткинской больнице. Во время болезни Нелепин навещал его, и разговоры между ними шли только о Чехове.

Брагин говорил, что однажды в ялтинский дом-музей пришел какой-то человек и предложил купить у него записки Чехова. Сомнений в подлинности записок не было, все они были написаны там же, в Ялте. Но цена была названа слишком большая, а записки, по большей части карандашные, особой ценности не имели, в них Антон Павлович на клочках бумаги писал — купить то-то и то-то, такие-то продукты, мочалку купить или гвоздочки, флакончик чернил. Сходить по такому-то адресу и передать такому-то письмо. На почту сходить...

Подписей не было, дат не было, по-видимому, Антон Павлович дворнику давал указания. Брагин обещал подумать. Человек обещал прийти еще раз и не пришел.

Умирая, Брагин страдал: надо, надо было купить записки Чехова, не постоять за ценой! И Нелепин подтверждал: еще бы!

Если Антон Павлович говорил: напишу рассказ о пепельнице, — значит, и в тех записках мог скрываться какой-то чеховский текст. Рассказ какой-нибудь, и не один.

Кроме того: что же это был за человек, у которого было чуть ли не двести, немногим меньше, записок Чехова? И куда эти записки исчезли?

Другой вопрос обсуждали Нелепин с Брагиным.

Со слов Марии Павловны Брагин записывал (а Мария Павловна жила долго, умерла в 1957 году) все, что та вспоминала о своем брате. И не только собственные ее свидетельства — она многое помнила о том, что говорили об Антоне Павловиче после его смерти люди, его окружавшие, его знакомые. Что говорил Станиславский, что Москвин. Что — ялтинские его соседи, писатели, которые навещали его здесь, врачи, чиновники, а позже и писатели следующих поколений — Паустовский, Каверин, Алексей Толстой, многие, многие.

Конечно, часть всего этого уже была опубликована, но не всё же? Была запись и о том, как Горький гостил в ялтинском доме Чехова.

Горький жил на первом этаже, как раз под кабинетом Антона Павловича, у них было условие: до обеда работать не отрываясь, после обеда можно погулять по дорожкам вокруг дома, можно побеседовать.

Антон Павлович был известен своей пунктуальностью, условий не нарушал никогда, Алексей же Максимович — другое дело, он уже в полдень выходил в сад, складывал руки трубкой, трубил:

— Онтон Павлович! А не по-о-ра ли нам про-ойтись?!

Чехов — деликатный человек — выходил, и они прогуливались и усаживались на одну и ту же скамеечку рядом с двумя малютками кипарисами (кипарисы в ту пору были малютками).

Наступало время обеда, Мария Павловна в окно столовой провозгласила:

— Обедать! Обедать!

— О-о-одну минутку! — откликнулся Горький, продолжая горячо и громко что-то такое объяснять собеседнику.

Так многократно повторялось, покуда они приходили к обеду, Горький продолжал и еще в чем-то Чехова убеждать, у Чехова болела голова — на него действовали громкие и продолжительные разговоры.

«После обеда, — рассказывала Брагину Мария Павловна, — я выходила в сад, к скамеечке, на которой недавно сидели друзья-писатели, а рядом со скамейкой, на гравийной дорожке, было множество воронок-углублений — это Антоша, слушая своего друга, вертел в руках трость, буравил гравий. Такая привычка...»

«Я эти воронки заравнивала...»

И еще, и еще коротенькие рассказы поведывал Брагин Нелепину и просил его:

— Умру — займитесь, пожалуйста, моими записями, они у меня в трех толстых-толстых тетрадах. Тетради у жены хранятся.

Брагин умер. Спустя время после похорон Нелепин и писал, и звонил его жене в Ялту.

Та отвечала:

— Да нет же, нет у меня никаких записей! Нет ни одной тетради!

Исчез с земли еще один след Антона Павловича. Это правда — следы людей, для которых нет проблемы в том, как умереть, исчезают быстро.

В то же время Чехов и сегодня существовал по-чеховски: Нелепин не помнил, чтобы ему часто встречались отлитые из металла его бюсты.

Чехов и всегда-то противился комментариям к нему.

А комментарии у Нелепина были. И сюжеты были. Один из них Нелепин назвал бы так: «Три смерти».

В 1901 — 1902 годах Чехов, Толстой и Горький встречались в Крыму и, такие разные, разные совершенно, близко общались друг с другом. Различия их жизней, их творчества не сказывались на отношениях между ними. Это они умели — как бы и не замечать различий там, где различать было ни к чему.

Зато смерти их были поразительно различны, и скрыть этого было уже нельзя, невозможно.

Толстой, чтобы умереть, всю жизнь думал о смерти, а настал срок — бежал из своей усадьбы и умер в маленьком домике на мало кому известной железнодорожной станции Астапово.

О смерти Горького Нелепин читал, что «его убили враги народа из правотроцкистской организации, агенты империалистов, против которых он мужественно боролся».

А Чехов, тот поехал, уже безнадежно больной, в курортное местечко Баденвейлер и там в захудаленьком отеле умер. Сказал предварительно: «Я умираю...»

Смерть, нередко даже больше, чем жизнь, указывает, в каких отношениях человек был с властью. (Более того — с жизнью.)

Толстой будто бы искал между властью Бога и властью человека, поэтому и не сжился ни с государством, ни с церковью.

Горький был властью ангажирован, к борьбе за эту власть был причастен. Вот, говорят до сих пор, и погиб от «рук врагов народа».

Чехов власть, борьбу за власть не замечал, ни того, ни другого для него как бы и вовсе не было, была жизнь, от власти на сколько возможно отстраненная, хотя и существующая в условиях власти.

Вот и смерть у него была сама собою, была естественной, ничего постороннего в ней нельзя усмотреть.

Но почему это ни в одной энциклопедии никогда не указывается — как человек умирал? От какой болезни? Долго ли болел и страдал? Кто его лечил? Как умирающий, умирая, вел себя перед смертью? Ни слова обо всем этом, как будто смерти и вовсе не было, одна только дата — день, месяц, число, год, а то один только год указан, и все, и хватит с вас — кому это интересно?

Нелепину это интересно, и он думает, он убежден — не ему одному Скажем, о смерти Гоголя, Достоевского, Пушкина мало разве книг написано? Дело энциклопедий и других книг сообщить, а читатель сам решит, интересно ему или нет

Ну ладно, с Чеховым вопрос ясен, «я умираю» — и все дела, доктор Чехов знал, знал доподлинно, как это делается, как должно правильно делаться всеми на свете докторами, если они реалисты. И не только докторами — для Нелепина это был пример более чем авторитетный: вот как надо!

Нелепин не сомневался — когда настанет его черед, доктор Чехов навестит его в домашней (или больничной) обстановке

Вот он пришел, доктор, он здоровается, он снимает пальто, моет руки под умывальником, проходит к больному, присаживается около постели «Ну? Как дела?» И все это показывает доктора — что это за человек. Не говоря уже обо всем последующем: как доктор тебя слушает, как щупает пульс и слушает кровяное давление, какие у него шуточки (если они у него есть), каким тоном он делает своему больному наставления, с каким выражением на лице выписывает рецепты, — все это и есть доктор имярек, этот, а не какой-нибудь другой, этот, а не вообще..

Нелепин был уверен, что доктор Чехов — именно он — разок-другой уже посещал его в ответственные моменты, тем более он появится, когда настанет срок. Ничего, само собою разумеется, они о смерти не будут говорить, но проблема в молчании, без единого лишнего слова достигнет всей возможной для нее естественности.

И почему это естественность становится такой редкостью? Удивительно!

Каким образом можно писать о жизни, писать убедительно и даже художественно и миновать при этом искусство? Как будто его нет совсем, не было никогда, а существенно одно только свидетельство: было вот так, вот так было.

Положим, рассказ почти что устный, рассказ бытописательский, но ведь все равно рассказ, все равно литература художественная?

А дело было так: в букинистическом магазине Нелепин когда-то увидел книгу:

С. Т. Семенов
Крестьянские рассказы
Том II

Девичьи рассказы
Издательство «Посредник»
Москва, 1910

Типография Вильдо, Малая Кисловка, собственный дом

Если был том второй, значит, первый-то был обязательно! И тома третий, четвертый, а может быть, и дальше тоже могли быть?

Нелепин стал искать. И нашел: собрание сочинений было шеститомное, с предисловием Льва Толстого. Биографию Сергея Терентьевича Семенова Нелепин тоже узнал: крестьянин деревни Андреевка, Волоколамского уезда, Московской губернии.

В разное время Нелепин прочел десятки, если не сотни графоманских рукописей — не умел от графоманов отбиваться, — а каждый графоман

полагает, что искусством писательским он обладает вполне, ему от Бога дано, сомнений нет — от Бога, а значит, все люди — это его благодарные читатели.

Но Сергей Терентьевич не воображал в самом себе подобного предназначения, он писал, но мог и не писать, кроме того, он точно знал, о чем ему писать, о чем — не надо. Безукоризненно точный выбор сюжета подсказывал ему и то, как ему писать надо: без философий, без самоутверждения писательского «я», без красотостей. Одно, другое, третье и так далее «без» определяли тот остаток, который и становился несомненной собственностью его литературы.

Так и Чехов говорил: посмотрите, чего в произведении искусства нет — если в нем нет красотостей, нет скуки, нет излишнего глубокомыслия, нет длиннот, нет ничего лишнего — значит, оно хорошее.

Крестьянская литература — Семенов же не один такой был, — крестьянская литература создавалась с тем же чувством необходимости, с которым человек пашет, сеет и водит скот. Необходимость изначальная!

Пролетариат?! Был на земле классом временным, был по Марксу — Ленину, но вот десяток-другой лет прошел и каким он стал — он и сам не знает. Вот и не было, сколько люди ни старались, литературы пролетарской.

К тому же завод — труд коллективный, труд толпой, а в поле человек и по сю пору работает в одиночку. Так же, как в литературе

Еще заметил Нелепин: не перечить деревенских фантазий — домовых, леших, ведьм, добрых разбойников и ванек-дурачков, но в литературе крестьянской их нет, они — только в творчестве устном. Почему бы так? Потому, верно, что для мужика, если уж он взялся писать, это труд серьезный и реальный, побасенкам в нем места нет.

Так ведь и Чехов воспитывался в том же понимании; если же говорить о Нелепине — и Нелепин тоже.

Привлекала Нелепина простота Семенова. Простота — та же мудрость. Только мудрость и достигает простоты...

Нелепин так просто не умел, Семенов же умел прекрасно.

Сергей Семенов не ругал жизнь, не ставил ее под сомнение никогда и ни при каких обстоятельствах, не фантазировал по ее поводу ни сам по себе, ни через своих героев — таких же, как и он, крестьян.

Ни к кому из классиков Семенов не был близок, зато один из классиков был близок к нему: Чехов.

Чехов так же, как и Семенов, умел определить и себя-писателя, и себя-человека, жителя земли-России. Вот это он и его земля, а это не он, земля не его, туда ему не надо.

Оба они были писателями-бытописателями своей среды — один преимущественно интеллигентной, другой — крестьянской, оба — писателями своего времени уже по одному тому, что в их время обе среды еще не были размыты, духовно разделены так, чтобы способствовать физическому уничтожению друг друга. О людях можно было говорить — и говорилось, — кто есть кто — кто крестьянин, кто интеллигент, кто купец, кто дворянин и т. д., — и не придавать этому классового значения.

И Чехов, и Семенов — каждый по-своему — были интеллигентами первого поколения. Каждый делал свое, только свое дело, полагая, что дело это — реальное и посвящено реальности. Оба были людьми русскими, не революционного — эволюционного толка.

Оба были собеседниками Льва Толстого, один — в Крыму, другой — в Ясной Поляне. Семенов, было время, принял толстовство, потом отошел от него на расстояние примерно такое же, какое было у Чехова, но только в другую сторону; Нелепин и в жилищах Чехова и Семенова обнаруживал что-то общее...

В Доме-музее ялтинском, в московском чеховском «комоде», Садово-Кудринская, 6, в подмосковном Мелихове — везде было по-медицински чисто и аккуратно, было только то, что нужно, никаких фарфоров и фаян-

сов, безделушек, выставок картин, хотя бы порядочного числа фотографий.

Через окна — много света, потолки высокие, дышится с минимальными усилиями, вовсе незаметно как. (Правда, в Мелихове еще и две таксы жили, ныне на всех континентах известные Бром и Хина.)

В избе Семенова Нелепин не был, деревня Андреевка, поди-ка, и не сохранилась: всего-то было в ней двадцать два двора, — но уж в избе-то семеновской, конечно, не было ничего лишнего. Была русская печь — великое и универсальное изобретение для выпечки хлеба, для тепла и жара в избе, возможно — чтобы и помыться в ней, когда не было бани, для детской жизни на этой печи и для взросления, для вылежки стариков и старух уже немощных, усердно готовящихся к смерти, — вообще для жизни живых.

Вполне могли быть еще и полати («с печи на полати!»), но за это Нелепин уже не ручался.

Дух в избе был ржаной. На окошках в горшочках стояли цветочки.

Семенов писал: мне-то хорошо в моей избе, я литературным трудом подрабатываю, а односельчанам, тем в неурожайный год вовсе плохо.

Доктор Чехов вначале тоже подрабатывал литературным трудом

Итак, и у того и у другого не было надобности в безделушках.

К тому же оба носили одинаковые, клинышком, бородки. (Впрочем, император такую же носил.)

Эти параллели были для Нелепина параллелями трогательными, грели ему душу, к тому же он чувствовал, что им, всем троим, все-таки не хватило конституционной монархии, с которой Россия приблизилась бы к той, которой она, Россия, должна была быть.

А различия?

Еще бы им не быть, если оба — писатели?!

Чеховские герои — потому что жизнь вокруг была трудна своими неопределенностями и предчувствиями — еще и еще эти неопределенности усложняли в самих себе, без конца раздумывая о самих себе, о своем истинном предназначении.

Герои Семенова жизнь и себя в ней замечали такими, какие они есть, безо всяких сомнений.

При этом для Чехова мужики и в «Мужиках», и «В овраге», и в «Моей жизни», и «В родном углу» были некой массой, они вечно что-то выпрашивали и вымогали у барина (на водку, если точнее), так и в самом деле было.

У Семенова его мужики все-таки были личностями, мужицкими, но личностями — даже если служили у барина не по хозяйству, а лакеями. Их мир был куда как ограничен, но не размыт — они знали, что есть добро, а что — зло. Они были просты, но не примитивны, они тоже были в самом деле.

Ах, как пригодились бы они сегодня — если бы Великий Октябрь, со всеми его последствиями, не уничтожил оба сословия (наряду, впрочем, с другими) — и интеллигенцию, и «кондовое» крестьянство. Однако современность (коммунистическая) рассудила по-другому.

Если бы не это рассуждение, не замена сословий классами, чеховская интеллигенция, думалось Нелепину, взялась бы за дело, тем более что уже и в его, чеховские, времена в России было немало, много было выдающихся, всему миру известных инженеров, агрономов, учителей, ученых, артистов, писателей, художников, актеров и мужиков. Только-только закончился золотой век русского искусства, классический век, как народился век серебряный. Уже неплохо само по себе, но кто знает — если бы не все то же, все то же октябрьское величие, серебро могло бы стать золотом, второй классикой?

Близко к тому было, уж это — точно!

Классике же всегда, помимо изменчивости искусства, необходима некая неизменность жизни, что-то в жизни устоявшееся, на что и опереться

можно, нужен объект изучения-рассмотрения-изображения, чтобы он на время хотя бы этого процесса оставался постоянным.

Данность необходима искусству, не говоря уже о самой жизни. Данностью, безусловно, обладала крестьянская литература все того же серебряного века — Семенов был не один писатель-мужик, далеко не один, и тем самым народу подавалась большая надежда. Был Семенов, был Подъячев, был крестьянский философ Бондарев, житель того самого Минусинского уезда, в котором Ленин жил в ссылке, он, разумеется, Ленина никак не интересовал, но пристальное внимание Толстого привлек. Цензура не пропускала труды Бондарева в печать, но Толстой озаботился, и книга вышла в Париже.

Прочел Нелепин и книгу Большакова «Крестьяне — корреспонденты Льва Толстого» — там множество было имен.

Очень запросто вошел Семенов-самоук в литературную среду, в кружок русской интеллигенции «Среда». Помимо Толстого, он состоял в добрых отношениях с Чеховым и Короленко, а в 1912 году получил за собрание сочинений премию Российской академии наук. Премия на него не повлияла — он как был крестьянином деревни Андреевка, так им и остался, пахал и сеял.

Ну а что же все-таки Нелепин под словом «данность» понимал? Если понимал?

Когда француз, тем более когда англичанин просыпается утром, засыпает к ночи, ему в голову не придет вопрос: что такое Франция, что такое Англия? Что такое француз и француженка, англичанин или англичанка?

Для них это известно с младенчества: они живут и существуют исходя именно из этой непоколебимой известности, из этой данности. И только Россия век за веком, и в золоте, и в серебре, и в нищенстве, все яростнее гадают на кофейной гуще — кто она? На том гадании она и пошатнулась — то ли она самая передовая, то ли — самая отсталая? То ли самая консервативная, то ли самая что ни на есть передовая-революционная? То ли самая умная, то ли самая глупая, то ли она философствует, то ли кривляется? Туда и сюда шаталась и вот решила: даешь мировую революцию! Испытаю истину в первой инстанции, истину, перед которой сам Бог опустится на колени!

К этой сомнительности, между прочим, приложил руку и Антон Павлович. Свою руку и по-своему, но приложил-таки, не имел он перед собою данности, которой обладал Сергей Терентьевич, — не та была перед Семеновым среда, среда обитания, она не учила Семенова по-чеховски заменять одну известность сразу на несколько неизвестностей.

Должно быть, поэтому Нелепин, посещая нынешние тусовки-презентации, уже не кухонные, времен застоя, а массовые, перестроечные, с официальными угощениями-возлияниями, слушая, как ораторы призывают и призывают «понять — кто мы?», «пока не пойдем — нам нельзя двигаться вперед!», вспоминал не Чехова, а Семенова — тот знал, кто он. Тот понимал: покуда человек разбирается в том, кто он, время его ждать не будет, уйдет вперед, а тогда не разрешится, а еще более усложнится и запутается этот узконациональный, а вовсе не международный вопрос.

Нелепин — куда денешься? — через это легкомысленное и потому очень тяжкое мучение прошел, лет около двух на него ухлопал, едва не свихнулся окончательно, а не свихнувшись, понял, сколь коварен и неблагороден вопрос.

Мало ли какой бзик может затесаться в интеллигентную русскую голову, но, затесавшись, тотчас объявляется в этой голове самым главным, самым решающим для всего белого света вопросом: кто мы?

И это при том, что «кто мы?» и всего-то значит «кто я?». В подобной постановке «я» тотчас становится пророком: «мне от Бога дано решать, «кто мы?», «кто мы — Россия?», кем были, есть и будем».

И все это — на словах, на трибунах и на кафедрах, но никак не в практическом деле.

Вопрос, наверное, происходит от смутных времен, которые на Руси никогда не кончались. Еще и потому не кончались, что «кто мы?» — это вопрос-союзник и даже стимул каждого времени, в том числе и нынешнего, представшего в последнем десятилетии века во всей своей смутной, мутной и даже властной красе. Когда народ не знает, кто он, не имеет в себе данности, не умеет данность ни создавать, ни подчиняться ей, власти только того и надо.

Господи! — с ужасом думал нынче Нелепин. Сколько можно? В скольких можно поколениях? Давно бы пора узнать, понять — нет, не знаю, нет, не понимаю, как бы даже и принципиально не понимаю! А если — без принципа? Не по-чеховски, по-семеновски?

Без этого, семеновского, впору ведь и еще одну революцию затеять. Ради недоступного обыкновенным способом понимания.

Тем временем, не удостоившись понимания россиян, Россия гибнет, удобряет почву для иных национальностей, не достигнув даже поры своей зрелости, уже в девичестве спивается, еще не совершая, но уже мучаясь вопросом: что же все-таки сделано? Зачем? Ради чего?

Нелепин-то разве тем же грехом не грешил? Еще не умея выбирать, не изобретал неисполнимые сюжеты? Разве не мечтал он, чтобы сюжеты изобрели его?!

Другое дело по Семенову данность вполне очевидна во всех его рассказах.

Жила-была в деревушке красивая девушка Настя, одна была она в справной семье: отец работяга и непьющий, мать — женщина шустрая, тоже на все руки. Отец с матерью дочь баловали, наряжали лучше всех деревенских девок. Но тут явился сынок управляющего соседним имением, собой тоже неплох, — он Настю совратил, погубил ее. Она умерла.

Нелепину было жаль Настю ничуть не меньше князя Андрея Болконского.

И это при том, что Настенька никогда не стала бы ни женой какого-нибудь князя, ни Эрнеста Миллера Хемингуэя, ни Максима Горького. Она вышла бы за приглядного из той же деревни Ванюшу, народила бы ему детей с полдюжины — и весь тут роман.

А то другой рассказ: хозяин, московский купец средней руки, надумал уволить дворника — стар дворник стал, надо переменить на молодого! Молодой оказался всем хорош — расторопный, за двором следит, за лошадьми ходит, сбегать куда по хозяйскому поручению на все-то он быстр да умел. Но вот беда: узнал молодой работник о кручине старого — тот остался без места, а вернуться ему некуда, хозяйство в деревне давно порушено. И тогда пошел молодой дворник к хозяину просить за старика: его самого уволить, старика взять на место обратно.

Лев Толстой в предисловии к собранию сочинений С. Т. Семенова писал так:

«Искренность — главное достоинство Семенова. Но кроме того, у него содержание всегда значительно: значительно и потому, что оно касается самого значительного сословия России: крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью.

Форма рассказов совершенно соответствует содержанию: она серьезна, проста, подробности всегда верны: нет фальшивых нот».

В том же предисловии Лев Николаевич изложил содержание рассказика о дворнике, присовокупив к нему свою теорию милосердия и чистой совести.

Правда, Нелепин, уж это само собою разумеется, с благодарностью восприняв Семенова, и тут не ушел от проблемы выбора: в литературе, полагал он, можно идти по одним и тем же ступеням, но в разном направлении: Толстой — Чехов — Семенов или Семенов — Чехов — Толстой.

Толстой не только перед своими героями, он и перед самим собой ставил все тот же вопрос: «кто мы?», следовательно, и «кто я?».

Чехов, тот обошелся с проблемой деликатно: вручил ее своим героям, точно зная, кто он сам, доктор Чехов.

Для умницы Семенова этого вопроса попросту не существовало.

У кого как складывается, у Нелепина сложилось — он пошел по первому варианту: Толстой — Чехов — Семенов, вот и было ему понятно: когда Лев Николаевич говорит об искренности писателя Семенова, завидуя ему, он говорит о данности, которой от природы обладал Семенов.

Не только рассказами, но и обликом своим привлек Нелепина Семенов: статью своей, бородкой такой же, как у Антона Павловича, как у императора Николая Второго, своею интеллигентностью — крестьянской, а в то же время и всеобщерусской. Жизнью своею привлек, которая была заведомо недоступным для Нелепина сюжетом, как бы еще более недоступным, чем Суд над властью, над императором Николаем Вторым.

Родился Сергей Терентьевич Семенов в 1868 году в деревне Андреевка, Волоколамского уезда, Московской губернии.

В одиннадцать лет отдан «в люди». В школу и дня не бегал, читать-писать выучился самоучкой.

В 1892 году работал с Толстым «на голоде».

Революционные идеи Сергея Терентьевича не миновали, толстовство не миновало, он был арестован, приговорен к ссылке в Олонецкую губернию. Не так уж и далеко, и даже совсем близко от Питера, но Толстой хлопотал, и Олонецкая губерния была заменена высылкой в Швейцарию. На два года.

За эти два года Семенов побывал в Англии, Франции, Италии, но о пребывании в этих странах писал не много; другое дело — изучал там сельское хозяйство и, вернувшись на родину, читал мужикам лекции по агрономии. (Одновременно писал «Крестьянские пьесы для народных театров».) Впрочем, в Швейцарии успел Семенов обзавестись еще и сыночком, фамилия была дана мальчику — Рюриков.

Нынче фамилия известная, частенько является Рюриков на телеэкране. Уж не потомок ли Сергея Терентьевича, не внук ли?

Сыночка Рюрикова Нелепин отдаленно, а все-таки знал, знал редактора журнала «Иностранная литература», удивлялся тайной логике: кому-кому, а этому человеку иностранщина была так или иначе свойственна.

Смерть была у Сергея Терентьевича своя собственная, а значит, и народная, кажется, ни один другой писатель подобной смерти не прошел: ни Толстой, ни Чехов, ни Горький — никто. Семенова убили мужики в родной деревне Андреевка.

В 1922 году.

Те самые мужики, которым он читал лекции по агрономии, для которых писал пьесы, которым не так уж редко одалживал деньжонок.

Он был в деревне избачом, а мужики, должно быть, поняли это по-своему: пособник и полномочный представитель советской власти.

И повода-то для такой логики как будто не было никакой: советская власть для начала Семенова посадила, подержала месяц-другой в тюрьме и только после этого назначила избачом, — но вот поди ж ты?!

Был достаточно громкий судебный процесс, шестерых мужиков расстреляли.

Примерно так же происходило в этом случае дело, как и с императором Николаем Вторым: император тоже ведь трудился на благо народа и людьми из народа был убит. Некоторые из его убийц и читать-писать-то не умели.

Вероятно, можно было сконструировать сюжет о двух убийствах, и могло бы получиться глубоко, исторически верно, сильно, поучительно. Можно было по-другому, но в том же духе: смерти трех великих писателей

(Толстой, Чехов, Горький) и смерть четвертая — писателя невеликого... Можно.

Но Нелепин уже устал от смертей, так устал, будто сам уже пережил не одну

Сюжет № 3

ОБРАЩЕНИЕ ПАХАНА К МУЖИКАМ

Неожиданно газетка одна попалась Нелепину, и еще более неожиданно прочел он в этой газетке публикацию без подписи: «Обращение... к мужикам»

Прочел — и ничего не понял. Очень удивился: как это можно было ничего не понять?

Второй раз прочел — и снова ничего.

Он подумал: ладно, прочту в третий раз. Уж очень нехорошо было не понимать вот так, наглухо, не понимать, будто автор был из другого мира, а не понимая автора, читатель отвергает этот мир, пусть искаженный и даже невероятный, но все равно существующий рядом и ничуть не менее реальный, чем мир твой собственный.

Ты его отрицаешь: «не может быть!», а он — вот он: «может быть и потому есть!».

В третий раз Нелепин публикацию читать все-таки не стал, зато решил сначала сделать вырезку из газеты, затем вклеить ее в свою тетрадь сюжетов, тем самым признав, что независимо от его понимания что-то совсем другое, чем ты сам, какое-то общество с собственными понятиями, с собственным языком так же, как и ты, передвигается по тем же улицам, ездит в метро, в троллейбусах, автобусах, трамваях и на собственных машинах, тоже болеет гриппом, критикует власти и рождает младенцев. Ну, почаще сидит в тюрьмах, так это, может быть, только потому, что в тюрьмах сидят далеко не все, кому там следует сидеть?

Начав коллекционирование сюжетов, Нелепин вовсе не имел в виду как можно более полное изучение действительности, посещение, скажем, тех же тюрем, психлечебниц, армейских подразделений и флотских экипажей, нет и нет, он ограничивался тем, что ему попадалось в руки само собой, своей памятью и своей же (а не чужой) фантазией, а также теми вполне реальными случаями, которые с ним случались. Эта публикация была именно таким случаем.

Случаем страшным? Станным? Так или иначе, а сюжет под № 3, может быть, и в очень странном подобии сюжета, в тетради Нелепина появился

Москва Кремль. 5 октября 1993 года.

Уважаемые мужики!

3 и 4 октября на Большой Зоне учинился беспредел Кодлы мокрушников и забирах проканалы по нашим бродам. Они дирбанили конторы и хазы, чушили фраеров. В ихних грабарках оказалось много стволов, маслят, винторезов, кочерыжек, апельсинов, картошки. На Бродвее стало очень жарко. Фурманам грозили кранты.

То, что проканалы в Москве в это черное воскресенье, не было бузой или волынкой. Это были печки-лавочки для большого шухера борзой брашки и отрицаловки. Головка — ссученные из бывшей Сонькиной сходки, Сучьего кутка и колотившего понты бывшего помогальника Главного Пахана.

Отрицалы — это Фронт НАЦИОНАЛЬНОГО спасения, «Трудовая Россия», коммуняки и фашисты «Русского Национального Единства». В этом беспределе скентовались коммуняки и фашисты, свастика с серпом и молотом.

На крыше этой бузы были и бывшие активисты Сонькиной Хазы, которые в натуре давно уже сачковали и гнали фуфло. Используя депутатскую мазу, они фаловали лохов за беспредел, за падло.

Короче, если бы ихняя взяла, то на Большой Зоне проканал бы коммуно-фашистский беспредел.

Сейчас развели базар, что Первая Пятерка лопухнулась. Мокрые дела той ночи заставили паханов ввести в хату регулярные армейские кодлы. Кто-то (непонятно кто???) принял тяжелое решение о штурме малины, где заседает Сучий Парламент (Сонькина сходка), малины, где собиралось самое борзое отрицалово с пиками, с пушками, с керогазами, малины, где готовилась война между честными ворами и суками.

В натуре из этого Козлятника давались наколки берданщикам, в нем же создавались оборзевшие банды и кодлы. Оттуда пошел понт: «На мэрию!», «На Останкино!», «На Кремль!».

Дубарей было бы значительно меньше, если бы мясники с винторезами, засевшие на крыше Козлятника, не палили бы по фраерам, по быкам, по рогометам, если бы был отдан приказ сдать винты, когда для них настал голый вассер.

Война между чесноками и сучней не прокатила, но тяжело на душе потому, что за это пришлось войдохать огромную цену. Туфтово, что на пепелище мелкая урла, шелупень, олени фаршированные — рвут очко, гонят лапшу, чтобы их не застукали в мандраже. Бог им Митрополит!

Почему мы смирились с тем, что на Большой Зоне борзо пахали кодлы, не только фаловавшие за беспредел, но и готовившие его? Они не получили по рогам ни от зубариков, ни от крестных, ни от конторы.

Толпа встала на цирлы перед Сонькиной хеврой и Сучьим кутком, которые потянули мазу за весь этот букет. В результате отрицаловка в натуре покатила на нас большие баллоны.

Почему любое, даже робкое действие по усмирению бузы, любые удары по рогам и ушам этой шушере встречали, мягко говоря, прохладное отношение со стороны многих Укропов Помидоровичей, считающих себя честными фраерами?

Даже когда в натуре ради безопасности дельфинов, дятлов, лохов, фурманов мы были вынуждены обложить Козлятник красноперыми, со всех сторон покатались бочки в беспределе и борзости, в возрождении авторитаризма.

Главный урок в том, что демократия в хате должна поддерживаться Конторой с помощью танек и демократизаторов. Масть должна применять силу, если возникает угроза разборок, угроза жизни и безопасности фраеров, чертей, штымпов. Без этого нет демократии!

Все, кто со шпалерами в граблях бузил в волынках, будут взяты за рога и поставлены... в стойло. Все лапшегоны фашистско-коммунистической туфты, фаловавшие за бузу, также получают по рогам, как это положено по Филькиной Грамоте. Никакого всепрощенчества коммуно-фашизму в Большой Зоне больше не проканает.

Считаю, что немалая вина за этот кровавый беспредел лежит на Конституционной правилке. Эта хевра давно уже в натуре забила болт на Большую Икону — на независимость Конституционной правилки от политических разборок. Эта шобла превратилась в обвинителя Иванов и подельника Сонькиной сходки.

При этом Правило прикинулось шлангом и не дыбало, как бесконечными поправками насилуется Филькина Грамота Большой Хаты, не врубалось в вопиющие прогоны чернухи в Большой Иконе, пропихиваемые Сонькиной кодлой.

Особо побазарю за Сонькину сходку. В этой шобле есть и честные фраера — сторонники реформ в хате, но после 21 сентября многие из них ссучились и взяли мазу за Сонькину власть. И не сомневаюсь, если бы суки взяли верх, то за ними поканало бы большинство из Сонькиной хевры.

Базарю за всю мазуту: Козлятник и Сонькина сходка несут прямую ответственность за кипеж в хате. Сонькина братия, вся эта шелупень, ма-

нала безопасность Большой Хаты и честных штымпов, сама поканала налево и намазала себе лоб зеленкой.

Считаю, что Сонькин букет, оборзевший и ссученный, должен принять в натуре достойное и мужественное решение о самороспуске и уйти нормально, не запахло, по-божески, без хипежа и разборок. Это требование самой жизни!

Королям и буграм всех дядиных дач дана наколка по-шустрому подготовить перечень мер по социальным гарантиям депутатов, короче — эту урлу надо заклеить на лапу.

В то же время нужно шустряком продумать механику трансформации Сонькиных хавир в нормальные конторы представительной власти. Свою чернуху здесь могут раскинуть и Общественная палата, Комитет по законодательным предположениям, Комитет по правам человека — все, кто держит мазу за сильную паханскую руку на киче. И конечно, короновку в новые представительные органы власти на местах нужно проводить, не затягивая резины, в декабре.

Уважаемые лопухи!

Пережив страшные дни и ночи, мы тем не менее можем быть уверены — сучья война на Большой Зоне не проканала. Махновцы в нашей хавире так и остались чужаками. Укропы, бабаны и сивари презирают и проклинаят их — волков позорных! Им не проканало раздирбанить Большую Хату, раздирбанить вертухаев, красноперых и Головку в зоне.

Но чтобы держать Зону, нам нужно пошерудить рогами.

Нам как воздух нужна ништяковая демократическая Филькина Грамота, нам нужна Большая Хата без ершей. Игры в региональную отмазку в падлу большинству дурдизелей в хате. Нам нужна полноценная реформа армии и абвера.

Нам нужно без базара продолжать экономические преобразования, шестеря перед Крышей зоны в этом направлении.

Для наведения марафета в Общеке, проведения большой крутиловки в Хомуте на одну неделю введено чрезвычайное положение. В зависимости от обстановки срок может быть сокращен или увеличен.

Большинство москвичей и фраеров ушастых в Большой Зоне, короче, бакланье на цирлах поддерживают необходимость этого борзого качалова.

В то же время некоторые жестокие меры, надыбанные в молитве о чрезвычайном положении, в натуре излишни. Уже дана наколка снять предварительную цензуру в средствах массовой заливки баков.

Но хотел бы цинкануть. Если кто-то врубается, что в Хате уже ништяк, уже все в ажуре, то это балда. Баллоны еще катятся. И неосторожный базар может по новой поднять кипеж. Беру на совесть дурогонов вайерских.

В эти дни круто упираются рогами попки, дубаки, красноперые, уголовка. Они пашут, как папы Карлы (а получают, как Буратины), в сверхнапряженном режиме, рискуя жизнью, принимая на себя весь груз чрезвычайного положения. Сердечная благодарность вам за то, что отвели от Москвы угрозу бузы и волынки, тормознули разгул гоп-стопа, закнукали опасную политическую примочку.

В эти дни пришлось по-черному мантулить лепилам. Вы спасаете жизнь, оказываете помощь честным фраерам, берете на себя часть их страданий и боли. Благодарю вас за то, что в трудных условиях, под маслинами, вы остались верны клятве Гиппократу.

Один из основных ударов ломом подпоясанных пришелся на средства массовой заливки баков. Я благодарю всех, кто в самый кипеж, в самую бузу продолжал толкать фуфло, мести пургу в ящик и в болтун. Я благодарю вайерских дурогонов, свистунов, фуфлыжников, которые гнали парашу из самых опасных точек Хавиры. В кровавой разборке некоторые из них надели деревянные рюкзаки.

Я преклоняюсь перед мужеством портяночников из телецентра «Останкино», которые ценой жизни впряглись за свое право на свободу разбрасывать чернуху, клеить фраерам бороду.

Хотел бы со словами благодарности прогнать дуру перед крепостными из Москвы за поддержку Филея и маслокрадов. Наша хата в последние дни была самой кипишной в Большой Зоне. Если бы не ваша маза, если бы не те рогометы, кто приканал той ночью на пятачок, не исключено, что цена, которую пришлось бы забашлять, держа мазу за волю и демократию, была бы неизмеримо больше.

Большая Зона, весь мир выражают сегодня уважение вашему духарству, вашему умению держать стойку, вашему выбору!

Бацилльные Россияне!

Кровавый беспредел позади. Но для полного ажуря нам вместе надо укреплять нашу Большую Хату, нашу демократию. 12 декабря состоится коронавка Иванов и Федеральное собрание (Сучий куток) и, думаю, коронавка гавриков в маленьких зонах.

Всем сямкам приблатненным и сходнякам, не замочившим рога в этой бузе, гарантируются равные возможности.

В прошедшие дни мы врубались, насколько велика может быть цена политического равнодушия. Это не спасет, не обеспечит личную безопасность. Можно ли (Пахану) спать спокойно, когда поджигают твою хату?

Я хочу замутить вас, уважаемое урло, нацепить лохматину за проведение коронавки положняком и короновать достойных, алмазных, компетентных, ушлых, жирных, фаршированных князей, тех урок, кто не способен ссучиться, короче — не гусей.

Дорогие рогатые! Кошмар тех черных дней позади. Не нужно гнать, что кто-то взял верх, а кто-то пролетел. Сегодня — это туфта, фуфло, порожняк. Нас всех обожгло мертвящее дыхание братозамочки. Откинули копыта фраера, наши сохатники. Боль и страдание вошли во многие семьи. Как бы ни различались их масти, все они — дети Большой Зоны. Это наша общая трагедия, наше общее горе. Великое горе.

Будем же помнить об этом безумии, чтобы оно не проканало по новой!

Нелепин плохо понял текст ОБРАЩЕНИЯ: очень непривычный, незнакомый язык. Однако до него дошло: в том, неизвестном ему, мире паханов люди тоже беспокоятся о власти — что, как, почему?

Значит — универсальная, всеобщая забота и тревога?

(Это ОБРАЩЕНИЕ было опубликовано в газете «Лимонка», № 23, и вот попало в руки Нелепину. Почему в выходных данных было обозначено «Москва. Кремль», он, сколько ни догадывался, — не догадался.)

Сюжет № 4

МАЛЬЧИК ИЗ МАДРИДА

Мама Нелепина, бывало, вздыхала: «Непутевый был царь... Но зачем его было расстреливать? С дочерьми? С сыном? С женой? Пятно на советской власти, на России, пятно несмываемое. Если бы бандиты расстреляли, а то ведь — власть?! Значит, тоже бандитская?»

Ну и, конечно же, вспоминала мама своего мужа.

Он мне:

— Революций не бывает без жертв. И даже — без жертв напрасных.

Я ему:

— Эта жертва, она твоей любимице, советской власти, отзовется.

— Когда? — спрашивал меня мой муж.

— Не знаю! — отвечала я. — Хотя бы и через сто лет!

— Смех один! — смеялся муж. — Истинно смех! Через сто лет, через пятьдесят, через двадцать пять советская власть таким образом разовьется, что и властью-то в нынешнем смысле не будет. Она будет коммунизмом —

всеобщим равенством, всеобщим счастьем, всеобщей справедливостью! Детям в школах будут объяснять: новый мир и новое человечество, в котором они существуют, были далеко не всегда, все достигнуто героикой народов через учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, ну а героизм — это всегда великие жертвы! Мало ли что может быть, вот и учителя вскользь упомянут императорскую семью. Хотя это совершенно необязательно.

— Гриша! — отвечала я своему мужу. — Гришенька, а что, если случится — дети на уроках будут проклинать Октябрьскую революцию? Заодно — тебя? Такого честного и такого бесстрашного!

— Сумасшедшая! Нет, ты не сумасшедшая, ты вполне сознательная антисоветчица! Я бы тебя расстрелял, если бы ты не была моей женой! На жену — рука не поднимется. На любимую... Иногда я самого себя упрекаю: не поднимется!

— Расстреливать за то, что человек против государственного устройства? Во все времена у любой власти были противники, с властью не согласные. Чем была бы история, если бы только за несогласие с властью всех несогласных убивали?

— «Только»! Вот такая плюгавая история и завела человечество в тупик! Она-то и виновата в жертвах, которые советская власть нынче уже принесла и еще приносит. Вынуждена приносить сегодня, чтобы впредь никогда и никаких жертв больше не было. Чтобы никогда ни в каких жертвах не было необходимости.

— Ну вот и тебя, мне почему-то кажется, Гришенька, и тебя вскорости тоже расстреляют.

— Ничего особенного. Я готов. Любую минуту. Как пионер!

— А меня не жалко? Сына — не жалко? Изверг!

— Тебя — жалко. Сына — жалко. Но это же — личное! Над личным у настоящего человека должно стоять гораздо более высокое! Человеку должно ясно видеться будущее! Вот тогда он — человек. Тогда он войдет в историю.

— Будущее ты в глаза не видел! Оно запросто обманет, а спросить будет не с кого. А вот я тебя не обману! Никогда!

— Ты маленький был, — рассказывала мама сыну Грише, — ты нас с отцом плохо понимал, а мы свои разговоры старались вести без тебя. Твой отец все время, все время собирался объяснить тебе, провести с тобой беседу о наших с ним разногласиях: «Гриша уже большой — семь лет — мальчик, он должен знать, чьи убеждения он разделяет — твои или мои!» А ты еще в школу не ходил, а что мне удавалось — отложить разговор отца с тобой ну хотя бы на полгода, на три месяца. На месяц... В последний перед вашим разговором месяц отца и арестовали... Господи! И что это была за любовь? Кошмарная! Кошмарная, она все равно любовь, а когда отца расстреляли, я жила не жизнью, а безжизненностью. И только ради тебя! Сама себя не чувствовала, ходячее горе, больше ничего! Я все предвидела, давно предвидела, от этого мне ничуть не было легче. Тяжелее было...

Все это происходило не с кем-нибудь, но с мамой, с женщиной, которая всегда и безошибочно отличала *хорошо* от *плохо*, знала, что ей и ее сыну можно, чего нельзя.

Ну а отца Нелепин не только не вспоминал, он его почти не помнил: человек приходил в их дом ночевать — вот и все. Однако же странно: всякий раз, как только отец все-таки вспоминался, Нелепин чувствовал, что в нем самом нет, не может быть ни капли властной крови. Что все его предки прожили свои жизни мимо власти и только отец этому правилу, этой наследственности изменил. Отец изменил, а сын снова к ней вернулся. Если власть была чем-то естественным для людей, то Нелепин этой естественности не чувствовал, только противоестественность. Анархистом он не был, борцом против власти не был, но человеком, которому власть чужда, был всегда. Он знал, что большинство людей только и ждут случая,

когда им тоже можно будет стать властью, но для Нелепина это исключалось, Нелепин не так был создан, ему хотелось судить власть как можно более объективно. Ему казалось — это и есть его предназначение. Казалось, что власть сама не знает своей собственной загадки, не узнает ее никогда, он же узнает завтра же!

Это предназначение сказывалось еще и в том, что ему как будто сами собой шли в руки книги, повествующие о царствовании последнего русского императора, фотографии были у него — несколько альбомов, он всю императорскую семью знал в лицо, а что касается наследников Николая Второго — дальних по родству, разбросанных по дальним же странам, — самых разных сведений о них была у Нелепина разбухшая синяя папка с черными тесемками — газетные вырезки главным образом.

Самым настырным наследником был, по мнению Нелепина, один молодой испанский житель, теперь уже седьмая вода на киселе, но все равно — претендент.

И вот надо же было и тут случиться — Нелепин с этим наследником встретился очно.

Он был приглашен на прием.

Прием был необычен: в помещении ни столов с закуской и выпивкой, ни даже пустых столов, а в большом зале с доброжелательным солнечным освещением собралось народа человек сто, им-то и был представлен претендент на русский престол нового, новейшего перестроечного времени.

Претендент был годочков двенадцати, при нем — его мама-грузинка и еще бóльшая грузинка его бабушка. В настоящее время все они — жители города Мадрида (так было слышо); папа претендента, один из русских князей, еще недавно тоже был жив, и никто в Испании, во Франции, во всей Западной Европе не мешал семейству утверждать себя Романовыми, самыми главными из главных, самыми прямыми наследниками из всех существующих на свете. Ну прямые и прямые — кому какое дело? Так бы и продолжалась их зарубежная жизнь, в таком самосостоянии, если бы не внезапная российская перестройка от социализма к капитализму. Тут на перестроечном фоне явились в России, кроме всех прочих, еще и монархисты, они провозгласили: «Спасение — в монархе! Больше — ни в чем, ни в ком!»

И все потомки, все Бог весть какие отпрыски императорского двора — американские, аргентинские, французские турецкие, испанские — пришли в волнение, все кинулись в претендентство: только нам и никому больше принадлежит Россия, русский престол! Все стали, как никогда прежде, доказывать свою, уже забытую, генеалогическую близость к расстрелянному императору, но шустрее других оказалось именно это грузинское семейство: одна двадцатая или около того императорской крови в них струилась, а значит? Значит, какие могут быть разговоры? Пора!

Мадридский мальчик произвел на Нелепина очень странное впечатление: небольшого росточка, с выпученными черными глазками и с личиком, неизменно чем-то удивленным, наверное перспективой стать императором России в последнем десятилетии двадцатого века. Мальчик на этой перспективе, ясное дело, уже свихнулся, хотя и не знал, понятия не имел, что такое императорство, что такое Россия девяностых годов двадцатого столетия, что такое перестройка, — он по-пионерски готов был вести Россию в век двадцать первый, и мамаша его, среднего вида грузинка, уже в годах, уже частично поблекшая, с рыжеватыми пятнышками в очень черной прическе, всем, чем и как могла, это предназначение своего сыночка подтверждала.

Бабушка же будущего императора держалась скромнее, милая старушка, она всем улыбалась. Правда, в улыбках ее, если быть внимательным, можно было уловить некоторую не совсем обычную значительность. Нелепин был внимателен, а что больше всего его поразило, так это штанишки, в которых пребывал наследник, — мятые и заметно его высочеству великоватые.

В среде участников приема, прогуливающих в приятном солнечном освещении зала, тоже замечалось Нелепиным недоумение. Растерянность, что ли, какая-то? Впрочем, нынче ни одно мероприятие без той же растерянности не обходилось: как будто бы прекрасно, ну а если анализировать — что там, за этой прекрасностью, скрывается? Нет уж, лучше не надо, лучше не анализировать, не выискивать, так-то будет понятнее.

Вот и мальчик из Мадрида — он компрометировал сюжет Нелепина. По сюжету Николай Второй был последним русским императором, по действительности — тоже последним, но вот — на тебе! При чем оказалась тут действительность? Тем более — при чем Нелепин?

Мальчик происходил не столько из рода Романовых, сколько из процесса нынешнего баснословного размножения власти в России. Ах, размножение! Тогда почему бы и не попретендовать на престол? Положим, у него 0,000001 шанса, но если у других еще меньше? Все на свете относительно!

Мальчик, и мамочка его, и его бабуся не знали, кто именно пришел на прием в их честь, а вот Нелепин знал многих: были здесь, как это ни странно, демократы, были церковники, державники, коммунисты, еще множество представителей чего-то и кого-то. Одни пришли из любопытства, другие — всерьез: вдруг пригодится? При дальнейшем размножении власти? Вдруг здесь же и сейчас же возникнет какой-никакой, а комитет? Академия? Совет? Комиссия? Общество? Фирма? Ассоциация? А то и акционерность? Кто-то сообразительный вот сейчас и придумает название для новой общественной либо другой какой-то организации, а дальше ее зарегистрируют, а еще дальше у нее появятся средства — разве исключено? Если же средства — значит, путь-дорога куда-нибудь, раз путь-дорога — значит, путевое довольствие. В России давненько принято терпеть, ругать, но не действовать, а только суетиться. Говорят, что самая ближняя дорога — знакомая дорога, но в России знакомых дорог ни вперед, ни даже назад нет, в такой ситуации что остается? Остается в чем-то неизвестном еще и еще поучаствовать.

Ну а мальчик из Мадрида очень немного что о России знает — знает, что в случае проигрыша у него будет скверное настроение, а насморка не будет.

Николай Второй был, к примеру, одной из причин пятилетней гражданской войны, а вдруг и он, мальчик, тоже станет какой-нибудь причиной? К тому же жизни человеческие в России не в счет. В Литве еще при Горбачеве было убито тринадцать литовцев, в Грузии — тринадцать грузин, и Литва и Грузия вышли из Советского Союза, а Россия? Сколько русских гибнет в Чечне, сколько в Таджикистане, но куда и откуда Россия может войти, тем более — выйти?

Было дело, пели:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!

Песня была сложена на скорую руку, вот ничего от нее и не осталось: ни народа, ни детей, ни семьи трудовой, ни братского союза, ни девизов — одна только ни на чем возросшая свобода и вот еще мадридский мальчик, претендент на престол. Он эту свободу сегодня тоже представляет. Своей собственной фигуркой в помятых штанишках...

Еще в зале говорили, будто мальчик, вернее, мама его нынче очень обеспокоена образованием наследника: куда его определить — в Московский кадетский корпус? В Санкт-Петербургское нахимовское военно-морское училище?

Валяйте, валяйте! — думал Нелепин. И там, и здесь «деды» вам покажут настоящую кузькину мать!

Впрочем, жалко было Нелепину мальчика: царствование Николая Второго не пошло ему впрок.

Николая Второго он снова нынче жалел: тот не в силах был поделиться опытом с этим мальчиком.

На приеме были и такие люди, которые всерьез млели душою перед мальчиком. Он был для них светлой, а может быть, и единственной надеждой.

Именно с этими людьми беседовали благосклонно и мама мальчика, и бабуся его. Чистокровные грузинки, то ли испанки, то ли француженки — и вдруг засветило стать великими россиянками! Некоторых участников нынешнего приема эта перспектива приводила в невиданное умиление, глаза у таких вспыхивали крохотными солнышками. Надо же! И ведь опять же — российская действительность!

Мальчик тоже участвовал в разговоре, во всяком случае, при разговоре присутствовал, а все вместе царственные персоны думали, были уверены, что в этом общении участвует вся Россия.

Однако если бы мальчик Романов-Багратион вдруг явился в Тбилиси коронованным русским монархом — там было бы радости куда побольше, чем в России! — размышлял Нелепин и вспоминал свое собственное двенадцатилетнее детство, рассказы своей матери. Рассказы примерно такие:

Отец говорил маме:

— Убили Николашку. Ухлопали! Поздновато сделали! Надо было раньше, еще в семнадцатом году, сделать: белое движение было бы в два раза меньше! В три — меньше. И нынче всякой контры, с которой приходится разбираться, было бы в полтора раза меньше.

Мама возражала:

— Оттого, что убили, белое движение разрослось! Неужели не понятно? На красных легло черное пятно к выгоде белых!

Мальчик из Мадрида никогда ничего подобного ни от кого не слышал, мама с бабушкой, поди-ка, его от информации такого рода оберегали, в том, конечно, случае, если сами были в ней сведущи. Но это — вряд ли, и всем троим им по ночам снился русский престол — золоченый и на возвышении, подобном эстраде, а может быть, и другому месту.

Бедный мальчик! Ему так просто было развеять собственные заблуждения — ну, скажем, представить себя на этом самом троне в момент обострения чеченской войны. Что бы он со своего возвышения мог по этому поводу произнести? Сначала он своим помощникам Лившицу и Батурину дал бы указание: представить ему сводку всех решений, всех высказываний господина президента по поводу все той же войны. И что же он из этих высказываний почерпнул бы? Какую мудрость? Какую способность к предвидению событий? Может быть, какая-нибудь линия поведения перед ним возникла бы? А ничего подобного. Ему только и осталось бы, что вздохнуть тяжело-тяжело, а потом сказать шепотом:

— Вот так история!

Притом еще вокруг него охранники, бесконечное их множество не спускают с императора глаз ни днем ни ночью! Так ведь это же почти что тюремное заключение, небольшая разница! Предположим, молодому императору захотелось прилично выпить? Значит, надо очень сильно исхитриться! Конечно, исхитриться всегда можно, но ведь это в принципе противоречит самой выпивке, которая тем и хороша, что кругом свободна...

Не-е-ет, Нелепин и за десять миллионов в месяц не согласился бы на такое житье-бытье.

До конца приема Нелепин не пробыл, ушел пораньше.

Уходя, еще раз осмотрел мальчика с ног до головы, теперь уже с большей симпатией, как бы и по привыкнув к нему. Конечно, неплохо было бы, если бы в мальчишеской голове чего-то поприбавилось. Еще неплохо, чтобы у него за плечами появились крылышки.

Крылышки-то — зачем? — удивился Нелепин.
А чтобы улететь куда подальше! — тут же догадался он

«Мальчик из Мадрида», «Императорская фантазия», «Крылышки» и еще несколько заголовков напрашивались к сюжету № 4, надо было выбрать какой-то один...

Сюжет № 5

ПОЕЗДКА В ТАМБОВ

Собеседником Нелепина был человек лет за пятьдесят

Возраста не совсем определенного, он, наверное, выглядел старше. Преждевременное устарение отражалось в его лице — морщинистом, тускло-сером. От него пахло. Чем-то, вообще говоря, человеку несвойственным. Голос у него был неровный, то высокий, а то низкий, басовитый.

Нелепин не спрашивал, но собеседник назвал: Николай Николаевич! — и сунул руку для пожатия. Рука была покрыта не мозолями, а неприятной какой-то шершавостью. И одет он был во что-то пестрое, несвежее, с чужих плеч.

Бомж?! — подумал Нелепин, а Николай Николаевич тут же угадал его вопрос:

— Николай Николаевич Сапрыгин, да! По-вашему рассуждая — бомж. По-моему — хороший человек, к тому же в недавнем прошлом — кандидат наук... Что? Не верите? Зачем мне врать? Конечно, я обману при удобном случае, но их слишком мало — удобных. Их слишком мало, потому бомжу, ему — как? Ему все равно, как и что говорить, и я доктором наук мог бы запросто назваться, но не называюсь. Сам не знаю почему. Просто так. Нет желания. И вот говорю: я тружусь на свалке. Городской. Мусорной. Запашок от меня заметный. Да? А это — доказательство!

— По какой же вы, в принципе, специальности? — спросил Нелепин, почувствовав не то чтобы интерес, а необходимость разговор поддержать: а вдруг — сюжет?

— Представьте себе — социолог! Опять не верите? А я — вправду.. Изучал, долго изучал отбросы нашего общества, а потом пришел к выводу: все общество — отброс! Отброс, а больше ничего. Если еще и существуют отдельные личности, значит, от общества они совершенно в стороне. Ну а раз так, раз такой сделан вывод, я в отбросах и остался. К тому же — обстоятельства. Знаете, как бывает у вас у самого по себе полное душевное расстройство, а тут еще теща. Мало того — теща, еще и родные дети. Дочь в пятнадцать лет прошла огонь и воду, потому считает отца дураком, сын — афганец. До того афганец, что ты с ним в одной комнате спать боишься.. Ночью, во сне, матерится. И надо бы его разбудить, а страшно. И почему-то — неудобно, стесняешься: все-таки сын. Родной. Одним словом, я кандидат наук, и я запил и покалываться начал. Иначе говоря, психологические стереотипы потерял...

— Обратно в общество не хотите? Хотя бы время от времени?

— Нет, не хочу.

— Почему же?

— Потому что не могу. Не надо желать того, чего не можешь, — глупо! И вообще — хватит с меня: искал благоустройства, сильно искал, а потом выяснил — оно мне не нужно. Без него лучше.

— Так-таки не жалуете?

— Жалость? Откуда ей взяться? Нет, не признаю.

— А чего вы признаете?

— Ничего. Ну, в самом в крайнем случае — признаю существование.

— И этого достаточно?

— Более чем. Заметьте: самоубийц среди бомжей гораздо меньше, чем среди вашего класса благоискателей. Гораздо! Я знаю, я вопрос изучал, будучи на госбюджете.

— А то вернулись бы в социологию? С вашим-то бесценным опытом? В какой-нибудь институт общественного мнения?

— Так я же вам объясняю: какое может быть общественное мнение, если нет общества? Никто не знает, никто не судит, чем стала нравственность? Никто не знает, где политика, а где — коррупция? Где воспитание, а где растление? Нет, увольте, не по мне. Многие бывшие мои коллеги в области социологии знают, что общества нет — разве что в их собственном представлении, и за это представление они какое-никакое, а жалованье получают. Какое там общество — и народа нет, и нации нет, и гражданства нет, и государственности нет, и непонятно, что есть. Одно только население. Евразиафриканское, кажется. Это население и само-то не знает, какой у него континент. А вот я, представьте, свой континент знаю: свалка. Мне ничего не надо, я ничего не хочу, а если бы вдруг захотелось написать книгу — представляете, что бы это было?! Куда там писателям и ученым — им подобного как своих ушей не видать! Все бы зачитывались, даже самое преступное население. Ну, исключая, конечно, руководителей высших. Тем правда что до лампочки... У них — свои представления.

— Пожалуй, и верно — до лампочки... — почти что согласился Нелепин и еще спросил: — А вас преступники не нанимают? За хорошие деньги?

— Никогда! Мы люди недисциплинированные, ненадежные люди. А в преступлении дисциплинка — будь здоров! Там порядок нужен и последовательность, благоискательство тоже нужно проповедовать, а у бомжа — откуда у него все это? Преступнику так же, как и вам, нужно в гору, в гору, а бомжу — под гору, под гору! Нет уж, с руцкими, с гайдарами, с жириновскими разбирайтесь сами, бомжам все они до лампочки. Понятно?

— Телевизор все-таки смотрите?

— В последний раз, вспомнить, год тому назад смотрел. Хотя точно не скажу... А радио слушаю. У нас у многих приемнички, а тут еще меценат какой-то поставил на свалке радиоточку. Копаешься и слушаешь. Слушаешь и копаешься. Сочетается.

— Слушаете? Интересно? Почему же все-таки слушаете-то?

— Потому что слышно.

— А голод мучает?

— Почему бы это? Еды на свалке навалом. Это вот шахтеры, те под землей голодают, чтобы зарплату получить, чтобы семьи прокормить, а нам заботы нет. Вот когда в Москву-столицу наведаешься — тут дело другое. Тут еды нет.

— Свалки вокруг Москвы скоро ликвидированы будут.

— Откуда известно? — восторженно Николай Николаевич. — Откуда?

— Лужков обещал.

— А-а-а, Юрий Михайлович! Конечно, деловой человек. Но и он тоже — на то и начальство, чтобы обещать. Обещать — это главный фокус всякого начальника — о-бе-щать! Без этого фокуса он никто. Вот Лужков Юрий Михайлович, он хотя бы единожды на свалку приехал? А то «ликвидировать»! А что ликвидировать — и сам не знает, в глаза не видел. А ведь его собственные отбросы тоже у нас. Вот и посетил бы, и пообщался б со свалочным народом. Уяснил бы неадекватность межгруппового сознания этого самого народа. Нет и нет — ни один министр на свалке не бывал. Хотя бы и министр экологии. Хотя бы — здравоохранения. Это их непосредственно касается. Их сфера. Их поле деятельности. Но в эту сферу они ни ногой!

— Сфера социального обеспечения, — подсказал Нелепин, а Николай Николаевич подтвердил:

— Где им всем? Им — некогда. Им больше нравится в белых халатах что-нибудь посещать. Что-нибудь космическое. Или мясо-молочное. Раз бы в год побывали, расширили свой личный и научный кругозор. Проанализировали бы ситуацию, когда этническая идентичность становится отрицательной. Вы меня, надеюсь, понимаете?

— Понимаю... — кивнул Нелепин. — Хотя случается, кандидатов наук не сразу и поймешь... Ну а свалки — они же становятся все больше и больше? Они возрастают?!

— Не то слово — больше! Они, знаете ли, нынче грандиоз! Растут, как в детской сказке. В то же время знаете как они современность отражают? Перестройку? Рыночные реформы? Это очень жаль, что прогресс никогда не изучается по его отбросам. А надо бы, надо! Всю современность — тоже по отбросам.

— Хворают у нас научная методика! — согласился Нелепин, а чтобы разговор и дальше не ушел в теорию, спросил: — А бывают нынче интересные находки? В мусоре?

— Да нынче их больше, находок, несравненно больше!.. Старожилы и не упомнят такого. Тут, рассказывают, один малый на свалку приходил. Неделю всего покопался — и что? Гойю нашел. Трубочкой свернута, в тряпочку завернута. В прекрасном состоянии, хоть сейчас в Прадо. Так тот малый — ни капли в рот никому — ни себе, ни людям, он Гойю продал и свое дело завел. В живопись поверил, антиквариатом занялся. Ну, правда, его ненадолго хватило — на год. После его надули, а еще после он спился, на иглу сел. Теперь неизвестно, то ли он все еще среди живых, то ли уже среди мертвых. В последний раз его видели — доллар только-только к тысяче подходил. Не помните, когда это было-то? Какое время?

— Нет, не помню... Не так давно. Вас курс доллара очень интересует?

— Ну как же! Обязательно! Это же — не политика, это подлинная экономика. Поскольку купюра в нашем деле не так уж редко встречается — и в кошельках, и так просто, — это вопрос для нас серьезный. Весьма. Тут совсем недавно одна женщина спустя три дня после дня своего рождения знаете что нашла?

— Что?

— Коробку конфет! Шоколад. А коробка не распечатана, коробка ленточкой повязана. Да что там говорить — я лично в прошлом месяце сам на цитрусовые вышел: коробка, правда, распечатана, но апельсинов в ней двадцать три головы. Не поверите — двадцать три!

— И что же вы? Все их съели?

— Сколько организм принял, столько съел. Остальные продал.

— Кому?

— Своим же. На свалке.

— Покупали?

— Главным образом женщины. Тоже ведь хочется детям подарочек сделать.

— Есть и такие?

— Куда таким деться? У меня приятели, муж и жена, — всем физикам физики. Ну а физики, они нынче в избытке. В большом. И вот они — в дворниках, а еще на свалке. И в результате всего этого содержат на городской квартире двух малых сынков и одну бабушку. И романист у нас имеется. Поэтов — двое. Журналистов почему-то нет. Но — будут. В общем, богатый социальный и профессиональный разрез. Кожаные заплатки на колени пришил, чтобы удобнее было на этих, на коленях, стоять, железный крюк в руки — шуруй! Лицензии не надо, а на пистолет, даже на автомат появляется шанс, это уже едва ли не миллионы. Едва ли не десять миллионов. За этим, за вооружением, специальные скупщики в первую неделю каждого месяца приезжают. Мало того — деньгами, еще и военным обмундированием расплачиваются.

— Военным?

— Без военной формы, без камуфляжа, без резиновых сапог разве что самые-самые новички обходятся. Военная форма, она, знаете ли, в свалочном деле самая незаменимая... И для мужчин, и для женщин. И для молодежи.

— Молодежь тоже есть? Встречается?

— Небольшой процент. Они — труднее привыкают. Они жизни еще не знают. Вот уж пенсионеры — те другое дело, у тех процент на свалке самый высокий. На государство и на народ они десятилетия вкалывали, им всяко приходилось, вот они и к нам. Мы же не грабим, не убиваем и даже не спекулируем. В нашей среде окончательных алкоголиков и наркоманов нет, нам этими делами заниматься всерьез некогда. Из нашей среды ни один Мавроди, ни один президент, ни один фальшивомонетчик не выйдет: мы не такие. Мы — честные. Природу не загрязняем, единственно, чем пользуемся, — что обществу уже не нужно. Куда уж честнее-то? Скажите — куда?

Дальше Николай Николаевич и вовсе вошел в энтузиазм. Не то лекция, не то — откровение, во всяком случае, Нелепин заслушался.

— Если хотите знать, — говорил Николай Николаевич, — если хотите знать — я всем российским гражданам гражданин, меня мое государство должно высоко-высоко ценить. И даже — любить! Нет, право, если бы одна четверть граждан ушла на свалку — это какое достижение было б для государства? Какое облегчение бюджета? Сколько средств можно было бы вложить в нашу передовую космическую науку? Прикинули? То-то... А это, уверяю вас, вполне возможно, вполне реальная перспектива и общественно-психологическая разрядка. Потому что Горбачев чего только мне не наобещал, Ельцин пришел — то же самое, а вот мои сбережения из сберкассы они вынули. Я сберегал-сберегал, и вот тебе — ноль! Был на старость кусок хлеба, и вдруг — ноль! К тому же у меня отец был крупный оборонщик, зарабатывал и мне оставил после смерти. Торжественные были похороны, речи были, оркестр был, мало ли что еще было. А Чубайс мне ваучеры вручил и говорит: вот теперь ты будешь гражданином-собственником! Благородным гражданином, и вполне современным, куда с добром! Это наше с тобой огромное достижение!

Где же он нынче, мой ваучер? Он тоже ноль, зато Чубайс — величина недостижимая. И непостижимая. Потом мне, доценту, зарплату дали, на ту зарплату можно кошку прокормить, кошка будет довольна, особенно если ей тоже на какую-нибудь блестящую перспективу укажут. Ну и где же я в конце концов себя нашел — доцент и кандидат наук? Где уголок для жизни определил? А на свалке я себя нашел, тут мне от богатых нынешних, от «новых русских» и нерусских кое-что перепадает реальное. Пореальнее, чем ваучеры. И я лоялен. Вот на таких, как я, наше правительство тоже рассчитывает: оно тебе в морду, а ты — как будто так и надо. Чуть что, тебе сразу же и объяснят: Сталин — он тебя расстрелял бы, а мы хорошие, мы тебя не расстреливаем, куда уж лучше-то? Вот как меня купили, вот как я купился. Называется — социальный эксперимент. Процесс. Перестройка. Ну что мне теперь — пойти убить кого-нибудь? А если я не способен? Было время — еще недавно — я сильно жалел, что не способен, нынче уже не жалею... Зачем? Если свалка везде и на каждом шагу — только и разницы, что у меня она откровенная, искренняя, а в Кремле — она как бы среди пышного бала интрига. Зато я истинно свободен: нет у меня необходимости хоть кого-то слышать, из кого-то выбирать — то ли Зюганова, то ли Жириновского, то ли Гайдара, то ли президента, — какая мне разница? И вы знаете — очень нормально себя чувствуешь, когда ничего не надо выбирать, все для тебя совершенно одинаковы, никакой разницы. И я лоялен. Говорю же: на меня мое родное государство может вполне положиться. И уже полагается. Не первый год. И не последний, думаю. Мне ведь все равно, кто, чего и к какому сроку обещает. К весне девяносто второго или к осени девяносто пятого. Мне даже все равно, что в Чечне происходит, — это ли для государства не плюс и не достижение?

Поди-ка, другие правительства нашему завидуют: нам бы, дескать, столь же сознательных граждан, а?! Если хотите знать — я всем политикам политик, потому что политикой не занимаюсь ни чуть-чуть!

— То есть вам совершенно все — все равно? И надолго ли так? Как вы думаете?

— Никак не думаю. Мне, чтобы думать, нужно вернуться в прежнюю психологию, а ее уже нет. Была — не стало. Это снова в Кремле — там психология, там политика предмет не только обсудительный, но и влиятельный. А на меня — какое еще может быть влияние? Ко мне ни администратор из мэрии не пристает, ни Мавроди, ни рэкетир какой-нибудь — никто.

Бывают, конечно, моменты — вдруг что-то вспомнится: август девяносто первого, октябрь девяносто третьего, — я всему был свидетель, я все обещания выслушал и с трибун, и с броневигов, и из самолетов, и вот теперь понимаю — помнить ничего не надо, это бессмысленно.

— А дети? — спросил Нелепин, кажется уже до отказа наслушавшись. — Дети у вас все-таки есть? И сын, и дочь?

— Взрослые. Я им помогаю. Иногда. При случае и если самому хочется глотнуть в дозу, не более чем в дозу. Это — нормально. У них же, у детей, передо мной нет никаких обязательств, вот и у меня перед ними никаких. У нас честно — ни они мне, ни я им. Теперь снова скажите: что может быть еще честнее? Впрочем, вот что: пора нам и рассчитываться. Двести пятьдесят тысяч. По минимуму.

— Какой расчет? Какие двести пятьдесят? Какой минимум? — удивился Нелепин. — Вы о чем?

— Как это — о чем? Вы что же, не знаете, что консультация денег стоит? Тем более научная?! Тут тебе и практика, тут тебе и теория, и что же — все это даром? Так вы думаете? Нет уж, если вы не согласны — сейчас закричу!

— Что же вы закричите?

— Само собой, закричу «грабят!». Закричу милицию. С меня милиции взять нечего, а с вас хорошо возьмут. Как бы и не подороже, чем я. Случай удобный, зачем кому-то случай пропускать?

— У меня денег нет.

— А вы бы вначале предупредили, что денег нет, я бы и разговора не начинал. Не консультировал бы! А вы — с интересом. А за интерес — двести пятьдесят отдайте. Я жду. Я тороплюсь. Мне некогда. У меня еще консультации предстоят.

— Сказал: денег у меня нет.

— Свидетелей найду, уж это не беспокойтесь — найду. Хотя бы двух, а надо будет — найду третьего, за ваш же счет. Как вы думаете, кого милиция будет слушать — вас или живых свидетелей? С паспортами? С пропиской?

— У меня денег нет.

— Нет — значит, будут. Вы же на мне заработали, напишите для прессы «Разговор с бомжем», и вот вам гонорар.

— У меня такого намерения не было.

— Значит, роман. Роман напишите.

— Тем более не напишу...

— Ах, тем более! Я знаю — вы докторскую диссертацию напишите, вот что! Ну? Я вам не советую бомжа обманывать... У меня слово с делом не расходится, я сейчас же закричу! Затею, факт.

Если бы у Нелепина не было опыта — опыта собеседования с дядей Мишей в троллейбусе № 15, — он бы и не уступил. Он бы ни за что не уступил. Но опыт был, и он потянулся в карман пиджака, вынул бумажку в 50 000, отдал ее Николаю Николаевичу. Сказал:

— Всё!

— Нет! — сказал Николай Николаевич. — Нет! Номер не пройдет. Не всё! Где остальные двести? Где они, скажите, пожалуйста? Еще двести?

— А сейчас я закричу! Поняли? — строго-строго спросил Нелепин. — Прибежит милиция, я скажу — вот этот вытащил у меня из кармана пятьдесят тысяч, и, поверьте, мне моих пятидесяти не видать, но и вам тоже. Еще и синяков не оберетесь! А как же? Откуда, спрашивается, у бомжа пятьдесят тысяч? В одной купюре? Ясно — из чужого кармана! Вам все еще не ясно?

Николай Николаевич встал со скамьи, на которой они так долго беседовали, снова сел, снова встал, приподнял на голове вязаный колпак:

— До скорого!

Николай Николаевич удалился не без некоторого даже достоинства: все-таки была удача. Хотя бы потому, что не было полной неудачи.

Нелепин подумал: конец сцены. Подумав, ощутил явное облегчение. Оказалось — преждевременно: Николай Николаевич вернулся, выражение на его невыразительном лице было — он что-то забыл. Забыл что-то сказать. Он сказал:

— Ну, знаете ли, это такая мерзость наша действительность, до нее самая мерзкая мысль не додумалась. Честное слово... Я это говорю, потому что заметил: вы — человек думающий, ищите что-то... Уверяю вас — ничего не найдете! Я еще могу что-то на свалке найти, для вас — исключено... Вам надо сначала окончательно увериться: наша действительность — это помесь чего-то еще не родившегося с чем-то еще не совсем умершим. Такой, знаете ли, гибрид выкидыша в предсмертной агонии. Понятно говорю? Вижу, что понятно. В таком случае — еще, ну хотя бы еще десять тысячочек. Обязательно дайте, я вас уверяю: за такой низкий гонорар я еще ни с кем не работал. И не буду работать, а с вами только потому, что у вас, во-первых, голубые глаза, а во-вторых, потому, что с самого начала вы произвели на меня благоприятное впечатление.

Нелепин дал двадцать тысяч, Николай Николаевич тяжело и громко вздохнул:

— Какая все-таки несправедливость, а? — взмахнул одной рукой, потом другой и ушел снова.

Нелепин смотрел ему вслед: вдруг и еще вернется?

Николай Николаевич не вернулся, ушел окончательно, Нелепин посидел неподвижно еще, еще подумал: а ведь — сюжет! Что же еще такое, если не сюжет?

Ну а поездку в Тамбов надо было отложить.

Разговор этот, это знакомство произошло на Павелецком вокзале, в переполненном зале ожидания. Нелепин собирался поехать в Тамбов, навестить старенького-старенького дядюшку, одного из младших братьев покойной матери, но без 70 000 никак не получалось. Уже много раз данная поездка не получалась, нынче не получилась, кажется, окончательно.

Может быть, так и следовало назвать нынешний сюжет: «Поездка в Тамбов»?

Сюжет № 6

ЖУЛЬКА

Нелепин ехал в троллейбусе тридцать первого маршрута, днем, пассажиров немного. И рядом с собой, у окна, увидел Наташу.

В свое время, приступая к коллекционированию житейских сюжетов, он собирался завести в троллейбусе разговор с совершенно незнакомым мужчиной — Мишей, с совершенно незнакомой женщиной — Наташей.

Так он давно уже обозначил своих будущих собеседников.

Разговор с Мишей уже состоялся. После Миши Нелепин о Наташе и думать забыл, но тут — вот она, рядышком. Сомнений не было — она!

Ей было за тридцать, причесана тщательно, курточка кожаная, очень легкая, тоненькая. От нее пахло духами. Хорошими.

Одним словом, Нелепин спросил у нее:

— Скажите, пожалуйста, у вас есть собачка?

Наташа обернулась к нему сияющая — с первого взгляда видно было, она умела сиять и голубыми глазками, и в меру розовыми щечками, и даже аккуратными, совершенных очертаний бровями.

— Ах! — воскликнула Наташа. — О чем вы спрашиваете? Ну конечно, у меня есть собачка! Жулька! Премилое создание, любимица всей семьи! Представьте — я сейчас только о ней думала! Недавно из дома — и уже соскучилась. А уж как она обо мне соскучилась, если бы вы знали! Сейчас, сию минуту, она сидит в прихожей и ждет моего звонка. А меня нет и нет! Жулька протяжно-протяжно вздыхает и подвывает. Страдает, бедная! Ужасно страдает!

— Значит, у вас с Жулькой дружба? Водой не разольешь?

— Ну еще бы! Прелестная девочка! Ума не оберешься, все как есть понимает, все-все! Глаза — гораздо умнее человеческих! — Наташа заглянула в глаза Нелепину и подтвердила: — Гораздо! Короткошерстная легавая. Нынче эта порода не очень в моде, но я за модой в этом вопросе не гонюсь. Главное, ум, а еще — привязанность к хозяевам. Притом она в цветущем возрасте, шесть лет. Щенится аккуратно — от трех до пяти щенков. А посмотрели бы вы на малышек! Восторг! Хвостики им рубим, конечно, их жалко, зато потом! Потом даже и не экстерьер, а своего рода грация! Элегантность! На любую международную выставку! На третьем месяце с прогулки сами дорогу домой находят и сами заходят в лифт. Тут случилось — ужас! — пятнадцать минут лифт не работал, представьте, какой они подняли визг — протестуют. Понять не могут, что случилось. У них в голове не укладывается. Охранник внизу, в подъезде, и тот схватился: давайте я их пешком подниму, а то они совсем изойдутся! Я ему говорю: значит, вы свой пост бросите? Это во-первых, а во-вторых — а я? Я сама? Себя-то тоже ведь не забудешь, как по-вашему? Этаж-то — десятый!

— По-моему, нет, не забудешь... — подтвердил Нелепин. — Никогда!

— Вот-вот, и я также говорю — никогда! Значит, и вы так же?

— Конечно, значит...

— А когда лифт пошел — знаете, как они обрадовались? И мы наших маленьких к этому возрасту, еще раньше, знакомым раздаем. Незнакомым — редко, и представьте — иногда даже за деньги. А что? Если они денег стоят? И все нашими щеночками остаются очень довольны, все-все. Не было случая, чтобы хоть немножко пожаловались. Иначе и не может быть, мы ведь свою Жуленьку в собачий клуб знаете к каким женихам возим? К самым-самым медалистам! Такие, знаете ли, женихи — они нашей Жуленьке, нашей милашке, и полюбезничать-то не дадут, хвостиком подрыгать — ни-ни, такой р-р-раз — и уже там! Уже работает. А домой ее обратно везешь, так она на заднем сиденье раскинется — вот так! — и вздыхает, вздыхает... В себя приходит. Очень умная. Все, как есть все понимает, все принимает близко к сердцу. Жульке и говорить не надо, только — ж-ж-ж-ж — пожужжать, и она тут как тут. Правда, один недостаток у нее есть, всего один: у нее шея на два сантиметра короче породного стандарта, так специалисты говорят, и не один — многим показывали кинологам, иначе говоря, собачникам. Ну, собачники, скажу я вам, так уж собачники — девяносто шестой пробы! И, знаете ли, все, как один, строгие, все, как один, отклонение от стандарта подтверждают. И тут ничего не поделаешь, приходится смиряться. Ради любви к Жуленьке. Любовь, она ведь дороже стандарта! А кинологи действительно про собак знают все на свете. Мы нарочно делали: троих приглашали, каждого в отдельности, каждого по Минскому шоссе возили к городу Можайску, там поляны хорошие, чистые, кинологи на полянах Жульку в бег запускали, наблюдали за ней в беге, в ходьбе и на подсадную утку наводили — и что вы думаете? Все трое совершенно одинаковые заключения дали, одинаковые поставили

баллы. Муж смеется ну, говорит, у кинологов наука несравненно выше стоит, чем у медиков. И правда: мы массажистку приглашаем она нас — меня и мужа — массирует-массирует — толку не видно, а пригласили собачьего массажиста к Жульке — она левую переднюю ножку частично вывихнула, — три сеанса провел — и все! У Жуленьки нашей вывих как рукой сняло... Муж говорит, ну, Наталья...

— Вас Натальей зовут? — удивился Нелепин — Неужели?

— Конечно! И я вам скажу — мне мое имя нравится. Почему бы нет?

— Хорошее имя! — согласился Нелепин.

— Если хорошее, чему же вы удивляетесь? Хорошему не удивляются. Вот я — я своей Жуленьке не удивляюсь, а принимаю ее всю как должное! Скажите, пожалуйста, вы ошейниками не торгуете? Я хочу сказать, может быть, у вас кто-то знакомый ошейниками торгует?

— Нет-нет... Нет у меня таких знакомых!

— И мастера подходящего нет, чтобы — на заказ?

— И мастера нет...

— Прямо-таки жаль. Очень жаль! А то мне, знаете ли, идея пришла.

— Идея? Какая же?

— А вот: сделать Жульке ошейник не стандартных размеров, а вот такой, сантиметров шесть-семь шириной, из темно-красной кожи. По красному черным сделать какой-нибудь рисунок... Какой-нибудь авангардно-модерновый. Ну и, конечно, колечко для поводка. Колечко не колечко, а что-нибудь вроде эллипса. Ну, знаете, вот когда земной шар не совсем шаром изображают — вот такой, продолговатый. Такой ошейник очень бы скрыл Жулькин недостаток — короткую шею. Значит, у вас нет знакомого мастера? И у меня нет. Ищу-ищу — не найду. Идеи, они всегда вот так: сама-то хороша, а хорошего мастера на нее не найдешь. Наоборот: чтоб украсть — это сколько угодно. У нас уже два раза Жульку уводили, большие деньги пришлось за выкуп отдать, вы и не представляете себе, какие большие. Так что теперь наша Жулька без поводка — никуда. Ужасное время! А у меня одно время была другая идея: сделать ошейник в три цвета — белый, красный, синий. Под цвет Государственного флага. Муж сказал: неоригинально, еще, пожалуй, примут нас с тобой за монархистов, а это ни к чему. Мы — демократы. Я тут одному посреднику заказывала, он все на свете может, и с ошейником смог бы, но очень много требует. Непомерно много. Конечно, не разоримся, но ведь и посреднику тоже совесть надо иметь! Неужели не надо? А?

— Надо... — подтвердил Нелепин.

— Вот именно — без совести никак нельзя! Ну а раз так, то и голова кругом идет от проблем. У вас не идет?

— Случается...

— У меня — так чуть ли не каждый день. Какое там чуть ли не каждый — буквально каждый. И с утра и до вечера.

— Ну а ваш муж — он к Жульке как относится? Так же, как вы?

— Ну, конечно, не совсем так, он же — мужчина, мужчина деловой. Он так и говорит: мое дело — деньги зарабатывать, семью содержать, а твое — деньги тратить, но только чтобы и с умом, и с настоящим удовольствием. Мое удовольствие — Жулька, муж меня понимает. Ну а что Жулька кушает, что ей особенно нравится, к этому у него интереса нет — мужчина. И в собачий клуб с Жулькой езжу исключительно я. Я его приглашала, звала — не едет. Это, говорит, дело твое хозяйское — выбирать Жульке женихов. Но Жулька все равно хорошо к нему относится. И к нему, и к детям!

— У вас дети?

— Ах, как же — Андрэ и Вячик. Иначе говоря — Вячеслав. Они когда уроки учат, Жулька к ним приходит, ложится и слушает с закрытыми глазами. Ну, может быть, и не все понимает, однако суть дела, безусловно, схватывает. А если мальчишки вместо уроков балуются, она на них ворчит. Дескать — нельзя! Прекратите сейчас же! И вот они учатся хорошо, даром что баловники. Учителя то и дело жалуются, а дети в школе предъявляют

претензии: почему они на уроки и с уроков в «мерседесе»? В новом? И — с сопровождающим? А почему, спрашивается, нет? А какое кому дело? Мы своих скоро в другую школу переведем, в подходящую. Ну а когда они уроки выучат — тогда им все разрешается: хоть верхом на Жульке ездить, хоть за хвостик ее дергать — тут она им все позволяет. И мальчишки, и Жулька — все очень любят, когда к нам гости приезжают, и тоже с ребятами, и тоже с собачками. Что тут в доме поднимается, какой ужас! Вы и представить себе не можете! По всем комнатам, исключая, конечно, отцовский кабинет и компьютерную и гостиную с гостями. Дети визжат, собаки лают, все они в это время — сыщики-разбойники, все — милиция и убийцы, все — Бог знает кто еще!

Бывает и две, и три собаки в гостях, мы им праздничный обед устраиваем. Домработницы после день-деньской приводят квартиру в порядок, притом — с недовольными лицами. А что поделаешь — приходится эти лица терпеть! За все надо расплачиваться! За все надо расплачиваться, и вы знаете, за интересный разговор — тоже. Очень интересный был разговор между нами, но вот в чем дело: я, кажется, только что свою остановку проехала! Как теперь свой необходимый переулочек найду, и сама не знаю. Я и названия-то переулка не знаю, а там у меня сестра живет, сестра хворает, я ей лекарства везу. Мы обычно со стороны Садового подъезжаем, мне и горя мало — как подъезжаем, а тут машины оказались в разгоне, я на себя понадеялась, и вот... Но я вам от всей души за разговор благодарна! И как вы догадались спросить, есть ли у меня собачка? Догадались же. Хотя давно известно: рыбак рыбака видит издалека. У вас-то — какая собачка? Я даже и не спросила, эгоистка! Какая у вас?

— У меня? У меня никакой.

— Что вы говорите! Не может быть! Право, не может! Вы так профессионально говорите, как завзятый собачник, и — вдруг?! Нет и нет — не верится!

— А я не говорил. Я слушал. Мне было очень интересно слушать! Очень!

Наташа задумалась, сделалась серьезной — к ней это тоже шло, — потом сказала:

— Вы меня просто поразили... Да-да — я в себя прийти не могу!

— Ну ничего. Как-нибудь... — посочувствовал Нелепин Наташе. — Всякое бывает...

— Да-да... Конечно! Мы люди посторонние, незнакомые, но это иногда даже и лучше. Поговорили, разошлись, никаких, совершенно никаких продолжений, а это хорошо. Просто отлично! Без продолжений как-то даже проще себя чувствуешь. «Наташа» — а больше ничего! И вы знаете, еще что?

— Что?

— Знаете, какое нынче вокруг нас время? Убийства! Грабежи! Коррупция! И так далее! Знаете?

— Имею представление.

— Ага, имеете. Так вот, Жулька — это как талисман. Как добрый ангел. Как только она у нас в доме появилась, с того дня у мужа дела пошли. Пошли, пошли и, слава Богу, идут. Мы и квартиру переменили, и мебель тоже. И я надеюсь... Муж у меня спрашивает: такая-то и такая-то у меня акция-операция, а ты как думаешь? Я говорю: сразу не знаю, но подумаю. Ну хотя бы с полчаса. Иду в свою комнату и с Жулькой советуюсь. Все ей объясню, в глаза ей смотрю: одобряет — не одобряет? После мужу объявляю свое мнение. А тут муж говорит: есть возможность на Крите — или на Кипре? — жилой домик приобрести. Ты — как? И тут я ему прямо говорю: новый дом — это собачье дело. Надо туда Жульку отвезти, посмотреть, как она там, на Крите — или же на Кипре? — будет себя чувствовать? Как воспримет? Муж в ответ: ты с ума сошла? В самолете собаку везти? В отеле остановимся запросто, а с собакой — как? Я говорю: а это уже твое дело, что и как, но я без Жульки ничего не знаю. Вот так: думай ты, ты

сам. Кто у нас кормилец-то? Ты и есть у нас кормилец — думай! Только я без Жульки — никуда!

— И что же он? Муж?

— Вот он и думает. Уже несколько дней. Больше — уже неделю. Проблема! И я тоже думаю: что за жизнь такая — ни дня без проблем? Скажите, пожалуйста, а вы меня не проводите? Тут, в этих переулках, честное слово, я тут заблужусь! А вам я, честное слово, с первого взгляда доверяю, проводите, пожалуйста. Можете? Я вам признаюсь: сестра сестрой, это — одно, а другое — мне срочно позвонили — посмотреть небольшой антиквариатик. Я и поехала. Без денег, конечно, посмотреть, прицениться. Ну а если так, если и еще кто-то пронюхал, значит, около того дома всякая публика может виться, а я — одна! Водителя и того нет! Я вас очень прошу! А? Если заплатить, то я...

— К сожалению — не могу! — сказал Нелепин. — К сожалению, я тоже тороплюсь!

— Ах, к сожалению! А я-то с человеком разоткровенничалась, наивная душа! Всегда вот так: и упрекнуть некого, только себя!

Лицо у Наташи покрылось пятнами, губы дрожали, из глаз текли слезы — ее узнать нельзя было, она вмиг изменилась, она переживала душевное потрясение.

— Тоже мне — мужчина! — И еще сказала Наташа Нелепину: — Фу! Смотреть стыдно!

Тут остановка, она бросилась к открытым дверям, спрыгнула на тротуар и побежала.

Может быть, и в самом деле ее надо было проводить?

Нелепин долго выбирал — как назвать сюжет: «Наташа» или «Жулька»?

Сюжет № 7

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА СВЯТОЙ КРЕСТ

Святой Крест (Карабаглы) — заштатный город Новогригорьевского уезда, Ставропольской губернии, расположен на реке Куме, при слиянии ее с Мокрой Буйволой.

Основан на месте селения Карабаглы в 1799 году, заселен выходцами из Армении. Население к концу XIX века — 6,5 тыс. Виноградарство, пищевая промышленность.

В 1920 году переименован в Прикумск.

В 1935 году переименован в Буденновск. Население (1933 год) — 21,3 тыс.

Ставропольский же край был переименован в край Орджоникидзевский, затем снова в Ставропольский.

По поводу переименований существуют и другие данные, Нелепин принял эти. Принял не без сомнений: по некоторым сведениям, между 1935 и 1973 годами город Прикумск (Карабаглы) назывался и еще как-то. Может быть, в промежутке между этими годами он носил имя, по определенным причинам ставшее нежелательным для СССР сталинских времен?

В 1987 году в Буденновске было 51,4 тыс. жителей.

Были: Институт нового хлопководства, пищевая промышленность, завод пластмасс и др.

Нелепин счел необходимым сделать заметки и по поводу Семена Михайловича Буденного.

Семен Михайлович Буденный родился в 1883 году.

Сын крестьянина-бедняка хутора Кизюрина, Ростовской области.

Участвовал в русско-японской войне в качестве рядового.

Участвовал в империалистической войне в качестве унтер-офицера и вахмистра.

«...один из учеников и соратников И. В. Сталина, народный герой гражданской войны (трижды Герой Советского Союза), выдающийся организатор и полководец Советской Армии, Маршал Советского Союза, командующий кавалерией Советской Армии, заместитель министра сельского хозяйства СССР, член ВКП(б) с марта 1919 года» (БСЭ).

Грамоте научился самоучкой.

В 1908 году окончил петербургскую школу наездников.

В 1932 году — Военную академию им. Фрунзе.

Во время Великой Отечественной войны занимал должности заместителя народного комиссара обороны СССР, главнокомандующего войсками Юго-Западного направления, командующего войсками Западного резервного фронта, главнокомандующего войсками Северо-Кавказского фронта, командующего кавалерией Вооруженных Сил СССР.

В СССР было 3215 колхозов, которым, по желанию колхозников, присвоено имя Буденного.

Под его непосредственным руководством выведены две породы лошадей: буденновская и терская.

Теперь корреспонденции из газеты «Известия», июнь 1995 года.

Николай Гритчин

В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ СПЕЦСЛУЖБ, А ТЕРРОРИСТЫ УЖЕ ЗАХВАТЫВАЮТ ГОРОДА

Провинциальный городок Буденновск, расположенный на востоке Ставрополя, переживает жуткую трагедию. 14 июня среди бела дня здесь, на центральных улицах, от рук дудаевских террористов погибли, по предварительным данным, 28 жителей и 65 ранены, около 500 горожан удерживаются в центральной районной больнице в качестве заложников.

События развивались в этот день весьма динамично. В 11.45 в дежурную часть Буденновского ГОВД позвонил встревоженный милиционер с поста на въезде в город и доложил: предположительно со стороны Дагестана, не реагируя на требование остановиться, проследовали два затентованных «КамАЗа» без номеров в сопровождении подозрительной милицейской машины. В кабинах сидели чеченцы. Караван взял курс на пригородное село Прасковею. На пост перед этим селом и последовала команда из ГОВД: задержать и обследовать машины. У Прасковеи чеченцы вели себя уже покладисто. Остановились, стали объяснять, что на борту трупы, которые они везут хоронить. Но открывать тенты наотрез отказались. Милиционеры предложили в таком случае проследовать в ГОВД. Этот вариант «перевозчиков» устраивал. В сопровождении двух милицейских машин они двинулись в город. Сообщение о странной процессии насторожило начальника ГОВД Н. Ляшенко. Он распорядился на всякий случай вооружить дежурную часть и заблокировать помещение с вооружением.

В 12.15 караван остановился у отделения милиции, и тут же раздались автоматные очереди. Первыми от рук боевиков пали милиционеры машины сопровождения. Затем бандиты стали поливать автоматным и гранатометным огнем само здание горотдела. Нескольким из них удалось прорваться через двор внутрь помещения. На площадке перед зданием и в коридорах ГОВД они уложили в считанные минуты 8 сотрудников милиции и посетителей. Было время обеденного перерыва, и часть работников находилась в буфете. Ворвавшись туда, дудаевцы захватили несколько заложников. Попытки пополнить отряд пленников оказались неудачными: большинство сотрудников заперлись в кабинетах или старались отстреливаться. Пальба у ГОВД продолжалась около получаса.

Затем боевики из затентованных «КамАЗов» выстроили заложников и погнали их на центральную площадь города. Ряды пленников постоянно

пополнялись за счет жильцов ближайших домов и посетителей магазинов. Непокорных и перечаших боевики не раздумывая пристреливали.

Еще две группировки из вместительных «КамАЗов» (общее их количество около 80 человек) орудовали в это время на городском рынке и в администрации. По рынку метались торговцы и покупатели, стараясь укрыться от пуль. Некоторые не успели найти укрытия... Чиновники администрации спустились в подвал. Но несколько человек остались на этажах и были приобщены к толпе заложников. Над покоренной мэрией взвился чеченский флаг. Опьяненные боевики отбирали у жителей легкоушки и носились на них по городу, крича: «Аллах акбар!» и поливая прохожих огнем. Они подожгли сбербанк и школу детского творчества, устроили погром на узле связи, швырнули гранату в казачью управу, прошивали автоматными очередями транспорт. Город, казалось, сдался на милость разъяренному победителю.

Но сюда уже спешили спецподразделения из Москвы и Ставрополя, других городов. Примерно к 15 часам основная часть боевиков под прикрытием 2,5 сотни заложников, в числе которых женщины и дети, перебралась в район центральной больницы, избрав ее своим опорным пунктом. С расположенной рядом вышки ретранслятора дудаевский снайпер начал прочесывать окрестности.

К вечеру подступы к больнице, где около полусотни террористов удерживают до полутысячи жителей города (в заложниках оказались и сотни находящиеся на излечении больных), были полностью блокированы многочисленными спецподразделениями и бронетехникой, над больницей кружили вертолеты.

Мне удалось поговорить с некоторыми чудом спасшимися заложниками. Майор милиции В. Балка сумел бежать по пути в больницу, нырнув в подворотню жилого дома. Последовавшего было за ним другого заложника настигла автоматная очередь бандита. Несколько пленников боевики отпустили в благодарность за сданную ими кровь для проведения операции своего раненого командира.

В ночь с 14 на 15 июня в напичканный войсками и оглашаемый перестрелками Буденновск прибыли вице-премьер Н. Егоров, министр внутренних дел РФ В. Ерин и директор ФСБ С. Степашин. Возглавляемый ими штаб по освобождению заложников разместился в простреленном здании ГОВД в паре километров от больницы. Террористы время от времени выходят на связь и требуют то вывода российских войск из Чечни, то проведения переговоров между Дудаевым и Ельциным или Черномырдиным. Всю ночь и утро «Альфа» провела в ожидании приказа на штурм. Пока его не последовало. Подразделения милиции и ОМОНа 15 июня продолжали прочесывать улицы города в поисках затаившихся боевиков.

Для переговоров с дудаевцами из Чечни прибыла делегация новой официальной власти республики. Надежда на то, что слово соотечественников будет услышано террористами, нелепа. Сами гости не скрывают, что с большим удовольствием расправились бы с прикрывающейся женщинами и детьми «мразью». Впрочем, делегацию в не меньшей мере беспокоит судьба мирных ставропольских чеченцев, над которыми нависла реальная угроза расправы.

Атаман Буденновского казачьего отдела А. Маевский прямо заявил на пороге горотдела милиции — после завершения операции по освобождению заложников он намерен поднять народ на выселение представителей беспокойной нации, приехавших сюда в последнее время. Необходимость такой акции подогревается разговорами о тесной связи местных чеченцев с прибывшими боевиками. Даже на официальном уровне выдвигаются версии о буденновских чеченцах, наводчиках дудаевцев. Реакция не замедлила себя ждать: 14 июня вечером я видел десятки чеченских семей, доставленных в ГОВД якобы для возможного обмена на заложников. Зам. министра внешних связей Чеченской республики М. Джамалханов сообщил мне вскоре после этого, что заметил избитых мужчин из этих семей.

Между тем иллюзий на легкую развязку этого беспрецедентного теракта никто всерьез не питает. Осведомленные источники утверждают, что в больнице вместе с заложниками заседают абхазцы из известного батальона Шамиля Басаева во главе со своим предводителем. Поднаторевшие в уличных боях в Абхазии и Чечне, где использовали самые надежные прикрытия в лице мирных жителей, они и в Буденновске сейчас чувствуют себя как рыба в воде. Поэтому военные и местная власть не исключают наихудших вариантов. В городе остановлено крупнейшее в Европе взрывоопасное объединение «Ставропольполимер». Предприняты беспрецедентные меры для его охраны. Населению рекомендовано не покидать дома. На перекрестках домов и у сельских околиц края дежурят наряды милиции и казаков.

Утром 15 июня во дворе ГОВД я насчитал 6 трупов чеченских боевиков, в основном молодых парней, и 14 местных жителей, включая милиционеров. Таков первый кровавый итог обещанного Д. Дудаевым переноса военных действий на российскую территорию. Ставрополье оказалось беззащитным перед агонией боевиков.

Буденновск,
Ставропольский край.

А ведь Нелепин имел отношение к этой странной XX века войне, он имел опыт.

Отдаленный, и все-таки опыт! Тревожно встрепенулся этот опыт в тот же миг, как он услышал первые сообщения из города Святой Крест — Прикумск — Буденновск.

Давненько было, но вот не забылось ничуть, тотчас и воскресло в памяти.

Домой к Нелепину пришли трое — три человека — армян двое, азербайджанец один:

— Просим, просим, просим: напишите в какую-нибудь московскую газету — на следующей неделе откроется война между Арменией и Азербайджаном! Обязательно! Неизбежно!

— Почему же война вспыхнет? Откуда вам известно? — до крайности удивился Нелепин. — Этого никто не знает!

— Мы знаем! Мы знаем: в наших республиках совершены преступления, которые можно скрыть только войной. И ничем больше!

— Что же совершено?

— Преступные обогащения.

— Значит, преступление может быть скрыто еще большим преступлением?

— Вот именно, вот именно! Лучший, самый верный способ. Значит, вы поняли нас! Значит — напишете? Значит — опубликуете?!

Тот из армян, который был постарше и хорошо, но все-таки хуже, чем его товарищ, говорил по-русски, заплакал:

— Мы знали, к кому идти! Я же знал идти к кому!

Нелепин был в растерянности:

— Не могу...

— Вы? Не можете? Это неправда!

— Мы клянемся, это — неправда!

— Вы — напишете! И — напечатаете. Предупредите страшное бедствие!

— Не могу...

— Можете! Вы так и напишите: ко мне пришли трое и сказали, что завтра разгорится война. Потому что... объясните — почему...

— Но я не знаю, с кем имею дело. Кто мне говорит, кто от меня требует?..

— Мы не можем сказать, кто мы. Мы могли бы вас обмануть, назвать не наши имена, но мы не можем обманывать!

— Имена преступников?

— Не можем. Не можем назвать.

Разговор происходил в прихожей, Нелепин сказал:

— Присядем. Ну, хотя бы на кухне. Присядем и поговорим..

— Не можем. Нам нужно уходить. Не исключено, совсем не исключено, что за нами следят. Мы — уходим А вы — напишите. Иначе вы не можете! Мы знаем, вы — не можете!

И трое ушли, а Нелепин остался. Остался в недоумении, которого у него не бывало за всю его жизнь.

Нелепин позвонил трем сотрудникам трех газет, ему отвечали:

— Гриша! Ты в уме?

— Ты ребенок?

— Об этом — и по телефону? Провокация!

Тогда Нелепин уже сам с собой продолжил разговор:

— Провокация... Игра неизвестных темных сил. Кто-то с кем-то сводит счеты... Какой же редактор напечатает?.. Эти трое не только ко мне приходили — сейчас они еще в чьей-то квартире... И почему они не пошли прямо к главному? К главному какой-нибудь газеты?

И так далее, и так далее размышлял Нелепин и успокоился

Свое успокоение он подкрепил теорией вероятностей: вероятность того, что кто-то это напечатает, — 0,001%. Вероятность того, что трое посетителей сказали ему сущую правду, — 0,001%. Вероятность подобного решения задачи (публикация) составляет всего-то 0,000001%

Через пятнадцать дней в Карабахе началась война, вероятность которой Нелепин определил как 0,000001% (с учетом субъективного фактора)

Он следил за событиями в Карабахе с пристрастием, которого у него не было, когда речь шла о событиях в Приднестровье, в Боснии и Герцеговине, в Таджикистане и даже в Чечне, и то и дело выбегал на улицу — в уличной толпе его сомнения хотя бы отчасти рассеивались. Перед толпой у него не было обязанностей, не было обязательств, не то что перед самим собой.

Чечня была еще ужаснее, но к ее событиям он никак не мог быть причастен, только вздрагивал всякий раз, когда видел по ТВ Грачева, вспоминал его обещания и объяснения, его первый штурм Грозного. (Все как с гуся вода.)

В толпе Нелепин ощущал ее лотерейность: выигрышные билетки для нее, ставки власть имущих — на нее, эпидемии, транспортные катастрофы, террористические акты — ее принадлежность, но события ей не принадлежат, она принадлежит событиям и чьим-то поступкам.

Отчасти Нелепин объяснял это механикой, броуновским движением людей в толпе, движением навстречу друг другу, свойственным людям и вот еще муравьям. Животные, птицы, рыбы, саранча если и сосредоточиваются в стада и стаи, так только ради движения в одном направлении — с юга на север или с севера на юг; из океана в верховья рек, с верховьев рек в океан, в поисках пищи либо спасаясь от пожаров, но люди, будучи подвержены встречному движению, неизбежно сталкиваются в войнах, так думал Нелепин всякий раз когда вступал в толпу Нового Арбата, Тверской или Садового кольца.

Все той же толпы встречных и поперечных не могли миновать два армянина и один азербайджанец, когда умоляли Нелепина написать в газету о предстоящей войне за Карабах. Нынешняя статья Николая Гритчина о Буденновске все к той же толпе снова апеллировала, как если бы она двигалась вся в одном направлении, в направлении одной мысли.

Вот и Нелепин, подвигавшись туда и сюда за хлебом, за солью, за пастеризованным молоком и подсахаренным творогом, вернувшись в конце концов домой, принялся за чтение статьи публициста Отто Лациса, которого он немного знал, но много и с большим уважением читал, читая, хоть что-то надеялся из текущих событий понять.

Отто Лацис

ЖЕСТОКОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ТОЛЬКО ЖЕСТОКОСТЬ

Трагедия в Буденновске вызывает не только ужас и негодование в связи с действиями террористов. Она вызывает также тягостные вопросы по поводу действий российских властей.

Первый вопрос возник с самого начала событий: как могли допустить такое? Объяснение Басаева (проходили посты ГАИ за взятки) кажется правдоподобным, но недостаточным. На вопрос о причинах столь странного недосмотра нет до сих пор ответа, и вряд ли можно было в данном случае отмахнуться: мол, надо завершить операцию освобождения заложников — «разбор полетов» потом. Во-первых, опыт показывает, что потом никакого разбора не происходит. Во-вторых, и это главное, без ответа на этот вопрос не было уверенности, что можно доверять руководство операцией освобождения тем, кто его осуществлял. Судя по тому, что до сих пор официально сообщалось (границу Чечни на ставропольском направлении стерегут не погранвойска), основная вина за допущенный прорыв террористов ложится на ведомство Виктора Ерина. И руководил операцией освобождения он же, Герой России Виктор Ерин, министр.

Так можно ли было на него положиться?

Кровавая сумятица 17 июня подтвердила худшие опасения.

Обстреливать больницу и штурмовать принялись так, словно там и не было наряду с террористами сотен ни в чем не повинных людей, включая детей. Не брошу камень в спецназовцев, которые рисковали жизнью и умирали, участвуя в этом штурме. Кажется, еще не было в истории захвата заложников в таком числе и в столь обширном комплексе зданий. Допускаю, что не было возможности вести штурм иным способом. Так это значит, что нельзя было штурмовать!

После неудачного штурма, унесшего десятки жизней и не давшего свободы большинству заложников, премьер Виктор Черномырдин вступил в прямые телефонные переговоры с главарем террористов и достиг соглашения. А что мешало предпринять попытку договориться о том же самом до штурма, без штурма? Ведь российское правительство постоянно заявляло, что хочет именно этого: прекращения огня и достижения мира в Чечне.

Ответ напрашивается печальный: мешало, по-видимому, то, что кое-кто в правительстве далеко не так сильно стремится к миру, как о том заявляет премьер-министр. Не случайно 17 июня как бы повторена в уменьшенных размерах вся жуткая история войны в Чечне: «с бандитами не разговариваем», сначала постреляем — там видно будет. А цена такой принципиальности — жизнь людей. Вспомним некоторые детали событий страшного дня.

Началась стрельба, гибнут люди, заложники и жители города просят прекратить штурм, приехавшие депутаты Думы ищут вице-преьера Егорова и не могут его найти. Все спрашивают, кто приказал начать дикий штурм, — никто не знает.

Самое удручающее — грубая демагогия в телевыступлении Виктора Черномырдина в этот день. По его мнению, оказывается, после событий в Буденновске должны изменить свое мнение «даже те, кто сочувствовал Дудаеву, осуждал войну». Выходит, все, кто осуждает войну в Чечне, делают это исключительно из сочувствия к незаконному режиму Дудаева? Ну не верю я, что премьер не ведает, какую недостойную клевету он произнес. Невозможно не знать, что люди, осуждающие войну, сочувствуют не Дудаеву, а матерям погибших российских солдат и убитых в Чечне детей.

Не может наш премьер не понимать и другого. Акция Басаева чудовищна и преступна, она объективно является провокацией против народа Чечни и против народов России независимо от того, хотел ли этого Басаев и понимает ли он это. Однако не забудем: трагедия в Буденновске произошла не ДО, а ПОСЛЕ кровавого пожара, прошедшего по всей Чечне и унесшего десятки тысяч жизней. Это никак не оправдывает террористов. Но как же мало нужно уважать всех нас, чтобы, выступая перед целой страной, подобными аргументами оправдывать задним числом действия правительства, развязавшего войну!

Тем, кто не избежал соблазна подобных оправданий (в их числе, к сожалению, и президент России), следовало бы вспомнить, какие обстоятельства помогли выдвижению самого Басаева. Из рядового боевика в одного из главных военных деятелей Чечни он превратился на войне в Абхазии, где таскал каштаны из огня в интересах сторонников имперской политики России.

Трагедия в Буденновске поставила на край пропасти не только заложников в городской больнице. Сегодня вся Россия — в заложниках. Трудно сказать, насколько серьезны намерения и возможности казачьего атамана, обещавшего 17 июня с телеэкрана похватать и перестрелять мирных ставропольских чеченцев. Но ясно, что такие настроения не у него одного. Ясно, что, случись подобное, перед нами явится не один Басаев, это будет только начало, и пожар пойдет по всей России

Очень возможно, что кто-то именно этого и хочет: ведь это было бы самым верным способом покончить с надеждами на обновление России. Все, что происходит сейчас, на удивление, до деталей, напоминает события в январе 1991 года: стрельбу в Вильнюсе при невероятном «неведении» всех властей, попытки столкнуть между собой народы, чтобы потом «навести порядок» железной рукой. Известно, сколь короток был путь от января до августа 1991-го.

Положение и поведение президента Ельцина сегодня поразительно напоминают положение и поведение президента Горбачева тогда, четыре года назад, в последние месяцы его власти. Та же неубедительность и неточность слов, та же неуверенность действий, та же бросающаяся в глаза зависимость его мнений от какой-то явно односторонней информации. Почему таким своевременным и нужным словам о том, что мы не ставим знак равенства между бандитами и чеченским народом, должны были предшествовать странные слова о Чечне — центре мирового терроризма? Зачем надо было транслировать неправдоподобное сообщение о намерении Дудаева бежать в Турцию?

Следовало ли президенту во время такой трагедии ехать в Галифакс? В пользу поездки говорили серьезные соображения, если учесть значение для России обсуждавшихся вопросов об отсрочке наших платежей по долгам и о приеме России в международные экономические организации. И поездка была допустимой, если бы... Если бы президент перед отъездом дал согласие не на штурм, а на мирные переговоры. Если бы приказал премьеру немедленно ехать в Буденновск, чтобы в случае авантюры вроде попытки штурма все знали, кто несет ответственность за подобные действия. Если бы исполнителями операции были не такие специалисты, как Егоров и Ерин. Если бы он в Галифаксе попросил прямой помощи специалистов по борьбе с терроризмом, имеющих в других странах и осуществлявших подобные операции более успешно.

Мы живем сегодня в слабом государстве. Это становится ясно всякому, кто сопоставит хотя бы быстроту и результативность действий властей США и Японии в ответ на массовый терроризм в этих странах с безрезультатным расследованием политических убийств в России и «странной» организацией борьбы с террористами в Буденновске. Слабость нашего государства не в отсутствии «твердой руки». Слабость его — в полном равнодушии к судьбам живых людей, ради которых будто бы устанавливают закон и порядок. Американское государство нагляднее всего подтверждает звание великой державы, когда, не колеблясь, бросает огромные силы для спасения одного-единственного летчика, скрывающегося в лесах Боснии. Российское государство откровеннее всего демонстрирует бессилие, когда, не задумываясь, применяет силу для уничтожения собственных граждан.

Нет, право же, не могло не показаться Нелепину, что к Отто Лацису приходили двое русских и один чеченец, приходили, убеждали его написать о войне, которая стояла на пороге — вот-вот войдет, ворвется.

Нелепин подобному предупреждению не внял, не сумел внять, Отто Лацис с запозданием, а все-таки это предназначение исполнил.

Сюжет № 8

ЗАМЕТКИ

Непонимание человеком (Нелепиным?) окружающей действительности начинается с непонимания им власти — кто такая? Откуда? Почему эти, а не другие физиономии? Почему физиономия нынешнего власть имущего не та, которая должна быть? Дворян извели? Те были с физиономиями. Столыпин имел лицо. Витте имел. Кривошеин. Император — тем более

Власть своей собственной (мрачной?) загадки не знает. Знать не хочет, и чем искуснее от нее уходит, тем более умной, необходимой и незаменимой сама себя считает.

И правда: если власть в собственную загадку погрузится, она уже не власть.

От социализма надо уходить уже потому, что его и не было — разве что донельзя урод? Может быть, социализм только и может быть уродом, ничем другим?

Свобода выбора в России — это свобода гибели? Но и без нее нельзя.

Сто лет назад, чуть больше того, в год своей смерти Константин Леонтьев говорил: социализма Россия не минует. Но это — полбеда. Вторые полбеда наступят, когда она будет из социализма выходить.

ТВ сообщило: юридическое лицо покупает государственный завод (приватизация). Цена — триллион. Но сколько завод стоит на самом деле — об этом ТВ ни слова.

И откуда у покупателя триллион, если он еще раньше не обманул государство?

Обогащение возможно, если в государстве возрастает производство (ФРГ).

Обогащение возможно за счет финансовых операций, если имеет место долголетняя государственная стабильность (Швейцария).

Если же ни того, ни другого нет и в помине (Россия), за счет чего возникает класс немногочисленных богатых, очень богатых людей?

За счет обнищания другого класса. Снова империализм?

Или — феодализм?

Советская власть знала, как ей прийти, как укрепиться, в этом она была последовательна, жестока и неколебима. Она никогда не знала, когда и чем она кончит и что будет после нее. Поэтому Нелепин все, что происходило нынче в России, относил на ее счет.

Недавно в троллейбусе Нелепин услышал: у нынешней власти остались рога и копыта, она может бодаться и топтаться, больше ничего. Тем с большим рвением она лезет туда, где она не нужна, — в поликлинику, в магазин, в таксомоторный парк, в библиотеку, в школу, в прачечную.

Дудаев взял ровно столько суверенитета и столько оружия, сколько ему дали президент Ельцин и министр Грачев. Он ничего не приобретал, ему все подарили. Теперь он защищает подаренное.

Двуножие человека, чувствовал Нелепин, — причина его повышенной сексуальности — во-первых, самомнения — во-вторых.

Зато на четырех и более ногах земля, наверное, чувствуется как земля, а не только как две точки опоры. Не исключено, что у человека на четырех ногах будущего было бы побольше, а настоящее было бы понадежнее. И не так уж безапелляционно будущее распорядилось бы настоящим.

В любую минуту любой человек заботится о будущем, жертвуя настоящим, воображает, как бы завтра ему иметь побольше, как бы через девять месяцев у него не родился сын или дочка, как бы поскорее снизились цены, достигли своего недавнего прошлого.

Нелепин думал о себе: он старый, ему немного осталось, но он не прожил до конца, может быть и до половины, ни одного из своих возрастов.

В детстве ему надо было быть вдвое дольше, потому что с шести до двенадцати — тринадцати он не успел повзрослеть.

Отрочества и вовсе не было, разве что толстовское «Детство. Отрочество. Юность».

Молодость столько же была, сколько и не была. Ни к одному своему возрасту Нелепин не относился с таким же недоумением: молодость никак не вписывалась во всю его остальную жизнь.

Зрелый возраст? Что это такое? Это самое большое недоразумение.

Старость — непонятно, зачем? Чтобы придумывать непосильные сюжеты?

А будущего ему и не надо, надо бы кое-что из прошлого пережить заново.

Многие годы, наблюдая за одним рыжим-рыжим ирландским сеттером по кличке Дружок, Нелепин думал, что Дружок счастлив отсутствием будущего.

Тем более счастлива его заочная знакомая Жулька.

Вот и Мишин плевков — незабвенен.

Как будто это был первый плевков, как будто только Миша в Нелепина и плевался, больше никто никогда.

А психически ненормальный депутат в Государственной Думе безобразно кривляется — это плевков?

А сексуальный маньяк, он же думец, — это как? Хлещет коллег по физиономиям, волочит женщин за волосы?!

А продавщица: «Товар ему не нравится — испорченный?! А кто тебя заставляет брать? Не нравится — не бери!»

Но кто же Нелепина заставляет жить? Не нравится — не живи.

Много стало на улицах старых и хромых женщин.

Россия начала свою государственную историю в колебаниях между Европой и Азией.

Византия возникла в Азии, а потом еще и трехсотлетнее монгольское иго не могло не отразиться в сознании восточного славянина.

Но все равно Европа была ему ближе, связи с ней осязательнее.

Петр Первый сделал окончательный выбор — приобщил Россию к Европе.

Приобщение это стоило колоссальных жертв, и вот уже жертвы вошли в привычку России, она старается идти в ногу с Европой, даже опережать ее, но походка-то у нее азиатская.

Петр учел, что Европа была гораздо терпимее к пришельцам, чем Азия, легко принимая их по их же собственному желанию, а иногда и без собственного. Из Африки она приняла Египет, из Азии — Турцию, Японию, из Америки — Мексику, а Ближний Восток, Израиль, тот был принят Европой чуть ли не как собственный первоисточник.

Приход же России уже несколько столетий Европу шокировал: как будто пришла окончательно, но кто такая — неизвестно по сию пору.

Сама-то Европа привыкла приходить на другие континенты весьма определенно: истребляла аборигенов в той же Америке, в Африке, в Австралии. В Азии дело обстояло посложнее, подобные попытки не удались ни в Индии, ни в Китае, ни во Вьетнаме, да ведь и в России тоже. В России эти попытки обернулись только еще большей неопределенностью ее положения.

И вот Николай Второй, сам по себе доподлинный европеец, с женою-немкой, с сибирячком Григорием Распутиным, с убийцей Распутина князем татарских кровей Юсуповым, оказался ответчиком за этакую неопределенность.

И Суд над ним не мог этого факта миновать. Но Нелепин-то? Разве мог он представить себя судьей-историком-философом и т. д. в этой проблеме? Нет и нет! Подсудимый был для него абсолютно недоступен. Не только для него, с его ничтожными силенками, — во всех судебных кодексах всех времен и народов подобный эпизод предусмотрен не был. Страшно любопытно, это правда, но страшно — прежде всего Усложнить дело никогда не трудно, а упростить?

Вообще же, коварство сюжета «Суд над властью» проявлялось на каждом шагу, и совершенно неожиданно. Скажем, ни с того ни с сего, но вполне по ходу дела возникала проблема: сюжет и жанр.

Сюжет в рассказе — это случай, вырванный из времени, и чем глубже этот отдельный случай исчерпан, тем рассказ более совершенен.

Сюжет классической повести — повествователен, хронологичен, он не вырван из времени, он вписан в него.

Самые сложные отношения с жанром у романа.

Сюжет может быть полностью подчинен этому жанру, но может и подчинить себе жанр до такой степени, что от него ничего не останется. Сюжет в романе может быть грандиозным и все-таки обладать границами, но и при незначительной задаче может быть безграничным.

Романист ставит перед собой задачу Суда над властью и гоняет сюжет из угла в угол как сидорову козу, но когда слишком увлечется — сам оказывается в положении той самой козы...

Вот и казалось: нет такой темы, которая не имела бы отношения к Суду над властью! И по-другому: нет более самостоятельного сюжета, чем этот Суд!

Одно другое исключало, и Нелепин оставался с нулем за пазухой.

Законы природы точны и непоколебимы, но их-то мы и не замечаем, они — безвариантны. Нам подавай закон во множестве вариантов, тогда это — закон.

Власть имущий не размышляет о том, что такое власть. Власть — это он сам, он сам — это власть. Иначе говоря — полная гармония.

Повседневность сложнее вечности: Нелепин каждый день слышал о том, что «положение остается сложным!» По поводу вечности он никогда ничего подобного не слышал.

Сталин — творец плана преобразования природы — решил стать умнее природы. Природная эволюция по Сталину, по марксизму — это консерватизм и пессимизм, прогресс и оптимизм — это революция.

Ленин совершенно не терпел тех, кто судил о нем, но сам судил всех и вся (с какого возраста начал? — интересовало Нелепина). Ленин был величайшим в истории разрушителем истории — хотел начать исторический счет с самого себя. Потому так жесток был и Великий Октябрь. Все сметал в осуществление самого себя: крестьянство, интеллигенцию, природу, национальности. Природу он тоже хотел начать сначала.

Еще труднее, чем историю власти, написать историю подчинения людей властям.

«Долой войну!» — провозглашали большевики, люди, в общем-то, мирные в России самодержавной.

И вот они у власти: Гражданская война (такая России и не снилась). Это война «оборонительная»: на нас напали! Оказывается, революция — это не нападение, а всего лишь оборона?! И миролюбивую революцию люди верили и за нее погибали: я — жертва, но жертва последняя! После меня жертв не будет!

Кто в Гражданскую войну предвидел репрессии, раскулачивание 30-х годов? Кто — нынешнюю Чечню?

Все говорят, говорят, говорят, обещают, обещают, обещают: Жириновский, Зюганов, Анпилов, Явлинский без конца рассказывают о своих замыслах. Но что же все-таки они умеют? Умеют делать?

Нелепин-то знает: замысел и ложь — близнецы, которых ни в жизнь не различишь, пока они не различатся сами. Для этого нужно время — да, время. При том, что срок, в который совершится это различие, — тоже срок невероятной, глобальной лжи.

За Ельциным Нелепин видел (все видели) столько нелепостей — не перечить, но они хотя бы были реальностями, а чем были обещания Зюганова? Теорией? Теорией коммунизма? Длинной, длинной теорией: Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин — Хрущев — Брежнев — Андропов — Черненко — Зюганов — Анпилов... На Анпилова как глянешь — сразу определишь: теоретик! Коммунизма!

Чем больше власть вмещивается в твою жизнь, тем она для тебя недоступнее и глупее.

Обобщить Бога с Природой? Вернуться к язычеству, к пантеизму? Не это ли и есть экология?

Кто заговорил о власти человека над природой? Раб, сбежавший от своего господина. Позже раб вынужден будет к природе вернуться.

Двадцатый век в России, с баррикад 1905 года начавшись, к нормальному существованию, к здравому смыслу так и не пришел. Надежда — на век следующий. Тот, кто запросто теряет годы, считает веками.

И тут-то, на этом месте «Заметок», нескладного сюжета № 8, Нелепин и понял, в чем дело, почему не он тянется к запискам, а записки валяются на его уже лысеющую голову: ему необходима встреча с Николаем Вторым. Необходима, и только.

Нелепин намеревался этой встречи избежать — к чему, если он отказался от своего Главного сюжета, — и он пустился в путешествие по самым различным мыслям, бродил в них, словно в ущельях кавказских, а то и гор Таджикистана, однако надежда не оправдалась, он все приближался и приближался к своему главному персонажу своего Главного сюжета.

Мало ли у него было в жизни судей — не очень-то большого труда стоило ему избежать встреч с ними, но вот появляется его первый (и заведомо последний) подсудимый — и ни в какую, никак он не может от него избавиться! Ни в просторах, ни в ущельях.

В представлении Нелепина Николай Второй был человеком не по-императорски скромным и храбрым, относился к угрозам убийц спокойно, будто и не замечая множества заговоров (правда, несостоявшихся). Охрану при себе, по сравнению с нынешними временами, имел ничтожную.

К угрозам Государству Российскому относился серьезнее, но и достаточно примитивно, так же, как относятся власть имущие и власти жаждущие нынче: кто-то уж очень завидует все еще великой России, кто-то очень хочет подорвать ее могущество, кто-то «мутит народ», и все это происходит по одной причине: утерян порядок — будто был он, был в недавнем прошлом. При этом не сами порядки соизмеряются, соизмеряются беспорядки: который из них был еще больше?

Так ведь и Николай Второй судил так же, соизмеряя свое собственное царствование с реформенным царствованием деда Александра Второго — Освободителя, убитого народовольцами, и отца своего, консервативного Александра Третьего (консерватор был добр, земли раздавал крестьянам).

Для Николая Второго его отец явился идеалом императорства, а Россия — святой иконой, которую можно осторожно реставрировать, обновить краски, никак не более того.

И Николай Второй взял роль реставратора, а в этой роли подвергнул Россию неоправданным испытаниям, полагаясь на прошлое, а время-то уже было другое — другого требовало. Уж во всяком случае, не реставрации требовало оно.

Нелепин признал: династия Романовых многое совершила: обставила государство храмами необычайной красоты и могущества, установила богослужения, каких не было нигде в свете, укрепила государство крепостями, полками, постами и дозорами, казачьими станицами от Днестра до мыса Дежнева (а было время, что и гораздо далее), устроила знаменитый ряд университетов, институтов благородных девиц, кадетских корпусов. Императору Николаю Второму надлежало дело продолжать, он продолжал, как мог и разумел, но не так, как должен был. Должное, будучи судьбой России, мог бы установить Суд, но император был расстрелян без суда, без следствия.

Та же участь постигла многих и многих его родственников, великих князей прежде всего, процедура была:

1. Расстрел.
2. Расчленение трупов.
3. Сожжение останков.
4. Тайное захоронение останков от останков в местах глухих, малодоступных.

А ведь были другие варианты — все конституционные монархи в ту же пору спаслись, спасли и свои империи от революций, от собственных Лениных, хотя пусть и не в той же мере, но прошли путь российский. И Австро-Венгрия прошла, и Германия, и Турция.

Россия же проходит несправедный путь самодержавия, избранный Николаем Вторым, до сих пор.

Вот и мучил Нелепина вопрос: почему образованный, скромный, в скромности даже и обаятельный, русский царь предпочел самодержавие конституционной монархии? Тут уже не логика, тут свойство личности.

Герой романа, пусть несостоявшегося, — это даже и не эмбрион. Эмбрион — что? Клеточка, которая еще не знает, кто она — мальчик или девочка, пестик или тычинка? Эмбрион, доказывает современная медицина, может быть гласно и негласно использован как средство лекарственное. А замысел романа? Романа еще нет, а он уже знает свое значение, его нет, а он уже знает своих читателей, его нет, а он уже знает, с чего он начнется, чем кончится. Его еще нет, а его герой — вот он, последний император Всея Руси!

— Скажите, ради Бога, почему в тысяча девятьсот пятом, в шестом, в седьмом годах вы не приняли статута монарха конституционного? Блестя-

щий возникал выход из положения! Вам бы памятники поставили по всей стране: вот он, император-самодержец, преобразившийся в конституционного монарха! Вот он — человек, поистине преобразивший Россию?! Скольких бы катаклизмов и жертв Россия избежала? Скажите — почему? Не скажете, утаите — я умру!

Император с потерянным выражением лица, почти что вовсе без лица, отвечал Нелепину голосом тусклым, потусторонним:

— Слишком много вариантов в нашем земном мире. А Бог с небес не сподобил выбрать...

Император был подавлен. Император был обескуражен нынешней встречей с Нелепиным, Нелепин же был жесток и с горячностью непоколебимого эгоиста доказывал самую главную, самую любимую мысль давно уже утерянного им сюжета:

— Еще и еще представьте себе: вы — конституционный монарх! Великая Россия по примеру Великой Британии! Вы известный англоман! И как бы приветствовал этот шаг цивилизованный мир?! Боже, какой восторг в Европе, в Америке, в Австралии! И Азию нельзя исключить... Императорский Китай и тот уже преобразался тогда в республику?!

— Нам дороже были интересы России, чем мнения всего света.

— Но вы уже были на конституционном пути, когда под революцию тысяча девятьсот пятого года создали Государственную думу?! Когда позволили Столыпину отдавать общинные земли крестьянам-хозяевам? Когда о народном, о женском образовании озаботились? О свободе печати? А потом? Думы одну за другой распустили, печать зажали цензурой, посадили в тюрьмы, разогнали в ссылки кадетский выборгский съезд! Это же были ваши умные благожелатели?! Вам бы с ними — союз! Нерушимый!

— Благожелатели не собирают нелегальных съездов... — вздохнул император. — Нелегальность уже есть вражество. И чтобы друзья государства стремились дробить верноподданный народ на партии? На автономии? А все, что кадеты в Думе и на каждом углу говорили о нас, — разве то не вражество?

— Да знаете ли вы, знали ли вы, что такое монарх конституционный? Монархия парламентская?! Монарх представляет, он — знамя единой России, а партии, а Дума успокаивают террористов. «Земля крестьянам!» — решает Дума по-стольпински. Вам-то как удобно! А рабочее движение? Плеханов-меньшевик — спорит в парламенте с Лениным-большевиком, и все дела! И пусть себе! Революцией от них и не пахнет! Разве от Ленина до апреля семнадцатого пахло революцией? Только чуть-чуть! Но вы пренебрегли годом тысяча девятьсот пятым, и настал тысяча девятьсот семнадцатый, и вы отреклись от престола, который до тех пор не хотели сдвинуть влево!

— Война. Немцы. И мои союзники — Франция, Англия. Если бы война была быстрой, была победоносной — Россия продолжила бы свой прекрасный самодержавный путь. К вершинам счастья и могущества. Но мы заблудились. Мы ошиблись не как монарх, но как военный стратег. Мы искупили ошибку. Поверьте, если бы не дети, не супруга, мы и сегодня сочли бы за счастье любое искупление. Любое стало бы по совести и чести. Но что вы от Нас хотите? — спросил император, впервые употребив заглавную букву в местоимении, которым он обозначал самого себя. — Что? — повторил император. — Вы? От Нас?

Нелепин не знал «что?», но и не забыл, что он судия. Он растерялся, но и будучи растерянным, ответил:

— Хочу, чтобы вы объяснили: почему самодержавие, а не конституция? Кроме того, я хочу, чтобы вам стало стыдно!..

— Нам? Стыдно? Человек, которому может быть стыдно, не может быть властью...

— Вот как — не может?! А как же быть с демократией?

— Сколько-нибудь демократическая конституция — не дело монарха, пока он монарх. Если же народ обращается к демократии, тогда он должен свергнуть своего монарха. Однако Наш народ еще в тысяча девятьсот три-

надцатом году преклонялся Нам по случаю трехсотлетия Нашего Дома. И Мы по взаимности верили в коленопреклоненный народ и не могли ему изменить. А далее: человек, которому может быть стыдно перед вами, — никогда не мог бы быть императором.

Так как разговор неожиданно зашел о народе и о Нелепине одновременно, Нелепин предпочел остановиться на собственной фигуре:

— И раскаяться вы передо мной не можете?

— Никогда!

— Признать себя несчастным?

— Никогда! Запомните: все это у Нас может быть только перед Господом Богом.

— Вам это чувство помогало царствовать?

— Вне всяких сомнений! Хотя заметим — это чувство без конца обкрадывалось. Этот золотой запас разворовывался.

— Кем же? — удивился Нелепин. Очень удивился.

— Любым каким-нибудь задрипанным министром. Наверное, в ваше время так же?

— Каким? Каким министром? — не поверил своим ушам Нелепин. — Ка-ким?

— Задрипанным! — повторил Николай Второй все с тем же отсутствующим выражением лица. — Хотя Мы полагаем, задрипанными могут быть не только министры.

Итак, Николай Второй не то что не хотел, он не мог ни застыдиться, ни раскаяться перед Нелепиным, и у Нелепина не оставалось ничего другого, как взмолиться перед ним еще раз.

Он так и сделал:

— Умоляю вас, Ваше Величество, — поймите! Умоляю как о пощаде, ради Господа Бога, поймите и признайте свою ошибку: у вас был шанс сотворить для России новый и счастливый Двадцатый век, вы от этого шанса отвернулись, пренебрегли монархией конституционной! Неужели вы думали, будто создавали государство-храм? Это в России-то? Это в тысяча девятьсот пятом-то году?

— А что же другое, какое еще призвание Мы могли за собою признать? Зачем же тогда Мы были монархом?

— Зачем же вы отреклись от престола?

— Нет-нет, не от престола. Мы отреклись от храма. Для храма не хватило души Нашей, тела Нашего. А тогда и престол перестал быть Нам престолом. И предатели возликовали, и кадеты прогремели кощунственными речами, и Ленин вскочил на броневик, и революция уничтожила Дом Романовых и предателей его — кадетов, и художников, и священнослужителей, и России не стало.

— Не стало?

— Нет, не стало ее, когда Мы отреклись от нее, по слабости презревши назидание Божье. Из осквернения храмы возрождаются еще чище и в большей святости, из отречения — никогда! Так же и с династией помазанников Божьих — когда бы были Мы расстреляны будучи императором, династия оставалась бы в мире с гордо поднятой головой, отречением же Мы поразили ее навсегда. Династия Наша спасла Россию во времена Смуты первой, но не позволили Мы ей того же через триста лет в смуте второй. И вот Россия — прах, более ничего.

— Революция — это прах? Она вам чужда и непонятна?

— Революция в России может быть только русской же и непонятной никому в мире, России — всего менее. Мы на судьбе нашего деда, в столичной улице убиенного императора Александра, Освободителя народного, в том убедились. Вижу, видел всю жизнь: император подошли узреть раненного в его же карете прислужника и тут-то вторым нападением был он убит.

— Но я же говорю, я повторяю: конституционная монархия!

— И Мы повторяем: а судьба императора-Освободителя? И Мы говорим: революция делает судьбу государства казенною, чиновничьей делает ее. Чиновничества опять же русского.

— Скажите... Предположим, над вами нынче же суд. Нет, не юридический, нравственный — вы на том суде вот так же и говорили бы, как нынче говорите?

— Почему ждать от Нас двуличия? Никогда! Подобный же суд, он облегчил бы душу неприкаянную, расстрелянную. По-вашему — мертвую. Но кто же исполнил бы тот суд? Уж не вы ли, любезный? Как фамилия?

— Нелепин...

— Нелепин, Нелепин... Опять-таки — русская фамилия. Уж не вы ли, любезный, помышляете? Уж не вам ли, любезный, Мы поручали «изъяснить предстоящему над Нами суду особенности нашего происхождения, воспитания, образования, а того более — особенности характера Нашего, кои для суда могут оказаться незамеченными, а затем канут в Лету»?

— Мне... — признался Нелепин, хотя признаться было ему трудно — Но... Мы с вами оказались два слабака: вы отреклись и я отрекся.

— Нет-нет! Только не это, только не два — На лице императора впервые появилось выражение боли.

Случилось так, что «Заметки» на том не кончились, Нелепин присоединил к ним еще и небольшую публикацию из газеты «Труд»

...Какими будем мы в 2001 году? Ведь всего пятилетка (как измеряли время раньше) осталась до начала нового века, нового тысячелетия. Сумеет ли наша страна преодолеть нынешние трудности, наладится ли в ней жизнь? С этими вопросами корреспонденты «Труда» обратились к известным людям.

Юрий Лужков, мэр Москвы:

— Прямо так сразу и ответить? (Задумывается.) Считаю, что мы перейдем к реальным экономическим преобразованиям и реформам. И будут достигнуты первые успехи.

— Но может быть, это случится раньше?

— Вряд ли. Надо прежде вырваться из нынешнего хаоса. Определить точные цели, задачи. Пока все это не ясно. Следует четко и определенно сформулировать те социально-экономические, да и политические идеи, вокруг которых сплотится весь народ. И тогда сообща, имея все то же самое, что и сегодня, тех же людей, можно решить многое. И решим. Не сомневаюсь.

Себя же в 2001 году вижу завершающим работу на посту мэра столицы. (Улыбается.)

Владимир Лукин, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы:

— К 2001 году добьемся положительных сдвигов. Впрочем, даже раньше — через три-четыре года. Я в этом не сомневаюсь. Экономика вырвется из застоя, и Россия пойдет вперед.

— А если говорить не об экономике, а о нравственности?

— Произойдет смена парадигм, образцов поведения. Весь этот «новорусский» разгул не свойствен исконному укладу жизни России, ее историческим традициям. То, что сейчас мы видим, считаю все-таки временным, преходящим. Это ненадолго. Мы по своей сути иные — нравственнее, чище.

Что касается меня... Наверное, к тому времени буду потихонечку, говоря есенинскими словами, «бранные пожитки собирать»

Станислав Говорухин, кинорежиссер, депутат Государственной Думы:

— В 2001 году меня не будет

— Как это?

— Не будет, и все. Я еще в детстве решил прожить до начала следующего тысячелетия. Сейчас, конечно, понимаю — мало, еще хочется. Но уж решил, так решил, что делать...

— Страшновато как-то звучит. Ну а что, по-вашему, ждет страну?

— Так если меня не станет, то и страны тоже не будет. Для меня по крайней мере... (Посмеивается.)

— Вы это серьезно?

— Если вам нужно несерьезно, то это не ко мне. У Гусмана тогда спрашивайте. Целую.

Василий Лановой, артист:

— Один вопрос? Пожалуйста. В стране будет диктатура, а сам я буду сидеть в тюрьме...

— Простите, на чем основан ваш столь мрачный прогноз?

— А это уже другой вопрос...

Сюжет № 9

БИС-СЮЖЕТ ИЗ «ТРУДА»

Было дело, Нелепин встретился с человеком со свалки — интеллигент, кандидат наук. Нелепин записал встречу, его заинтересовал интеллигент-свалочник. Все еще приемлемый образ. Теперь он прочел в «Труде» другой материал и задумался: значит, и на свалке есть своя интеллигенция? А может быть, и своя аристократия? Свалка — новое эколого-социальное явление в новой России, и если ей все-таки не принадлежит будущее, то будущее обязательно должно со свалкой считаться.

Исходя из этих соображений Нелепин и вклеил очерк из «Труда» в свою тетрадь с сюжетами под № 9.

Нелепин нынче многое приберегал, потому что «а вдруг?». (А вдруг пригодится?)

Валерий Хлопотов

ОТБРОСЫ

День и ночь километрах в пяти к востоку от Прокопьевска курится разноцветный, ядовитый даже на вид дымок. Городская свалка, хранилище отходов и одновременно — обитель, пристанище человеческое. Здесь живут люди, много людей. Кажется, что и от них от всех струится тот же удушливый смрад. Это — их атмосфера, их дом, семья, это — их жизнь. Как будто другой никогда и не было.

Несколько лет назад здесь, на свалке, разгорелась настоящая война, с кровью и жертвами. Невесть откуда, нарушив, в общем, вполне мирное существование обретающихся здесь людей, на свалку нагрянули полчища псов. В борьбе за пищу человек и собака начали рвать друг друга на куски.

Та кровавая схватка людей и псов продолжалась долго и завершилась победой двуногих. Жертвы среди людей — шесть человек, не считая раненых и изувеченных. Собак же сотнями забивали камнями, палками, обливали бензином и поджигали. Потом насаживали на крючья и сбрасывали с 35-метровой высоты вниз, к изножию огромной мусорной кучи. Кстати, крючья — это обычные вилы с выломанным средним зубом и загнутыми под прямым углом остальными двумя — основной рабочий инструмент обитателя свалки. Без него — смерть, и потому бомжи даже на ночь привязывают крючья к рукам.

Собак здесь и сейчас — сотни, больше даже, чем было. Людей тоже заметно прибавилось. Но люди и звери теперь вполне уживаются: свалочный полигон очень увеличился, места хватает всем.

36-летний Владимир К-в переселился на прокопьевскую свалку вместе с женой Тамарой. Еще год назад они жили на Алтае, имели дом, скотину, работу. Но заболели и один за другим умерли дети, мальчик и девочка. Жизнь для Владимира и Тамары потеряла смысл. Они бросили все, заколотили окна крест-накрест, ушли из деревни, стали бродягами.

Добрели сюда, до свалки. Раздобыли крючья, остались. Построили невдалеке что-то вроде полушалаша-полуземлянки из фанеры, жести, обрывков брезента, обзавелись (отсюда же, со свалки) матрацами-одеялами, чашками-ложками. Живут. Тамара, смущаясь, улыбаясь покрашенными

губами (помада, похвасталась она, французская, нашла тут же), сообщила: «Беременная я...»

Володя — богатый человек. Без дураков: здесь, на свалке, он откопал свою золотую жилу. Вернее, медную.

— А что, нормальный бизнес, — говорит он, помешивая крюком в костре. — Вот сейчас 12 часов дня, а я с восьми утра отжег уже килограммов тридцать меди. Вечером подъедут покупатели, у меня будет килограммов шестьдесят — семьдесят. Платят мне «чистыми» по две тысячи за килограмм, вот и считайте.

Конкуренции Владимир не боится, справедливо полагая, что меди и другого добра хватит всем желающим испробовать этот вид предпринимательства. Даже сейчас, когда вполсилы работают шахты, заводы и стройки, сюда, на свалку, бесконечным потоком идут мусоровозы со всего города. И в каждой машине — обязательно — отходы цветных металлов.

— Россия — самая богатая страна в мире, — утверждает мастер складочного полигона (так мусороохранилище называется официально) Валентин Турбин. — Вот давайте подсчитаем, хотя бы приблизительно. Этой свалке примерно 20 лет. И все эти годы сюда ежедневно привозят 500 — 550 кубометров мусора — бытовых и промышленных отходов. То есть в этой куче сейчас более четырех миллионов кубометров отходов. Если ее разгрести и добыть все ценное, да те же цветные металлы, например, — озолотиться можно, развитой капитализм в отдельно взятом Прокопьевске построить за год.

Наш разговор прерывает очередная машина-мусоровозка. Греющиеся у костров крючники устремляются к ней. Вот тут-то и начинается борьба, осмысленная и жестокая. Часто доходит до драк, увечий: каждый норовит пробраться к вершине, к центру зловонной кучи, ковырнуть ее крюком поглубже, выхватить, выдрать из ее недр что-нибудь подороже, повкуснее, то, что, возможно, позволит прожить еще день, два, неделю. В цене здесь бутылки-кубышки, ношенные вещи (часто — совсем новые, брошенные, как объясняют бомжи, преступниками как улики), обувь, разные бытовые приборы, мебель, посуда, косметика и, конечно, продукты.

От суммы да от тюрьмы не зарекайся, гласит поговорка. Я бы добавил: и от свалки. Жизнь выдавливает людей сюда, на обочину, на удивление легко, буднично. Сегодня ты еще вполне устроен, сыт, обут, одет, имеешь семью, работу, дом, а завтра ничего этого уже нет, и ты уже оборванец, изгой, бомж, крючник. И жизнь идет своим чередом, и никому до тебя нет дела. Ты — отброс производства, ты — лишний, ты — мусор.

...Валентина Лаврова 33 года отработала в торговле. Заработала пенсию аж 187 тысяч рублей. Но несколько задержек с выплатой — и Лаврова оказалась здесь. Квартиросдатчик просто-напросто выставил ее вместе с сожителем за дверь: не платите за угол — выметайтесь, проваливайте. Куда? Вот сюда, на полигон.

Приняли их старожилы свалки не слишком ласково, место на мусорной куче пришлось выбивать кулаками и крюком. Зато сейчас у супругов вполне приличный промысел. Они заключили что-то вроде контракта с несколькими «комками» и магазинами и занялись сбором «кубышек». Каждый вечер к полянке, где Валентина оборудовала бутылочную мойку, подъезжает грузовик (а после праздников и два, и три), привозит пустые ящики, забирает полные. Из рук в руки передаются деньги — по 120 рублей за одну посудину.

Пьют здесь много, каждый день, и не особо разбираются, что пьют: лишь бы по мозгам било покрепче. Курят исключительно бракованную продукцию местной табачной фабрики — подмоченный табак, который фабрика выбрасывает порой мешками, или режут на отдельные сигареты длиннющие заготовки, почему-то не дошедшие до конвейера. Куревом пока никто не отравился, а вот от самопальной, произведенной на заказ водки два обитателя свалки недавно отдали Богу душу. Живые все равно пьют.

— Приварок к пенсии, — скромно сообщила Валентина, — 100 — 150 тысяч в день. Вот подкоплю денег, куплю дом или квартиру, поживу

по-человечески. Может, и Коля пить сильно не будет, так я за него еще и «взамуж» могу выйти...

20-летняя Наташа Б-ва «взамуж» успела выйти два года назад. Хороший муж достался: высокий, красивый, ладный. Но все рухнуло в одночасье: Сергей попал под сокращение штатов, Наташа — тоже. Куда идти, где искать хлеб насущный? Знающие люди посоветовали: на свалку...

— Вы знаете, — говорит Наташа, — поначалу было ужасно стыдно. Молодые, здоровые — и ковыряемся в мусоре. Потом привыкли. Чего стыдиться? Здесь все такие, как мы. Сейчас вот ищем одежду и обувь: холодно становится, особенно ночью и по утрам, а я жду ребенка...

(Такое впечатление, что все женщины здесь — беременные, подумалось мне. И, как потом выяснилось, я был не так уж и далек от истины: сексуальная жизнь здесь, на свалке, такой же обязательный атрибут, как водка. И такой же беспорядочный, стадный.)

Валентин Михайлович Кондратьев «конспирироваться» тоже не считал нужным:

— А чего? Пишите. Чего мне стесняться? Я всю жизнь честно работал. Последнее время — на заводе шахтной автоматики, оттуда и на пенсию вышел. Пенсия хорошая, на жизнь хватает. А сюда хожу от скуки, здесь у меня что-то вроде хобби. Сам я радиоловитель, вот и ищу здесь детали всякие. Уже два магнитофона собрал — от корпусов до самой последней кнопки нашел тут, в мусоре.

Еще одного завсегда я увидел в несчастливый для него час. Парнишку пинали, отталкивали крючьями, били по голове, рукам, спине, а он упорно лез к центру только что вываленной из машины кучи мусора. Он уже знает, что самый богатый «улов» — первый, из свежих отбросов. Но его все же укротили, сшибли к подножию кучи, и он, размазывая по щекам грязь и слезы, начал ковыряться в вонючем месиве крюком с подрезанным по росту черенком.

Росту он — метр с кепкой, которой, несмотря на минус 7, на нем нет. Зовут его Миша Менькин. Ему девять лет, и по логике он должен быть в школе, а не здесь, на свалке. Но он не учится, у него есть заботы куда более важные. Миша кормит семью. А семья, вы не поверите, три пацана и пять девочек. И два поросенка. И родители папа Паша и мама Люда. Каждое утро Мишу будят раньше всех, хотя он самый младший в семье, часов в шесть, и выставляют за дверь. Он прилаживает на спину картонную коробку и едет на свалку, километров за 20 от дома. Коробушку за день Миша набивает доверху: килограммов 15. Главная его задача: продукты. Обьедки — свиньям, остальное — родителям и братьям-сестрам.

— Еще я игрушки беру ребятишкам, если попадаются, — говорит Миша.

Нравы тут пещерные. Живут в двух лагерях по обе стороны свалки, северном и южном. Женщины на ночь идут туда, где мужики обещают лучшие выпивку, закуску и «любовь». Обиженные «северные» или «южные» почти каждую ночь устраивают кровавые разборки. И до убийств доходит. И никто убийц не ищет. Все они тут — полулюди, полузвери. Но как забыть голубые, полные боли и слез глаза Миши Менькина?

..До самого выхода со свалки нас провожала глухо рычащая свора собак, не менее тридцати. Они не бросались на нас, но за своих явно не признавали. И не приведи Господь любому из нас стать здесь своим...

Нелепину тоже надо бы пойти на свалку, пожить там день-другой, но он не пойдет. Ни за что: жена не пустит!

Единственно, что он сделал по этому поводу, — единственно! — еще приписал в свою сюжетную тетрадь:

1. На свалках имеет место социальное расслоение.
2. Наши научные и конструкторские организации должны разработать новый инструментарий для трудящихся на свалке.
3. Часть заводов из тех, которые стоят перед проблемой закрытия, сможет выжить, если перейдет на производство этого инструментария.

Спрос будет обеспечен, взаиморасчеты, вероятно, могут быть по бартеру

4. Соответствующие научно-исследовательские институты должны будут изучить вопрос и разработать классификацию и государственный статут свалок: столичные, республиканского и регионального значения, перестроечные и консервативные особо перспективные (бесперспективные вряд ли имеют место).

5. Было бы вполне своевременным организовать группу по свалкам в аппарате президента, а затем и в системе исполнительной власти.

Нелепин мог бы и еще внести некоторые предложения на этот счет, но он понимал — не надо торопиться, всему свое время.

Сюжет № 10

СОБЕСЕДНИКИ

Настоящее, оно всегда какое-то.

О будущем же и речи нет, для настоящего будущее только тогда и существует, когда исполняется строго по его собственному заказу. Заказчик-то есть, всегда найдется — строгий, умный, со вкусом, но мастера-портного днем с огнем в настоящем не сыщешь. Тем более — если настоящее не столько жизнь, сколько выживание, — какой уж тут вкус, какое может быть качество исполнения?

Выживание — антипод жизни именно потому, что оно сиюминутно. О будущем у него забот несколько, заботы исключительно о самом себе. С будущим выживание в конфликте. С прошлым тоже.

Эти отношения времен — прошлого, настоящего, будущего — не то чтобы как в капле воды, а все-таки отражались в замысле Нелепина, в замысле Суда над властью.

Замысел — он ведь совершенно безвреден, он для будущего значит ноль.

Конечно, из своей практики, из своего теперь уже прошлого, Нелепин знал, что сюжет, который был написан вчера, сегодня того и гляди окажется не чем иным, как кредитом, притом — совершенно ненужным: в долгах как в шелках, а почему и зачем — неизвестно, дню сегодняшнему помощи от этого кредита никакой.

При этом сегодня — не обязательно день, это любое время суток — оно может быть явью, но и сном тоже, и полусном-полуявью, еще каким-то состоянием организма, которому даже медики до сих пор не придумали названия, не описали его как следует.

Кроме того, если имеет место сюжет серьезный, серьезный вполне, то он никогда не является в одиночестве, хотя бы и в гордом, он всегда окружен аппаратной челядью — советниками, консультантами, управделами, делопроизводителями, а то и пресс-атташе, и все они как умеют и как не умеют оказывают свое влияние на Главный сюжет, прежде всего — лестью: какой ты хороший, какой ты единственный, наш Главный, как тебя все встречные-поперечные любят-уважают, другого такого же не только нет — не может быть!

Бывает, конечно, что у Главного мелькнет: лесть! Но чем Главный ошибочнее, тем реже у него мелькает.

И только представь себе, что с таким вот Главным писателю необходимо общаться, даже если он уже отвергнут в принципе.

Встреча предстояла не то в каком-то странном помещении, не то в неопределенном пространстве, в которое Нелепин опоздал на пятнадцать минут.

Когда он пришел — совершенно неожиданно и противосюжетно, — он застал у императора собеседника. Нелепин был очень удивлен, удивлен

дальше некуда. Не знал, что и думать. Однако факт фактом: некто третий сидел спиной к Нелепину, курил и спокойно, очень назидательно беседовал с императором.

Императору же по-прежнему было присуще отрешенное, тщательно причесанное, кругом прибранное лицо — лицо человека давным-давно убитого, расстрелянного соотечественниками и не то чтобы воскресшего, но вновь отобразившегося в нынешнем загадочном пространстве. Воскресение происходило без участия художника или фотографа, само по себе. Должно быть, в силу какой-то необходимости.

Впрочем, первопричиной исключительного явления — явления Николая Второго — был сам Нелепин, безусловно он, больше никто. Тем более возмутило его столь неожиданное присутствие третьего, в любом отношении лишнего, собеседника, который к тому же вел себя нагло: курил. Курил не только в присутствии императора, но и в лицо ему.

Нелепин внимательно присмотрелся — и вот неприятность: спина в сером френче показалась ему знакомой каким-то давним временем, более того — давним образом жизни.

Не только спина, но и весь этот человек, с головы до ног, чувствовал себя здесь полным хозяином, он не обернулся при появлении Нелепина, он продолжал тоном, не терпящим возражений, объяснять императору, что:

— ...Если бы мы отдали власть вам, кому угодно, история нам никогда нэ простила бы! Никогда! Она навеки предала бы наши имена позору! Даже большему, чем ваш персональный позор, — говорила эта личность. — История дала нам шанс сделать человечество счастливым, и мы сказали человечеству: «Человек — кузнец своего счастья!» Лозунг выбран безукоризненно точно, дэло пошло. Пошло и пошло!

Тут собеседник императора обернулся. Так и есть — это был Сталин.

Выпустив колечко дыма из трубки, Сталин сказал Нелепину:

— Пришел? Пришел — садись! Вот сюда. В угол! — И все тем же тоном продолжил изложение своей (гениальной?) мысли императору: — Но это мало, «человек — кузнец своего счастья» — мало! Мы этот, мы этот в общем и целом космополитический тезис исторически конкретизировали. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — провозгласили мы! По Марксу! А это дэло верное, нельзя, нэвозможно было сомневаться — верное дэло!

— Вы не сомневались? — спросил император без интонации, будто и не он спрашивал.

— Если бы мы хоть однажды, хоть на минуту засомневались — нас следовало бы в ту же минуту расстрелять! Ничего другого мы нэ заслуживали бы. Ясное дэло — ничего!

Дэло — дрянь, думал в своем уголке Нелепин. Дэло — нелепый фарс, больше ничего. Оно и с самого-то начала было мною задумано как фарс, но не сам по себе, а со множеством комментариев и примечаний исторических и лирических, но теперь это просто фарс и ровным счетом ничего больше. Дэло — дрянь! Мне стыдно! И Нелепин заметил, что в слове «дело» ни с того ни с сего он стал заменять «е» на «э», точно так же, как это дэлает товарищ Сталин! И вот уже и перед императором ему стало стыдно, и перед самим собой — очень! Еще больше — перед чем-то таким, пред чем стыдно должно быть обязательно и бесповоротно!

— Вам трудно понять? — заметил Сталин императору. — Это потому, что вы нэ читали «Вопросы ленинизма». Нэ пришлось?..

— На каком языке изданы? — спросил император без вопросительной интонации.

— Сначала, разумеется, на русском. Потом на всех-всех остальных.

— На китайском?

— Многомиллионными тиражами! Китайцы день и ночь увлекались «Вопросами» как бы нэ больше советских. Глобально увлекались!

— Мы когда были в Китае, там с русского был переведен только Пушкин. Александр Сергеевич.

— Что вы хотите сказать? Что-нибудь о вечности? Тогда скажу я. Значит, так: вечность — это химера! Вредная! Деморализующая! Хотя бы пото-

му, что вечность присвоили себе религии, которые только и дэлают, что толкуют о вечности! Другого занятия у них почти что нэт! Толкуют о догматичности марксизма, а сами? Прогрессивной религией было, к вашему сведению, язычество, потому что оно было многобожеством. Каждый назначает себе боженьку — и все дэла! Боженьку можно выточить из дэревяшки, можно и поколачивать по мере надобности. Это — вполне реалистично! А то придумали бога — никто никогда нэ видел, зато все знают: един и нэделим. А как же он нэделим, если только в христианстве существует и православие, и католицизм, и протестантство? А там еще Будда с Магометом? И у каждого десяток вариантов, а между вариантами — борьба. Бескомпромиссная. Классовая. Крестовые походы — разве нэ классовые? Одним словом: все ваши религии, все ваши мировоззрения — сплошное двурушничество. Идеалистическое. На самом-то дэле обязательно должен быть реальный и земной вождь — он берет на себя полную ответственность за дэла земные, а нэ за какие-то там нэбесные! Земной вождь — он как? Он сказал — он и сделал. А небесный — как? Сказал, а дэлать кому? Там, на нэбесах, черную работу очень нэ любят, любят словесность, а нам, вождям, здесь, чтобы человечество осчастливить еще до Второго Пришествия, скольких поубивать понадобилось?! Да-да: на земле белоручкам дэлать нэчего, их дэло — небо коптить. Бог, он ведь теоретик, а вот попробовал бы на практике?! Выкопал бы Беломорско-Балтийский канал, организовал бы колхозы-совхозы и социалистическую индустрию? Бог — он же социалист! Нэ думаю, будто большевик, но уж меньшевик во всяком случае.

Конечно, Сталин говорил не Бог вещь как логично, сразу о нескольких предметах, о нескольких понятиях, но все равно слушать было интересно.

Император слушал не перебивая и в большой задумчивости.

— В земных условиях, тем более на континентах, а нэ на островках каких-нибудь, нужна совершенно земная последовательность, — дальше и дальше говорил Сталин. — Сталинская последовательность. Ежовская, бериевская — это маловато и слишком эпизодично, слишком нэнадежно: сегодня они кого-то, завтра — их кто-то. Кто-то в обиде? Нэ без этого! От нэсознательности. Авгиевы конюшни расчищать на Землице — дэло тонкое, дэло ответственное, и вправо — нэльзя, влево — нэльзя, прямая и жирная линия — можно! И начиная с семнадцатого, еще при Ленине, я торопился осуществлять ленинизм. Я на молодое поколение коммунистов нэ очень рассчитывал. Слушай! — неожиданно обратился Сталин к Нелепину. — Нынче какая пятилетка выполняется? За сколько лет? Я полагаю, за два с половиной освоили? В массовом порядке?

Видно было — Сталин в очень хорошем, в прекрасном расположении духа. Вот-вот и засмеется.

Николай же Второй был неразговорчив, скрывал свое душевное состояние — при том, что пятилетки ему были не чужды, поскольку, чувствовал Нелепин, не чужда и современная Россия — как и что в ней совершается нынче?

Однако эта заинтересованность собеседников в современности повергла Нелепина в растерянность: он, во-первых, сам в своей собственной современности понимал слишком мало, плохо в ней ориентировался, во-вторых, что-то, неизвестно что, заставляло его свою современность выгораживать: дескать, конечно, не как у людей, но мы все-таки люди...

Он нередко от самых разных людей нынче слышал: «А все-таки верю... А все-таки верить надо, грех не верить!» — а когда так, он грешил уже по одному тому, что этого не говорил... Он вообще предпочитал помалкивать о своих верах и безвериях, наверное, это у него от родной матери и от того, что слишком много верований на его веку оказались безвериями, от того, что ему всегда были чужды агитация и пропаганда...

Вопрос Сталина вслух и едва уловимое выражение интереса на лице Николая Второго поставили его прямо-таки в тупик, он страшно застеснялся самого себя: верно, что нелепый человек этот Нелепин!

Он не знал, что сказать, и сказал:

— Есть затруднения... С пятилетками — есть! Кое-какие..

— Затруднения? Ну, затруднения мы сами себе создаем, — рассудил товарищ Сталин. — Учтите — сами. Врагов народа, вредителей повывели, значит, остались одни только сами! Самое главное — врагов и вредителей — я же взял на себя?! Вот и от вашего расстрела я не уклоняюсь, товарищ император! Что было, то было. Что было — все ради справедливости.

Император слушал все с тем же отсутствующим лицом, Сталину это было до лампочки, он говорил и говорил по своей собственной логике. По логике «Вопросов ленинизма» и другого своего труда — «Марксизм и вопросы языкознания».

— Вождь трудящихся — он как? Как дэлает? Он счет своего существования должен вести от Спартака, а своему будущему конца никогда нэ видеть: лишнее! Иначе он нэ вождь. Так себе — подмастерье. Ленину же — конца нэт. Значит, и самому ближайшему ленинскому соратнику тоже нэт. Потому что нэт конца совершенствованию человечества в достижении им свободы, равенства и братства. Ошибки? А что ошибки? Они нэизбежны!

— Неизбежны! — неожиданно подтвердил император. — Сделаешь ошибку, потом вспоминаешь: Бог подсказывал сделать иначе. И учишься на собственных ошибках. Мы лично в тысяча девятьсот четвертом году не возглавили армию — и вот позорное поражение. На собственных ошибках учишься. Да.

— На собственных ошибках дураки учатся, — тут же возразил Сталин. — Понятно — дураки! Учиться надо на ошибках противника. Мне в свое время ваши ошибки были как завещание. Как руководство к действию. Как мое собственное достижение. Если бы нэ ошибки моих врагов — чего бы я достиг? В порядке самокритики — чего? Скажем, «божеское» всепрощение — да разве для большевиков придумаешь что-нибудь полезнее? Но ежели мы, большевики, все дэлали ради мировой справедливости — кого мы-то должны были прощать? А никого! Ровным счетом никого. Тем более, что все вы, монархи, все до одного и во все времена были врагами народа. Испокон веков — были! Значит, по отношению к вам и к вашим приспешникам мы... мы свободны. И знаешь, что я тебе еще скажу, Второй Николай? — вдруг на «ты» обратился Сталин к императору. — Я скажу: нэ обращай внимания, что я, еще кто-то там тебя расстреляли. Борьба! А ежели так — кто кого только нэ стрелял? Нэ припомнишь, нэ считаешь — бесполезная трата времени. Обстановка трэбуэт — это что значит? Это значит — она трэбуэт!

— А кто же друзья народа? Православного? — неожиданно спросил император.

— Друзьями народа опять-таки и нэизменно были народные вожди. Кто спас мир от фашизма? Вождь всех народов спас, а вовсе нэ президент какой-нибудь, какой-нибудь император, кто-нибудь из поповского сословия. Это сами же президенты признали. Они у меня по струночке ходили, самые разные президенты, до смерти меня боялись, что я в Германии, в прочих странах демаркационную линию нарушу. А я линий нэ нарушаю, я словами нэ бросаюсь. Я на бога нэ ссылаюсь: нэт необходимости.

Нелепин, сравнивая и сравнивая выражения лиц собеседников, сделал вывод: хорошо товарищу Сталину — его никто никогда не расстреливал! Он как потерял на своей подмосковной даче сознание, так в бессознательном состоянии и умер. У него предсмертной мысли и той не было. Судьба и Бог к нему, безбожнику, и тут были благосклонны, и только император совершенно неожиданно сказал ему:

— Человек не может исключить из своей жизни возвышенного, тогда он не человек. Возвышенного, которое не от него зависит, а Кем-то нерукотворно ему дано. Иначе — человеку порча: себя признает выше всех и всего выше, что в мире сем есть. А православию не претят иные религии, и много было религий в империи Российской. Есть нация, есть у нее язык, есть у нее и религия, хотя бы и языческая и многобожья. Многобо-

жие — начало восхождения к Нему, к Единственному, это понятия императорские, они же — народная Всеобщность, без которой власти не может быть.

Тут Сталин засмеялся, перебил императора:

— Нэ учи! Нэ надо. К твоему сведению: я в поповском дэле тоже понимаю, курс так называемого духовника проходил! И — прошел!

— Еще и поп-расстрига?

— Вот именно! — не без удовольствия подтвердил Сталин. — Учти: с расстригами спорить трудно, можно сказать, нэвозможно! Чувствуешь? Нэужели нэ чувствуешь?

Император не ответил, будто вопроса и не было.

Сталина это не смутило, он легче легкого продолжал:

— Есть-то они есть, разные религии, да среди них обязательно назовутся главные, чтобы вокруг них все остальные танцевали, то есть классовая борьба. Тем более борьба, что социализм в империализме уже заложен и рвется изнутри наружу, а это рвение всеми силами надо реализовать. Придать ему самостоятельность. Власть придать. Без участия власти ни одна религия нэ упрочилась, тем более нэ стала государственно признанной. И еще запомни раз и навсегда: власть подсудна только другой власти, которая сильнее, больше никому на свете! Временное правительство в семнадцатом вздумало царское правительство судить — дурь! Фантазия! Нэ было, нэ будет никогда! — (Нелепин оторопел: в его адрес было сказано?! — Мы тебя расстреляли, и точка! Р-революционная законность! А представить себе, будто тебя судит народ, — это какой же бардак? Уму непостижимо. — (Нелепин опять повздрагивал: опять в его адрес?))

Сталин передохнул, еще продолжил:

— По источникам доходит: нынче в столичной прессе меня судят! Нэкоторые писателишки! Я им премии собственного имени жаловал, а они? Свинство! Премии брали с восторгом. Речи толкали — сплошной энтузиазм, сплошная благодарность, сплошной восторг! У нэкоторых старательных и нэ без талантишка по два, по три раза получалось, было — четыре. Писатель с великой гордостью рекомендовался: «Четырежды сталинский лауреат!» И вдруг? Нэ свинство ли? Суд над Сталиным! Суд над властью! Исключительно сумасшедшему может прийти. Твое мнение? — обратился Сталин к императору.

(Нелепин думал: слава Богу, не ко мне! Слава Богу — они беседуют, я — ни при чем, и отчетов по поводу современности от меня не требуется!)

— Суд над властью должен быть Божий... — тихо, но с убеждением произнес император.

— Ну а это уже туда-сюда... Это с натяжкой, но приемлемо, принцип выдержан: власть судит только более сильная власть, и никто иной. А на кого власть ссылается — на Бога, на народ, на историю народа, — это ее личное дэло. Ей властвовать, ей и ссылаться. С учетом реальной обстановки. У меня было — как? Кто против меня — тот против народа! Против светлого-светлого народного будущего! Каждый гражданин должен зарубить на носу. Зарубит — тогда порядок... Дэло еще в чем? Дэло еще в том, что самодержавие — самая совершенная форма государства, всякой государственности. Другое дэло, что самодержавность может быть империалистической, может быть социалистической. Зависит? От эпохи! Империалистическая по привычке работает на высший, на буржуазный, на аристократический, класс, а трудящиеся всеми возможными, всеми нэвозможными средствами борются против. Она — их враг: она внедрена сверху.

Сталин пустил из трубки два колечка идеальных очертаний.

— Социалистическая самодержавность, эти «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», начинается снизу. Начать снизу, а там видно будет, говорил Ленин. И вот он — великий исторический пример: великий Советский Союз, трудящиеся всех национальностей полностью и целиком доверили родной партии — коммунистической. Коммунистическая полностью и целиком доверила своему Цека. Жесточайшая борьба за чистоту пар-

тии — это в первую очередь борьба за чистоту Цека. Только идейно выдержанный Цека полностью доверяет избранному им Секретариату, Секретариат — полностью Политбюро, Политбюро — полностью Генеральному секретарю. Итак? Итак — вот оно, социалистическое самодержавие! Самодержавие трудящихся! Октябрьская революция вопрос теоретически решила, практически, окончательно и навсегда — решила! Весь ленинизм на том стоит, весь на том стоять будет.

Николай Второй, будто и не интересуясь, все-таки спросил:

— Самодержавная демократия? Мы не понимаем.

— И нэ поймешь: нэ так воспитан. Ленина нэ читал. Сталина нэ читал. Поповское мышление: «на все Божья воля!» — и вопрос разрешен. Весьма легкомысленно! Весьма поверхностно. Но сколь же глубоко, сколь целеустремленно надо думать членам коммунистической партии? Диалектически! Материалистически! Совершенно самостоятельно! Впервые в мировой практике! Опираясь на собственную волю! На принципы великого дэла! Ну? Убедил я тебя — Второй Николай?

— На все Божья воля... — повторил Николай Второй. — Неужели без Божьей воли? Разве нет на свете ничего святого? Оно есть, оно есть прежде всего во власти одних людей над другими. Когда во власти нет ничего святого — на что она опирается? Чем является? Только надругательством над человеческим достоинством, несправедливостью над справедливостью!

— Является? Тем, что она есть на самом дэле. Разве моя власть была нэ на самом дэле? Великая Октябрьская — нэ на самом дэле?

— Значит, вы — самодержец? — впервые за время беседы на секунду, а все-таки удивился Николай Второй. — Вы же революционер?! Мы все еще не понимаем — как совмещается?

— Совмещаем по собственному и революционному желанию!

— Тогда размыслим. Революция?! Это когда в борьбу за справедливость, за справедливую власть вступает уголовщина. Разврат вступает. По Достоевскому. Достоевский в мире революционеров бывал. Бывал и знал.

— Достоевский? Владимир Ильич сказал: «мразь».

— Достоевский не додумался до нашей судьбы, нет. Он не додумался, а Мы это пережили. Мы дожили до Ленина.

Сталин пожал плечами:

— Ильич на твоём бы месте, Второй Николаша, он бы — как? Он бы в два счета, в одночасье, сдэлал бы Россию коммунистической! Ей-богу, сдэлал бы! Ну, когда нэ в одночасье, то за первую же пятилетку успел бы обязательно! Однако императорское самодержавие до этой перспективы, до идеи этой нэ доросло. А тогда? Что тогда оставалось дэлать Ильичу? Ему оставалось единолично, но с группой товарищей занять царское твоё место — историческая нэобходимость! Логика тоже историческая и тебе нэдоступная. По причине отсутствия у тебя исторического мышления Россия и понесла такие жертвы в революцию. По этой же причине и после революции, так что твой расстрел — это пустяк какой-то, мизер какой-то, больше ничего. Сам виноват! Нэ обдумал собственной действительности!

— Но России вовсе не нужен был коммунизм. Россия — и народ, и государство — православная. Коммунизм был навязан России силой.

— Конечно, силой! — опять-таки радостно согласился Сталин. — Превосходством большинства над меньшинством! Прекрасная сила, воплощаемая партией. Мои скульпторы — Томский Николай, Вучетич Евгений, Манизер Матвей, да и многие еще, — никто так и не смог выразить настоящую силу партии, ее вождей! А ведь создавали условия! Поощряли — будь здоров: и народных давали, и героев, и всех на свете! Может быть, нынче наконец-то выразили? Нынешние скульпторы нынешних вождей коммунизма?

Тут Нелепин снова запереживал: вопрос (сколько угодно!) мог быть обращен к нему, а что, в таком случае, отвечать? Но Сталин, похоже, вообще не считал его присутствующим при разговоре. Что был тут Нелепин, что не было его, Сталину до лампочки. Нелепин здесь или Нэлепин.

Внимательнейшим образом, в оба уха, слушая собеседников, Нелепин думал: да-да, необходимости при всех властях и государственных системах одинаковы, все они не более чем все те же, все те же потребности, но власти придают им историю своего собственного происхождения и возвеличивания — к весне в экономике и в политике будет полный о'кей, по поводу же лета, июня месяца, и говорить не приходится, тем более что будущее, оно несравненно серьезнее прошлого, о прошлом, во многом-многих его ипостасях, и вообще забыть не грех. В соответствии с этим принципиально важным условием, а как бы даже и не договором, власти по своему выбору прилагают к существующим потребностям те или иные прилагательные: «капиталистические», «социалистические», «демократические», «народные», «антинародные» и так далее, и так далее без конца...

Реалист Нелепин по этому поводу и еще подумал: на прилагательных далеко не уедешь! Если уж ехать, так только на существительных!

Между собеседниками, и еще заметил Нелепин, имело место явное различие, когда дело касалось такого существительного, как «народ».

Советская власть, лично товарищ Сталин тем более, тот проявлял особую чувствительность ко всем без исключения категориям народного сознания и отлично знал, как ими распорядиться: народ склонен не только к самокритике, но и к самоуничтожению. Прекрасно: вот она — гражданская война, вот оно — раскулачивание, вот они — репрессии! В народе есть потребность пить и материться — будет сделано! В народе не умеют (да и не любят) отличать ложь от правды — будет сделано немедленно! Ну а если существует потребность-необходимость есть, одеваться и обуваться — так это склонность не совсем народная, в гораздо большей степени она антинародна!

Императору Николаю Второму до столь же тонкого понимания своего народа, конечно же, было далековато, куда там, он и при своем знании иностранных языков выглядел перед Сталиным если уж не ребенком, так очень скромным юношей.

Для Николая Второго его народ был его подданным — и все дела! — а это слишком примитивное представление. К народу нельзя подходить с одним-единственным прилагательным, в этом случае никогда не достигнешь ничего единственного, тем более — самодержавия!

— Из нашей беседы следует: вы никогда не ошибались... Вас никогда не поправляли. Никто не наставлял на путь истинный? — с некоторым как бы даже и недоумением спросил Сталина император.

— Ну когда-то там, в октябре семнадцатого, было — Ленин меня поправил. По ходу революции. С тех пор я только и делал, что поправлял других. Даже Ильича: не умел как следует Ильич по-русски материться. Ругался крупно, но малограмотно. Родные братья-сестры его, в принципе, сдерживали, а я, в принципе, учил! — засмеялся Сталин. — Смешно?! Разумеется, смех по секрету. Разумеется, только для служебного пользования... Впрочем, это крохотная деталь. Впрочем — деталька. А если по делу? Вы оставили Ильичу, мне оставили вкривь да вкось разбитую, истерзанную империю. Голодную. Холодную. Возмущенную. Разъединенную. А мы? А я? Я оставил просвещенную! Единую! Мощную — мир перед нашей державой дрожал! А перспектива? Мир перед нашей перспективой падал на колени, а кто не падал, тот — хэ-хэ! — делал в штаны Капиталистический мир! — Сталин вынул спички, разжег потухшую трубку. — Вот так!

— А вам только такая — вкривь-вкось — Россия и была нужна. Только с такой вы и могли справиться. Только в такой могли воцариться. Только в такой и могли учинить гражданскую войну, расстреливать, пытаться, сжигать. Только такой и могли испугать мир, вызвать в мире интерес, симпатию вызвать. Мир издавна склонен находить красоту в насилии, а коммунизм, столь гуманный и общественно-справедливый, склонен эту склонность еще и еще возвышать. Так?

Его собственный, но столь развернутый вопрос оказался императору трудноват, он закрыл глаза, замер, будто бы и не ожидая ответа, но Сталину становилось все интереснее, а сам он становился все откровеннее:

— Я понимаю: речь заходит о толпе — как толпой управлять? Скажу: когда толпа нищая — система управления становится очевидной: надо обещать! Тут она склонна к любым жертвам, к тем, которых она ужасалась вначале. А мы с тобой, два самодержца, должны представить себе такую вот аксиомку: самодержавие потому и самодержавие, что оно выше всех. Даже если оно к одной из партий принадлежит. Это значит, избранная самодержавием партия больше всех других партий принадлежит самодержавию! Это — высшая теория и высшая практика! Когда домыслил до этой точки — остановись: дальше ни мыслить, ни практиковать нэкуда. Ты прав: для самодержавия вариантов нэ бывает. Мы с тобой, Второй Николай, до этой точки дошли. Мы — достигли! Давай родниться — нэт и нэ может быть ничего лучше, как с полным доверием родниться на достижениях. На великих! Ну?!

Николай Второй кивнул. Не так кивнул, чтобы «да», и не так, чтобы «нет», и Нелепин не понял: где же он-то оказался? Пространство между по-чеховски, а все-таки бородатым ликом императора и реальным, с усиками, лицом Сталина показалось ему неизмеримо огромным, площадка же, на которой эта встреча происходила, — маленькой-маленькой, чуть не так на этой площадке пошевелился и — головой куда-то вниз! Будто тебя кто-то выплюнул!

Нелепин был потрясен. Придумал встречу на свою голову, на свое сердце, на всю свою дерматологию... Он и не представлял себе, до чего свобода выбора может его довести, до каких контрастов, до каких умозаключений!

А тут еще Сталин в его, Нелепина, сторону сделал некоторый жест и как бы между прочим сказал:

— Это все он! Вот этот нэзаурядный организатор! Нашу с тобой встречу организовать — надо же было придумать, а? Он — придумал... Ладно, ты ему повесишь свой какой-нибудь на грудку орден, я — свой! Жалко нам, что ли, железок-побрякушек, а для нэго на том свете будет достоинство. Нэ исключено, что и на этом. Нэт, нэ исключено!

И самодержцы продолжали собеседование, а на груди у Нелепина так защипало, так зазудело, что он изо всех сил начал чесаться (должно быть — от страха?).

Самодержцы на эту нелепинскую странность не обратили внимания, а Нелепин чесался и думал, думал и чесался: собеседникам-то — хорошо, их давно на свете нет, у них современность не зудит, а вот Нелепин — тот все еще есть. В натуре.

И потому что он есть, ему видать. Не перечислишь всего, что ему видать...

Самодержец Николай Второй накануне собственной коронации умолял свою мамá, всех близких умолял: освободите меня от царствования — не способен я, непосильный для меня труд!

А самодержец Сталин? Да он бы, верно, повесился, если бы каким-то нечаянным образом сам себе отказал во власти!

Николаю Второму его жизнью была его семья, а чем была семья для Сталина, если ее у него никогда правдишно не было?

За Николаем Вторым стояла династия, триста лет истории, а за Сталиным если что и стояло, так только отсутствие истории. Ему продолжать было нечего, больше всего его интересовал и увлекал нуль истории.

На долю и того и другого выпали мировые, ни с чем не сравнимые трагедии — Первая и Вторая войны.

Николай Второй в великой трагедии трагически погиб, Сталин — еще возвысился, еще продолжал и продолжал проливать кровь человеческую, тепленькую и не замешанную ни в каких заговорах, без которых Сталин, однако, жить не мог. Ну какой бы он был Сталин, если бы не сотворял заговоры против самого себя?

Николай Второй был человеком обаятельным и интеллигентным. Для России такого рода интеллигентное самодержавие было парадоксом. Сталин быть интеллигентом попросту не мог: еще один интеллигент в верхушке партии еще одним и остался бы, не более того.

Николай Второй был человеком воспитанным и образованным, у Сталина образование было какое Бог послал: духовная семинария. Да и не нужно было Сталину образование: будучи образованным, разве стал бы он гением всех времен и народов?

Сталин был политиком в гораздо большей степени, чем император Николай Второй. Может быть, даже большим, чем весь Дом Романовых на протяжении более чем трехсот лет своего существования вместе взятый, вот он и знал, что политикам никак, ни в коем случае, нельзя поддаваться образованию, повседневно испытывать на себе его влияние.

Политик только тогда политик, когда он тонко и безошибочно чувствует необходимую меру собственной образованности: не дай Бог перебрать!

Недобор — это еще ничего, это вполне и вполне терпимо, но перебор ни в коем случае не допустим: имеет свойство в самые неподходящие моменты действовать подобно касторке! И не получатся расстрелы...

У Николая Второго, у супруги его было множество суеверий, среди них — боязнь семнадцатых чисел каждого месяца.

И верно: ну не 17, так 18 мая 1896 года произошла Ходынка, 17 июля 1914 года Николаем была объявлена всеобщая мобилизация: Россия вступала в Первую мировую войну, 17 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин, 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляна и царская семья.

А — Сталин? Все и всяческие предсказания были ему нипочем. Он сам себе был пророком.

Сталин расстреливал как истый большевик. Николай Второй большевиками был расстрелян.

И наконец, Сталин был так себе мужичонка: рябой, из себя хиленький и потанцевать-то с дамой приятной наружности не умел, а Николай Второй? Красив, прекрасного телосложения и, как говорили в его время, — гимнаст. Теперь это называется по-другому: физкультурник.

Когда в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, пребывал в заключении, первым делом попросил поставить ему во дворе трапецию и на трапеции (ему уже было под пятьдесят) многократно исполнял упражнение, именуемое «солнышком», — вертелся по кругу вверх-вниз на вытянутых руках вытянутым на всю длину телом.

Над забором ритмично вздымались его ноги в сапогах, и с улицы, с Вознесенской, ноги подошвами вверх было видно. Комендант дома Юровский велел забор сделать еще выше, чтобы ног было не видать. Хотя кто бы из прохожих по Вознесенской догадался, что это ноги отрекшегося императора?

И при всем том, при всех различиях и то, и другое — власть!

Теперь пойми — что же она такое, эта самая власть? Тем более — как, по какому законодательству ее судить?

Не дай Бог! — подумал Нелепин и кивнул в сторону Николая Второго: правда ведь, не дай Бог? Николай Второй тоже кивнул, подтверждая: правда, правда!

Сталин же принял кивок императора на свой счет; Сталину кивок этот был в самый раз, в масть был, он похлопал своего собеседника по спине и подтвердил:

— Правильно говоришь, правильное даешь истолкование обстановке внутренней и внешней! Хочешь знать, так я тебе и в гробу, Николаша, обязан: ты столько сотворил ошибок, что на них нельзя было не творить социализма. Понял? А в общем-то, мы договорились, побратались и теперь давай так:

РАЗ!

ДВА!

Т-ТРИ-И-И! —

сосчитал Сталин через короткие паузы, и собеседники не мешкая исчезли, след простыл.

Как будто их и не было. Как будто быть не могло.

След простыл — и все дела. И Нелепин перестал чесаться — отпала нужда. А еще он подумал: окончательно брататься улетел? Или — как?

Последнее, что сделал Сталин, — выпустил из трубки аккуратное колечко дыма и трубку положил в карман френча.

Последний же жест Николая Второго — он перекрестился. Правда, не до конца — на левое плечо креста положить не успел.

Все это было так неожиданно, так невероятно, что Нелепин не понял: кто же кому способствовал в этом исчезновении — Сталин императору или император Сталину?

Не поняв, зная, что и не поймет, Нелепин истово перекрестился вслед простывшему следу, переживая огромную жалость к императору, жалость, а также и упрек к нему — сколько раз он уговаривал императора: будь добр, пожалуйста, сделайся монархом конституционным! Чуть ли не на коленях уговаривал...

Сделался бы, и не нужна была бы нынешняя встреча, собеседование монарха с диктатором, разговор об империалистическом и социалистическом самодержавии, при том что тебе пускают дым в лицо!

Может быть, император потому и был нынче уж очень робким, что Сталин от души благодарил его за его ошибку? Не было бы роковой ошибки, Сталин вообще не появился бы на исторической сцене. Появился бы служитель сельской церквушки близ города Кутаиси по фамилии Джугашвили, и только, а император — с семьей! — не был бы расстрелян в подвале дома екатеринбургского инженера Ипатьева. В самом-самом крайнем случае он предстал бы перед членами Конституционного суда в черных мантиях, в белых воротничках, но никак не перед толпой вооруженных люмпенов-пролетариев в кепках, в папахах, в чем попало, в подвал ворвавшихся.

И наконец: а вдруг этим неординарным поступком император и своих подданных научил бы кое-чему — научил бы выбирать?!

Ведь никто же в России этому делу (дэлу?) и по сю пору не научен, тем более что выбирать не из чего, главное же — не из кого! Свобода, а что ей выбирать? Хоть шаром покати, а свободе приткнуться некуда и не к кому, так и остается она неприкаянной.

Еще прошли секунды, может быть, минуты, единиц времени в это время не было, и Нелепин обратился к самому себе (всегда так бывает!).

...такая, в общем-то, поучительная для него встреча, и ведь удобная: он во встрече слегка, но все-таки поучаствовал, однако лично к нему вопросов почти что никаких. Припомнить — что-то по поводу пятилеток, пятилеток давным-давно прошедших, о современности же — ни слова, и не пришлось ему современность выгораживать ни с какой платформы — ни с патриотической, ни даже с критической!

Правда, при этом его Главный сюжет остался за семью замками, но Нелепин к такому положению уже привык. Если не привык, так успешно привыкал, при том что и за семью замками сюжет был столь же притягателен, как и на свободе.

Ни свобода, ни пожизненное заключение дела не меняли по существу: окажись Нелепин со своим сюжетом в одной тюремной камере, они и тогда не стали бы друг другу ближе, не нашли бы общего языка!

Самое большее, чем могла бы эта камера стать, — еще одним эпизодом, еще одним сюжетиком, который он записал бы в свою тетрадку под порядковым № 10.

Нынешняя же встреча еще раз убедила Нелепина: какой уж там суд, какой Суд над властью? Доведись до суда — и что?

Так же, как нынче, подсудимый и любой из свидетелей запросто исчезали бы из зала судебных заседаний когдаим вздумается, оставляя его, Нелепина, в самом неловком положении.

Чего хорошего?

Сюжет № 11

ЭКО

В «Известиях» Нелепин прочел заметочку:

ВОТ ОН, НАСТОЯЩИЙ КОШМАР!

Перед Россией стоит реальная угроза ее экологической безопасности, заявил в четверг на открытии трехдневного Всероссийского конгресса по вопросам рационального природопользования председатель межведомственной комиссии по экологической безопасности Совета безопасности РФ Алексей Яблоков, передал Интерфакс.

Он назвал «плавучими атомными бомбами» вышедшие из строя около 100 атомных подводных лодок, 30 из которых находятся на стоянках, по его словам, с невыгруженным топливом.

Кроме того, по его словам, в Карском море затоплено 18 реакторов атомных подводных лодок, в том числе и с ядерным топливом.

А. Яблоков указал, что хотя, согласно официальным данным, Россия располагает 40 тыс. тонн химического оружия, произвела она его в несколько раз больше. Большая часть химического оружия, по его словам, затоплена, сожжена или захоронена в земле, что представляет огромную опасность как для экологии, так и для жизни человека.

Выражение «опасность как для экологии, так и для жизни человека» вызвало у Нелепина недоумение: звучит так же, как «опасность для жизни человека и для человека». Но все равно он стал искать другие публикации Яблокова.

Нашел в журнале «Новый мир»:

«Атомные бомбы, дающие электричество» — так называют наши АЭС на Западе. И для этого есть веские основания. Лишь «по счастливой случайности у нас после Чернобыля не произошло крупных катастроф...».

«На АЭС России только с января 1992 по ноябрь 1994 года было более 380 аварийных ситуаций».

«...глобальное загрязнение плутонием принимает катастрофические размеры».

«Проходит 30 — 40 лет с момента пуска АЭС — и станцию из-за выработки ресурса надо выводить из эксплуатации. Что с ней делать? Остановленный четырнадцать лет назад один и четыре года назад другой реактор Белоярской АЭС с тех пор лишь потребляют энергию».

Нелепин искал и тоже не находил ответа на вопрос: куда же девать радиоактивные отходы АЭС? В какую свалку? Атомосвалки заведены под Челябинском, под Красноярском, в других «закрытых» зонах, ими пользуются и пользуются страны Запада и Востока, значит, губим свою страну?

И вся-то энергетика — это власть, власть безраздельная, она обладает не только своей техникой — своей идеологией, своей моралью, своей цензурой. Телефонный звонок: приказано не поднимать вопроса об отходах АЭС — и вопрос решен. Кто-то высунулся? По морде такого!

В ужас приводили Нелепина бесчисленные заявления атомщиков, будто Чернобыль — это ничего, не страшно, а то и полезно: повышает бдительность персонала всех АЭС! Будьте сознательными гражданами и забудьте о Чернобыле!

Вот и Гражданскую войну тоже рекомендуется забыть!

А экология идеологии?

Репрессии тридцатых, репрессии послевоенных лет — не что иное, как продолжение в одностороннем порядке Гражданской войны. Забудьте и это продолжение.

ВКП(б) вошла во власть через Гражданскую войну, и продолжала и продолжала в том же духе. РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и дня не просу-

ществовали без войны, без врагов. Враги были нужны великой партии как воздух, как среда обитания. С тех пор чувство разобщенности и враждебности обитает в обществе, и долго еще будет обитать, и сорок процентов населения России считают Октябрьскую революцию явлением куда как прогрессивным. Положительным. Потому так, что сложившийся в России к 1917 году интеллект был уничтожен Октябрем, что мыслительная деятельность всей страны была заторможена на многие десятилетия. Может быть, навсегда? Вековые приобретения мысли теряются легко, нелегко создаются. Интеллект — это последовательность, это культура поколений, но вот уничтожены, погибли в застенках, в пытках Н. Вавилов, А. Чаянов, Н. Кондратьев, даже Н. Бухарин, и кто же вместо них? Вместо — Трофим Лысенко и Политбюро: К. Ворошилов, Л. Каганович, М. Суслов, самолично товарищ Сталин.

Нелепин в самом себе потерю чувствовал, и единственное было утешение: у всех россиян так же! — только одни это понимают, другие — нет. Понимая, Нелепин затеял сюжет «Суд над властью», когда же не удалось, все чаще стал обращаться к экологии: какова власть, такова и экология. Вот он и читал у Яблокова:

«Минатом — это государство в государстве... В Минатоме есть всё, начиная от полного набора предприятий коммунального и сельского хозяйства, добычи золота и драгоценных камней, кончая собственной строительной индустрией и авиацией. Минатом, пожалуй, сравним в своей самодостаточности и закрытости только с системой ОГПУ — МВД — КГБ, с которой он, кстати, сращен по целому ряду направлений».

«Наши атомщики без конца ссылаются на МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии): мы работаем под его контролем!» — но ведь не кто другой, как МАГАТЭ, утверждает: Чернобыль — это не страшно. Ни одного объекта ядерной энергии МАГАТЭ у нас никогда не запретило: «Не имею права!»

А в чем же тогда его права, в чем она, магатэвская, экология?

Экология не может существовать среди тайн, еще не было на свете науки, не было общественной деятельности более открытой, чем экология. Но государство-то наше — тайна: то ли оно демократическое, то ли мафиозное? То ли стабильное, то ли хаотическое? То ли богатое, то ли нищенское?

Стоило Нелепину задуматься над экологией, сразу же перед ним возникал вопрос: а научно-технический прогресс? Его происхождение Нелепин понимал так: в отличие от медведей, зайцев и обезьян, человек рождается голым, голого, его неизбежно толкало на путь технического прогресса! Родившись голеньким, человек еще три-четыре года, больше — лет десять — совершенно беспомощен, жив только потому, что живут его родители. Снова требуется научно-технический прогресс, от родителей требуется изобретательность, которая не идет ни в какое сравнение с изобретениями Томаса Эдисона, Рудольфа Дизеля, с открытиями Дмитрия Менделеева и даже — с возникновением христианства: чтобы стать христианином, сначала надо было стать человеком. Более или менее, но современным.

Все это — взгляд назад.

Что касается взгляда вперед, там оправданной была одна только экология — возвращение человека к природе, поиск компромисса, технический прогресс-пантеизм. Компромисс сложный, таких еще не бывало.

Общечеловеческая история становилась для Нелепина личной историей и судьбой раза два-три в неделю, между четвергья — шестью, а то и семью часами утра — бессонница между двумя снами, вечерним и пред-рассветно-рассветным, когда гибель человечества становилась его собственной гибелью: вот дыхание перехватывает, а вот уже — увы! — и совсем нечем дышать. Во все остальное время он, помимо каких бы то ни было размышлений, ощущал, что ничего особенного, жить можно, а ду-

мать о проблемах экологии значительно проще, чем о замысле Суда над властью.

Нелепин не очень-то был склонен к исполнению любых обрядов, они его тяготили, ему мешали соображения о том, что можно обойтись и без обряда. Но? Но если бы он никогда, ни разу в жизни не бывал ни на одном торжественном богослужении, ни на одной литургии с песнопениями — он много потерял бы, он был бы еще беднее и глупее тоже.

Кроме того, являлись ему видения — природные пейзажи в которые когда-то он, случилось, был вписан.

В свое время Нелепин немало путешествовал: по Енисею и по Лене, в Саянах бывал, на Дальнем Востоке, а также в Карелии и на Кольском полуострове, — а теперь, под старость лет, когда у него возникало желание привести хоть в какой-то порядок минувшую, но все еще собственную жизнь, разверстать ее на те, на иные периоды, он обращался к пространствам — к пространствам Енисея и Лены, Печоры и Северной Двины, Карелии и Кольского полуострова. Он вспоминал, когда, в какие годы он там бывал, в каком возрасте и в какой шапке, пейзажи ему вспоминать не надо было: безо всяких усилий они возникали перед ним сами собой. Стоило чуть-чуть ослабить тормоза памяти, и вот уже он не в суетном сиюминутстве, а в том пространстве, которое когда-то простиралось перед ним для того, чтобы он его обзирал. Обзирал широко, сопрягая обозримое с необозримым тем светом, расположенным за горизонтом. И тот, и этот свет не только освещают, но и освящают тебя в пейзаже с его и видимыми, и невидимыми далями, с далями далей; и вот уже кажется, будто это и есть истинное занятие всех далей — освещать и освящать тебя. Тебя персонально.

Нелепину случалось бывать в одной и той же местности через продолжительный срок, лет через 20 — 30, и тогда эту местность он не узнавал. Разве что очертания гор оставались прежними, если горы были присущи местности. Земли же степные и лесные были уже лишены какой бы то ни было постоянной составляющей.

Леса были истреблены; реки иссыхали и дурно пахли, в их течение мерзко было погрузить тело, из них нельзя было испить. Тысячи лет они будто для того и существовали, чтобы продолжить жизнь человеческую, и вот... Тундра была иссечена следами тракторных гусениц, след мог зарости мхами и утлой травкой не раньше чем через сто лет.

И всюду-всюду, на всех широтах и долготах, на которых бывал Нелепин, обязательно был мусор. В пейзаже мусор становился его неотъемлемой принадлежностью, и казалось, будто человек на планете только для того и существует, чтобы производить мусор, чтобы следовать мировоззрению и существованию экологически чистого Николая Николаевича, с которым Нелепин не так давно беседовал на Павелецком вокзале. Которому Нелепин ни с того ни с сего отдал 70 000 рэ.

Тому мусорная свалка была уже домом родным, и почему бы человечеству официально не поделиться нынче 50 на 50? — ставил он вопрос. Одни мусор производят, другие им пользуются. В нем и живут...

Все эти перемены происходили при жизни одного поколения, одно поколение истаривало природу даже быстрее, чем старилось оно само. Когда людям плохо, они обязательно делают так, чтобы природе было еще хуже. Скажем — в войне. Скажем — в перестройке.

В этом Нелепин убеждался, читая в «Новом мире» писателя Бориса Екимова, жителя степей Приволжских. Там, где-то на диагонали между большими и шумными городами Царицын — Сталинград — Волгоград на севере и Ростовом-на-Дону на юге, чуть западнее, был хутор Большая Голубая, жили на хуторе жена с мужем Дьяковы, они Екимову объясняли:

«...платим налоги с тех денег, которые должны были получить с государства за хлеб, за подсолнухи, молоко, шерсть. Должны, но не получаем. Не получаем, но платим».

«Идем ко дну. Всплывать уже не будем!»

Ну а помощь государства хутору Большая Голубая:

на уровне районном — семинар руководителей хозяйств, на уровне областном — совещание по вопросам животноводства, на уровне государственном — вице-премьер Заверюха совершил облет местности. В одном из лучших хозяйств он даже приземлялся.

А еще беженцы бежали сюда из Киргизии, все нажитое там бросили, бежали поближе к землям бывшей автономной республики немцев Поволжья.

Семья немца Рудольфа Мокка тоже бежала, а — здесь?

«Здесь, — говорит Рудольф, — обещал нам работу Сельхозводстрой. Нам, кроме работы, хоть какого-то заработка, что нужно? Ничего не нужно, мы с руками, с ногами, с головами. Мы не думали, что бежим от гибели к гибели. Работы нет. Обманул Сельхозводстрой. Нет работы и не будет. Бежать еще куда-то... Нет, здесь будем погибать...»

Земля вокруг, неоглядные степи, пашни и пастбища пережили все жестокости Гражданской войны, немецкое нашествие пережили, но остались природой, но вот теперь — гибнут. «Мирные» люди их губят

Евгения Манучарова, журналистка «Известий», давняя знакомая Нелепина (умерла уже), под заголовком «В борьбе с природой погибнет человек» писала в 1993 году:

Ужасающее состояние российской природы и крайне неудовлетворительное положение в нашем здравоохранении заставляют руководство страны в ближайшее же время вынести эти проблемы на обсуждение Совета безопасности.

Ускорителем решения, несомненно, стали резкие выводы американских исследователей России Мерри Фешбаха и Альфреда Френдли-младшего. В США их книга «Экоцид в СССР» вызвала бурную реакцию, в которой смешалось сочувствие к нашей стране и призывы к осторожности в инвестировании наших предприятий.

Мерри Фешбах, профессор Джорджтаунского университета, выполняет работу эксперта Всемирного банка, а в недавнем прошлом — советник генерального секретаря НАТО.

Реакция на это исследование в правительственных кругах России лишней раз показала: нет пророка в своем отечестве. Активные меры решено принимать именно сейчас, после американского исследования, а не тогда, когда провел мониторинг природы советник президента Алексей Яблоков, не тогда, когда Сергей Залыгин и Василий Песков писали об уничтожении природы, а фонд «Здоровье человека» публиковал свои выводы о бедственном положении медицины. И даже не тогда, когда были обнародованы «Белые книги» президента, которыми Борис Ельцин отчитывался народу о реальном положении со здоровьем человека и природы.

Но, может быть, все же главное не в том, что наиболее объективным кажется мнение «человека со стороны», а в том, что публикация американцев страшнее всего, что мы когда-либо читали об этой проблеме. Рассуждений она почти не содержит, зато обрушивает множество чудовищных фактов, о которых не решались сказать отечественные журналисты. Ну, скажем, много ли мы знали о том, что наши хирурги, не имея инструментов, вынуждены делать полостные операции бритвами? Не говорили мы и о том, как нас обманывало МАГАТЭ — лакируя последствия чернобыльской трагедии. «Запланированным провалом» называют лживую политику американские исследователи.

На встрече в Москве с Мерри Фешбахом академик Сергей Залыгин, автор предисловия к русскому изданию, сказал:

— Планета Земля гибнет. Едва ли не первыми погибнут те страны, которые еще недавно составляли социалистический союз. Именно этой, а не какой-то другой первоочередности и посвящена книга «Экоцид в СССР». Будет непростительно оставить ее без самого пристального внимания и не сделать из нее никаких выводов.

О необходимости и о практической возможности изменить положение говорили, в сущности, все, кто пришел на эту встречу с авторами. И здесь главные вопросы были к присутствовавшему советнику президента академику Алексею Яблокову. Он отвечал честно. Даже на такой трудный: «Сколько средств надо, чтобы вылечить природу?»

Оказывается, необходимы два национальных бюджета. И все-таки задача спасения решаема. Уже потому, что она осознана.

Есть два типа красноречия. Цицерону после каждой его речи слушатели долго аплодировали и расходились просветленные духом, а Демосфену похлопать не успевали: едва он заканчивал речь, взъерошенные и сердитые греки разбегались по домам, чтобы побыстрее принести деньги на ту цель, за которую ратовал Демосфен.

Американскую книгу нам читать больно, неприятно, тяжело. И аплодировать не хочется. Зато хорошо понимаешь Раифа Василова, директора НПО «Биотехнология», который раздобыл средства, чтобы срочно перевести, издать у нас американское исследование (на все ушло два месяца) и разослать его по тем адресам, от которых зависит излечение природы и медицины.

Нелепин читал «Экологический роман» Залыгина, каким-то образом пришлось. Прочитав, расстроился: роман был явно автобиографическим, а вот ему, Нелепину, автобиография не давалась, не было ее.

Или потому, что ни один из своих минувших уже возрастов он так и не дождал до конца? До мало-мальского какого-то завершения?

Или по свойству его мышления?

Так или иначе, а результат налицо: автобиографии нет, есть одни только эпизоды, и ничего другого ему не остается, как с миру по нитке собирать и нумеровать сюжетики.

Но это — частность.

А если всерьез, то экология стала Нелепину как тот недоступный сюжет «Суд над властью»: единственно, что знаешь, — это что экологическая судьба России тоже совсем не та, которая должна быть. Ее попросту нет, этой реальной судьбы. Значит, у каждого россиянина ее тоже нет.

Владение природными благами — самое ответственное владение. Ничего более ответственного на свете нет, быть не может. Тем более, когда речь идет о перераспределении вновь и вновь этих владений.

Когда советская власть приходила к власти — умный и коварный Ленин провозгласил лозунг ненавистных ему эсеров: «Земля крестьянам!» Ну а фабрики рабочим! Ленин и не думал, что лозунг будет им осуществлен. Ход был тактический, а не стратегический. Важно было привлечь на свою сторону и рабочих и крестьян, добиться власти.

Добились. Нечего и говорить о том, чтобы фабрики когда-нибудь принадлежали рабочим, стали собственностью кооперативной. И земля, и фабрики принадлежали советской власти, никому на свете больше. А советская власть принадлежала самой себе, и это тоже проблема экологическая.

Если перед человеком какой-то предмет, а он не знает его употребления — он изведется, он, в конце концов, придумает для себя новую потребность, чтобы этот предмет употребить.

Экология!

Человек известен самому себе до последней косточки, до элементарной клеточки, до атома — что ему делать с этой известностью?

Ромео и Джульетта ему известны, Дон Кихоты — известны, Наташи Ростовы и дамы с собачками — тем более, что же ему делать с такой известностью? Надо придумать себе новые потребности, чтобы почувствовать свою новизну.

Экология!

Нынче уже никому не нужны ни Колумбы, ни Магелланы, ни Дежнев с Пржевальским — Земля известна повсюду до гектара, до акра, и ничего нового открыть в географии невозможно. Но все известное обязательно должно быть употреблено, даже космос, поскольку он тоже становится известным. Открыть и не употребить — это невозможно.

Экология!

...И нельзя остановиться, ограничить свои потребности, чем больше он имеет, тем больше ему надобно.

Президенты: подумать только — жить под постоянной охраной, каждый Божий день своего существования расписывать по часам-минутам — что, когда, о чем, зачем и почему; каждый день обязательно что-нибудь обещать; никогда не принадлежать самому себе; да мало ли еще какие муки, но ко всем этим мукам человек рвется, из кожи лезет, расходует себя на интриги, на хитрости, на подлости, и все потому, что власть — тоже потребность. Проблема тоже экологическая.

А природа? Природа не может все это принять, не может принять власти над собой, она первейшая законодательница, выше, чем законы природы, законов нет, не может быть. И какое насилие, какую подсудность можно применить по отношению к альма-матер? Какое можно вменить ей обвинение — что она родила нас не такими, какими мы в минуты сентиментальные принципиально хотели бы быть? Для этого нужно придумать другую природу.

Кто горазд?

Задача перестроечного правительства — перераспределить природу и все то, что природа дала людям.

Одни хотят перераспределить ее вот так, другие по-другому.

Странно, но когда Нелепин читал книги о власти, речь обязательно шла о власти государственной и никогда — о власти над природой.

А в конце концов?

В конце концов надо, надо было придумать сюжет по поводу открытия мемориала в торжественный день, день конца света, что-нибудь мраморное придумать, со штыками по периметру постамента, напоминающее то, что расположено на площади Октябрьской, напротив фасада Института стали и сплавов и справа от одного из силовых министерств.

...Чем серьезнее власть относится к самой себе, тем больше у нее всякого рода пропусков. У всех до единого присутствующих на открытии мемориала господ на руках были не только пригласительные билеты на открытие памятника по случаю закрытия жизни на Земле, но и билеты на космические корабли и кораблики, которые в ближайшие часы отбывали в космос.

...ночь, разумеется, тоже была. С задымленным небом и с озоновой дырой в небе.

...на надгробной плите были высечены ценные указания для живых существ, которые, паче чаяния, рано или поздно все-таки могли заново появиться на Земле. Указания были гуманными и туманными — какими они еще могли быть?

...тут же активно происходил бизнес: котировались человеческие эмбрионы в возрасте пяти-шести месяцев (из эмбрионов извлекались препараты продления жизни хотя бы и в самых необыкновенных условиях).

...ничего особенного, все еще убеждал по ТВ своих граждан президент, самое главное — не поддаваться провокациям, взять себя в руки. В руки

брали себя все, но не у всех получалось, хотя в правительстве только что были установлены должности еще двух вице-премьеров и создано три специальных социальных комитета.

...пейзажа нигде не было, но со стороны блеклого света, поступавшего на Землю с северо-востока и с юго-запада, несло порядочной воньцой очевидно, там располагались свалочные полигоны. На одном из них Нелепину показалось, на юго-западном — как ни в чем не бывало трудился кандидат наук Николай Николаевич, знакомец Нелепина по Павелецкому вокзалу.

...Теперь Нелепин очень сожалел о том, что ни одна из программ ТВ так и не включила хотя бы еженедельные выступления Николая Николаевича — вот кто бы мог с глубоким пониманием проблемы поговорить о экологии. И теоретически, и ссылаясь на собственный опыт.

Да ведь и Нелепин мог бы подключиться — то ли ассистируя Николаю Николаевичу, то ли самостоятельно.

Правда, до сих пор Нелепин, пусть и для самого себя, говорил о мусоре, о свалках в иронических интонациях, но неужели это обстоятельство стало бы препятствием на его пути к ТВ-экрану?

...с юго-востока и с северо-запада доносились гул и взрывы, там, очевидно, уже была объявлена посадка в многоместные космические корабли и в семейные корабрики. Отбывали всякого рода президенты, государственного и частного значения, причем в сопровождении жен, детей, даже тещ. И даже в сопровождении собачек Жулек со щенятами, со своими собственными высокопородными женихами.

Нелепин легко представил себе, как Жулька сию минуту поднимается по трапу на борт космического корабля — она сама, четыре веселых щеночка, три кобеля, которые на ходу, но очень серьезно обнюхивают друг друга, знакомятся в поисках предстоящего консенсума. У самой же Жульки вид спокойный и уверенный — она понимает все на свете.

Все без исключения личности, отбывающие на семейном корабле, только что были уколоты препаратами новой жизни. Состояние их организмов признано вполне удовлетворительным.

...среди отлетающих шли разговоры о том, что в данное время на месте, где был город Грозный, проходит демонстрация, демонстранты носят портреты Сталина и Дудаева, а вообще-то положение в Чечне сложное...

...очень жалко было Нелепину человечество и Россию и самого себя, он так и не смог осуществить замысел Суда над властью. И вот — результат, казалось ему. Как мог, Нелепин успокаивал себя: сюжета на Судный день не хватило и у авторов Библии.

Была у Нелепина любимая молитва, ее-то он и вспомнил. Он полагал, она-то и положила начало поэзии человека, той поэзии, которая воспевала Природу, благодарила Бога за сотворение Природы.

103-й Псалом Давида о сотворении мира. Из Ветхого Завета.

Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят; восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины: между горами текут (воды), поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с вы-

сот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа́ Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил; на них гнездятся птицы: ели — жилище аисту, высокие горы — сернам; каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен; солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, (и) они собираются и ложатся в свои логовища; выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих. Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают, отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; скроешь лице Твое — мнутятся, отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих! Призывает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!

И вот еще что поражало Нелепина: едва человек на заре новой эры обратил духовный взор на Природу, на Дом свой, он тут же помыслил экологически: дом этот не вечен, его надо беречь не от грома и молнии, но от самого себя, от самых великих грехов своих: «Да исчезнут грешники с земли. и беззаконных да не будет более»!

А в Новом Завете были и такие слова, такой научный прогноз:

«...и пришел гнев Твой и время судить мертвых... и погубить губивших землю».

Да-да, молитвы и обряды никогда не поглощали Нелепина целиком. Но куда же все-таки ему было девать, девать самого себя, всего остального, не поглощенного нынешними событиями?

Сюжет № 12

МАМА

Нелепин никогда не мог сказать: была у меня мама, не стало у меня мамы. И после того как ее не стало, она все равно была, возвращалась к нему такой, какой очень была ему нужна. Независимая от собственного возраста, зависимая от возраста сына, от того, о чем и как сын думал о разных предметах: о мужчинах, о женщинах, о детях, о человечестве. О природе.

С год назад видел Нелепин на телеэкране молодого — лет тридцати — человека, угрюмого, с глухим, без интонаций голосом, безусловно упрямого, — так этот открыватель мировых истин, он что открыл? Что некогда мужчины были одним видом животных, а женщины — совершенно другим, два этих вида были полностью самостоятельны, никакого отношения друг к другу не имели, саморазмножались каждый своим способом (пока что неизвестно — каким) и лишь несчастный, кажется, случай свел тех и других. В результате женщины и стали женщинами, а мужчины — мужчинами в современном смысле. У них стали появляться дети (тоже современным способом). Молодой и упрямый ученый был недоволен, он предпочитал родиться от мужчины же, такой поворот усовершенствовал бы чело-

вечество до пределов, которые нынче называются утопией, а тогда это было бы реальной и даже единственно возможной действительностью.

Такие дела...

Молодой ученый пообещал в следующих передачах полностью доказать свою теорию — у него множество на этот счет имеется неопровержимых фактов (ну, вроде как у Руцкого его двенадцать чемоданов).

Нелепин был изумлен, был обижен за природу — или природа не соображала, что делала, а этот добрый молодец сообразил? Сообразил — и вот отрицает тот порядок вещей, при котором не то что млекопитающие, но каждое семечко любой травинки, любого дуба, любого баобаба возникает из опыления двух цветочков — мужского и женского, а самоопыление — очень редкий случай. Никак не может обойтись природа и без тычинок-пестиков, без пыльцы, а то и без посредников, без тех же пчелок, а если есть споровые растения — всякого рода плесени и мхи, — так они в своем развитии дальше папоротников не идут. Папоротниковая судьба Нелепина совершенно не устраивала, почему и каким образом она устраивала молодого ученого — узнать не пришлось, его выступлений по ТВ Нелепин больше не видел. Если же они и были, так, вернее всего, по каналам ТВ, которые принадлежат партии споровых организмов.

Другое дело, что женщины всю жизнь удивляли Нелепина. Для него с детства действительно существовало два человечества — мужчины и женщины. У женщин своя анатомия, своя физиология, и если мужчин это не удивляет, так только благодаря их тупоумию. Между мальчиком и женщиной не такая уж и большая разница, но девочка, девушка, жена, бабушка — это все разные организмы, а совмещение их в одной личности — чудо.

Отцовство — совсем не то, что материнство, и мужчины не имеют и никогда не будут иметь ни малейшего представления о том, что же такое беременность, роды (не только девочек, но и мальчиков), кормление ребенка грудью, тогда как это и есть главные проявления человеческой жизни. Подумать — более-то главных и нет.

И когда женщина смеется или плачет — она что же, чувствует при этом то же самое, что и мужчина? Не может быть! И сколько бы миллионов лет ни существовало человечество — никто никогда никому не объяснит этих реальных и повседневных различий, этой тайны, от которой берут начало еще и еще другие тайны существования человека.

Гришина мама была к этой тайне ближе, чем все другие женщины, больше ее понимала, больше придавала ей значения и, наверное, поэтому, когда переодевалась, говорила сыну:

— Сынок! Выйди, пожалуйста, из комнаты. На минутку. Мне надо переодеться. Ты хоть и маленький, а все-таки мужчина, а я хоть и не молодая, а все-таки женщина...

И в баню не брала его в женскую — просила кого-нибудь из мужчин сводить мальчика в мужскую.

И Гриша привык к этому различию, оно было нужно ему, и он слушал женские походки: женщину, ее характер, можно было узнать по каблукам, по тому, как она стучит ими.

Когда Гриша лишился отца, а мама мужа, сколько у нее было поклонников — не счесть, но она всем отказывала, боялась второго замужества, потому что боялась первого. При этом она отказывала своим поклонникам так, что они тут же влюблялись в нее еще раз и, заново влюбленные, то ли проклинали ее, то ли навсегда становились ее верными друзьями. Мама могла быть незаменимым другом-женщиной, но для этого ей нужно было время распознать: у мужчины-то какие нынче замыслы? И — желания?

Мама была создана для любви, но любви боялась как огня — такая судьба.

Мама точно различала и Гришу научила различать женщин двух природ: женщина только тогда женщина, когда она чем-то прелестна, но дело еще и в том, как женщина к самой себе относится: одни холят себя и себя

демонстрируют, без этого они чуть ли не погибают, другие же не придают самим себе прелестного значения и не любят, даже обижаются, когда мужчины говорят: «Как вы хороши!»

— Ну а вот это — уже не ваше дело! — отвечала в таких случаях мама, в тех случаях, когда кто-нибудь говорил ей о ее красоте. — Это дело мое личное!

Мама и подкрашивалась, и очень любила одеваться, при том что одеваться ей было не на что, но всякий раз говорила Грише:

— Не обращай на меня внимания, сынок. Не стоит того, право, не стоит. Я просто не хочу быть небрежной, вот и все!

Мама, Любовь Ивановна, происходила из мещанской семьи маленького городка Молога Ярославской губернии. Городок был впоследствии затоплен.

В день начала войны, 22.VI.41, началось и затопление городка Мологи водами Рыбинского водохранилища. С одного конца города колонной уходили мобилизованные мужчины, с другого — наступала вода.

После войны Нелепину довелось несколько раз проплыть теплоходом над затопленной Мологой — из воды возвышалась только церковная колокольня.

В этой церкви, догадывался Нелепин, крестили его маму

Мама кончила Библиотечный институт и страсть как любила читать.

Мама происходила из очень многочисленной семьи. Конца не было ее родным, двоюродным, троюродным братьям и сестрам, и для всех них существовал общий культ — культ высшего образования. Этот культ, представлялось нынче Нелепину, был свойствен России конца прошлого — начала нынешнего века, прежде всего в среде мещанской, да и крестьянской тоже, в меньшей степени для среды рабочей: там был еще и другой идеал — мастер, желательно — начитанный. При этом Гриша, мамин сын, никогда не видал в лицо никого из маминых родственников. Так сложилось. Исключение составляла тетя Тася, о ней — ниже.

На медные гроши, перебиваясь уроками, подрабатывая в земской статистике, все братья и сестры Любви Ивановны, кто не умер от туберкулеза на почве недоедания и переутомления, достигали-таки высшего образования: одни стали политиками с крайними (левыми) взглядами, другие — управляющими в частных фирмах, третьи — учителями. Был и врач, была гувернантка в высокопоставленной семье, был приват-доцент Харьковского университета, юрист разумеется, были пьющие и непьющие, но Нелепин никогда не мог усвоить, кто есть кто среди его родственников, тем более что устанавливать-то надо было заочно, в лучшем случае по фотографиям.

Мама — казалось ему — вполне воплощала собою эту разбросанную по всей России семью, показывая Грише фотографии — бородки клинышком, небольшие усики, женские прически средневысокой стрижки, а сами женщины — непременно в беленьких кофточках и в длинных темных юбках.

Судьбу этой семьи мама, кажется, невольно (она политику не любила) связывала с политикой.

Нередко мама говорила:

— Новая экономическая политика советской власти? Дядя Миша сказал бы о ней так... дядя Саня — вот так, тетя Люда обо всем говорила только с точки зрения воспитания детей младшего и среднего возраста разврат

О нэпе: детям эта политика вредна, потому что им нельзя объяснить — для чего был военный коммунизм? Для чего Октябрьская революция?

Ссылаясь на своих братьев и сестер, мама не забывала и своего собственного мнения.

...большевики привели к власти кадеты... — говорила она, — Милюков привел;

...русская интеллигенция никого никогда так не ругала, как сама себя;

...если бы всем было известно, что такое любовь, — никто никого никогда не любил бы;

...никому нельзя рассказать о себе столько же, сколько русскому человеку: уж он-то, русский-то, попереживал!

...твой папа был очень честным человеком и таким красным, таким красным — представить себе невозможно. Качества несовместимые, вот его и расстреляли. Свои же...

...ничего не попишешь — искусство часто только и делает, что разрушает, а думает, что только и делает, что создает...

...я слышала Шаляпина четыре раза, а слышала бы четырнадцать раз — и была бы совсем другим человеком.

Маминых изречений хватало на всю жизнь Нелепина, и еще осталось бы.

Мама была очень скромным, очень нетребовательным человеком, и это убеждало ее в том, что она живет «правильно», «по-человечески».

Мама была общительна и остроумна, любила принимать гостей-мужчин, ставила для них самовар, но чай (с сахаром и с белым хлебом) пила с гостем обязательно в присутствии Гриши. Не раз она говорила: «Кажется, вполне достойный человек, но я не могу поручиться — какой это будет для тебя отец?»

Мама очень хорошо знала, что ей можно, а чего ей нельзя, в этом для нее не существовало проблемы. Любое, самое незначительное «можно» она воспринимала с радостью, как чей-то полноценный подарок: в кино, например, можно сходить, а то и на галерку в театр, на каток школьников пускали бесплатно — какое прекрасное «можно» было для Гриши! Поэкономив месяц-другой по всем статьям семейного бюджета, мама покупала лыжи — Грише и себе, а ведь Измайлово — оно как будто бы для лыжников было создано!

Что же касалось «нельзя» — о них мама и говорить, и распространяться не хотела. Зачем, если все равно нельзя? Все они были для мамы одинаковы: нельзя не выучить урока и нагрубить учительнице точно так же, как нельзя что-то украсть, а потом сидеть в тюрьме. Конечно, говорила она, хорошо бы вырастить еще и дочку. Дочку Елену. Но надо очень хорошо знать человека, который мог бы стать ее отцом, а главное — *твоим отцом*.

Очевидность «можно» и «нельзя» мама пыталась воспитать и в Грише.

Если Гриша возвращался из школы с синяком под глазом, она спрашивала:

— Подрался?

— Подрался...

— Правильно: ты же не девочка, чтобы совсем не драться!

Если же Гриша приносил из школы плохие отметки (случалось!), мама вздыхала:

— Гриша! Подумай хорошенько, а я думаю, что так нельзя!

Бывали у мамы и ошибки.

Когда Нелепин женился в первый раз, мама принимала в этом деле активное участие: «да!», а когда во второй — говорила по-другому:

— Нет уж, нет! Я в первый раз, всего год назад, что-то напутала, а теперь ты взрослый человек, опытный, разбирайся, решай сам и никого не слушай, тем более не слушай свою мать. Не забывай только: собственную любовь надо любить... И себя тоже надо любить за свою любовь...

Вообще-то говоря, мама знала о любви больше, чем самые влюбчивые женщины.

— Уж не знаю, как так, но я очень любила своего коммуниста! — говорила она. — Я знала, что он должен погибнуть. Ну а теперь мы с Гришуткой будем вдвоем. Вот уж обзаведется он семьей, а тогда и мне виднее будет...

Что будет виднее, мама не говорила.

Вообще, женщины, если только это были настоящие женщины, всегда удивляли Нелепина чувством своего пола. Они постоянно и неизмен-

но принадлежали своему полу, а весь женский пол принадлежал каждой из них. Очень редко можно было услышать от мужчины «мы — мужчины», реже, чем «мы — люди», «мы — человечество», но «мы — женщины» — это было обычным выражением для женщин, и даже если слова эти и не произносились, они подразумевались, о чем бы ни шел разговор.

Для мамы Нелепина это чувство было в самой природе ее существа. У нее был один-единственный ребенок и неиссякаемая близость к материнству. Она еще в молодости лишилась мужа, но всегда вела себя как женщина замужняя, она была уже пожилой, а выглядела, а вела себя словно молодая.

Далеко не всегда Нелепин соглашался с мамой, когда она говорила ему о самой себе. Скажем, она говорила, что, если бы слышала Шаляпина не четыре, а четырнадцать раз, она была бы совершенно другим человеком. Ничего подобного — ни Шаляпин, ни Пушкин, ни сам Иисус Христос не могли бы сделать из мамы другого человека, тем более — другую женщину, а вот еще и еще утвердить ее в самой себе — дело другое. Это они могли бы.

По молодости Нелепин думал, что мама никогда и ни в чем не самоутверждалась, что она родилась однажды и навсегда с сознанием «можно» и «нельзя».

Но это — по молодости. А дело было еще и в том, что мама всегда заключала в себе некую загадку, ему недоступную, которая, однако, иногда приоткрывалась.

В Ленинграде жила мамина племянница, дочь давно умершего ее старшего брата Александра. Нелепины, и мать и сын, никогда не называли эту племянницу племянницей, а всегда «тетей Тасей».

Тетя Тася была самым несчастным человеком, которого когда-либо встречал Нелепин, она была на десять лет младше мамы, выглядела же лет на пятнадцать старше. Дочь видного инженера, она по этой именно причине не могла в свое время, в начале тридцатых годов, поступить в высшее учебное заведение: «чуждый элемент»! Уже в годах тетя Тася с унижениями, с потерей здоровья кончила-таки химико-технологический институт, вышла замуж, родила сына, но тут война, и в первый же день войны корабль ее мужа, капитана дальнего плавания, был торпедирован немецкой подводной лодкой в Северном море.

У тети Таси отнялись ноги, но и лежа, она стала начальником штаба обороны своего завода, пережила всю блокаду, почти ослепла, но продолжала работать на заводе и воспитывать сына Диму.

Сын Дима не удался — он стал алкоголиком и при каких-то необычных обстоятельствах умер, оставив матери внучку Леночку. Мать этой девочки с Димой не жила, она жила на Кубе, жить на Кубе ей очень нравилось.

Леночка же была для тети Таси не только светом в окошке, но и всем на свете.

Но вот вернулась с Кубы мать и забрала Леночку к себе, к своему новому мужу, который ненавидел приемную дочь.

Последние годы своей жизни тетя Тася то и дело наезжала к Нелепиным. «Поживу у вас недельку — и снова два-три месяца чувствую себя человеком!» — говорила она, а что-то она и не говорила: «Вот уж буду окончательно умирать — тогда...»

Гриша и не стремился узнать тетин Тасин секрет, тетя была уж очень несчастна для того, чтобы сказать хоть одно бодрое, нормальное слово. Но однажды тетя Тася попросила Гришу сводить ее в кино и по дороге обратно сказала ему:

— Гриша! Почему, ты думаешь, у Любочки, у твоей мамы, такой характер?! Такая сила воли? Откуда? Почему?

— От природы! — пожал плечами Гриша. — Характер — это всегда от природы и от генетики. Что же тогда у человека от природы и от генетики, если не характер? Может быть, одни только почки?

— А вот ничего подобного! Твоя мама такая, какая она есть, оттого, что она пережила когда-то трагедию — мне и не снилось! Тем более — тебе..

— Что же она пережила?

— Девушкой, из-за несчастной любви, из-за разочарования жизнью, она кончала самоубийством. В последний момент ее вынули из петли.

— Этого не может быть! — возмутился Нелепин.

Он до глубины души был возмущен: мама — и самоубийство? Кроме возмущения и чувства ненависти к тете Тасе, это ничего вызвать в нем не могло

— Будь уверена, — сказал он тете Тасе, — ты это выдумала! Или кто-то тебя обманул, а ты поверила!

— Но я свидетельница!.. Я помогала вынимать Любочку из петли!.. Я бегала за доктором! Хотя я и была тогда маленькой.

— Не верю. Уже потому не верю, что тебе незачем все это мне говорить. Для чего тебе это говорить нужно? Объясни?!

— Считала своим долгом...

— Считаешь долгом сделать близких тебе людей еще более несчастными, чем ты?

Тетя Тася расплакалась навзрыд, и некоторые прохожие делали замечания Нелепину:

— И не стыдно, молодой человек? Довести до такого состояния старушку?

— А это, наверное, его родная мать, — догадывались другие. — Нынче они, молодые, все вот так! С собственными родителями они только так!

Домой они вернулись порознь, и в тот же вечер тетя Тася уехала в Ленинград. После этого она не звонила, не писала, не приезжала, а вскоре умерла.

Мама ездила на похороны, Гриша не поехал.

Мама конечно же догадалась о разговоре между ее сыном и племянницей, может быть, племянница и сама сказала ей, но ведь мама и молчать тоже умела, как никто другой, но время шло, и Нелепин убеждался в том, что тетя Тася говорила сущую правду, что мамины «можно» и «нельзя» происходили как раз от попытки кончить с жизнью, тогда-то у мамы и появился критерий того, что нельзя никогда и ни в каком случае. Несколько раз мама сочла возможным этот критерий издалека, но объяснить. Нельзя придумать ничего более отвратительного, чем самоубийство! — однажды сказала она, а в другой раз заметила, что все живое существует только потому, что перед ним нет и не должно быть вопроса — жить ему или не жить...

Итак, с некоторых пор маме надо было стать не только матерью, но и женщиной, но и существом, которое, как никто, как ничто другое, воплощает обязанность существования. Она уже знала и жизнь и смерть так же, как люди знают сон и явь, знают, что такое синее, а что такое белое, что такое всё, что такое ничего, а Нелепин и не пытался, не хотелось ему, перенять от матери это знание. Ему вполне было достаточно, что он сын женщины, которая освобождает сына от необходимости это знать.

Правда, раз-другой мама возвращалась к этой теме. Однажды она сказала:

— Не верю я «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого! Не верю великому Льву Николаевичу, когда он пишет о смерти: он боялся смерти, а нельзя написать правдиво о том, чего ты боишься... Можно написать только свой страх.

В другой раз, много лет спустя, речь зашла о расстреле императора Николая Второго, его семьи, и мама заметила:

— Люди, в руках которых и жизни и смерти миллионов других людей, не могут иметь верных понятий ни о жизни, ни о смерти.

Нелепин ответил тогда:

— А если такие люди обозначают начало убийства нации? Ленин и ленинизм, Сталин и сталинизм начали с этого — чем кончилось?

На это мама промолчала: это касалось ее мужа, Гришиного отца.

Самое необъяснимое было то, что мама любила этого человека и, бывало, плакала по утрам, когда он уходил на работу.

— Опять! — восклицала она. — Неужели — опять! Вот мучение-то!

А Гриша рано понял, что его папа день и ночь служит в ГПУ. Он возвращался к маме только под утро, и она спрашивала его:

— Не могу понять — как это я тебя люблю?! Хоть бы ты мне объяснил. Попытался...

— И пытаться не надо, — отвечал усталый отец. — Я — человек с волей. С волей к справедливости. Ради справедливости я готов на все. На то, от чего некоторые сопляки бегут, как зайцы!

— Нет-нет — я все-таки уйду от тебя. Заберу Гришутку и уйду. Не уйду — убегу!

— Не пугай меня, милая, — отвечал отец. — Ты же знаешь — я ничего не боюсь. Я решу просто: смогу я без тебя или не смогу. Вот и все.

Когда папа не возвращался с работы уж очень долго, бывало и так, мама начинала размышлять вслух:

— У нас ведь две комнаты? Да, у нас две комнаты! Значит, можно сделать: в одной комнате живет папа, а в другой — мы с тобой, Гришутка. Можно так?

— Можно, можно! — соглашался Гришутка: ему нравилось все новое в жизни, очень нравилось.

— А можно и совсем разъехаться. В разные дома.

— В разные?! Еще лучше!

Когда отца не стало, когда уже и мать умерла (не так давно случилось) — Нелепин вспоминал все это содрогаясь, — мама и тогда становилась в его глазах женщиной все более необыкновенной. Ей были чужды оккультность, колдовство, экстрасенсы, но она знала, что мир таинствен, что в этом мире самым умным людям далеко не все известно, что умным неизвестно больше, чем посредственностям, может быть, именно поэтому они и умные. Она мало интересовалась модерном, но испытывала чувство преклонения перед предметами древности, хотя никогда не приобретала их для дома.

Она очень любила Лермонтова, но его портретов боялась.

— Страшновато...

— По-моему, — еще говорила она, — самые смелые люди — это археологи! Подумать только, в какую глубину они заглядывают!

Но когда она была при смерти, она попросила Нелепина:

— Сынок! Постарайся, похорони меня на старинном кладбище. Ну, хотя бы на Ваганьковском. Я знаю, нынче это очень трудно, а все-таки...

И только тогда, когда мама умерла, когда он похоронил ее на Ваганьковском, он позволил себе вспомнить отца — как с ним-то было?..

...резкий стук в дверь ночью — и три посторонних человека с выражением служебного рвения на лицах, строгого энтузиазма, энтузиазма никому, кроме них, не доступного...

Отец открывает дверь, не спрашивая «кто тут?», и первый говорит:

— А-а-а... Ну-ну... Смотреть будете?

— Чего смотреть? Одевайся!

Отец оделся, поцеловал маму, Гришу погладил по головке. Гриша хотел вскочить, отец придавил его к кровати:

— Лежи. — И тут же этим посторонним людям: — Чего встали-то? Ведите!

Отца увели, мама сказала:

— Я, Гриша, давно об этом знала. Иначе не могло быть, — и упала без чувств.

Через месяц, чуть больше, мама и Гриша переехали из центра города на окраину, в Измайлово, в деревянный дом, в комнату с террасой, сквозной для солнца в любое время дня, в любое время года. Мама работала в детской библиотеке, Гриша учился в школе.

Оказалось, что брак мамы с отцом не был официально зарегистрирован (так настоял отец), и маму не арестовали, не сослали как ЧСВР — члена семьи врага народа. Гришу тоже не отправили в колонию детей репрессированных родителей, он кончил школу, и ничто не помешало ему поступить в вуз.

Но что бы ни происходило в его жизни, Нелепин помнил о том удивлении, с которым он, мальчишка, относился к маме.

Нелепин женился в первый раз ненадолго, во второй — надолго, навсегда, тот и другой раз это было по любви, но без удивления. Все женятся — он чем хуже? Второй брак иначе и нельзя было назвать как счастливым, все в нем было как следует — и дети, и внуки, и супружеские отношения. Жена была на десять лет моложе мужа, всю свою трудовую жизнь провела в промышленности, там же, в составе какой-то бригады, сделала изобретение и перешла в конструкторское бюро. Со временем бюро стало частной фирмой, в фирме ее ценили.

Она тоже ценила фирму, дети выросли, стали самостоятельными, интересы фирмы стали главными интересами его жены. И материальными, и духовными, замечал Нелепин.

А когда Нелепину стукнуло шестьдесят — появилось меццо-сопрано.

Женщина как бы еще не удивительнее той, которая была его мамой.

Это меццо, это сопрано совершенно неожиданно появилось, объяснилось, осчастливило и осчастливилось, а год ли, два ли прошло, и оно заявило: конечно, Нелепин любит, но любит не так. Не совсем так.

Нелепин пытался выяснить, а что такое «так», но, кажется, сделал хуже.

— Чего тебе, толстокожему, не понятно? Если бы ты любил по-настоящему, тебе было бы все понятно! Но все равно я люблю по-прежнему, только с сегодняшнего дня не вздумай до меня дотрагиваться! С сегодняшнего дня — нельзя! А во всем остальном, — говорило меццо-сопрано, — ничего ведь не изменилось?! Я же тебе звоню? Каждый день! Я без звонков, честное слово, не могу! Ты сам это знаешь.

И звонки шли:

— Как себя чувствуешь? Сегодня атмосфера неважная, магнитная буря. И — ветер. Пожалуйста, поберегись. Надень теплый свитер, я очень, очень беспокоюсь! Сам не бережешься — побереги меня!

И беспокойство это было искреннее, оно вполне могло бы быть и у мамы в ее отношениях с хорошими друзьями, тем более — с сыном.

Самое большее, что меццо-сопрано могло Нелепину объяснить:

— У тебя свои дела, я знаю, а до меня тебе дела нет! Это я все время о тебе думаю! Ты — нет. Ты — только изредка. У тебя свой сюжет...

Нелепину было так плохо, так плохо, что он взвалил на себя еще больше дел — чтобы было легче. Может быть, это повлияло и на замысел «Суда над властью»... Ему действительно нужен был свой, и только свой, сюжет.

Кроме того, надо было себя цензуровать и цензуровать: не дай Бог сказать какое-нибудь слово, которое возмутит меццо-сопрано.

— Как, как ты сказал? «Пока»? Да-да, я уже давно знаю: у тебя, кроме «пока», ничего нет за душой! Ну что поделаешь?! Все равно мои чувства не изменились. Какими были, такими и остались!

Он бы и не поверил, будто так может быть, но тут его убедила мама. Уже покойница, она глубоко вздохнула, вздохнув, подтвердила: «Может быть, сынок, может! Я не с чужих слов, я по себе знаю!»

Так и есть: в жизни Нелепина были и навсегда остались две необыкновенные женщины — мама с приятным альтом и неповторимое меццо-сопрано

Сюжет № 13

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

День был на полдень — в заведенном порядке шел от первой ко второй своей половине.

14 июля было, год 1995-й. Национальный праздник Франции — день взятия Бастилии, 206-я годовщина.

На Октябрьской площади слышалась бравурная музыка. Стоя на солидном пьедестале, солидный Ленин слушал французскую революцию, одна рука в кармане, другая — в небольшом размахе, правая пола демисезонного пальтишка развеивается — Ленин, оказывается, не стоял, он шел: «так держать!» Музыку он слушал на ходу.

Музыка на площадь Великого Октября доносилась с подворья французского посольства, из сквера при новом не очень, а все-таки замысловатом посольском здании красного кирпича. Там шел большой прием.

Прием кончался, публика, неплохо выпившая, неплохо закусившая, довольная, рассаживалась в машины — преимущественно служебные, а также своим ходом двигалась в сторону метро.

Нелепин, проходя мимо посольства, в эту публику вклинился и слышал разговоры о том о сем, о делах домашних, затем о делах служебных. О приеме как таковом говорилось меньше всего — было, прошло, тотчас за воротами посольства забылось.

И только один разговор привлек внимание Нелепина: солидный, с брюшком мужчина объяснял своей еще юной и покрасневшей спутнице:

— Ты не думай, Юленька, что у них там, во Франции, было что-то серьезное. Да что там, на этой самой на площади Бастилии, вот этими я видел глазами? Там колонна стоит на месте крепости, а площадь — переплюнуть, меньше вот этой нашей, Октябрьской... А еще я скажу тебе...

— А мартини у них хорошее! — сказала спутница. — Настоящее, французское. У нас сорок три тысячи за бутылку.

— Хорошее. И не французское, а итальянское. А еще я скажу тебе... — продолжал человек с брюшком, и Нелепину стало интересно, что этот человек скажет еще, и он пошел рядом — и не ошибся.

— ...какая это революция — игрушки! Убили-то при взятии Бастилии не то четырнадцать, не то восемнадцать человек. Вот у нас — это да! У нас историкам действительно есть чем заняться... — говорил человек с брюшком.

— Пирожки были очень хорошие. Домашней выпечки, что ли...

— ...читаешь и диву даешься: «После многочасовой осады крепость сдалась». Поняла или нет: после многочасовой?! И это называется Великой революцией? Смех один! Сравни: у нас после многолетней...

— ...очень хороший был изюм...

— ...многочасовой! А пять лет Гражданской войны — не хотите? Нет уж, куда им!.. У них своего и настоящего Ильича и то не выдвинулось. Ну, были, конечно, деятели, Робеспьер был, Марат был, Дантон — они, конечно, друг дружку прикончили, ну и — что? Ну, если уж праздновать ничего другого нет, отмечают и это. Отмечать все равно надо.

— ...хорошо отмечают.

— ...приятно... А еще я скажу тебе...

Тут Нелепин сбился с ноги, оказался где-то в стороне и уже вошел было в вестибюль метро «Октябрьской» кольцевой, как заметил объявление: «Приемная комиссия Института стали и сплавов». Стрелка изображена в направлении приемной.

«Приемная! Комиссия!» Выбор молодыми людьми, юношами и девушками, своего будущего! Выбор, а не что-то другое!

Нелепин напал на след!

Отзвуки французской революции, монументальный на монументе Ленин в окружении рабоче-крестьянских штыков, площадь Октября с современным зданием Министерства внутренних дел, не менее, если не более современные торговые ларьки и лоточники по обе стороны входа в метро «Октябрьская» кольцевая — все вмиг оказалось не более чем атрибутами того выбора, который совершают в эти минуты молодые люди в приемной комиссии Института стали и сплавов. А каждый выбор — это сюжет! Может быть, заключительный для Нелепина: нельзя же ему все свои портфели, папки и свою голову набивать и набивать сюжетами текущих дней? Чтобы выбрать, нужно остановиться. Нелепин — не Ленин, у него нет умения выбирать с ходу.

По указанию стрелок, небрежно начертанных на картонных и бумажных клочках, он двинулся во двор Института стали и сплавов. Во дворе было старенькое здание, небольшое и перестроечно-подновленное желтым и белым, как бы под цвет помещичьей усадьбы, был какой-то, кажется, банк, закрытый на обеденный перерыв, со средней по численности и по длине очередью клиентов, ожидавших конца перерыва. Все больше старички со старушками, уже сделавшими выбор банка, — скорее всего, печальный выбор.

Вход в институт, в приемную комиссию, был странным: стеклянная скрипучая, чем-то залатанная дверь, за дверью мутно-стеклянный коридор в одну сторону, затем он же, параллельно, — в другую, а тогда уже и вестибюль первого этажа, часть которого, надо думать, сдавалась Институтом стали в аренду какой-то фирме, поэтому она была отгорожена. При входе в вестибюль — два крепких парня в черном при двух же замызганных, неопределенного цвета турникетах, безусловно бездействующих. И парни, и турникеты стояли здесь, может быть, от института, но, вернее, от неопределенного профиля частной фирмы. Вид у парней служебный — в меру мордастые крепыши. Ни на одного входящего-выходящего они не обращали ни малейшего внимания, на них — тоже никто, но Нелепин поглядел уважительно — зачем-то они здесь стоят? Не сидят, а стоят? Студенты на зарботке! — решил он.

С первого этажа стрелки указывали вверх по лестнице, со второго — снова вверх по лестнице, на третьем находилась приемная комиссия...

Столы, над столами аншлаги извещают о факультетах и специальностях, которые предстояло свободно выбрать каждому желающему: «Металлургия» — во многих ее оттенках и направлениях, «Сплавы», «Экономика», «Физико-химия», «Драгоценные металлы» и т. д. Столы стояли большим полукругом, они были аудиторными и когда-то белыми. За столами находились уже немолодые секретарши из лаборанток, они выдавали и принимали анкеты у молодых людей, только что выбравших специальность. Анкеты и заявления: «Прошу допустить к приемным экзаменам на факультет...»

С секретаршами, впритирку к ним, — доценты с разных кафедр, они призваны разъяснять поступающим суть, содержание и перспективы каждой специальности. Секретарши работают с полной нагрузкой, доценты скучают: разъяснений по поводу своего будущего никто от них не требует, но доценты все равно понимают, что их присутствие необходимо.

Народу, абитуриентов, в полукруге приемной комиссии с избытком, толкотня порядочная: день — четырнадцатое число, прием заявлений прекращается пятнадцатого, абитуриентам надо спешить. И те, кто не сделал выбора ни в десятом, ни в одиннадцатом классе, позавчера и вчера не сделал, сегодня и были здесь, а завтра, 15.VII.95, их, наверное, здесь будет еще больше.

В подавляющем большинстве абитуриенты были самостоятельны, но не так уж мало и тех, кого сопровождали то папа, то мама, то папа и мама.

Выбор подпирал и детей, и родителей, а Нелепин переживал, весь был слух, весь был зрение: как же все-таки происходит выбор человеком своего будущего?!

Ему хотелось подойти то к юноше, то к девушке — к угловатому парню, который с отсутствующим, как бы даже с презрительным видом стоял в центре полукружья приемной комиссии, к стройной и очень суетливой девице, которая бегала от стола к столу и с каждого стола получала анкетку для поступающих, — подойти и объяснить... Нет, не специфику той либо иной отрасли знания и не существо той практической деятельности, которая предстоит инженеру, окончившему Институт стали и сплавов, — этого он не мог, в этом не понимал, он только чувствовал необходимость хотя бы и одному-единственному человеку объяснить суть дела, суть момента с философской точки зрения. С точки зрения того, что значит в жизни человека его специальность. Он хотел сказать о необходимости именно в этот момент проанализировать свое пусть и малое, а все-таки прошлое — как оно предсказывает будущее, какие выявляет склонности? О чувстве проницательности он обязательно сказал бы и еще, еще раз о том, что сию минуту и происходит причастие будущего к настоящему, настоящего к будущему. Момент столь ответственного выбора должен быть святым, вот Нелепину и требовался собеседник, чуткий, а может быть, и благодарный. Но в полукруге приемной комиссии он такого собеседника почему-то не видел, не угадывал. Он захотел уйти. Чтобы остаться, он должен был подавить в себе эмоции и сосредоточиться исключительно на наблюдениях...

Большая толкотня, заметил Нелепин, имела место около стола со специальностью «драгоценные металлы», а еще заметил он, что девушек среди абитуриентов было больше, чем юношей.

Почему бы это? — подумал Нелепин. Разве сталь и сплавы — женская специальность?

У многих юношей — у девиц пореже — была такая решимость выражена на лицах и в походке, когда они приближались к тому или другому столу, как будто они выбрали специальность годы и годы тому назад, давным-давно все обдумали, все взвесили и теперь для них нет ничего, в чем они могли бы сомневаться. (Нелепин им вдруг позавидовал.) Правда, в этой решительности пребывали почему-то мальчики малорослые, иной раз просто детки, на вид ученики класса шестого, не старше. Другие же, те, что выглядели взрослыми мужчинами, с дамскими клочками-косичками на затылке, с едва заметными, а все-таки усиками, — те на столы комиссии наваливались телами, показывая и секретаршам, и доцентам, институту в целом, а может быть, и в целом государству, что делают громадное одолжение, в этот институт поступая. Одолжение надо ценить и ценить, уважать и уважать начиная с сегодняшнего дня и кончая... не кончая никогда.

Те же, что приходили с мамой или с папой, выслушивали родительские наставления и советы с рассеянностью, свойственной вообще отношению младшего поколения к поколению старшему. В России, думалось Нелепину, настоящее никогда не было естественным образом связано с прошлым, но всегда неестественным: полное непонимание, полное отрицание прошлого настоящим, презрение одного к другому... «Отцы и дети».

Но все равно около колонны посредине залы было некое сумеречное пространство, в котором группировались родители со своими собственными детками и давали им последние, совершенно бесполезные, но вместе с тем ценные, указания.

Высокую, стройную девочку в коротенькой юбочке, а еще в каком-то почти что безрукавом цветастом балахончике и папа и мама взяли в тиски, и мама говорила:

— Лира! Иди на «драгоценные металлы»!

— Я тебе русским языком объясняю, — отвечала девица, — я на «драгоценные» не выдержу! Видишь, сколько там толкается народу? Там — конкурс! Не соображаешь — конкурс!

— Твое дело — заявление подать. Понятно? А насчет конкурса без тебя есть кому побеспокоиться. Не твоего ума дело!

— Там учиться трудно. Мне не смочь.

— А ты на первом курсе с парнями меньше занимайся, тогда сможешь. Главное — первый курс!

— Не смочь.

— А я говорю — сможешь! Мы с отцом и платице специально сладим для занятий, для серьезных, а не как-нибудь. А ты что, отец, — как воды в рот набрал? Вопрос решается жизненный, а с его стороны — никакой поддержки. Ни вот этакой, — показала мама под самым носом папы верхушечку мизинца; мизинец мизинцем, но он и его кончик все равно были солидными.

Отец сухонький, старенький, значительность в нем была, но угасающая, и было удивительно, что этот старичок лет семнадцать тому назад сладил этакую девицу.

— Ну?! — потребовала от него супруга. — Молчим?

— Так-то так, — сказал папаша, — но там, на «драгоценностях», там непременно будут оперировать враги народа. Это закон: будут. Сама подумай, где же им еще нынче оперировать, как не на «драгоценностях»?

— А мы возьмем за правило: приводить знакомцев с факультета к нам домой. И ты гляди и оценивай — враг или не враг? Ты что — напрасно жизнь прожил, что ли? Чтобы не узнавать?

Кончилось — девочка Лира, светленькая, с голубенькими глазками, махнула рукой и сказала: «Я вас честно предупредила — сами и отвечайте!» — и пошла к столу, за которым принимали заявления и документы на «драгоценные металлы».

А на «сталь», непосредственно на нее, почти никто не шел, и непонятно стало Нелепину: сможет ли этот институт и дальше называться Институтом стали? Или только сплавов? Всего-то несколько хиленьких девочек со скучными личиками сделали выбор «стали», горячие цеха. Туда конкурса не было.

Другая родительница, по другую сторону колонны, не без тоски и не без удивления спрашивала у своего сына из великовозрастных:

— Ну как же это, Петенька, как же это, миленький, тебе все равно? Совершенно не понимаю! Я не так тебя воспитывала, чтобы ты в ответственных обстоятельствах совершенно не думал! Сядь в сторонку, посиди и подумай. А если нужно, мы завтра еще раз сюда придем! Завтра — это еще не послезавтра, еще не поздно, еще можно. И я еще раз с работы отпрошусь, ничего особенного — отпрошусь. Меня отпустят. Ко мне в коллективе и среди начальства хорошо относятся!

— Мне завтра некогда будет! — отвечал сын.

— Ну, может быть, выберешь время? Все-таки?!

— Сказал — некогда!

— Ну? Не на «сталь» же тебе идти?! А?

— Не имеет значения. Все может быть — может быть, со стали-то и в армию не возьмут: оборонка! Вредное производство!

— Ну вот, ну вот, Петенька! Значит, ты все-таки думаешь?! Размышляешь?! Вот я и говорю: решение человек принимает любое, важно, чтобы сознательно!

Робкая эта женщина так говорила с сыном, что Нелепину впору было бы с ней тоже поговорить. Но — неудобно было.

У стены, около скамеечки, группировались родители помимо детей, только между собой, — дети ориентировались уже вокруг столов комиссии.

— Вы на какой факультет? — спрашивал мужчина, видный, с усиками, у моложавой женщины.

— Мы пока и сами не знаем. Дочка пошла посмотреть, приглядеться пошла. Придет — скажет. А вы?

— Какой разговор — на «драгоценные»!

— У вас — кто?

— У меня сын.

— Наверное, отличник?

— Почему бы нет?

Другой разговор, между двумя мужчинами:

— У вас — парень?

— А то кто же?

— У меня то же самое! Ох-хо-хо-о... Как подумаешь — ох-хо-хо! Девчонкам, им — что? Им бы замуж выскочить, факультет для них — тринтрава!

— Вот именно, вот именно! Вот глядите, их, девок, набралось-то куда больше мужского пола. Заметили?

— Слепой заметит — одни девки. Еще не поступили, а коленочки уже показывают. А у меня такой олух, такой олух — ему бы только коленочки и все прочее, наука, так ему все равно какая!

— Шел бы на медицинский. Там коленочки быстро приедаются. Еще в анатомическом в павильоне.

— Уговаривали.

— Что говорит-то?

— Говорит точно как вы: медики слишком быстро теряют интерес. А какая это, говорит, жизнь — без интереса? Говорит, если хотите знать, я как раз поэтому медиков презираю! Говорит...

— Нынче — молодежь...

— Нынче молодежь с пятого класса начинается.

— С четвертого...

Тот, еще молодой мужчина, с усиками и вообще видный, даже показательный мужчина, что-то вроде обозревателя ТВ Е. Киселева, спрашивал телефончик у женщины, своей собеседницы:

— На всякий случай... Вдруг наши детки будут дружить?!

Женщина поколебалась и телефончик дала. Правда, сказала:

— Моя уже дружит...

И это — «отцы и дети, дети и отцы», невольно размышлял Нелепин, и далее поражаясь обыденности всего происходящего, отсутствию всякого волнения.

Он себя вспомнил, Нелепин.

Он когда поступал в институт, тоже технический — в ту пору о литературе у него помышлений не было, — абитуриенты в приемной комиссии держались скромно, даже застенчиво. Само собою, сопровождающих мам и пап не было ни одного, такое в голову не могло прийти, а внутреннее свое напряжение скрыть никто из поступающих не мог. И напряжение являлось сутью дела, чем-то от былой истории, давней-давней, когда высшее образование все еще было высшим и высоким, когда оно обязывало человека этой высоте соответствовать. Высоте избранного сюжета.

Приемная же комиссия Института стали и сплавов удивляла не трудностью, но легкостью и незначительностью выбора.

«ВЫБОР», «выборы», «выборность», «избранность» перестали быть системой ценностей, стали случаем и случайностью.

А потом свидетелем и еще одного разговора оказался Нелепин: родительская группа, человек пять, в ожидании детей, куда дети оформятся, вела разговор, как водится, политический:

— А я никому не верю. Кто бы с телевизора ни говорил — никому.

— Я все-таки выбираю... Все-таки надо.

— И зря! Одни авантюристы-криминалы, другие криминалы-государственники — вся разница! Из кого выбирать-то? Кто лучше? И — предпочтительнее?

— Верно, верно! Я кого бы на Тэвэ ни увидел, каждому хочется дать в морду: что ты, падла, врешь-то? Меня за дурака считаешь? Да?

— А что нас за дураков не считать? Мы все такие и есть.

— Все? До одного?

— Единицы — не в счет. От единицы никому ни жарко, ни холодно. Они и сами знают, что они единицы.

— И чем же, по-вашему, все это кончится?

— Все разворуют, все спустят по дешевке в заграницу, китайцам отдадут Дальний Восток даром. Хоть трава не расти. Чем не конец?

— Трава уже давно не растет. Один чертополох. Одна у меня надежда: западным капиталистам дешевая рабочая сила будет нужна. Дома-то они платят работяге две тысячи пятьсот, а нам — одна сотня, мы довольны. Вот они у нас и обоснуются, разные сингапурцы, а также со всего Запада.

— Природные ресурсы — плюс.

— Природные — само собой.

— А как же с правами человека?

— Права человека придумать нетрудно. А самого человека? Самого придумывать не надо — сам придумывается. Какая у него жизнь, так он и придумывается.

— Все ругают эмвэдэ — не умеет бороться с преступностью, — говорил человек в форме МВД, майор, наверное, из дома напротив на Октябрьской площади. — А чего нас ругать-то — мы, что ли, преступников поставляем? Их поставляет государство, вся государственная сеть, вся жизнь, государством устроенная, а потом на эмвэдэ сваливает: оно виновато! Я с двадцати двух лет с преступниками схватываюсь, три ранения — два пулевых и ножевое, но когда надо еще и с высоким государственным человеком бороться — я не умею. Я лучше напьюсь и рукой махну: не умею! Меня этому не учили! Если для меня государство не авторитет, тогда что оно такое для преступника? Чучело огородное? Ну, которое пустым горшком на ветру брякает?

— Дудаев, он, конечно, авантюрист, но умный: он наших авантюристов обошел. В соцсоревновании и обошел...

Тут подошли сразу несколько девочек и мальчиков, дочек и сынков, они у столов приемной комиссии оформились, выражение сделанного дела и свободы, кажется радостное, было у них на лицах, и родители, тоже на сегодня удовлетворенные, кивнули друг другу:

— Пока!

Вместо ушедших подсели другие, кто был неподалеку. Один из них милиционеру майору тут же возразил:

— Когда так рассуждать, как вы рассуждаете, ни виновных, ни ответственных никогда не найдешь! Думать — нечего!

— Ну да, ну да, — и еще сказали майору: — вы будете пьянствовать, а нас, которые ни при чем, преступники будут походя убивать! Хорошо придумано, а?

— Лучше не придумывается, — вздохнул майор. — Когда свидетели преступления разбегаются кто куда, боятся свидетельствовать на суде, тогда зачем и мне преступника ловить? Без свидетельских показаний его так и так оправдают. Вот вы — пойдете свидетельствовать? Или вам удобнее взятку получить от соучастников преступлений? Вот вы — поможете мне преступника ловить? Будете свидетельствовать?

— Я?! — отозвался самый строгий, самый требовательный собеседник, уверенный, что он и самый справедливый. — Я себя оскорблять не позволю, при чем тут я? Объясните — при чем? Я за борьбу с преступностью тыщонки от государства не получаю. А за твою борьбу я плачу налог. Ты получаешь, ты и борись, а дойдет дело — мы, честные трудяги, со всякой мрази самостоятельно начнем шкуры спускать. С тебя начнем.

Эмвэдэшник встал, руки по швам, ушел.

За ним ушел и Нелепин.

Уходя, думал: странное это занятие — выбирать! Право, странное! Только человеку оно и свойственно, никому больше. Человек стремится все усложнять и усложнять свой выбор, он полагает, что для этого нужно больше и больше знать, поклоняется культу информации. А этот культ не делает его умнее... Римские сенаторы не знали, что такое институты общественной, технической, политической информации, но были не глупее думцев — и жириновских, и нуйкиных.

А медики? Один становится урологом, другой проктологом, третий кардиологом. Каким образом становятся? Потому что один больше всего

на свете любит почки и мочу, а другой — прямую кишку? Сердечно-сосудистую систему? К тому же выбор — это желание начать все сначала. Если душа императора Николая Второго все еще витает где-то там, в озоновой дыре, ей хочется заново начать русский Двадцатый век.

Последнее, что Нелепин слышал уходя:

— Дудаева ловить им невыгодно! Слишком много Дудаев о них знает!

Обратный путь Нелепин придумал по берегу Москвы-реки и обрадовался придумке: в самый раз!

Москва-река была где-то совсем рядом, на задах Института стали и сплавов, а по ее берегу был Парк культуры им. Горького.

Но что там оказалось, не с лицевой стороны Института стали и сплавов, а со стороны Москвы-реки! Какой открывался пейзаж из учебных аудиторий студентам и профессорско-преподавательскому составу института!

Какие-то нескладные, вкривь-вкось, подобия гаражей, будто бы из-под бомбежки выползшие грузовые и легковые автомашины, ограды проволочные, бетонные, деревянные, еще из каких-то материалов-отбросов, повороты-развороты ухабистых узеньких дорог, по которым едва живые машины, скрежеща, ползали на брюхе...

Еще там и здесь валялись, стояли на попа металлические бочки, дырявые и мятые. На стоячих сидели люди, они выпивали и закусывали. Или обеденный перерыв был, или они отмечали 206-ю годовщину Великой французской революции, Нелепин не понял, невозможно было понять.

Читая надписи мелом, углем и рыжими красками: «Осторожно!», «Склад № 3 прямо», «База № 5», «За рулем — студент!», Нелепин двигался, кажется, в направлении юго-запада, более или менее параллельно проспекту Ленинскому. Двигаясь, соображал, что где-то здесь вот-вот должна начаться территория горбольницы № 1, старинной, с больничной церковкой, однако больницы не было и не было, и Нелепин все бродил и бродил в хаосе, среди этого околооктябрьского мира. Мир этот был заключен в пространстве между площадью Октябрьской с памятником Ильичу, от которого брал начало и Ленинский проспект, это — с одной стороны, а с другой — был Парком культуры и отдыха им. Горького. Двух друзей-приятелей — Ленина и Горького — это странное пространство, перестроечное по образцу всей России, разделяло и сегодня, и они не могли еще разок обняться, даже если бы захотели.

Наконец стали появляться деревья, тополя кажется, с бугристой и черной корой, с искалеченными кривыми стволами больничного вида, и Нелепин понял, что здесь и сама больница должна находиться. Он стал оглядываться влево — и заметил церковный купол, под которым люди вот уже много лет молились Богу, испрашивая исцеления от недугов, а то отпевая усопших, навсегда ушедших к Нему же.

С правой руки должен был остаться морг... Был когда-то день — у дверей морга Нелепин ждал, когда же вынесут тело поэта Леонида Мартынова, старшего друга совсем еще молодого в ту пору Нелепина.

Еще было порядочно вместе с ним в тот день людей, и наконец-то дождались — гроб Мартынова вынесли молодые люди в белых халатах, студенты наверное, гроб не мешал им нести еще и ракетки, и, водрузив гроб на катафалк, они тут же застучали шариком... Бойко застучали, игроками они были умелыми.

На Нелепина же, когда он бывал на похоронах, всегда воздействовал первый взгляд на покойника: каким образом покойник выглядит? Безусловно мертвым или — условно, но все еще живым?

Какое колоссальное различие — человек живой и человек неживой, словесный и бессловесный, зрячий — незрячий, подвижный — неподвижный, общающийся с чем-то вокруг и ни с чем и ни с кем, в конце концов — одушевленный и неодушевленный? Так вот, в каждой смерти все-все эти различия проявляются по-своему, значит, и смерть, подобно жизни, действительно у каждого собственная, значит, она — это последняя собственность.

Живой Леонид Мартынов довольно сильно побаивался личной смерти, гораздо больше, чем явления смерти для всех, он ее, собственную, не любил, но, умерев, изменился мало — те же крупные и недоступные другим черты лица, что-то в уме... Может быть, умирая, он что-то срифмовал, что упорно избегало его рифм в течение всей его жизни?

Машина, отъезжающая на Востряковское кладбище, замешкалась, шарик тем временем стучал да стучал, громко и странно это звучало в присутствии покойного человека: пинг-понг! пинг-понг!

Нынче Нелепин морг прошел так и не заметив — не то справа, не то слева среди деревьев и каких-то все еще нескладных построек морг остался, а к Москве-реке, к Парку им. Горького никак не удавалось Нелепину выйти: бетонная ограда препятствовала. Однако на тропинке, среди высоченной, в рост человека, лебеды и крапивы, он увидел женщину с девочкой и с мальчиком и догадался: они туда же! В парк! Он пошел вслед за ними, не вблизи, а на расстоянии пошел, чтобы женщину не испугать: безлюдное и глухое все-таки было место.

Минута-другая — они приблизились к бетонной ограде парка, в том месте, где в ней зияла порядочная дыра, мальчишка — раз! — и уже в парке, мать без труда там же оказалась и помогла девочке, а вот Нелепин замешкался: по ту сторону ограды земная поверхность была заметно ниже, надо было и в дыру пролезть, и сразу же вниз едва ли не на метр прыгнуть.

Тут женщина обернулась и ласково, участливо спросила Нелепина:

— Вам помочь?

— Что вы, что вы! — ответил Нелепин и решительно спрыгнул — не очень-то ловко — вниз.

В парке было немногочисленно, был небольшой зеленый-презеленый пруд с двумя парами лебедей — белой и черной. Белой паре, непрезентабельной, в грязище, никто внимания не уделял, пара делала вид, что ей все равно, не очень-то и нужно, но пара черная пользовалась популярностью — ей бросали хлебные кусочки. Черные лебеди были экзотичнее, были эстетичнее: грязи на черном не видать, а хвостовое оперение очень замысловатое — бутончики черных роз.

Наконец-то и Москва-река. Парапет вдоль реки и беседка.

Здесь-то Нелепин и почувствовал, что он один.

Конечно, печальная история с сюжетом «Суд над властью» до сих пор не располагала Нелепина не только к удовольствиям, но и к самой жизни тоже, да и все сюжеты, которые он записывал в порядке свободы выбора, — все мелочились без толку: покуда он их записывал, водил самопиской, они его занимали: «Ага! — вот этот!» — но вот он захлопывал свою тетрадь — и тут же немного они уже меркли, а через неделю и перечитывать их не хотелось: свобода выбора в них была, а выбора не было. А если так, Нелепин и сам становился личностью совершенно бессюжетной.

Да, в памяти его снова каким-то образом возникал изгнанный из нее император, а Нелепин снова начинал думать: что же это была за личность, что за человек? Как случилось, что он пришел к той гибели, в которой он погиб? Мало того, если, будучи императором, человеком он был очень обыкновенным и обыкновенностью своей еще и Россию погубил? Вцепился в самодержавие, время которому прошло, и погубил? Повторяя отца, он тем самым время свое собственное не понял (это было на самого Нелепина чересчур похоже...)?

И почему же война с Японией 1904 года ничему не научила императора? Она даже Нелепина, даже его, чему-то обязательно научила бы! А революция 1905 года? Опять как об стенку горох?

А тогда — вот он, год 1918-й, июль, и от большевиков екатеринбургских большевикам московским телеграмма: сообщается, что жена и сын Николая Романова находятся в надежном месте, иначе говоря, все семейство постигла та же участь, которую принял сам император, и что «официально семья погибнет при эвакуации».

А Совнарком — Совет Народных Комиссаров: Ленин, Троцкий, Чичерин и другие — по поводу телеграммы постановят: принять к сведению.

За неделю до того, 10 июля, Совнарком и ВЦИК уже приняли решение, а теперь к сведению был принят факт: исполнено!

А где-то в тридцатые годы, еще вспомнил Нелепин, некто Юровский, расстрелявший царя в упор, будет сочтен недостойным этого высокого, высочайшего поступка, официально будет названа другая фамилия, и Юровский чуть не сойдет с ума от обиды, от несправедливости, он будет всеми силами доказывать, восстанавливать справедливость: это он, это он, это он настоящий убийца! Кто мог присвоить себе право настоящим убийцей называться?! Как не стыдно?!

...Чтобы не следовать этой мысли дальше и дальше, в бесконечность, в ничто, в собственное бессилие, Нелепин, конечно же, задумался о природе, обратился к экоразмышлению.

Он думал о природе всякий раз, когда все другое заводило его в тупик.

Так вот, у Нелепина было давнее желание вообразить пейзаж земной. Не только тот, который и вокруг, и чуть дальше, но тот, который представляет собою вся Земля, в равновеликой проекции Меркатора. Космонавты уже видели Землю, но опять-таки всегда с одной стороны, проекция Меркатора им тоже не давалась, ею обладали картографы, но и картографам давалось одно только скудное графическое изображение, лишенное какого бы то ни было пейзажа.

Нелепину не хватало масштаба географии, точно так же как и в случае с человечеством: население любой страны он мог себе представить легко, труднее — население континента, но человечество всей Земли было за пределами его вообразительных возможностей. И это при том, что человечество было столь же реально, как и отдельный человек, как, к примеру сказать, человек со странной фамилией — Нелепин... И это при том, что слово «человечество» произносится звуками, пишется и печатается буквами на каждом шагу и каждый Божий день.

Нелепину ничего другого не оставалось, как только сосредоточиться на пейзаже конкретном, войти в него в своей с помятым козырьком кепочке, как в свою собственность войти.

Москва-река на удивление все еще оставалась рекой, под взглядом Нелепина все еще текла зримо и несомненно, пробивалась сквозь водохранилище, при том что была столько же рекой, сколько и водохранилищем, — и выше, и ниже по течению она давно уже была перекрыта плотинами. Но она не только текла, но еще и о бетонный берег продолжала шуршать поречному. Конечно, не Нева, но и она на городской, на столичный лад свои берега создавала, и на правом ее берегу, в парке им. Горького, было безлюдно и безмашинно, на стороне же противоположной, на Фрунзенской, не улице, а набережной, взад-вперед сновали машины (машинная толпа), а люди мелькали собственными фигурками. Чем же им еще было сюда мелькать, как не своими же фигурками?

Однако Нелепин неплохо знал Москву-реку и ниже, а еще лучше — выше по течению, выше плотин, еще свободную. Тщедушная, надо сказать, была там речушка, вброд перейти, но с рыбаками по берегам и с лодками, опрокинутыми на берегах кверху дырявыми брюшками. Как положено рекам — берега у нее были разной высоты: правый высокий, левый низкий, пойменный, в прежние годы левый берег широко затапливался полами водами (теперь ее сток был зарегулирован).

На высоком берегу все еще стоял лес, наверное последний. Сосны стояли, березы стояли, какой-никакой кустарничек и молодняк.

Внимание Нелепина всегда привлекали сосны. Не потому, что они были выше других деревьев, а потому, что берег здесь осыпался и тогда по откосу на свет Божий являлась сосновая корневая система.

Боже мой! — вот уж чудо-то из чудес! Вверх сосна возносилась прямым, в бурой коре стволом, на стволе ветви, на ветвях хвоя, в общем-то, всем известное строение, известная архитектура и логическое следствие

обязательной своей причины — глубинной корневой системы, невидимой и неопознанной.

Корни, углубляясь и углубляясь, переплетались между собой, а то расходились в разные стороны по горизонтали.

От могучего все еще ствола-корня без конца происходили корни поменьше и поменьше, вплоть до едва заметного корешка-ниточки, каждый корешок совершал свое медленное, глазу невидимое движение в глубь земли, движение с тою мудростью, которая человеку недоступна.

Все-все тут имело значение: камешек в грунтовой среде, который корню надо было осторожно обходить, плотность и влажность грунта и даже то, как легло когда-то семечко, то самое, одно из миллионов семян, которому суждено было стать деревом сосною. Как легло оно: тычком или на бочок, в мох легло или среди травки, на хвою или на место голенькое, обнаженное, ничем не прикрытое, — все это имело огромное значение и смысл, все определяло и создавало будущую корневую систему и тоже будущую сосну-дерево.

Когда Нелепину случалось быть в оранжереях, в зимних садах, когда он видел лес на картинах знаменитых художников, он задавал себе вопрос: а почему же это ни в одном музее, ни в одной картинной галерее не выставлена на обозрение натуральная корневая система могучего дерева во всей ее неповторимости, во всей мудрости своей? Породившей все то, что видимо затем над нею?

Именно корневая система казалась Нелепину едва ли не самым выразительным предметом природы. Она, эта система, существует не только в мире растений, но и в мире животных, и в человечестве тоже. Есть, наверное, она и у самой Земли, у всего того, во что Земля входит малой-малой частицей. Ту систему не дано выбирать, она выбирает сама себя, даже если и существует в невидимом виде, она-то и есть от Бога, когда от Него что-то есть.

Вот и Москва-река текла из-под чьих-то растительных корней, там собиралась она капля за каплей, струйка за струйкой, поток за потоком, и только поэтому здесь все еще было на что смотреть, какое-то движение реки чувствовалось здесь, на бетонной набережной Парка культуры и отдыха имени великого пролетарского писателя Максима Горького.

И тут вдруг Нелепин не смог больше оставаться один, хотя бы и разделившись надвое — сюжетного и бессюжетного. Кто-то должен был сию же минуту пусть и минутно, но глянуть на него со стороны и вполне судебно — что это за судья такой, Нелепин Гр. Гр.?

Ему шестьдесят пять, но и в шестьдесят пять не предал ли он своего императора, уклонившись от Суда над ним? Все-таки — император, если уж не собственно Нелепина, так нелепинских мамы и папы. Если уж не папы и мамы, так хотя бы мамы: как-никак, а мама ни за что не хотела своего императора расстреливать.

А природу не предал ли Нелепин, ее корневую систему, оставляя исключительно при себе, в личное пользование, собственные экомысли о ней, свое к природе отношение? Личное дело, сугубо личное, больше ничего? Но — не маловато ли? Для писателя? В шестьдесят-то пять лет?

Утешается он сейчас тем, что уже стар: рука дрожит, когда он пишет, правая, и главная, а левая и никогда-то не была у него полноценной: он с младенчества антилевша, — тоже так. Правый глаз давно сдал, он им почти не видит и не лечит его, надеясь на глаз левый — пусть поработает за двоих, ничего особенного, так и во всем-то принято.

Конечно, реалистическое мышление, тем более если оно серьезное, неизбежно заводит в тупик (конечно, если ты жив, из тупика надо выходить), в хаос ли, в котором пойдика разберись, где там «Склад № 3», а где «База № 5»? Где поворот, а где разворот? Где отмечается 206-я годовщина Великой французской революции, а где пьют просто так, из любви к искусству?

Нынешний день был к тому же днем его исключительной наблюдательности, он видел и слышал этот день снова и снова, все, что случилось

в последние несколько часов: приемную комиссию помнил он сейчас в деталях, которых не заметил в свое время, гаражно-складскобазовый трущобный город, который он прошел из конца в конец, он проходил снова и снова, и даже ту точку на набережной, на которой он сию минуту стоял рядом с беседкой, — и эту точку он тоже не столько видел, сколько вспоминал...

Вспоминая же, чувствовал то иное, которое ему так и не удалось.

Вспоминая, чувствовал то, чего не было в нем, но было во всем окружающем, иначе говоря, в окружающее как-никак, а он верил.

Конечно, надо было бы пойти домой, позвонить и услышать меццо-сопрано, слушая меццо, вспомнить мамин альт, повздыхать всем вместе. Однако же и уходить безрезультатно с этого места, из этой точки набережной Москвы-реки было все еще нельзя, здесь все еще надо было стоять неподвижно и ждать — что же еще случится, что случится тебе по силам?

И что же, в конце концов, случилось?

Пришла идея: а отведу-ка я императора Николая Второго в приемную комиссию Института стали и сплавов! — решил он. Пусть познакомится! Пусть молодое поколение займется проблемой Суда над властью, проблемой свободы выбора — кому же еще и заняться, если не молодым? Людям нелепинского возраста, им, право же, пора освободиться от свободы выбора, если им эта свобода уже не под силу — не слишком ли поздно она явилась? Нелепин же не президент, не Зюганов, не Жириновский, чтобы этого не чувствовать?

И правда — абитуриенты заинтересовались, многие окружили императора, а девочка Лира, которую родители заставили-таки подать на «драгметаллы», в коротенькой юбочке (юбочка показалась Нелепину еще короче, чем была на самом деле), спросила:

— А — этот? Кто такой?

— Это — император! — пояснил Нелепин. — Правил Россией с одна тысяча восемьсот девяносто четвертого по одна тысяча девятьсот семнадцатый год...

— А-а-а! — кивнула Лира. — Кажется, в школе проходили... А это у него настоящее? — потрогала она золотую цепочку на груди императора.

— Вне всяких сомнений! — снова объяснил Нелепин. — Вне всяких!

— Вот я и вижу... Я же на «драгметаллы» подала.

— Лирка! — заметил кто-то из подруг. — Ты бы все-таки поосторожнее. Император же...

— Подумаешь... — пожалала плечиками Лирка. — Делов-то... Пошел он на ..., если уж он такой важный!

Император смутился, покраснел.

Знал-таки русский фольклор. А Нелепин думал, что не знает, всю жизнь проведя во дворцах. Открасневшись, император сказал:

— Странно, странно... Однако надо и привыкать...

Впрочем, и девочка Лира тоже несколько смутилась:

— Извините, если что... Я ведь думала, здесь все свои...

Мальчик — крохотуся, выглядевший на пятый или на шестой класс (никак не тянул на выпускника класса одиннадцатого), спросил Нелепина:

— Император — это как? Выше или ниже президента?

— По-моему, значительно выше! — объяснил мальчику Нелепин. — Уже по тому значительно, что это — на всю жизнь.

— Ого! А выпивает? Сюда? — мальчик щелкнул себя под левую челюсть. — Или — сюда? — щелкнул под правую.

На этот вопрос император ответил сам:

— Мы, Николай Второй, употребляли шампанское. Французское. Впрочем, представьте себе, крымское тоже было не хуже. И если по случаю, по подобающему, то Мы бокалом-другим не стеснялись. Скажем, тезоименитство — тогда почему же? — И Николай Второй улыбнулся — он

чувствовал себя явно раскованнее, чем при встрече и беседе с товарищем Сталиным.

Еще подошел один мальчик, этого Нелепин в свое время и не заметил, подошел поприветствовал императора:

— Ну как же, как же — знаю! Прадедушка с прабабушкой рассказывали! Когда я был во-о-от такой! — показал руками чуть пошире своих плеч.

А другой, с начинающимися усиками, которого мама уговорила еще и завтра, 15.VII.95, прийти в приемную комиссию, а сегодня, 14.VII, еще подумать по поводу выбора специальности, — тот сказал:

— Вот уж кончу по стали, вот уж открою свою фирму, тогда возьму этого в эту фирму. Агентом по снабжению возьму. Будет престижно!

И опять император не обиделся, он смотрел на мальчиков и девочек с интересом.

Однако Нелепин все равно подумал: императору нужна другая обстановка. Подумав так, он сказал:

— Вот так история, Ваше Величество!

— История?! — вздрогнул император и очень изменился в лице. — Нет-нет, Мы не благоволим. Уж лучше здесь, гораздо лучше, чем в истории!

Тут Нелепин, придерживая Его Величество за локоть, подвел его к окну приемной комиссии и предложил посмотреть ужасный пейзаж, простирающийся на задворках Института стали и сплавов.

Император спросил:

— Что такое?

— А это, Ваше Величество, это современность... Одно из проявлений современности.

Император посмотрел, подумал и спросил Нелепина:

— Что самое характерное для нынешней России? Как Россия называет нынешнее десятилетие?

— Нынешнее? Нынешнее называется перестройкой.

— Как-как? Снова «пере»? Да не может этого быть! Уже конец века — и все еще «пере»? Вы, любезный, не перепутали чего?

— Вполне может быть — напутал! — согласился Нелепин. — Как будто бы нет, а вдруг да и да?

— Это хорошо, что признались! Очень хорошо! Мы всегда и неизменно ценили в людях это качество — честность! В полном к вам доверии должен сказать — с Нами тоже случалось! Мы тоже путали времена...

Ей-богу, сюжет складывался заново!

Заново и в таком примерно виде: 1) От суда императора Николая Второго освободить. 2) Поселить императора Николая Второго в студенческом общежитии Института стали и сплавов. 3) Предположительно определить сюжет так: «Записки Императора Николая Второго в бытность Его в студенческом общежитии Института стали и сплавов».

Что значит фантазия — всегда выручит! При любой погоде, при любой свободе выбора найдет свое место!

Неужели у Нелепина отлегло от сердца? Почему-то не верилось...



МАРИНА КУДИМОВА



БАЛ

Единожды спустив коту дикарство,
Задельвывает тушинское царство
Прореху миром — так заведено
В мешке непредсказуемых отсрочек,
Фатальных каламбуров, краестрочий, —
Чти сверху вниз, кому посвящено.

Да, это он, оставленный на семя,
Торговый выкрест, земец-иноземец,
Толмач слоновый Кизолбай Петров.
Здесь депутат Верховного Совета
И царь бескнижный, грамоте не сведый,
Так или эдак ставят на воров.

Пиши закон, а выйдет душегубство,
Дитя роди — сугубое сугубство
Его отметит, разведя в веках
С сиамским братом из одной опары,
И вылепит мистические пары,
И вразноброд расставит на лотках.

Ах, так бы влекся суженый к невесте,
Как озабочен церемониймейстер,
Чтоб по размаху огнеперых крыл
В фигуре исторического бала
Тень со своею затенью совпала
И чтобы каждый по теченью плыл,

Пронумерован, взыскан льстивой сводней —
Тот из Эдема, тот — из преисподней, —
И *эти* грани отмечает Бал.
За дам легко прослыли кавалеры,
Засеменили шеры и машеры
(И чтобы каждый — плыл, а не стоял!),

Вот спаяны помазаньем и сплетней
Два Николая — первый и последний.
Последнему наследник обагрил
Мундир — и каламбур готов лукавый,
И царь, метафорически *красавый*,
Кровавой сворой выведен в распыл.

Один получит Крым, другой — Цусиму,
 Амвросию не вняв и Серафиму
 Не присягнув, под маской в пол-лица
 Танцуйте, государи-антиподы
 Единственной фамилии и породы,
 Да противоположного конца.

Кто в наших далях вашу камарилью
 Займет единомысленной кадрилью, —
 Кругом то недогляд, то недород.
 И лжецаревич девятнадцатый
 Рукою помавает вороватой
 Наследнику — и манит в хоровод.

Приверженный значительным идеям,
 Был самозванец греком, иудеем,
 Латинком, турком, лютором и проч.,
 Потерся в шкуре йога и даоса...
 А жертвенный наследник у матроса
 На шее виснет и не спит всю ночь...

Бал подбирает и тасует пары,
 И то и дело назревают свары,
 И веера топорщатся в углу.
 И на хлыстовский вальс, ревнив и плутен,
 Спешит позвать Столыпина Распутин,
 А тот нейдет и гибнет на балу.

А кто, впадая в самовластья морок,
 Там без партнера делает «семь сорок»,
 Большие пальцы в проймы заложив?
 Четвертый Рим он ладит над Москвою
 И поражен сухоткой мозговою,
 Предания земле не заслужив.

И кто, как этот, на коленца ярый?
 И кто страстями здесь ему под пару?
 Толстой-отступник? Аввакум-распоп?
 Лихой у нас танцкласс, благая школа
 Коснения в гордыне и раскола, —
 Горелый сруб и неотпетый гроб.

И, в розвальнях солому разрывая,
 Въезжает в круг Россия сырьевая,
 Сменявшая Христа на «Капитал».
 Она ведет: «Горят, горят пожары»,
 И ей уж точно не хватает пары,
 Ее никто не ждет, и кончен бал.

И, восприняв как должное страданье,
 В далекое и дальнее посланье
 Ее ссылает спонсор или шеф,
 Чтоб начинала — сызнова здорово —
 Плясать от печки в Ницце, как в Перово,
 И в Вермонте, что столь похож на Ржев.



АЛЕКСАНДР РЕВИЧ



ТАРХАНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

С. А. Андрееву-Кривичу.

Распутица. Распутье. Долгий дождь.
Две разбегающиеся дороги,
два месива среди полей и рощ,
две линии судьбы и две тревоги.
Один водитель знает, что избрать,
куда свернуть. Он крутит руль направо,
сквозь зубы поминая чью-то мать.
И дальше путь — то кочка, то канава.
Ведь это тот же путь в старинный дом...
Не здесь ли в незапамятное лето
везли в гробу сраженного свинцом
молоденького русского поэта?
И мимо этих вымокших осин,
и мимо этих стародавних пашен
он возвращался, мальчик, внук и сын,
которому уже и дождь не страшен.
Россия, ты бываешь и такой,
такой бываешь и такой бывала.
Навстречу колокольцу под дугой
и грохоту пустого самосвала
ты сыплешь дождь, ты катишь мокрый дол
и вязкое болото по колено.
Твои дожди не худшее из зол,
ты — жизнь и потому благословенна.

Итак, шел дождь и травы приминал.
Ушедший друг, прости меня за гробом,
прости за то, что стал я твердолобым,
что о тебе не часто вспоминал,
глотаю забытье, как люминал,
но память, эта бестия из бестий,
влечет туда, где мы бывали вместе,
и снова въезд в старинное село,
и хмарью небеса заволокло
над топкой улицей, ведущей прямо
к воротам огороженного храма.

Не слышно в этот час колоколов,
лишь где-то за рекою дрожь моторов,
звон струй на полусферах куполов
да шум листвы зеленых коридоров.
Ты говоришь: «Тут рядом, в двух шагах,
семейный склеп». И вот мы в подземелье,
где гроб свинцовый сохраняет прах

того, кто краткий век испил, как зелье
смертельное, и пусть ему горька
бывала чаша жгучего настоя,
мятежный дух летал за облака
и запросто нырял на дно морское.

Так ты сказать бы мог наверняка,
а я в ответ: «Мальчишеские бредни».
Но как скажу, когда здесь на века
свобода обрела приют последний?

Недобрый, скверный мальчик, Боже мой,
какой ценой им куплена свобода!
Здесь мать его лежит и дед родной
под низкой кладкой каменного свода,
а наверху... ах, бабушка, она
была крутого норова и часом,
когда толкал под локоть сатана,
дворовых девок била по мордасам,
но внука-вертопраха наказать
ей всякий раз недоставало духа.
Единственную радость подлый зять
оставил, худародный побируха,
пришлось ему за это отписать
изрядный куш, засим проститься сухо.
Была, к несчастью, радость коротка,
сразила внука злобная рука,
одна осталась бедная старуха
на весь свой век до крышки гробовой.

Что в голову не лезет в день дождливый!
Ты помнишь сам, давнишний спутник мой,
как мокрые к пруду склонились ивы,
как зябко веткам над рябой водой,
как липы ежатся в продрогшем парке,
скрипят стволы, как ржавые флюгарки,
а сень аллей становится темней,
и кажется, проходит ряд теней,
и может отблеск высветить неяркий
туманный лик, и явится она,
та девочка, та мужняя жена,
потерянная навсегда однажды,
единственная, навсегда одна,
слетающая в дрему ночью каждой
всю жизнь до самой пули роковой,
небесный ангел с русой головой.
Не довелось, не выпало в итоге.
Царю Небесный, души упокой.

Остались одинокие дороги,
пустынные кремнистые пути,
лесистые кавказские отроги,
где так легко нежданно смерть найти.
Блаженный край! Мы с детства помним оба
горы Бештау острых пять голов,
Машук, встающий рядом крутолобо,
горы Железной лиственный покров,
и далеко-далёко в час заката
на горизонте розовый Эльбрус,

и в сумерках распахнутый крылато
белесой тучи демонский бурнус.
Там ты родился, я там жил когда-то
и тоже знаю крепость этих уз.
Он их изведal на краю России,
страны рабов, страны господ, страны,
где пот и слезы почву оросили,
где клены осенью обагрены,
где всю эту красу, скупую, вдовью,
пригорков, сиротливых под дождем,
все чаще любим странною любовью,
таим ее в себе и так живем.

Взгляни, мой друг, белеет барский дом
сквозь занавес ветвей, а над прудом
в прибрежной обезлюдевшей аллее
листва роняет капли, и светлее
становится, и край закатный ад,
куда-то на восток уходят тучи,
клубится над водой туман ползучий.
Что это? Дождь как будто перестал,
а значит, завтра ведро, снова лето.
Над парком, над гробницею поэта
зенит прозрачной дымкою покрыт,
окрестных далее меркнет панорама,
темнеет купол неба, купол храма,
вот-вот звезда с звездой заговорит.

13 января 1996.



ВЛАДИМИР ЛЕВИНЗОН



ЗВОНОК

1

Тогда едва лишь только начиналась
Эпоха реабилитанса.
Кругом гудело — глухо и подспудно.
События лавиной развивались,
Как сверху ни пытались тормознуть.
И шел тяжелогрузом каждый год,
Ход набирая: год пятьдесят пятый —
Уже иным, чем пятьдесят четвертый,
А то ли будет — в пятьдесят шестом!

Лишь месяц,
Как получил я справку на отца.
А также и свидетельство о смерти,
С фальшивой датой (прояснится позже,
Лет через тридцать!).
Но мог ли —
И в этом заподозрить я обман?!.
Майор Корюкин — вот кто был нам вестник,
Решение властей кто огласил.
В коллекции семейной это он
Шикарным росчерком увековечен.

2

Я у стены сидел, он за столом.
Ко мне повернутое вверх ногами,
А перед ним лицом — лежало Дело.
И он его — так медленно — листал...
(Хоть поглядеть бы! Нет, не предлагает...)
Держась своих лукавых предписаний,
Он выложил по пунктам сколько надо
И столько же, наверно, умолчал.

Вот тут-то и воспользоваться шансом —
Ну что-нибудь бы вытянуть, узнать!
Но нет — молчал я, как замороженный
Под взглядом василиска:
Боялся их? —
Да как же не бояться!
Они-то и проделали с отцом,
И не смутятся снова... —
Вступать в общенье с ними, как с людьми, —
И надо бы, да рта не распечатать!

Хоть всё у них — все карты в их руках.

3

...А вскоре,
 В один из вечеров,
 Раздался в коридоре телефон
 Междугородный.
 С круглыми глазами —
 Соседка, бабка, в щель пролепетала:
 — Звонит отец!!

Я опрометью бросился (однако —
 Дверь в комнату захлопнуть не забыв).
 Трещало в трубке, что-то там шипело,
 Выглядывала в перепуге бабка,
 Прижавшись ухом, слышал — что я слышал? —
 Шумы, помехи, голос, нет, не голос.
 — Алло, — кричал я, — кто у телефона!.. —
 Но не услышал ровно ничего.
 И оборвалось.

За дверьми
 Безумствовала, бушевала мать.
 И гарпии когтями
 Терзали бедный мозг ее...

Но что могло все это означать?
 Неужто правда — жив? Но как же справка?
 А может быть... или — не может быть?
 И час я ждал.
 И два часа я ждал.
 И три часа —
 Не отходя от телефонной трубки:
 Не сорвалось чтоб снова —
 И мать, избави Бог, не подпустить!
 (Не смел я и представить,
 Что с ней бы случилось в приступе болезни,
 Когда бы услышала вдруг сама!..)

4

В ту пору
 Еще лишь одиночки возвращались
 Немногие — из несуществованья:
 С иного берега.
 Ни разу
 Я никого из них еще не видел;
 Тем более не знал —
 Чту там, на этой смертной переправе:
 Кто выбрался, а кто уснул на дне.
 ...И ночь уже была. И было утро.
 Я кинулся на телефонный узел,
 К знакомым всем — как знать,
 Не бабка ли напутала все, дура?!
 Напрасно:
 Нигде и ничего.

Откуда же тот голос исходил?
 С небес ли долетел прощальной вестью
 Или не мог из-под земли пробиться —
 Мольбою с замогильной АТС?..
 Но больше никогда он не звучал.

1990, 1995.

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



КЛЕТКА

Повесть

4

Принаряженная под намеченные дела, эта парочка выползала из норы, в конце переулка разделяясь: совсем незнакомые люди, ни разу не встречавшиеся; чужими сидели они за разными столиками кафе у Таганской площади, плотный завтрак и обед сразу; по кухне на Раушской Иван догадался, что Елена Суркова — хозяйка никудышная, ни жарить, ни парить не умеет, в так и не обжитой норе нет ничего, кроме хлеба и кипятка. В раздельном приеме пищи был смысл: парочка порознь изучала публику, кое с кем вступая в быстролетные и необязывающие знакомства, особо усердствовал сожитель, человек диванёвского склада, напускавший на себя вид гражданина, причастного к каким-то тайнам, повадками намекая, что за словами его скрывается нечто значительное, он как бы давал понять, что вооружен, законно вооружен, находится под защитой неких влиятельных сил, а каких именно — да уж вы знаете, милейший! Некогда в Ленинграде красавица мать об ухажерах, ничего за душой, кроме слов и поз, не имевших, отзывалась презрительно: прощельги. Под таким прозвищем внес Иван в память сожителя Сурковой, отлично зная, что за ужимками и жестами Прощельги — злобная воля и расчет, что под велюровой шляпой рождаются планы убийств, к которым он привычен, он на всех людей посматривал как на временно и по его воле живущих, никогда не раздражался, когда его толкали на улице или обзывали, он знал, что может убить человека по любому поводу, отомстить пулей, ножом, — и поэтому был ровно любезен со всеми. Сидение в кафе на Таганке оказалось не бесцельным, однажды Суркова так умело выбрала столик, что не сесть за него не могла дородная грязная бабища, тогда-то бывшая участница худсамодеятельности и разыграла сценку, суматошно и долго копалась в ридикюле, скрыто-напуганно озиралась, имитируя отсутствие кошелька с деньгами, либо украденного, либо забытого дома, и, так и не найдя денег, стала крутить на безымянном пальце колечко с камнем, обреченное на продажу или заклад, что вызвало осторожное любопытство бабищи, пихавшей в рот пирожные. Колечко она не купила, но Прощельга последовал за нею, установил, где живет, залез в кабину автомата, долго названивал кому-то, телом прикрывая бегающий по диску ноготь и глаз не спуская с Елены, поджидавшей его. После двух часов дня сообщники приступали к основному делу — безрезультатным покупкам в богатых коммерческих магазинах, там разворачивалось театральное действие, сцены, явления и картины шли в разных вариантах, но персонажи оставались теми же: кассирша, Прощельга, Суркова, директор магазина. Пятью минутами раньше Сурковой сожитель ее выбивал чек и шел к прилавок, а за-

тем, после какого-то недоразумения с продавщицей, возвращался к кассе, подходя к ней в момент, когда скромно стоявшая в очереди Суркова называла сумму и выкладывала деньги, которые смешивались с теми, что кассирша отдавала Прощельге. Возникал спор, Прощельга то орал на будто бы забравшую его деньги Суркову, то покорно, почтительно даже выслушивал ее визгливые претензии. В следующем магазине сцена повторялась, но со значительными изменениями, теперь уже Суркова рвалась без очереди к кассе («Товарищи, я очень спешу, у меня ребенок дома один!..»), а Прощельга играл роль затурканного мужа, вся зарплата которого — на строжайшем учете сварливой супруги. Легкие скандальчики там и там перерастали в ожесточенную базарную склоку, не достигавшую, однако, того накала, когда вызывается милиция; обычно к кассирше приходил на помощь директор магазина, вел к себе обоих покупателей — всматриваться в неотоваренный чек, вершить праведный суд, мирить озлобленных врагов; этюды на заданную тему позволяли будущим грабителям изучать психологию подуставших к вечеру кассирш и бухгалтеров, готовящих деньги к инкассации, разрешали им шастать по коридорам и лестницам магазинных недр, высматривать и вынюхивать; Прощельга еще и во дворы заходил, наблюдал за тем, что творится за освещенными окнами администраций, а Суркова стояла на стреме. Готовилось ограбление магазина, давно уже выбранного и помеченного, того, где этюды не разыгрывались; инкассаторская «Победа» обычно останавливалась на людной улице, сообщники Прощельги въехали бы на машине во двор, туда рванула бы после налета парочка, неся с собою дневную выручку магазина за полчаса до приезда инкассаторов. Подготовка затягивалась, со дня на день ахнет денежная реформа, и нет смысла хватать сегодня мешок с деньгами, если завтра они уместятся в кошельке! После каждого магазинного представления Прощельга уводил Суркову на предварительный разбор, происходил он обычно на скамейке сквера, гуляющие с внучками бабушки посматривали с доброй укоризною на ссорящуюся семейную пару, Елена давала много поводов для неудовольствия, бурлящее в ней самолюбие распирало ее до неразумия, до глупости; она умела казаться — на час-другой — красивой или дурнушкой, хорошо владела внешностью, меняла ее от случая к случаю, изображала то лишенную родительских забот иногороднюю студентку, то вспльчивую бой-бабу, но нередко забывалась, наигрыш Прощельги принимала всерьез и начинала визжать у кассы, ломая режиссуру, одеваться к тому же любила богато, хорошо, не под роль униженной. Иван, посматривая издали на лицедеев у кассы и на них же в пылу взаимных обвинений, спрашивал себя, уж не спятил ли он, все силы бросив на завоевание квартиры с последующей пропиской в ней; куда ведь проще: снять под Москвой дачку, подмазать кое-кого — и лучшего убежища для Клима не найдешь, он себе там и лабораторию соорудит. Спрашивал себя — и утверждался в решении: нет, только эта квартира нужна, не пустая, конечно, а с женщиной, дочерью знаменитого ученого, она станет приглашать к себе друзей покойного отца, знакомить их с мужем своим, то есть Климом, под пятирожковой люстрой большой комнаты устроятся чаепития, потекут разговоры о Шрёдингере и Вейсмане, самого Шмальгаузена можно посадить во главе стола — и Клим воспрянет, задышит воздухом науки, ему так нужны споры с биологами, физиками, химиками, совсем недавно Иван обнаружил в ящике Клима учебники десятого класса, правила приема в вузы, Клим сболтнул: хочет поступить в вечернюю школу; ему, конечно, не знания нужны, а общение с теми, кто рвется к ним. Да, именно такая квартира нужна, ценность ее возрастает удобствами особого рода: она — в районе, неоднократно прочесанном госбезопасностью, проверенном, рядом Институт легкой промышленности, трубы и здание Мосэнерго, штаб Московского военного округа, жилой дом КГБ на набережной Максима Горького, три гостиницы, куда вселяют только с разрешения органов, да вид на Кремль, взирать на который дано не каждому... Очень пригожая квартира! Саму Суркову тянет в нее, она проверяет телефонны-

ми звонками, кто в ней, нервишки ее начинали сдавать, однажды выдула в подъезде бутылку, ухарски забросив потом в снег.

Суркову надо похитить — такая мысль обосновалась, и литовец обещал помочь, ни о чем не спрашивая; вновь, кажется, забрезжило везение, впервые Иван заночевал на Раушской, завез в квартиру еды и напитков, прибрался: сюда будет привезена похищенная из притона Елена Суркова, здесь допрошена; в этих стенах ей поставят условие: либо сейчас на Лубянку, либо ты с нами, последнее же означает полное подчинение мужу, то есть Климу. Большевики, вечно занятые войнами и классовой борьбой, подбор брачующихся пустили на самотек, пока еще не определяют, кому с кем вместе вести домашнее хозяйство и какого цвета глаза должны быть у зачатых в официальном браке детей; власть не препятствует (есть за ней такой грех!) совокуплениям лиц, не объединенных загсом в «ячейку коммунистического общества». Дозволено пока многое, во всяком случае, муж, еще не прописанный на жилплощади жены, имеет право спать с нею и вообще жить бок о бок, чем и следует воспользоваться; здесь, в этой квартире, и будет место Клима.

Литовец не понадобился, произошло похищение неожиданно, просто и удачно, поспособствовал Прощельга, уже на исходе трудового дня, в ста метрах от берлоги сунулся он во двор, привлеченный машиной с продуктами, заезжавшей разгружаться в столь поздний час. В магазин привезли мясо, грузчики уже распахнули створки люка с оцинкованным желобом, по которому заскользят, летя вниз, замороженные и неразделанные туши, а такая выгрузка — в инкассаторское время! — могла нарушить планы в том намеченном и обреченном гастрономе, Прощельге не терпелось узнать, случайный ли это завоз, или изменен график доставки мяса. Елена осталась на улице, проскользнувший во двор Иван сообразил, что судьба благословляет его и зовет к действию: «опель» рядом, во дворе темным-темно; взмах руки — и Прощельга полетел по желобу, с проломленным черепом. «Вы арестованы, Суркова!» — четко произнес Иван и погнал ее в соседний двор, к «опелю». Связка показанных ключей ошеломила ее настолько, что до самого дома она молчала, у двери тем более, но смелости и нахальства не убавилось, приободренная стенами родной квартиры, она, сбросив пальто, надменно прошипела: «А кто, собственно, вы такой?.. Я сейчас позвоню в милицию!» Звони, разрешил Иван, приедут и спросят, где бельишко английское и как оно к вам попало, — такой разворот событий ее, конечно, не устраивал, а когда и про колечко с камнем сказано было — совсем сникла; пыталась театрально рыдать и заламывать руки в «безумном отчаянии», но каменная невозмутимость зрителя избавления не сулила, впереди же маячила вышка: та подсевшая к ней в кафе бабища все военные годы работала в КУБе, контрольно-учетном бюро, туда на уничтожение поступали из магазинов отоваренные продовольственные талоны, и голодная боевая пора часть их отправляла гулять по второму кругу, миллионы сами лезли в карманы, бабища уволилась в победном сорок пятом, сменила фамилию, дважды переезжала — и клюнула на колечко, не все еще деньги были вложены в камни и золото, за которыми и пришел бы к ней Прощельга, о чем Суркова догадывалась, тут уж кровищи не избежать. Хотела было ударить на жалость, забубнила о погубленной юности, да примолкла, вся обратившись в слух: включенное радио передавало сообщение о денежной реформе. «Двадцать пять тысяч...» — сказала, когда Иван спросил, сколько ей причиталось бы при удачном ограблении гастронома. «Я дам тебе вдвое больше», — промолвил Иван. «Это за одну-то ночь? Никак приспичило?..» Побесилась еще немного и заснула, Иван чутко прислушивался к шумам, за ночь она трижды ходила в уборную, что наводило на мысль о почечной болезни, трое суток длилось упорство, Ивана будто забросили в клетку с пумой, кроме мяса хищнице требовался алкоголь, надежда была на мебель, стены, привычное за многие годы расположение комнат. И оправдалась надежда: Суркова вернулась в прежнее время, рассказала кое-что о себе: прошлым летом поступила в МГУ, уже и

за учебниками пошла, да там же, у библиотеки, перехватил ее человек с Лубянки, предложил сотрудничать с органами; попросила время подумать — и в панике бросилась к знакомым отца, братья совет, и знакомые дружно отпихивали ее, никто и слушать не хотел, пока она сама не додумалась, забрала документы из МГУ и скрылась, Лубянке она, со студенческой молодежью не связанная, не нужна, забудут о ней — так решилось ею. Про Нижнюю Масловку не говорила, иноземной одеждой хотел расплатиться с нею Прощелыга, она переоделась и сбежала, так и не оставшись у него, обманув; откуда одежда иностранная, туфельки и прочее, — как они попали к возжелавшему ее человеку, не знала, но понимала, что наружка МГБ знает каждую тряпку в будто бы умыкнутом майдане. Иван похвалил себя за догадливость: была идея отдать шмотки Мамаше, вовремя спохватился; майдан в любом случае надо уничтожить, заодно там, в Мазилове, из-под печной трубы вытащить сберкнижки, посчитать, какой суммой располагает он, на сколько лет хватит денег, чтоб содержать Клима с этой жадной Еленой Сурковой, у которой законом оттяпнуты источники доходов, дорого ей обошелся побег из МГУ, отец в годы войны стал генералом, после его смерти дочери положена пенсия либо до совершеннолетия, либо до окончания вуза, поступать же в институт Суркова не решится, работать не пойдет, о том, что придется ей все-таки выйти замуж за незнакомого ей парня, знает и, кажется, смирилась со своей участью. Вернувшийся из Филей Иван застал ее на кухне, читающей «Книгу о вкусной и здоровой пище»; «А хлеб купил?» — услышал Иван, ответил и молчал, не двигался, стоял и не раздевался, только сейчас понял он, как спешил сюда, как хотелось поскорее попасть в эту квартиру и, что пугало, увидеть смазливенькую стерву, подобранную им; она сейчас накормит его ею же изготовленной пищей, а что дальше — тут вспомнился конец сорок первого, деревня, где, возвращаясь от немцев в отряд, заночевал он; хозяйка, кривобокая и косоглазая, но еще в теле, накормила его и вдруг предложила остаться надолго, навсегда, жить мужем при ней, и когда, усмехнувшись, он напомнил, что для семьи надобна и любовь, длинноносая уродина мудро вздохнула: сегодня поешь, завтра поешь, а там, где горшки со щами, — и корыто с пеленками будет. Вымыл руки, сел, супец так себе, белоручка не имеет еще сноровки, котлеты сделать — это тебе не кошелек своровать; Суркова сидела напротив, одета чистенько, чуть-чуть намазана; сберкнижки сказали Ивану, что отныне он — мужчина состоятельный, денег хватит кормить и одевать семью Клима, на библиотеку тратиться не надо, отличный набор литературы по всем естественным дисциплинам, Клим обрадуется. Заговорил было о деньгах — Елена оборвала, мне, сказала, их не надо, что надо ей — обнаружилось позднее, Иван залез на стремянку, искал Монтеня, с детства помнилось, что в «Опытах» намекалось на программу в клетке; глянул вниз — там стояла Елена, в своем лучшем, наверное, платье, руки скрещены сзади, затылок касается стены, в глазах — мечтательное ожидание, улыбка странная, мучительная какая-то. Слезай, сказала она, становись на колени и проси моей руки. Монтень нашелся, Иван стал его листать, на необычную дурость взрослой все-таки женщины ответил по-московски — да, готов, сейчас, вот только надену га-лоши и возьму разбег. Сунул Монтеня на место, спустился задом вниз. Елена стояла на коленях: «Я прошу тебя стать моим мужем...» Иван тоже опустился на колени, так и сидели на полу, нос к носу, потом встали и обнялись; ни слова не было сказано в эту ночь, молчала Елена и утром, когда Иван брился на кухне, она смотрела, как из-под пены возникает лицо мужчины, трогала мизинчиком брови, губы, подбородок, и по всему обриту и гладкому прошлись мягкие подушечки пальцев; не верящие глазам руки запоминали складочки, выемки, морщины, вспученности. Потом — ночи всегда были длиннее дней — робкое любование мужским телом переросло в почти исступленную тягу к нему, все шрамы на груди и под лопатками были процелованы и обглажены. Она будто недосыпала, Иван говорил ей о Климе, а она кивала: да, да, согласна, — но так ничего

и не поняла. Потом внезапно проснулась: в загс, немедленно; «Залетела», — вырвалось у нее, а затем она счастливо рассмеялась, повисла на Иване, шепотом сказала, что у них будет ребенок, ни одной папироски отныне, ни глотка, ни рюмочки спиртного, Новый год встретим трезвыми, чистыми, обновленными!

В день бракосочетания затерялся какой-то поясочек, и Елена расплакалась. На улице подцепили семейную парочку, супруги напереглядывались вдоволь и согласились быть свидетелями, умные глазки женщины сверлили Елену, останавливаясь на талии, определяя зазор, когда губы расписанных соприкоснулись. Поехали в Химки, в ресторан при речном вокзале, Елена почти не пила, что вызвало тихое одобрение свидетельницы, муж ее, человечек бухгалтерской внешности, никогда еще не видел на своей тарелке семги, шашлыка, икры и побаивался есть много. Довезли их на такси до Лесной, потом Иван покупал цветы у вокзала и стоял под падающим снегом, ни о чем не думая и ощущая себя негодяем: Климу была обещана эта женщина — Климу, брату, «братану»!.. В эту ночь он рассказал Елене о себе и Климе, кто такие и почему прячутся, зачем надо ехать в Перово, и Елена, наконец-то понявшая, что мир — это сообщающиеся притоны, отодвинулась от Ивана, голос ее был скорбен; проще простого, сообразила она, сказать Климу: она — замужем, но вскоре разведется и тогда... Паспорт, черт возьми, можно предъявить — такую идею подала она; Иван же возблагодарил себя за расчетливость и скрытность: он так и не сказал Климу фамилию, под которой жил, но думал Иван этой ночью о нем, расспрашивая Елену. Квартира, понял, чиста и ни в каких лубянковских проскрипциях не значится. Надо восстановить ее «профессорский» вид, повесить портреты Тимирязева, Докучаева, Сеченова, Кольцова, Мичурина и Павлова, можно присобачить для понта и Лысенко, под шкафом пылится фотография Максима Горького с дарственной надписью, она опролетарит салонно-будуарный стиль помещения, где будут калякать биологи и математики, философы и правоведы, отсюда пойдет новая наука, победно двинется вперед и тут же замрет, схваченная за горло, потому что стукнут соседи, зашебаршится милиция и застрижет ушами Лубянка. Полный разгром, многомесячное следствие и оглашение приговора, сухие винтовочные выстрелы и «столыпины», к местам назначения развозящие непокорных и пытливых, лакомая добыча для московских диванёвых. Полный разгром ожидается, крушение всех планов, отказываться от которых тем не менее нельзя, ибо есть нечто, зовущее Ивана и Клима, толкающее их на минное поле. Знание гонит их, знание, лишь малой частью перенесенное на бумагу, фантасмагорический мир идей, закупоренных и уже киснувших, их надо вызволять из неволи, на слабеньких ножках разойдутся они по страницам журналов, нарастят отрицаниями мясо и укрепятся хулою невежества, и первые шаги они сделают здесь, в этой квартире, об истинном назначении которой говорить Елене пока нельзя, но она догадывается уже, что беда не минует ее, что прав отец, писавший о злом роке. Каждую ночь Иван просыпался от убывания теплоты, шел на кухню и видел Елену плачущей, брал ее на руки, нес в комнату. Она согласилась бы на все, на динамитную мастерскую в стенах своей квартиры, но в том-то и дело, что никого, никого из друзей знаменитого геолога приглашать сюда нельзя, потому что всех старых знакомых обегала обезумевшая Елена, когда ее вербовала Лубянка, и они теперь сюда не ходоки.

Уже начинало темнеть, когда добрались до Дома культуры, молодежь у входа грызла мороженое и глазела на афиши, обещавшие кино и танцы; купили билеты, вошли, постояли у мазни местных ребятишек, шумевших за дверью изостудии; «Школой пахнет», — шепнула Елена. Спустились к двери Клима, Елена глубоко вдохнула, как перед выходом на сцену, и смело вошла, Иван остался снаружи, а когда его позвали, когда глянул на обоих, пронзительно понял: не состоялось! Клима не узнал спасенную им

Прекрасную Даму, она была чужой ему, первовиденной, какая-то мелочь мешала ощущениям восстановить в памяти ошеломившее его утро, когда в жизнь вторглась посланница небес. Иван отвел глаза от растерянной Елены, потом отвернулся и от Клима, сделав открытие: брат был некрасив, его уши были не естественными придатками, а безобразной выходкой мстительной природы, сблизившей глазные впадины и придавшей лицу выражение скуки. Входящая в роль Елена щебетала и порхала, но общего разговора так и не получилось. Клим вызвался проводить их до станции, Иван отстал, чтоб Елена, шедшая под ручку с Климом, нашептала тому что-нибудь нежное и необязательное. В тамбуре, когда поезд отошел, она прижалась к Ивану с мольбою: «Я не могу! Не могу!» От волос ее пахло мылом «Красная Москва», всего лишь, от Елены не исходил аромат французских духов — не плыла в вальсе Милица Корьюс, не звучал Штраус, — вот почему не сработал механизм распознавания образов и Клим обознался. В холодном тамбуре, под стук колес Елена обещала, хотя Иван и не просил уже, время от времени навещать Клима.

Слово сдержала, съездила раз-другой, ничего по возвращении не говорила, она вся затаилась и уже слушала только себя, потому что в ней завязалась другая жизнь, на девять долгих месяцев неотделимая от ее тела, которое стало вдруг чужим, незнакомым, она о нем ничего не знала, пытливо, как учебники, читала книги о материнстве и жадно всматривалась в Ивана, от которого именно этот плод, расспрашивала его о родителях, доискивалась, где начала, а где концы, и ахнула, когда высчитала: в ребенке-то — что-то будет и от Клима! Стала чаще бывать в Перове, вознамерилась было поехать в Минск, постоять у могилы дедушки и бабушки затаенного в ней существа. Оно еще только начинало обживаться во чреве, но уже разрушало жизнь породивших его: Ивану все бессмысленней казалась идея превращения квартиры в очаг мировой науки. Присмотрел было мебель в комиссионном, торшер, в антикварном нашел картину благородной кисти, но подумалось: и это тоже будет конфисковано еще до суда, так надо ли покупать? Да и в тюрьме, что ли, будет рожать Елена? Несколько раз Кашпарявичус заводил разговоры о Швеции, Иван отмалчивался; не на рыбацкой же лодке рожать Елене, уж лучше в Бутырках. Неделю рыскал по дачным поселкам Подмосковья, нашел домик у Звенигорода, хозяевам сказано было о беременной жене, которая поселится в начале июня; две комнатки, веранда, парное молоко. Но и Литва давала убежище, могла дать, Иван дважды побывал на хуторе у Дануте Казисмировны, та договорилась со знахаркой, под рукой была и повивальная бабка. Мыслилось и такое: вооружить Елену хорошими документами и вывезти из Москвы, чтоб не загребла ее Лубянка. Три квартиры на лестничной площадке, Елена познакомила Ивана с соседями, тем можно внушить: рожать Елена поехала в Красноярск. Дел столько, что Кашпарявичус пожалел, не отправил Ивана в Омск, умершего там литовца увозил на родину другой шофер, возня с покойниками привила Ивану долготерпение, рядом с вечностью торопиться не станешь. Третьи сутки ждал он звонка от Кашпарявичуса, полеживая в доме колхозника, шесть коек в комнате, за окнами — базарные ряды, снег давно уже сошел, грязь на дорогах подсыхает, до Москвы четыреста километров, местная водка вонючая, но хороши соленые огурчики в кадушках, что у входа на рынок, жирную воблу продают на пяточке, где сходятся дороги и где толпятся местные заготовители. Звонки в Москву показывали: Елена дома не ночует. С воблой и пивом вернулся Иван в колхозную гостиницу, выпил, но тревога не спадала. А заснуя — стало совсем нехорошо: приснился палач из минского гестапо, не тот, которого он убил, а тощенький, сморкавшийся в беленький платочек, глывший ягодицы свои, подавшись вперед. Дурной сон, от него заломило суставы, стреляющая боль вонзилась в незащищенный затылок. Иван привстал: в коридоре кто-то ходил недобрыми шагами. Вспомнились предостережения Кашпарявичуса, с облегчением подумалось: номера на «опеле»

сменены, машину можно бросать, а уж до Москвы добраться — левое дело, в любом случае Кашпарявичуса надо предупредить. Выбрался через окно на улицу, купил махры, пока свертывал сигарку — осмотрелся; главное — оторваться, уйти в ночь, которая скоро наступит. Через две улицы понял: следят, еще через три — топтуны отстали. К утру оторвался уже окончательно, трясся в поезде и высчитывал, где лучше соскочить: московские вокзалы всегда опасны. В Подольске пересел на пригородный, потом попутка, затем такси и полный час петляния по улицам; Кашпарявичус презрительно молчал, выдал наконец признание: там, в колхозной общаге, за Иваном присматривал его человек, так что — все страхи напрасны, источник тревоги где-то в другом месте, а про «опель» — забудь. Отсюда, из квартиры Кашпарявичуса, Иван в пятый или шестой раз за сутки позвонил на Раушскую, Елены опять не было. «Побрейся, — сказал Кашпарявичус. — Это помогает». Предложил деньги, пистолет, паспорт. Иван сменил трех таксистов, добираясь до Филей, в Мазилове забрал ТТ, выщелкнул из обоймы патроны — пять штук, мало! Напомнил себе: пистолет клейменный, в розыске — и порадовался ясности, стало спокойнее, в душу вошла та, минская, решительность и осторожность, когда, убив Диванёва, пробирался к товарной станции. Сумерки уже сгустились в ночь, «Перово», — сказано было таксисту. В полночь он позвонил Елене и повесил трубку, протяжно плакавшую на всю кабину телефона-автомата. Поехал дальше, вылез в километре от клуба, шел осторожно, как по лесу. В бараке поодаль светилось мирное окошко, небо — черное, непроницаемое, протарахтел мотоцикл и удалился. Иван прокрался к служебной двери клуба, перед сном Клим всегда запирает ее изнутри засовом. Надавил плечом, в ход пошла связка ключей, Иван выбрался в коридор, снял ботинки; тишина заполнялась еле слышным подвыванием ветра, ударявшего по стеклам, скрипами и шорохами за сценою. Изостудия осталась позади, повороты коридора подвели Ивана к лестнице, ведущей к обители Клина. Он обулся, на долю секунды включил фонарик и увидел замок на двери, но что за дверью — Елена и Клим, сомнений уже не было, а когда спустился, когда прислонил ухо к двери, то понял: они — уже мертвые, не живые, потому что не просто тишина обволакивала коридорчик и заполняла комнату Клина, а та беззвучность, которую можно назвать отрицательной, и исходить она могла только от мертвецов, губкою поглощавших все шумы. Снятый замок он держал в руке, свет не включал, страхась увидеть жену и брата в предсмертной позе. Не спешил. Зевота напала на него. Рука протянулась и ощупала Елену и Клина, лежавших одетыми на кровати. Они были убиты гирею на ремешке, под спекшейся кровью — вмятины на черепах, смерть наступила часов шесть назад, в зале крутили кино, убийцы спешили, навесили замок и ушли, ничего не взяв и (фонарик вспыхнул на секунду) не тронув; не за бумагами Клина они приходили, ключи же от квартиры Елены оставались в кармане ее пальто. Здесь побывал Прощельга, там, во дворе, его спасла, наверное, велюровая шляпа, отлежался, пустился на поиски Елены, а хватка у него есть, как и нюх, нашел же он ее после универмага, высчитал же подвал Клина. И неделю назад встретил ее где-то, она почувала слезку и увела Прощельгу подальше от Раушской, спряталась у Клина. Надо выносить обоих и увозить — как, когда? Хоронить — где? Надо, надо — а Иван продолжал сидеть у кровати, будто не хотел будить спавших. Поднялся, нащупал в коробе, где лежали инструменты водопроводчика, ножовку и провел полотном по носику чайника, раздался скребущий звук, один из тех, что заставляли Клина затыкать пальцами уши и обозленно орать: «Да прекрати же!» Еще раз пилящим взмахом коснулся чайника — Клим молчал. Убедившись, что он мертв, Иван еле слышно позвал Елену, но ответного шевеления не дождался и чуть громче издал только ей понятный вздох, говоривший: я чертовски устал, мне все бабы, да и ты тоже, надоели, но поскольку ты смотришь на меня жадными глазами и уже раздеваешься, то... От вздоха этого она обычно раздражалась притворно-презрительным смехом, а потом лете-

ла к нему и обнимала: «Да! Да! Да!» Теперь — молчала. Иван сунул за пазуху бумаги Клима, забрал ключи Елены и обратился в слух, легче пуха взлетел по лестнице, замер у окон. Задним ходом, будто крадучись, как бы нащупывающе приближался грузовик, полупортка; видимо, вчера вечером Прощелыга засветился, кто-то из местной шпаны узнал его, но скорее ему в любом случае надо сделать труп Елены ненайденным, от него потянется ниточка к бабище из КУБа.

Машина почти вплотную подъехала к окнам, человек, сидевший на корточках в кузове, откинул задний борт, выпрыгнул, к нему присоединился шофер, оба — парни с фронтовым прошлым, боевые ребята, обошли, разделившись, клуб и соединились у полупортки, кабину покинул и Прощелыга, на голове — та же счастливая для него велюровая шляпа (Иван сейчас мог видеть и на дне океана). Парни умело выдавили стекло, двинули шпингалеты, приоткрыли окно, первым полез Прощелыга, дав свистом знак следовать за ним. Стрелять Иван не мог, но он знал, что теперь-то Прощелыгу не спасет и каска. До рассвета еще далеко, но и медлить нельзя; все три полегли в коридоре, их трупы Иван побросал в кузов. Спустился в каморку, где ждали его убиенные, взял Елену на руки и понес, уже при подъеме, на лестнице, поняв: по-другому надо нести, по обычаю, ногами вперед. Уложил ее рядом с Прощелыгой, потом сходил за Климом, набросил на мертвых брезент. Теперь он не боялся света и обшарил последнее земное убежище Клима и Елены, сделал все так, чтоб никто не знал о их смерти. Отъехал от клуба, пистолет держал под рукой, готовый выстрелить в любого, кто осмелится задержать его. На каком-то километре шоссе сбросил в реку три трупа, долго мыл руки в грязной луже. Стало легче, свободнее, возить покойников он привык, еще час езды — и восток задымился зарею, края эти Иван знал, остановил полупортку на лесной просеке, предусмотрительный Прощелыга запасся лопаткою, Иван нашел ее под сиденьем, лезвием обозначил место вечного упокоения брата и жены, выбрав полянку посуше и повыше, и стал надрезать влажный дерн, лоскутами укладывая кожу почвы. Вырытая земля бережно переносилась на брезент, от углублявшейся ямы несло сыростью, пошел песок, сперва мокрый, потом рассыпчатый, желтый, лопатка щадила корни росших рядом деревьев, Иван завидовал этим сосудам других организмов, жизнь которых будет продолжаться, корни опутают собою истлевающие остатки погребенных и впитают в себя случаем привнесенные элементы. Он снес Клима в яму и поудобнее уложил его голову, он признался, что иного исхода ожидать было нельзя, ибо Клим обрек себя на смерть, когда мыслью ворвался в клетку и заглянул в бездну незнания, он давно уже связал свою жизнь и судьбу с простой работой спиралей и выработал ресурсы свои, как клетка, уставшая выталкивать белки в межклеточное бытие; и Елена не протянула бы долго, в ней давно что-то подрезалось, подкосилось, Ивану временами казалось, что жена его ранена или изувечена, она чем-то напоминала подстреленную птицу, припадавшую на одну ногу. Елену он положил по левую руку Клима, выбрался из могилы и понял, что вырыта она на троих, что в мыслях держался убитый вместе с Еленой ребенок, которого он почему-то считал взрослым, двадцативосьмилетним, с расчетом на него и надрезался дерн и укрупнялась могила; в клетке тикали хромосомные часы с зеркальным циферблатом, будущее могло проецироваться на прошлое — это припомнилось Ивану, и он вылез, выбрался из могилы, куда хотел залечь вместо ребенка; «Я схожу с ума», — сообразил он, догадавшись: некому ж будет закапывать Клима, Елену с ребенком и его самого!

Дерн покрывалом лег на могилу — ни холмика, ни креста, ни жестяной таблички с именами новопреставленных рабов Божьих. Иван придирчиво осмотрел полянку — нет, никто ничего не заметит, не пройдет и недели, как срастутся ткани поврежденной почвы и весеннее жизнетворение задернет занавес драмы, провозгласится конечность того, что есть начало. Лес уже проснулся, щебетал, попискивал, колыхался и удалялся; Иван обмыл полупортку в речке, отогнал ее подальше от леса, снял номера. Лишь к

вечеру добрался он до Москвы, из угла в угол ходил по мазиловским половицам, поехал в Дорогомиловские бани и только здесь почувствовал себя живым среди голых тел, цельных и покалеченных. Пил несколько дней, заглушая боли, и однажды утром боли стали привычными, как прежде. Кашпарявичус стакнулся с калининградскими мошенниками и тоннами закупал янтарь, неизвестно куда отправляя его, потом переключился на древесину, Иван ничего не желал видеть, кроме задних огней впереди едущего транспорта; порою возникала беспричинная жалость к незнакомым людям, бывали дни, когда он тормозил, видя вдаль прыгающих воробьшков. Заглянул на Арбате в комиссионный, приемщица шепнула, что безумно дешево продается поддельный Куинджи, на подходе и Васнецов. Что делать с квартирою на Раушской, Иван не знал, не ездил туда; подумывал, как исчезнет, о том, как растворится он в глухой ночи, которая может быть Швецией, безымянной могилой, хутором, чем угодно, лишь бы не видеть людей. Приближалось, а потом и наступило семилетие со дня гибели родителей, уже не было страха перед Минском, туда бы поехать, хотя бы издали глянуть на памятник, установленный Никитиным... Поехал — в Ленинград, верно угадав, что Никитин там, в Минске; бабенка из пивной сунула записку, адрес, ключ, Иван ждал неделю. Сердце наполнялось светлой тоской от белых ночей, не введенных большевистскими декретами, и дни проводились на просторах набережных, построенных с верою, что переживут они все лихолетья; Нева катила себя к морю, сегодняшними волнами подтверждая старинное выражение «река жизни», относящееся не к бесконечно движущемуся водоему, а к протеканию времени через дырчатое бытие. Девушка с проспекта Карла Маркса ежедневно ходила, как на службу, в Эрмитаж, иногда Иван увязывался за нею, начал понимать, что в холстах она ищет созвучие с собою; студентка переживала первую любовь, признаться в которой стыдилась; полчаса или чуть больше, с так и не раскрытой книжкой на коленях, сидела она на сквере у Финляндского вокзала, пропускала мимо себя спешащих домой офицеров Артиллерийской академии, позволяя рассматривать коленки, оголенные плечи и мечтательность взрослеющих глаз, пока у скамейки не останавливался капитан в лихой фуражке и вел студентку на Арсенальную набережную, после чего они прощались, так и не наговорившись, не догадываясь, какая боль терзала не замечаемого ими Ивана: рядом с ним ходила Елена. Мать студентки покупала на рынке птичий корм, в доме завелась живность, птичьи голоса предвещали пiski и плачи ребенка.

Никитин приехал тихим и подавленным, устало махнул рукой, отклоняя все вопросы, он отпустил усы и привел бородку в благообразный вид, на эспаньолку она не походила, но на калининский клинышек смахивала. Утром, однако, он избеобразил себя ножницами и бритвою, дав Ивану совет: пора менять внешность, пора, и как можно скорее! Дело в том, что на кладбище в Минске он побоялся сунуться, от верного товарища узнал — за могилою родителей Ивана присматривают, рушатся все планы, а они заключались в следующем: переехать в Минск, дожидаться там смерти и быть похороненным недалеко от тех, кого он любил и любит все эти годы. Проклятая советская жизнь и растреклятые большевистские законы, запрещающие хоронить покойников не по месту прописки, и ему, ленинградцу Никитину, не дано лежать в минской земле, человек не волен распоряжаться ни судьбой своей, ни жизнью, ни, что возмутительно, смертью! — разбушевался Никитин, дав повод Ивану вспомнить о Кашпарявичусе; о транспортировке покойников и тайных захоронениях их только сейчас догадался он: подрывали старые могилы и укладывали в них свеженькие трупы, загробная жизнь хотела течь по законам земным, и вся эта кутерьма с гробами и покойниками, да еще с подменою их, — преломленное отражение того, что происходило с Климом, с Иваном, с Никитиным тоже, который внимательно выслушал мысль о фиктивном браке с московской бандершей Мамашей. Сказал ворчливо, что принять это предложение не может, потому что там, в загробном царстве, на него с неодобре-

нием посмотрят родители Ивана; бандерша, спору нет, подкупит милицию и сделает его минчанином, но из-за бабы он, возможно, загремит в лагерь, где, не исключено, умрет и будет похоронен вдали от Минска. Возражения были резонными, вступать в споры Иван не стал, приступил к главному — к тому, что вышло здесь, под белым небом Ленинграда, на его набережных, в залах Эрмитажа. Он рассказал о Майзеле, о Климе и о себе, о том, что ими совершен прыжок через бездну незнания; стала понятна не только наследственность, новая теория вобрала в себя — частностями — и Ламарка, и Дарвина, и Менделя, и Моргана, и даже Лысенко; открыт принцип, по которому материя группирует наследственные единицы и субъединицы в те или иные последовательности, доказано, что все оргanelлы клетки — всего лишь топологические уроды, рожденные муками эволюции... (Никитин слушал: рот раскрыт, в глазах боль и влага, указательный палец предостерегающе поднят.) Вот и встает вопрос: что делать с этой россыпью алмазов, в какой кунсткамере выставлять? Лично ему, беглому подследственному, наплевать на эту идиотскую власть, и, конечно, не для прославления ее писал изгой Клим Пашутин гениальные статьи, у него свой бред, ему начхать на власть, правительство и партию, на все человечество тоже, ему, уже мертвому, надо с этого света получить удостоверение и пропуск на право общения с бестелесными, но звучными призраками. Несколько часов он, Иван, простоя перед полотнами Рембрандта, ему не нравятся эти умильные и святые морды, люди не пострадали бы, так никогда этих картин и не увидев, но без всех полотен великого фламандца человечество постигла бы беда, возникли бы мутации, мужчины стали бы похуже, женщины — поплоче, и тогда не возникло бы чудо, которое он полюбил: жалкая, глупая, похотливая, мерзкая, лживая потаскушка, воровка и налетчица, погибшая вместе с Климом, нашедшая себя в любви, преобразившаяся в мужчине, которому впервые отдалась со страстью того инстинкта, который во всем — и в Неве, и в могиле на минском кладбище, и в тополином пухе, что во дворе, — вот почему он просит помочь, поспособствовать публикации статей, приведению их в вид, не вызывающий подозрения; ленинградские биологи — а Никитин с ними знаком — не так консервативны, как московские, в здешнем университете есть вольнолюбивые головы, можно же сделать так, чтоб статья проскочила дурком, наука обогатилась бы... «Да не будет никакой твоей науки!..» — взревел Никитин и заметался по комнате. Он дышал тяжело, будто за ним гнались. Острые ногти его вцепились в рубашку Ивана, глаза слезились и сострадали. «Не будет ее...» — прошептал Никитин и закрыл глаза, наклонил голову. Очнулся, заговорил сдавленно, с тихой яростью: молекулярной биологии — каюк, дни ее сочтены, еще два-три месяца — и науку эту прихлопнут, как надоедливую муху. Да, сейчас, как ему известно, — кое-какое шевеление и оживление в рядах так называемых менделистов-морганистов, ряды сдуру ожидают появления документа, придающего этой науке гражданство, что ли, но наивные менделисты-морганисты получают нечто иное — обвинительное заключение военно-мичуринского трибунала, потому что генетика и партийная идеология — несовместимы! Генетика — это смерть коммунизму! От первых утопистов к нынешним протянулась идея нового человека, существа без наследства, без памяти, без признаков предыдущих поколений, без пережитков капитализма, как это теперь называется, и создать такого человека невозможно — таков косвенный вывод микробиологической науки, той, которая будет уничтожена в ближайшие месяцы. Вся кремлевская банда существует на вере в наследование благоприобретенных признаков, что полная чушь; эти утописты с топором всерьез полагают: все многообразие человеческих свойств можно свести к умению повиноваться; еще гнуснее убежденность в перерождении одного вида в другой под влиянием внешней среды, и если при правильной кормежке воробей может стать синичкой, то понятно, почему так много врагов народа и зачем лагерь. Но, пожалуй, самое отвратительное (Никитин уже брызгал слюной) — это, как ни странно, совесть коммунистов,

ибо подсознательно, в глубине своей мерзопакостной души, они отлично понимают, кто они, из какой мрази состоят и как чудовищны и бессмысленны их мечтания, они поэтому страшатся посмотреть на себя со стороны, глянуть на себя чужими глазами, для чего и отгородились от всего человечества, заткнули рты всем говорящим правду, разбивают зеркала, где могут отразиться во всей пещерной наготе, и уж генетиков они растерзают, разгонят, скрутят в бараний рог, заставят отречься самых трусливых, проклянут непокорных, и в этой-то обстановке продергивать так нужные Ивану статьи через редакционные заграждения — самоубийство, явка с повинной, руки, протянутые для кандалов, опомнись, побереги себя, если тебе хоть чуточку дорога жизнь и свобода!..

5

Таких ужасов наговорил, что Иван поехал в Москву через Смоленск; с поезда сошел в Можайске, звенигородской хозяйке внушил: супруга — под надзором женской консультации, покинуть столицу пока не может. Год выдался яблочным, хозяева похвалились белым наливом, показали Ивану крохотные плоды кандиль-китайки — он же вспоминал ботанический сад в Горках, Клима. Однажды зафыркала и застегала хвостом по крупу кобыла, ветер принес запах навоза, и тогда Иван осмыслил сказанное Никитиным, всю философию советской власти: прародителем всех кобыл и жеребцов считать не лошадь Пржевальского, а чудище с копытами, творение художника «Маршал Ворошилов на коне». Идиотизмом разило от задуманной некогда затеи с учеными беседами за чаепитием на Раушской, ничемной казалась идея, пришедшая в голову здесь, под Звенигородом, но чем в большую бессмысленность скатывались планы, тем разумнее представлялось затеваемое; надо было решаться — и ключи от квартиры подбрасывались, падали на ладонь и сжимались. Наконец он появился в ней — и ноги подкосились от страха, был пережит момент, когда он с плеча на плечо перекладывал утяжеленную Елену. Набросил на трюмо скатерть, прошелся тряпкой по мебели и комнату эту закрыл, навечно, то есть до поры, которая придет вместе со сворою из лубянковской псарни. «Посторонним вход воспрещен» — такую табличку заказал он в мастерской и повесил ее на этой двери. Месяц потрачен был на ремонт квартиры, все было сделано своими руками, новая мебель привозилась разрозненно, да и не продавалась в комплекте обстановка служебного кабинета, типичного для дома на площади Дзержинского. Прихожая опростилась, олени рога спрятаны в кладовке, на вешалке серый габардиновый плащ с погонами подполковника (для усугубления таинственности — инженерно-технической службы), офицерская фуражка, на стене — повокзальное расписание пассажирских поездов, и при взгляде на стену поневоле рождалась догадка: именно отсюда поползли по всей стране зрячие щупальца. Еще большее впечатление производил кабинет: длинный стол для совещаний, накрытый зеленым сукном, ряды стульев, а в торце — массивный, из паркета выросший четырехтумбовый письменный стол, слегка возвышавшийся над совещательным и вызывавший в памяти слова «престол» и «первопрестольный». Диван, конечно, убран за полной ненадобностью, на стенах — портреты Ленина, Дзержинского и Сталина, тяжелые шторы скрывают происходящее от взоров тех, кто ни при каких обстоятельствах не будет посвящен в тайну сборищ всемирно-исторического значения. Шкаф со стеклянными дверцами убеждает во всесильности и верности единственного учения, труды патриархов выстроены в парадной величавости. В сейфе — оперативные разработки, направленные на утверждение и увековечивание бессмертных идей, под ногами — мягкий ковер, на овальном столике — папиросы высших сортов: «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Казбек», последние как в коробках, так и в пачках по сто штук — базарный люд папиросы этой упаковки называл «посольскими». В кабинете за этим длинным столом рассядутся специально отобран-

ные микробиологи и услышат речь примерно такого содержания: «Товарищи! Все вы уже внимательно прочитали решение ЦК ВКП(б) о положении в биологической науке, вы все знаете, следовательно, о великой победе марксизма-ленинизма над вейсманистами и менделистами, над гнусным отребьем, которое жужжанием дрозофиловых мушек закрывало (заглушало?) свое нравственное, философское, политическое и прочее убожество. Да, формальная генетика пришла к своему позорному концу. Догадываюсь, что многим из вас, тем особенно, кто превыше всего ставит в науке истину и эксперимент, не по душе это постановление, думаю, что все продолжают верить в хромосомную теорию наследственности... (Сидящих за столом обвести загадочным взглядом.) Вы собраны здесь для того, чтоб узнать подлинный смысл происшедшего. Уверен, что многие из истинных ученых — а я отношу к ним и вас — задаются сейчас вопросом: как мог наш Вождь и Учитель (интонацией подчеркнуть: с большой буквы!), гениальнейший ученый всех времен и народов, авторитетом своим подтвердить насквозь ложные аргументы академика Лысенко и всех прочих мракобесов, как допустил он разгром передовой науки? (Оцепенение за столом — этим следует насладиться.) Объясняю: товарищ Сталин, верный ученик и продолжатель дела Ленина, сделал это потому, что поставил перед собою задачу грандиозной, стратегической важности, решить которую надлежит вам, именно вам! Есть секретное постановление ЦК (пальцы должны коснуться папки), в котором разъясняется гениальный маневр товарища Сталина. Не мне вам доказывать, что у генетики — великое будущее, но в настоящем, то есть уже в скором времени, генетические мутации должны стать предметом тщательного изучения, ибо взрыв атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки выявил эффект, который нельзя даже назвать побочным, он — могущественнее ударного и теплового воздействия атомного взрыва. Вы уже поняли, что я имею в виду... Изменения генных структур и все трансмутационные процессы, поражающее действие их... (Сделать многозначительную паузу.) Как вы догадываетесь, в будущей войне победит тот, кто разработает наилучшие методы борьбы с радиационным заражением, и советской генетике отводится колоссальная роль. (Вспоминается почему-то надпись мелом на сортире: «Кало-ссальная комната».) Да, товарищ Сталин умом и сердцем на стороне генетиков, но поддержать их официально сейчас — значит, во-первых, раскрыть секрет будущих исследований и, во-вторых, инициировать скачок в развитии западной, империалистической науки. Подлые приемы зарубежных разведок вам известны, агенты их внедрились во многие учреждения, на каждого крупного советского ученого заведено позорное досье, и товарищ Сталин приказал: поручить все работы по генетике особо избранным молодым ученым, никому пока — пока! — не известным, настоящая же их известность наступит позднее...»

Такая речь обдумалась и мысленно произнеслась, скупые жесты отретировались, три поломанных телефонных аппарата оснастили стол прямой связью с вышестоящими органами, теперь надо было найти исполнителей, «слушателей». Еще в звенигородской норе, копаясь в бумагах Клима, Иван нашел вырванные из журнала странички, статью В. Н. Гальцева с традиционным названием «О некоторых вопросах онтогенеза». Рукою Клима на полях — расшифровка инициалов (Владимир Николаевич) и телефон (К4-15-18), который мог быть только домашним, в центре Москвы — ни одного учреждения биологического профиля. Звонил Иван из автомата, разговор с женщиной, поднявшей трубку, показал: связаться с Гальцевым Клим не мог, тот эти месяцы провел на Амуре, командированный туда на сельхозстанцию, ныне же он в отпуске, дома бывает в полдень и по вечерам. Видимо, Клим, заинтересованный статьей, звонил в редакцию журнала, расспрашивал об авторе, что повторил Иван, узнал кое-какие детали, еще раз прочитал статью; Гальцев, несомненно, знал много больше того, о чем писал. Еще один ценный факт, приятный и внушающий малообоснованное доверие: биолог Володя Гальцев перед войною окончил университет в Ленинграде, потом блокада, ранение, демобилиза-

ция, женитьба на москвичке и переезд в столицу, сперва ассистент кафедры в Тимирязевке, ушел оттуда после какого-то скандала и устроился в Институт экспериментальной биологии. И совсем уж кстати: развелся, живет у дальней родственницы, дома часто не ночует. Неделю изучал его Иван, порою ходил следом за ним, удалось найти давнюю публикацию в «Биологическом журнале». Два набега было совершено на райком партии, завязаны знакомства с почтенными матронами, обслугою этого придатка Лубянки; впрочем, Иван не удивился бы, увидев здесь Мамашу. И все же Гальцева сюда Иван поостерегся приглашать, тот слишком умен и опытен, вынес войну и выдержал блокаду, отказался эвакуироваться в Омск и, конечно же, на чекистов насмотрелся. Дурной, наглой фальшью несло от райкома, и вспоминался почему-то Садофьев, его уговоры, его жесты, словечки; Иван сплюнул, когда догадался, чем ему противен Садофьев и вся райкомовская рать. Протвоестественность была в ухватках полковника, он, мужчина, будто предлагал Ивану, мужчине, любить его по-женски, с поцелуями, с прижиманием к нему, с ласками, и как только это сравнение сыскалось, Иван окончательно пришел к выводу: протаскивать Гальцева через этот балаган нельзя ни в коем случае! Сразу почует обман и откажется. Его надо вводить в игру позже, минуя стадию вербовки, его надо просто взять за руку и привести на Раушскую, где предъявить нечто убедительное, внушающее безусловное доверие.

В круговерти московских поисков нашлись еще два биолога, в чем-то похожих на Гальцева, требующих особого подхода. С мелюзгой же можно не церемониться, и в середине июля официальной повесткой в райком был вызван ассистент кафедры МГУ Николай Гаврилович Бестужев: двадцать восемь лет, трудолюбие муравья, тщеславие и пытливость. Иван встретил его в коридоре, был деловит и дружелюбен; обработка этого Бестужева предполагала смену декораций, привоз его на Раушскую, копание в сейфе, где что-то к биологу относящееся имелось, телефонный разговор с незримым собеседником, предназначенный ушам пытливого ассистента, крупная сумма денег, выданная без расписки. Но тот сломался сразу и там же, в коридоре, дал устное обязательство выполнять все указы органов. Впечатление от встречи осталось такое: будто на весеннюю улицу смотришь через засиженное мухами стекло, и хотелось плеснуть водой, промыть, прочистить, протереть — гадкое, отвратительное чувство... Всю неделю не покидало оно Ивана, потом пошли светлые, чистые ощущения, он просматривал газеты за лето, листал журналы и напоролся на знакомую по довоенным речам Никитина фамилию: Шполянский! Бывший начальник отдела в Институте растениеводства, ныне профессор ЛГУ, близилось его шестидесятилетие, и биолог этот был известен многим, Гальцев его почитал. Если уломать Никитина, если уговорить Шполянского, то явление его в квартире на Раушской произведет нужный эффект, профессор, сам того не подозревая, сыграет роль свадебного генерала, освятит своим присутствием будущую лабораторию, столь же подпольную, сколь и легальную. Никаких напутственных заклинаний, упаси боже, профессор войдет в «кабинет», пожмет руку Ивану, благословляющим взором обведет сидящих за столом гениев — этого вполне достаточно. Никитин может заартачиться, но не сработает ли сияние вокруг личности умершего Суркова? Не сталкивались ли они — Сурков и Шполянский? Иван разворошил бумаги геолога и вновь связал их: нет, не пересекались жизненные пути достославных ученых. А время шло, месяц кончался, топор, занесенный над генетикой, мог опуститься, и тогда Гальцев, порывистый и смелый, ни на какие контакты не пойдет. Иван выехал к Никитину, вез в портфеле папку с материалами на Шполянского. Спалось плохо, было жарко, вагон скрипел, всю ночь мерещилась конопатая физиономия Бестужева, вспоминались его глаза, почему-то заплывшие радостью в какой-то момент разговора. Ленинград встретил солнцем и недавним дождем, в пивную ехать рано, открывалась она в одиннадцать, поезд к тому же обогнул город с востока и замер у перрона Финляндского вокзала, родной проспект рядом,

хотелось увидеть студентку. Он позавтракал в буфете и медленно двинулся к Военно-медицинской академии, купил цветы, надеясь подняться к дверям своей квартиры и положить их там, прошелся под окнами, постоял у коляски с газировкой, украдкой бросая взгляд на часы: мать студентки в это время шла обычно в булочную. Выпил стакан с вишневым сиропом, поглазел на афиши и хотел было совершить еще один променад близ дома, но то, что услышал он вдруг, погнало его прочь. «Вас ищут! Берегитесь!» — вот что сказала ему в затылок мать студентки, и знакомым сквозным двором Иван выбрался к трамвайной линии, сменил два маршрута, перепрыгнул на такси через Неву, растворился в толпе у Гостиного двора и возник на Васильевском острове. В полдень он был на Расстанной, но так и не вошел в пивную: жалость к Никитину опутала ноги, занули суставы, страх за него иголочками прошел по всему телу. В уборной возле рынка он в ключья растерзал бумаги на Шполянского, цветы были выброшены еще раньше, портфель проскользнул в помойную яму и утоп без пузырей. О поезде лучше и не думать, из Ленинграда надо выстреливаться, и немедленно, в любую сторону, кроме севера, финскую границу с хода не одолеешь, да и бессмысленно туда бежать, выдадут, надо искать другой путь, и размышления на Большом проспекте привели к великолепной идее. Иван доехал до Зоопарка и пошел к Петропавловской крепости. Три автобуса ждут экскурсантов, из четвертого, вологодского, вываливается пионерский отряд, пятый подходит, с более степенной публикой, — то, что и требуется. Смешаться с нею, пройти в крепость, найти подходящую группу, влиться в нее и покинуть опасный город. Собор не вмещает всех, желающих посмотреть на склепы, солнце греет и расслабляет; Иван ждал, высматривал, выискивал, прислушивался. Кто-то потянул его за локоть — он отбрыкнулся; еще раз тронули — он ловко перехватил неопытную руку карманника, вывернул ее, глянул через плечо — и обомлел: Садофьев!

Полковник был в штатском, виновато и радостно смотрел он в лицо Ивана, задрав голову и свалив ее набок. Экскурсовод увел толпу, уединив их обоих; во взгляде Садофьева было возрадование отца, увидевшего сына после долгой разлуки — повзрослевшего, сильного, уцелевшего в жизненных схватках, одолевшего врагов, хоть те и распускали слухи, порочащие доброе имя победителя. «Как я рад!.. Как рад!..» — прошептал полковник, найдя повисшие пальцы Ивана и сжимая их в порыве благодарного чувства. Отошел на шаг, как бы обозначив промежуток времени, протекший со дня последней встречи, и с временного удаления еще раз глянул на Ивана, чтоб воочию удостовериться: нет, он не ошибся, это сбежавший из-под следствия Иван Леонидович Баринов, причинивший тяжкие телесные повреждения лейтенанту Александрову и убивший капитана Диванёва. Короткие ручки полковника вздернулись в порхающем жесте соболезнования, он осуждающе покачал головой, дивясь неразумию арестанта, лбом прошибающего многометровую стену. «Да поспокойнее вы, поспокойнее...» — укорил он и мягко сказал, что не надо повторять старые ошибки, нет смысла бежать, потому что никто не задерживает Ивана и не задержит, Иван Леонидович Баринов — не узник и не беглец, а гражданин на свободе и таковым останется. Да, он, полковник Садофьев, интересовался, где обитает ныне старший лейтенант Баринов, и даже дал соответствующее поручение, но в частном, так сказать, порядке; что же касается досадного происшествия в Минске, то история эта быльем поросла, Александров строчит бумажки в Нарьян-Маре, а Диванёв списан, сактирован, так сказать; ничто, следовательно, Баринovu не угрожает, разве что сам он себе, а протоколы те — тьфу, нет их, так что — живите и радуйтесь, наслаждайтесь быстротекущей жизнью... «Ну, помирились?» — предложил Садофьев и протянул руку для пожатия; руки встретились, имя-отчество полковника вспомнилось Ивану. Георгий Аполлоньевич, оно прозвучало, и полковник игриво улыбнулся, хитровато погрозил Ивану, эдакому шалунишке, пальчиком: «А вас — как зовут теперь?» И вновь зажурчал его сердечный голосок: ах, молодость, молодость, не ведаете вы, юные, как про-

зорлива старость, как мудра она в своей занудливости; представить себе не можете, как горевал я, старик, потеряв такого компаньона и собеседника, дело-то ведь застопорилось, настоящее дело, им надо заниматься, ради него в очередной раз осматривается внутренний дворик для прогулок государевых преступников, заключенных в крепости, они были отторгнуты от жизни, наказаны отстранением от других людей: дворик немалый, по нему могли бы прогуливаться человек десять, а дышал во дворике свежим воздухом — один узник, всего один, и что самое главное — ни звука снаружи, при Николае ни гудков паровозных не было, ни заводских и трамваи не тренькали, автомашины не гремели, — тишина, абсолютная тишина! Вот в чем была ошибка самодержца — в отчуждении врага от красочной и звучной жизни на свободе, а надо — контрастом, соседством воли и неволи, чтоб кандалник чувствовал: жизнь идет, жизнь продолжается, она — вечна, она законна уже потому, что есть, а ты, сидящий здесь за тяжкие преступления перед отечеством и престолом, временщик, случайность, козявка, посягнувшая на мироздание...

Лишь на три или четыре минуты, пока на трамвае переезжали через Неву, умолк Георгий Аполлоньевич, а на Марсовом поле вновь заговорил о тишине, превознося ее, недавно заклеявленную. В первый же день ленинградской службы он пошел на Сенатскую площадь, глянуть на ристалище, и глазам своим не поверил: да как могло величайшее в истории России действие свершиться на этом крохотном клочке территории, где размах кавалерийских сражений при Полтаве, где ширь русской души, — да нет же, нет, ничего не могло произойти на мостовой перед Сенатом, и все-таки — свершилось! И грохот стоял над Невой, над всем Петербургом, потому что — такая была акустика, потому что — тишина была окрест, уши внимали каждому шороху. А площадь перед Финляндским вокзалом? Да ори на ней сейчас благим матом — рядом не услышишь, а картавый тенорок Владимира Ильича гремел с броневика над всем Петроградом. Да, все великое совершается в тишине, только в ней, потому он, Георгий Аполлоньевич Садофьев, отринул шум аудиторий и углубился в тишину чекистской работы, незаметной, беззвучной, но такой полезной, особенно здесь, в Ленинграде, на несколько месяцев Управление на Литейном проспекте стало его домом и его кабинетом...

А шли уже по улице Пестеля, и Большой Дом на Литейном угадывался, приближался, все чаще попадались навстречу мордатые мужчины, которым что вошь раздавить, что человека потоптать — одно и то же. Глаза Ивана шарили по стенам домов, по углам их, глаза высматривали подъезд, куда можно втолкнуть Садофьева, где от удара коленкою в челюсть разойдутся шейные позвонки служителя чекистских муз...

Вдруг Садофьев остановился, голос его звучал просительно: он, полковник госбезопасности, весь во власти идущего рядом Ивана Баринова, потому что если того арестуют, если тот заговорит о Диванёве, то немедленно выплывет компрометирующий Садофьева факт — уничтожение протоколов и, так уж случилось, содействие побегу. Так не зайти ли в управление, там Ивану Баринову он даст документ, спасающий того от задержаний и расспросов, служащий если не правом на жительство, то уж свидетельством его полной благонадежности, а? «Да», — кивнул Иван и сник: слабость и растерянность были в нем, ноги еле волочились. Садофьев направился было к окошку за пропуском ему, но передумал, мялся в нерешительности, потом тихо сказал, что негоже Ивану показывать поддельные бумаги, и подтолкнул его к охраннику, которому не впервой было пускать в управление особо доверенных людей. По широкой лестнице поднялись на второй этаж, в конце коридора Садофьев остановился у двери, к чему-то прислушался, достал ключи. Окна кабинета смотрели во двор, было темновато, свет полковник не зажег, досадливо («Экий недоверчивый!») предложил сесть, а сам полез в сейф — за ключиком от шкафчика, откуда достал папиросы, бутылку коньяка, нарзан и честно признался: посылал он человека в родной Ивану дом на проспекте Карла Маркса,

и человек принес ему обнадеживающее известие — сошлись-таки Баринов и Пашутин, встретились, объединились в едином научном поиске, другого пути у них не оставалось, беда в том, что Клим Пашутин — исчез, в последний раз его видели на автобусной станции Переяславля, а Пашутин нужен, ой как нужен, а как его найти, как? Официальный розыск исключается, основанием для него не могут не быть имеющиеся свидетельства о связи Пашутина с немцами, а о таких связях надо помалкивать; Пашутин и хорошо известный Ивану Майзель проделали важные эксперименты, не нашедшие отражения в научной прессе, Майзеля поэтому можно отбросить и все сделанное под Берлином приписать Пашутину, ему же следует порекомендовать: две-три работы по молекулярной биологии, пусть он их напишет, как опубликовать — это уже забота его, Садофьева, работы внесут оживление и разбудят тех генетиков, которые поднапуганы. Впрочем (Георгий Аполлоньевич посмаковал коньяк), есть от чего впасть в уныние, люди науки, по его наблюдениям, подобны обитателям джунглей, которые возбуждаются задолго до пожара или засухи, и признаки паники уже просматриваются; дело в том, что в скором времени соберется сессия Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Ленина, с сокрушительным докладом выступит яростный противник генетики Лысенко, доклад сейчас на просмотре у товарища Сталина, будут выдвинуты, следовательно, политические обвинения, это и заставит генетиков отречься от своих взглядов, не всех, конечно, кое-кто предпочтет ссылку, лишение работы, забвение заслуг, но так или иначе, а менделисты-морганисты будут расплынены, рассеяны, разобщены и невырезанными гнойниками останутся в теле советской науки. А время торопит, продолжал разглагольствовать полковник, время не ждет, близок опаснейший момент в истории социализма, передовой общественный строй только тогда может развиваться и совершенствоваться, когда он абсолютно отрицает буржуазную цивилизацию, а означать это применительно к науке будет следующее: генетика, равно как и многие другие теории, должна быть выкорчевана полностью, для чего расплыненные силы уцелевших менделистов-морганистов следует сконцентрировать в каком-либо одном определенном месте, и вокруг Пашутина генетики соберутся, им ведь, как стало Садофьеву известно, сделаны выдающиеся открытия, о чем оповестил органы один угрызаемый завистью товарищ с периферии. Нет-нет, ничего Пашутину не грозит, кроме мировой славы, в лучах ее он будет греться до конца жизни, задача Ивана и его лучшего друга и брата — собрать на огонек энтузиастов генетики, помощь Ивану будет оказана всесторонняя, коснется это и привлекаемых кадров, надежность обеспечена, настоящие люди будут в окружении Пашутина, не те, которых уже начинает подбирать Иван, это о них, наверное, сообщают некоторые источники. В попытках нелегальной самодеятельности есть, без сомнения, элементы романтики, но речь идет о выживаемости социализма на планете, о деле архиважном, поэтому-то Ивану Баринову надо — во благо Пашутина, во имя науки — опираться на весь аппарат советской власти и четко обозначить свое, только ему присущее, место в аппарате. Майор Баринов Иван Леонидович — это справедливо, не так ли? И грандиозные перспективы, время костоломов проходит, — это наука, а к науке и научное отношение, минуют годы — и мир поймет, как много значил социализм для общечеловеческой цивилизации, именно ему обязаны поколения взлетом мысли, прогрессом...

Внимая знакомым по Минску идейкам, Иван рассматривал убранство кабинета, отдавал должное папиросам. Полковник, несомненно, на правах влиятельного гостя в местном управлении ЧК, но не более: многолюдных совещаний здесь не предвиделось, приставной стол всего на четыре персоны, телефонный аппарат доверия не внушает, стены отягощены портретом величавого И. В. Сталина, простяку Дзержинскому места не нашлось, зато три шкафа, книг нет, в приоткрытом сейфе — пистолет и фуражка, шинель открыто висит направо от двери, причем не с полковничьими погонами, — чужой кабинет, не Садофьева, делит он его на пару с кем-то, и за-

чем вообще шинель в августовскую жару? Зачем эти вертлявые мыслишки усердного саратовского философа, для кого они? «Палач пытается палача»?.. О, идиоты, погрязшие во всесоюзном идиотизме! Мозги, вывернутые наизнанку и впахнутые в черепную коробку задом наперед! И эта маниакальная потребность вредить себе всеми доступными методами, рытье могилы всей стране и всей страной, беспрестанный поиск врагов, без которых и жизни-то нет, которые как противостоящая спираль, и это понятно, это объяснимо, в этом-то и смысл клеточных процессов, но невдомек полковнику, что абсолютизация здесь гибельна, и для того, чтоб эту власть сокрушить в короткие сроки, не растягивать ее существования на десятилетия, надо бы принять предложение Садофьева. Согласиться! Стать майором или даже — можно поторговаться — подполковником. Полгода — и все лучшее, что есть в науке, замахает кайлами на рудниках, а за ними покаты в Сибирь математики, физики, химики; одного нельзя отнять у этой изуверской системы: она — всеохватна и всепроникающа, она творит безобразия во всевозрастающей прогрессии. Все работы по клетке будут свернуты, элитные сорта пшеницы смешают с сорняками, под нож пойдут племенные стада, рухнут наконец-то колхозы и совхозы, молоко и зерно станут покупать у капиталистов, новые аресты и новые этапы, а виновных, то есть врагов, надо искать и искать, они и найдутся, такой страх наведут на ученых и всю науку, что по миру пойдут большевики! И сделать это может он, Иван Баринов! Ему судьба предоставляет редкостную возможность, он может отомстить за всех убиенных, за Клима тоже, и первой мстью будет уничтожение всех биологов, начиная с Гальцева. Вымарать из учебников ненавистные фамилии разных Менделей и Морганов, всю аппаратуру, как отечественную, так и вывезенную из Германии, — под пресс, в лепешку сплющить, слово «ген» вообще запретить — и наслаждаться, наслаждаться, покрыть боль упоением победы, — о, как сладостно это чувство мести и безнаказанной свободы и как омерзителен Садофьев, заискивающе спросивший вдруг, не желает ли Иван вернуться на житье в старую квартиру на проспекте Карла Маркса; там прописана одна семейка из двух человек, их можно выселить, но предпочтительнее сделать так: одна из жилищек студентка, девушка очень хорошая, достаточно изученная органами и вполне подходящая в жены чекисту, — мысль ясна? Иван отклонил предложение, но поблагодарил за внимание. Садофьев отжал печать на справке, вручил ее, не без торжественности, Ивану, тот сунул ее в карман не глядя, успев, однако, заметить по движению авторучки полковника, что справкою возвращается ему настоящее имя, отчество, фамилия. Договорились о встрече в Москве: когда, где, к какому подъезду министерства подойти и какой местный телефон отдела, руководимого Георгием Аполлоньевичем Садофьевым; что этим отделом будет руководить вскоре майор или подполковник Баринов — об этом речи напрямую не было, но что такое произойдет, Садофьев предугадывал, потому и протянул на прощание подобострастную мягкую, крохотную ладошку свою, чуть ли не ласкающе поглядывая на Ивана. Выходи окна на проспект — он и помахал бы ручкою вслед ему, но вряд ли тот заметил бы напутственное благословение, скорым шагом удаляясь от вербовочной конторы в сторону Литейного моста, в направлении проспекта, достаточно изученного органами и вполне подходящего. На мост он так и не взошел, свернув к набережной Кутузова и выбравшись к Михайловскому замку, откуда проследовал в Летний сад. Какую-то важную мысль заронил в него Садофьев, когда заговорил о не совсем служебном браке со студенткой; эта мысль подталкивала его на набережной, управляя им, нацеливая на Летний сад, и в саду он нашел изваянную фигуру женщины, груди которой ошупывались им, школьником, — его, тогда мальчика, терзала идея шарообразности всего. Он постоял у каменной женщины, с тупым равнодушием взиравшей на него, забывшей о нем. И он о ней тут же забыл, что-то глотал, жевал, пил в кафе у кинотеатра «Баррикады», какую-то чушь нес соседке по купе и вдруг, оборвав разговор, полез на пояку, заснул, чтоб проснуться в диком

недоумении — привиделся гестаповский подвал с пыточным оборудованием, два немца в фартуках, на топчане пившие водку, а сам он, сотрясаемый дрожью скорого страдания, услышал неожиданное приглашение: «Эй, русский, иди выпей с нами...» Наверное, во сне он кричал, соседка трясла его и плакала; только здесь, в купе «Стрелы», постиглась противоестественность вчерашнего, в голове что-то скрежетало, надрывалось, взвизгивало; Иван спрыгнул вниз и в уборной разорвал выданную Садофьевым охранную грамоту. Метро унесло его от вокзала, две пересадки окончательно отрезали от него погоню, если таковая была. Он вышел на «Маяковской» и пропал в толпе, чтоб оттолкнуться от нее и всплыть под арку, во двор дома, где жил Бестужев, и занял удобную позицию, чтоб перехватить его и совершить казнь, отнюдь не гражданскую, где и как — не думалось и не гадалось, все получится само собою. Ожидание длилось недолго, резвым мальчуганом выскочил из подъезда Бестужев, под аркою палец Ивана воткнулся в его ребра холодным стволом пистолета, над ухом доносчика прошуршала тихая угроза, взметнувшись было кверху руки Бестужева упали, ноги не слушались ни его, ни Ивана; удар ботинком по щиколотке привел в движение окоченевшие конечности. Иван шел слева от Бестужева и чуть сзади, пресекая все попытки уйти вперед или отвилиться в сторону, то покалывая пальцем ребра арестованного, то пошлепывая спину тяжелой и хваткой дланью. Когда Садово-Каретная влилась в Садово-Самотечную, Бестужев замедлил шаг и вопрошающе повел плечом, им же показывая на газировку, и последнее желание приговоренного к смерти было удовлетворено. Зароненное Садофьевым решение еще не оформилось в точные временные или пространственные координаты, сама идея того, что делать и как, покоилась пока еще свернутым листочком на пробуждающемся деревце, но Иван понимал: тащить Бестужева в Перово — бессмысленно, ужокошить фискала там, где погиб Клим, почти невозможно, однако и добираться до дровяного сарая, куда Иван наведывался проверять спрятанные там деньги и куда тоже заглядывала Мамаша заниматься тем же самым, тоже опасно, отчаяние движет уже приговоренным, он чувствует приближение эшафота, обдуваемого последними в его жизни ветрами, и, глянув на узенький затылок так и не разгаданного им сексота, Иван решил: быть сему в подвале, где прожит Климом плывущий над Дунаем вальс Штрауса, там будет убит Бестужев, это рядом, надо сейчас, уже на Садово-Сухаревской, перейти на другую сторону. Орудовец в белом шлеме преградил пешеходам путь, открыв его машинам и троллейбусам, транспорт покатился медленно, набирая скорость, и вдруг Бестужев, смиренно стоявший, присел и бросился вперед, как в воду, под громоздкий, крытый тентом грузовик, и толпа ахнула. Пронзительно засвистел орудовец, взвизгнули тормоза, троллейбус остановился так резко, что с провода съехала штанга и воткнулась в небо. Кто-то хохотнул: «Повезло парню, до Склифосовского доползет...» Подкатила «скорая», белые халаты наклонились над Бестужевым, переплывавшим реку, на другом берегу которой — вечность: левая рука под туловищем, правая занесена для гребка в стиле кроль. Мертв — определил Иван и неспешно дошел до Цветного бульвара. Ему нужен был Кашпарявичус, а литовец жил неподалеку, здесь он снимал квартиру, заходить куда можно было только по чрезвычайным надобностям. Возникли они и у Кашпарявичуса, впервые видел его Иван таким растерянным, смущенным, виноватым. «Беда, друг, беда...» Гости в доме, три парня, все литовцы, плечистые, мощные, зубастые, голодные, водка на столе, литовский окорок, длинный нож тонкими пластинами отслаивал от окорока сало с кровяными прожилками. На Ивана никто не глянул, говорили о своем, потом разлили водку по стаканам, Ивану — остатки, на доньшко, чокнулись, брезгуя прикасаться к русскому стакану. Кашпарявичус открыл другую бутылку, долил Ивану, показывая единство с ним, Ивану подумалось, что, пожалуй, не помешала бы сейчас граната в кармане, напряжение за столом возрастало, еще чуть-чуть — и полоснут ножом. Удалось понять из разговора, что арестована Дануте Казисмировна, что в

доносе подозревается он, русский, не раз бывавший на хуторе, человек с неизвестным прошлым. «Свиньи вы, — сказал Иван, отдавая Кашпарявичусу паспорт, по которому жил, с которым был в загсе. — Боровы. Кабаны. Вам бы век сидеть в лесу, пока друг друга не перережете...» Повел Кашпарявичуса на кухню, предупредил: обрезай все связи со мной, засвечен, берегись. Тот кивал, соглашался, вздыхал, обнял Ивана, сунул ему что-то в карман, пригодится, мол. Последний взгляд на него, на пьющих и жрущих за столом, — и дверь закрылась, чтоб распахнуться, Кашпарявичус порывисто обнял его, отстранился, в глазах его ныл все тот же вопрос («Где ж, сволочь, встречался я с тобою?»), ответ на который мог бы дать Иван: при последнем взгляде на эту чуждую ему литовскую братию вспомнилась изба, он, лежащий у печки, и пятеро немцев за столом, трое в форме, а сидевший спиной к нему штатский — Кашпарявичус. Так ли это или не так, но было уже невозможно рассматривать прошлое и определять, кто враг и кто друг, кто понятен, а кто нет. Ни врагов, ни друзей уже нет, прошлое надо забыть, а будущего вообще не будет. В Звенигороде Иван опустил в зловонный круг связку ключей от квартиры на Раушской. Все кончено, кроме нескольких дней, что проведет он в норе, никому пока не известной. Он добрался до нее в темноте, влил в себя водку и заснул. Под утро за стеной слышались разговоры, он, проснувшись, восстановил их: хозяева ушли в лес по грибы. Тишина. Что-то попискивает и поскрипывает, но — тишина, присущая дому, откуда на время ушли люди. Сам он лежал почти не дыша, уставясь в потолок. Последнее убежище его, и, кажется, самое безопасное и верное. Сюда он приходил будто на явку и как бы отрываясь от погони, Садофьев забьет тревогу через неделю после сессии ВАСХНИЛа, так и не дождавшись его. Надо бежать, не оставляя следов, пропасть, исчезнуть. По ходикам — еще утро, Иван оттянул вьюшку, запалил в печке бумаги, в пепел и дым ушли труды Клим, в огонь полетело все лишнее, изобличающее, какое счастье, что на Раушской не хранилось ни единой строчки, написанной им или братом; он так поверил в свою, домашнюю, Лубянку, что боялся доверять ей. Шарившая по карманам рука нащупала сверточек от Кашпарявичуса: деньги, паспорт и трудовая книжка. Он прочитал — и дух захватило от радости: Огородников Сергей Кириллович, родился 14 мая 1922 года в селе Никито-Ивделе Свердловской области, — да этот же паспорт был первым прикрытием в Москве! Да, тот самый, Кашпарявичус прибавил к нему внушительные довески, село-то стало городом Ивделем. Трудовая книжка и куча справок дают воображению простор и намечают легенду, — жить можно, еще как можно жить, всякий раз возвращаясь к исходной точке: сейчас не август 1948 года, а сентябрь 1945-го, стожок сена в белорусском лесу, бедолага, замерзший в нем, и коробочка из-под монпансье, куда упрятался паспорт. Все теперь завертится по новому кругу, нечего здесь сидеть, пора бежать, смерть всегда шла по пятам тех, кто приподнимал Природе юбки, но поздно, поздно мстить, все исподние тайны сгорели в печке. В восторге от собственной смелости Иван погрозил Природе кулаком, потом обозвал ее проституткой, которая прибавляет цену себе в тот момент, когда покупатель уже достает кошелек. Вскипел чайник на керогазе, Иван стал бриться. Природу он пощадил, оставил в покое, гнев перенес на муху, мешавшую водить бритвою по пенистому лицу. Она вилась над ним, садилась на зеркало, взлетала, кружилась у глаз, потом забралась на бредущую руку и щипнула ее так, что из надрезанной кожи высочилась кровь. Иван выругался, и муха, кажется, устыдилась, села на край стола и занялась хлебной крошкой. Слюною смоченный клочок газеты залепил ранку, лицо, сполоснутое водой из ведра, показалось Ивану чужим, что его обрадовало, ведь новая жизнь — это и свежие документы, и не свое лицо. стакан водки возбудил аппетит, от вскрытой банки со шпротами понесло пряностями, папироса внесла успокоение, тиканье ходиков напоминало о скорой и близкой дороге в неизведанные края. Иван раскрыл для изучения трудовую книжку Огородникова Сергея Кирилловича — и вздрогнул: кто-то

смотрел на него с издевательской ухмылкой. Будто ничего не заметив, он ленивенько обвел взором комнату, перефокусировал глаза и встретился, всего на долю секунды, со щупающим взглядом мухи, тут же притворившейся незрячей. Она сидела почти рядом, на полотенце, брошенном на спинку стула, и будто дремала; Иван видел ее так отчетливо, словно через окуляры сдвоенной лупы. Поначалу она показалась ему ничем не отличающейся от представительниц этого племени, но, приглядевшись повнимательнее, он обнаружил особенный признак — сизо-бронзовый оттенок брюшка и грудки, что характеризовало навозных мух, к роду которых эта особь никак относиться не могла: и размерами поменьше, и крылышки другие. Нет, эта муха определенно не вульгарная комнатная побирушка, кормящаяся объедками и наслаждавшаяся выделениями желез, потом и слюною, муха эта — посланница стаи, которая нацелилась на Ивана и подслала к нему малоприметную мушку для сбора сведений о нем. Разгадав тактику врага, Иван по замысловатой кривой обошел комнату и будто случайно закрыл окно, набросил крючок на дверь. Муха попала в западню, ей отсюда не улететь, ее надо уничтожить. Едва эта мысль пришла в голову, как дремавшая на полотенце муха ожила, отлепилась от прохладной и влажной ткани, лапки ее выпрямились, крылышки же сложились в презрительном недоумении, муха взмыла в воздух и села на зеркало в простенке, отражаясь в нем, сама на себя, лежащую, взгромоздясь. Иван намотал полотенце на кулак и разработал план атаки, основанный на том, что сидением на зеркале муха дезориентирована и нападение справа примет за удар слева, но, еще не взмахнув полотенцем, он понял, что муха умело распорядится собою, не отлетит ни вправо, ни влево, а просто упадет вниз, окажется в недосыгаемом пространстве между стеной и сундуком. «С-с-сволочь!» — выругался Иван громко, в ответ на что муха осклабилась, а потом и подмигнула, ее ничуть не тревожило то обстоятельство, что выхода, то есть вылета наружу, — нет, что она — во власти того, кто вооружен много лучше: как на детскую игрушку, глянула она на пистолет в руке противника, будучи в твердой уверенности, что оружие человек употребить не осмелится. По всей вероятности, догадался Иван, муха никак не была рядовым шпиком, топтуном, провокатором, на мушине Лубянке она числилась, без сомнения, следователем и прибыла сюда на предварительный допрос. Как заметил краем глаза Иван, муха выгнулась, перенесла центр тяжести вперед, задняя пара лапок огладила крылышки, что напомнило Ивану тощенького палача в гестапо, то, как он вытирал руки о ляжки. Не досылая патрон в канал ствола, громким щелчком взведя пистолет, Иван поднял его и прицелился. Муха насторожилась: никто еще не вел себя так нагло на допросах; матово-черное отверстие ствола было направлено в нее, она сжалась, и, когда Иван нажал на курок, когда тишину разорвал лязг металла, она бестолково метнулась к подоконнику, где и была настигнута полотенцем. Торжествующий Иван наклонился над телом поверженного врага и размазал его подошвою. Путь был свободен, можно было бежать, и через несколько часов Иван был уже за пределами Московской области. Он погрузился на самое дно России, чтоб вынырнуть в Ивделе и уточнить легенду.

В поезде, прущем на восток, он узнал о сессии ВАСХНИЛа и каре, настигшей науку. Он не испытал ни радости, ни горести, каждый летевший километр отделял его от Москвы, Минска, Ленинграда, от Клима, Никитина и Елены, и смешной причудой казались былые возбуждения.

Последние плоты унеслись Енисеем на север, к Дудинке, на речном вокзале Красноярска кучковались бездомные скитальцы, руки с пилами и топорами требовались повсюду, Иван добрался до Богучан и нанялся на лесобиржу, грузил доски, перекатывал бревна. Здесь его заприметил хваткий, умеющий все делать парень, предложил войти в бригаду, податься на соседний лесоучасток, им выделяют там делянку, лес хороший, пихта и сосна, нормы божеские. Иван подумал для вида и согласился, у него были свои расчеты. Зима запаздывала, до белых мух (снега) недели три еще, на-

стоящие морозы будут аж в ноябре, тогда-то и получится то, что задумал он. Шесть человек сколотилось в бригаду лес отвели ей богатый, не так уж далеко от поселка, норма (сорок кубов) немалая, но на вывозке другая бригада, жить в общаге можно, вычеты за кормежку не грабительские, местный народ не злой: адыгейцы, шорцы, из Литвы недавно привезли партию высланных. Пилоправом стал высокий седой старик в эсэсовских бриджах, у него двое детишек и молоденькая жена, почему он и не пускал никого в дом, но Иван заговорил с ним по-литовски, спросил, не слышал ли тот о Дануте Казисмировне. В общаге не дуло, пили умеренно, о себе предпочитали не рассказывать, начальник лесоучастка уважал законы бегло-ссылного края и никого не хотел знать по фамилии. Шли дни, Ангара дымилась, ожидая морозов, которые скуют ее. Того же хотел Иван. Работал он плохо, денег ему не надо было, одежды тоже. По утрам, когда пёхом одолевали пять километров, он всматривался в небо и считал дни оставшейся жизни. Работали без выходных, но на 7 Ноября загуляли, да так крепко, что и 9-го отказались идти в лес, два дня пили без просыпу. Никто уж и не помнил, когда в общагу втерся коротышка в танкистском шлеме, на потешной физиономии его с детства, наверное, оттиснулось желание «пошщупать» баб да повизжать вместе с ними. С собой он принес четыре бутылки питьевого спирта и накачал бригаду «до усрачки», она и потянулась утром 9-го в магазин, Иван остался, давно хотелось побыть одному. Лежал, закрыв глаза. Открыл их, когда за ногу дернул всех спровадивший в магазин коротышка. А тот сел на койку рядом, в голосе пугливый и жалостливый надрыв: «Ты Огородников, да?.. Сергей, да?.. Кириллович, да?.. Из Ивдели, ну?..» Иван понял, кто перед ним, и отпираться не стал, да и любопытство заиграло у гончих с Лубянки охотничий, понятно, нюх и азарт, а у Николая Огородникова, младшего брата Сергея, звериный инстинкт, что ли? Коротышка ведь шел по следам Ивана с конца августа, навел его на себя сам Иван, отметившийся в Ивделе — не по оплошности, а специально, решил на разведку боем и пошел в городскую библиотеку, предъявил паспорт, записался, надо было срочно почитать кое-что, узнать то, что — по трудовой книжке — умел делать Сергей Огородников. А младший, Николай, как назло, оказался настырным книголюбом, почитывал разное дерьмо, от «исторического» до «про войну». Библиотекарша показала ему формуляр однофамильца — и Николай бросился вдогонку, тут уж, наверное, инстинкт, но, прежде чем добраться до Богучан, побывал в трех леспромхозах, всюду спрашивал Сергея. Когда Иван рассказал ему о стожке сена — вроде бы поверил, убедило его то, пожалуй, что брат не один забрался в сено, с женщиной: Серега без бабы под боком шагу не делал, в баню и то норовил прихватить, страдальцем был по этой части. Вспоминая о нем, Николай тихо ревел, рукавом утирал слезы. Матка умерла до войны, бату забрали в армию осенью сорок четвертого, погиб под Будапештом, были родственники — на Украине, в Крыму, на Дальнем Востоке, да все пропали куда-то, а тянет к родне, тянет! Что стряслось с Иваном, почему живет по чужим документам, от кого прячется — ни о чем таком Николай не спрашивал, а уж выдавать его — и мысли такой не возникало. Сказал деловито: «Давай уж вместе топать по этой Сибири, братья все-таки...»

Его охотно взяли в бригаду, потому что полетели уже белые мухи, тайга скоро завалится снегом, а пилить деревья надо под корень, не выше тридцати сантиметров от земли, для очистки ствола требуется огребщик, вот пусть низенький Николай и дырявит сугробы собою и лопатой. Так и прижился он, родство его с Иваном признали, веселил он братву блатными песнями, знакомство с бабами начинал с того, что засучивал рукава и лез под юбку. Ангара никак не пряталась под лед, крошила днем нараставшую за ночь корку, но морозы уже подбирались, минус десять градусов, минус пятнадцать. Наконец ударило: под сорок, безветрие, дым из труб белыми столбами подпирал небо. Утром Иван пошел к литовцу править пилы, тот глянул на его валенки и сказал, что за подшивку возьмет недорого. Иван кивнул: да, согласен, вечером зайду. Ноги мерзли, это правда,

и это радовало. Бригада немного пошумела у конторы, но начальник день активировать не хотел, показал на градусник: всего тридцать восемь. Спорить не стали, на санях доехали до места вчерашней вырубki, распрягли лошадь, ее приспособили под трелевку бревен. Работать кончили раньше обычного, мороз перескочил уже за сорок, свирепел ветер. В километре от поселка Иван соскочил с саней, у него все было готово для задуманного. «Ты поезжай, я скоро вернусь, сеть на зайца поставлю, — сказал он спрыгнувшему за ним Николаю. И, зная, что тот — последний, кто видит его живым, добавил: — Не тужись, все путем будет».

Заскрипели полозья саней, ветер поднял снег, закружившийся вихрем. Была наезженная дорога — и нет ее, белая клубящаяся мгла окутала Ивана, напор ветра и снега развернул его и погнал туда, куда он и стремился. Падая, утопая, вставая, сдирая с лица ледяную корку, добрался он наконец до шатрообразных наростов, макушки которых чернели, вздыбленные ветром. Это были стожки сена. Иван повернулся к ветру, огляделся, но ничего, кроме снега и ветра, который сгустился до осязаемости, не увидел. Руки уже не чувствовали себя, но глаза еще различали свет и тьму. Он врылся в сено, которое подарит ему завершение и всей жизни, и фрагментов ее, и чувств, только здесь сбудутся детские мечтания о совершенстве круга, повторяющего в себе себя и все; концы и начала, сближавшиеся, но так и не сомкнувшиеся, наконец-то сольются в вечность. Отступали боли, изгоняемые радостями, ветер уже не задувал и не подсвистывал, им начал кто-то дирижировать, вразнобой зазвучали инструменты небесного оркестра, и порывом мелодии Ивана приподняло. Взметнулся вальс, и обольстительный запах духов заглушил музыку, оркестр захлебнулся, чтоб заиграть ароматно; увиделся подвал и Клим, одаренный пожатием руки златокудрой Елены; луг показался, и маленькая Елена срывала цветики, маня к себе Клима в ботаническом саду; Нева уже не текла, а покоилась черным зеркалом, отражая в себе диван, на котором Пантелей сек Ивана. Оркестровые рулады прорвали дыру в небесной сфере, чтоб сквозь нее взмыл к звездам Иван; навстречу ему летели — желтыми окнами ночного поезда — люди, о которых он забыл и которые радостно улыбались ему; блаженство пронизало Ивана: он триумфатором вступал во Вселенную, тайны которой разгадал на день или два раньше брата своего Клима, но ради него и ради Великого Покоя готов расстаться с тайнами, забыть про них, мокрых и соленых...

Вдруг до него стали доноситься тупые звуки, постепенно превращающиеся в удары, лицо ощутилось, он даже увидел его как бы со стороны и себя узрел наконец, лежащего на снегу, и кто-то бил по нему так, что боли он не воспринимал. Все вокруг было красным, а когда глаза нашли над собою свет, то и звуки возникли. «Ты, гад, убил Серегу, ты! От расплаты прячешься, суда людского боишься!» Николай кричал это, и завывающий ветер относил слова. Руки и ноги кололись длинными, с крючками, иглами, постанывали ребра. Зафыркала лошадь, затрясло, забулькало, Иван поперхнулся от вливаемого спирта. Он лежал у печки. «Зайца ему захотелось...» — с уничтожающим презрением провозгласил бригадир, хныкающий Николай гладил Ивану голову, где-то поблизости были эсэсовские бриджи. Возвращалась боль, тесня радость от побоев. Винился Николай: «Не ты убивал, не ты, понял я...» Он придвинул свою койку к Ивану и до утра рассказывал о себе, о Сереге. Как жить дальше — не говорили, но и так все ясно: вместе, но не здесь.

Бригада подалась в Мотыгино, а Иван и Николай устроились на лесобиржу. Хорошо платили на раскряжевке хлыстов, Иван поработал там три дня, мог бы и больше, но Николай вцепился, повис на нем: не пущу! Смирил Ивана, да тот и сам понимал, что в мозгах его — чехарда, глаза замороженно смотрят на сверкающий круг циркулярки, ноги спотыкаются ни с того ни с сего, бывали случаи — на ровном месте падал вдруг. Работа нашлась им — на укладке шпал, плывших по транспортеру, и платили не так уж мало, зато почти безопасно, руки-ноги не ломаешь, если не

спяну различать цифры, поставленные сортировщиком на торцах шпал, они, разного размера и сорта, тащились лентою вдоль штабелей, надо было вовремя усмотреть, где какую шпалу сбрасывать, хватаясь за нее сзади, потому что цапнешь спереди — и шпала вопрется в тебя, раздавит о штабель. Управлялись вдвоем играючи, свалят шпалы, потом — до новой партии — успеют их уложить, на перекур еще оставалось минут десять. Из общаги ушли, слишком там пили, сняли комнату у фельдшера. Спать Николай ложился у самой двери, сторожил сон Ивана, его оберегал, к начальству не подпускал, сам ходил лаяться насчет расценок и тарифа. Утром вставал часом раньше Ивана, вздувал печку, делал завтрак. Нанес из библиотеки книг и читал их запоем — об Отечественной войне 1812 года, о Гарибальди, про декабристов, поселковых и биржевых девушек называл то барышнями, то синьоритами, то паненками. Собачонкою бежал впереди Ивана, когда шли на работу или в магазин. Привел как-то Ивану новенькую, дивчину выше на голову, смущавшуюся оттого, что она высокая, и потому ссутуленную. Остановилась она в дверях, всматриваясь в Ивана, а впечатление было такое, словно не на полу стоит она, а на льду и на нем не держится: от жажды жизни и движений руки хваталась за что-то невидимое, ноги расходились; брови писаные, щеки горели, от дивчины дохнуло жаром, как от печки. Глянул Иван в зеркало на себя — и стыдно стало: так постареть, так измениться!

В конце марта штурмовали квартальный план, работали по две смены подряд, Иван устал, погрузчики не успевали отвозить штабеля, шпалами завален проход, и как-то так получилось, что ехавшую по ленте шпалу из листовенницы Иван решил сбросить, стоя лицом к движущемуся транспортеру, чтоб не тащить ее лишние десять метров: листовенница — самое твердое и тяжелое дерево, оно и в реке тонет, но и платили за нее щедро. Схватился за край, дернул — и не смог повалить, а шпала уперлась в него и стала подталкивать; шаг за шагом отступал Иван, пока спиной не коснулся штабеля; шпала давила, уже потрескивала грудная клетка... Откуда-то взявшийся Николай плечом поддал шпалу и упал на Ивана, зарыдал в голос, по-бабьи: «Что ж ты со мной делаешь, братик?.. Не проживу ж я без тебя!..» Иван отплевался красными сгустками, упал перед Николаем на колени, умолял не держать на него зла, потому что не хотел он вовсе быть раздавленным, не искал смерти, он жить будет, жить!.. Кое-как поукладывали шпалы, пришли домой, фельдшер прощупал Иванову грудь и сказал, что беды не случилось.

В апреле допилили завезенный на зиму лес, народ с биржи перебрался в сплавную контору, Николай же получил в Богучанах письмо, его умилившее: отыскался двоюродный дядя, с бабой своей живет не так уж далеко, в Новосибирской области, при них — внучка без отца и матери, ухаживает за старыми, из сил выбилась. Дядю, как помнил Николай, раскулачили в тридцатом и сослали вместе с детьми, а их пятеро, все мужского пола, по письмам и по слухам — кто умер, кто сидит, кто погиб, — так не податься ли туда на времечко, родня все-таки, потом уж и до Белоруссии доберемся, перезахороним Серегу.

Стожок сена и вознесение к небесному чертогу не забывалось, смерть не удалась потому, что не все прожитое повторено; Иван согласился, да и запасной паспорт был уже добыт, и что ждет их у родни — не думал, не гадал, вновь прошлое отразится в будущем, спирально текущий жизнепоток родит еще одну ленту событий. Катер через Енисей, автобус, поезд, попутка — только в мае увидели родню, помирающую с голода, огонь в печи, на которой подыхало кулачье, поддерживал в них жизнь, в избе — ни зернышка, ни картофелинки, из живности — внучка, краснощекая, горячее печи, рука Николая тут же нырнула под юбку, спикировала на вырез в кофте. «Да пужаные они, пужаные!» — трещала внучка, когда старик и старуха отказали Николаю в родстве, прощамкав: никаких Огородниковых не знаем и знать не хотим. Кулачье сняли с печи, уложили на лавки, развязали сибирские гостинцы, влили медку в черный зев беззубого дяди, тетка учуяла съестное, открыла глаза: «Табачку бы...» Иван подавленно курил,

хотелось, как в партизанах, чесаться; нищета здесь — хуже белорусской, стариков из колхоза выписали за недоработку трудодней, внучка, секретарша сельсовета, ответившая на письмо Николая, получала два килограмма ячменной муки в месяц, но богатеи в селе водились, снарядили к ним внучку, дали денег, та принесла самогон и молоко, затопили баньку, вымыли стариков, попугали тараканов и клопов, внучка Николаю уже расквасила нос, а тот не унимался, допытываясь, целка она или уже порченная. «Кем?» — ахнула внучка и пустила горькую девичью слезу: с войны ни один парень в село не вернулся, в городе сплошь женатые, немцы пленные там кирпичный завод строили, так она отвела одного в кусты, разделась, бери меня, сказала, а тот замотал головой, заплакал, «найн», ответил. «Фашист!» — рубанул Николай и назвал дядину внучку «мамзелью», кем она ему приходится — узнать не смог, кулачье упорно отказывалось признавать его двоюродным племянном, хотя от имен своих сыновей не отрекались; седьмая вода на киселе Николая никак не устраивала, предложил он следующее: ежели внучка здешняя начальница, то имеет же она право записать себя женою — либо его, либо (он кивнул на Ивана) Сереги! Та подумала и согласилась, с кем именно расписаться — это уж пусть они сами решают, но нужен ей мужик с хорошей характеристикой. Николай задрыгал ногами, повалясь на пол, хохотал и плевался: «Мы тебе сейчас покажем свои характеристики, но учти: если не целка — из дома выгоним!» Покалякали еще немного, легли спать, от стерлядочки, сала и меда внучка мучилась животом, утром ее собрали в город, надо было купить хоть платишко на свадьбу, водки настоящей, консервов, перед дальней дорогой она отвела Ивана в сельсовет, посадила у телефона, четыре звонка, сказала, — это Большие Черданцы, три — Валуйкино, а два — это мы. Достала чистый лист бумаги, пиши, потребовала, положительную характеристику себе, а Николая заберу с собой в город, чтоб не мешал тебе, с дедом поладь, он хитрый. На красной тумбе — бюст Иосифа, духота в сельсовете, топят в мае по-декабрьски, Иван обрадовался дождю, тучам, обложившим небо. Затренькал телефон, район обзванивал деревни, колхозы давали сводки, и чтоб не опростоволоситься, Иван снимал трубку при каждом вызове, вникая в ход ~~посевной~~ посевной, уже начавшейся на юге области. Потом прощупал провод, спадавший со столба и пролезавший в дырку над крыльцом, надкусил его, замкнул избу и поплелся к старикам. Долго стоял у мешка с продуктами, надо бы взять с собою побольше, только что услышал он, как у валуйковского инвалида, сидевшего в сельсовете, район спрашивал, не прибывали ли к ним два сибиряка по фамилии Огородниковы; старики уже ходили, но так неуверенно, что с крыльца не спускались; их в больницу бы, в госпиталь, но сами себя выходят, еда есть — решил Иван, заматывая в тряпицу двухсотграммовый шматок сала, с ним и ушел на большак, под проливной и долгий дождь, который кончился только в Семипалатинске, куда Иван прикатил через двое суток, Ташкент же встретил его удушающей жарой, к которой надо было привыкать. Обритый наголо, он смотрел на себя в сиреновом зеркале базарного парикмахера и находил, что дед его, пензенский купчина, жил когда-то в этих краях и, возможно, родом отсюда. В древнем восточном городе нашлась женщина, исполнившая обязанности путевой обходчицы, той, что приютила вышедшего из леса Ивана в сентябре сорок пятого, она обучила его вымачивать баранину в уксусе и жарить шашлыки, у мангала он и стоял, в халате, на славянской макушке — засаленная тубетейка. Стали дни короче — пристроился к геолого-разведочной партии, ушел с нею в пески, лишь через год осмелился он забрать спрятанные под Москвою сберкнижки, но ни на одном, даже самом безопасном, месте усидеть уже не мог, его мотало по пустоши, населенной двумястами миллионами соотечественников, его съедала мошка на Иртыше, в Доме колхозника под Читой полюбила его синеокая бухгалтерша, и он убежал от нее, потому что называть ее надо было так: Елена. А та, настоящая, в обнимку с Климом гуляла по райскому саду, под пологом плодоносного пласта планеты, не ведая,

что раз в году ее видят бесслезные глаза Ивана. Шоссейные и железные дороги свивались клубками, в больших разноязыких городах он прятался, впадая, как литовский медведь времен Ягайлы, в спячку, но каждый сентябрь неизменно прохаживался по проспекту Карла Маркса. Студентка получила диплом и по утрам ехала не на Васильевский в университет, а в Эрмитаж, она умирала и возрождалась в женщинах, которые всегда красивы на загрунтованных холстах; она ходила в кино, ситро и мороженое покупали ей в буфете артиллеристы и летчики, она поощряла их и отвергала, расчищая дорогу тому, кто будет похожим на красного хирурга Баринова Л. Г. Заснеженные стожки сена уже не манили Ивана, никто не звал его и в братья; на песке одесского пляжа он расстелил мокрую газету и прочитал об Уотсоне и Крике, слепивших наконец-то модель двуспиральной молекулы ДНК; он подумал о британской скуке, о том, что ему суждена долгая жизнь, а Клим, который в вечности, не скоро дождет тех, кто повторит сделанное им.

Над Казанью гуляла вьюга, напоминая о раскаленных песках Кызылкумов; бешеные ветры обрушивались на палатки геофизиков, к звездам унося вырванный брезент с болтающимися колышками; в жесткую мякоть сосны надрывно вгрызалась бензопила, ночную тьму разгоняли фары груженого щебнем самосвала; «Начальник, давай расчет!» Он успел, он увидел того, кто когда-то был обласкан Реввоенсоветом, которого теперь допустили к учебе в Военно-медицинской академии; не заметить научную сотрудницу Эрмитажа этот любознательный очкарик не мог, выбор дочери одобрила мать, эскулап чтит и тещу, и квартиру на проспекте, внушавшую загадочный для него трепет. Иван загибал пальцы, высчитывая: когда? Через Киев добрался до Минска, шел, как по лабиринту, меж могил, приближаясь к святому камню; пятнадцать лет родители ждали его, моля и негодуя, радуясь тому, что он еще жив и не скоро соединится с ними, и если уж кого встретят в ближайшие годы, то старого друга Никитина, который обворожил дочь погребенного рядом гражданина, имел теперь все права на загробный мир в разрешенном месте, он иobelisk воздвиг себе заблаговременно, не указав, естественно, даты смерти и — пущей осторожности ради — выбив на мраморе лишь первые буквы фамилии («Ни...»), намекнув на незыблемость своих прижизненных принципов. А научная сотрудница взяла декретный отпуск, настал и день, пронизавший Ивана радостью, счастьем, он стал не одиноким, и родился, конечно же, мальчик. Год выдался с ветрами и дождями, поздней осенью атлантические штормы закупорили устья великих рек, воды их поднимались, чуткие к непогодам детеныши хныкали, заливаясь криками.

«Он чем-то напуган, — сказал, склоняясь над сыном, врач больницы, что на берегу располневшей реки. — Возьми его на руки, Беата...»

Жена заснула, прижимая к себе сына, ей снилось что-то страшное, будто бы вор забрался в квартиру и польстился на детскую кроватку.



О ЧИЕРКИ И НАШИХ ДНЕИ

Б. ЕКИМОВ



НА РАСПУТЬЕ

Думаю, многим памятен кремлевский «пир победителей» в конце 1993-го, после выборов в Думу. Назначали его загодя, в твердой уверенности, что победу одержит и обретет большинство «Выбор России» и те, кто рядом. Все шло по-намеченному: дармовое шампанское, музыка, сияющий светом зал. Не хватало только результатов выборов. Их ждали с минуты на минуту. И наконец объявили. Победили, как оказалось, не те.

Тогда и произнес в негодованье ли, в неудоменье один из участников пира:

— Россия. Ты одурела!

Сказано это было на весь мир. И долгим эхом повторялось и повторяется во всех концах: «Россия одурела... Одурела...» Одурела — и весь сказ. Для одних это — радость, для других — боль, для третьих — просто отгадка. Что ж, не впервой такие слова, еще и довольно мягкие.

Россия велика и поныне: тысячи и тысячи верст из конца в конец — путь долгий, тем более если мерить его дорогами полевыми, от селенья к селенью.

Мой путь — короче: он — в родных краях. Но это — тоже великая Россия, нынче — край ее.

В Волгограде, в палящей июньской жаре, в бегах да в делах, захотелось пить. Подошел к одному киоску, к другому: бутылку бы минеральной — «Волгоградской», «Ергенинской» или какой другой. Нашлась лишь вода австрийская, в пластмассовой бутылке. Спасибо ей, утолила жажду. Но когда пил, среди городской жары, раскаленного камня и асфальта, вдруг вспомнил о наших родниках в Задонье: Калинов-колодец, Фомин-колодец, родник у кургана Хорошего, у Маяка, на Мордвинкином поле... Немало их — ключей, родников, колодцев. Но было больше.

Такое вот вспомнилось в жарком городе, когда пил я австрийскую воду. И тогда решил: надо ехать к Белому ключу.

В Калаче-на-Дону, в моем городке районном, в редакции тамошней газеты, сговариваясь о поездке, встретил знакомого. Тот поведал мне радостно, что здесь уже целую неделю гостит американский миллиардер. Визит его — деловой: объезжает калачевские земли, осматривает, а потом пришлет группу специалистов.

— Цель? — спросил я.

— Составить план, по которому мы должны выйти из нынешнего развала в сельском хозяйстве, — ответили мне.

— Дай Бог, дай Бог...

А что еще сказать? Бизнес-планы да бизнес-проекты, желательно с привлечением иностранного капитала. Протоколы о намерениях... Умные разговоры под русскую водочку или без оной. Сколько их...

Назавтра была дорога, довольно тяжкая. Асфальтом, а потом дорогой полевою выбрались к Осиновскому стану. Когда-то был хутор Осиновский, потом разошелся. Разобрали часовню, в которой молились, школу, в которой учились. Но бывшую школу привезли сюда, сладили из нее помещение для жилья механизаторов. Назывался — Осиновский полевой стан. Рядом ток. Потом и полевой стан забросили, выломав окна, полы и двери.

Но нынче подъехали мы, а полевой стан — живой. Навешены новые двери, еще не крашенные. Окна — целые. Под крышей, в комнатах, — застеленные кровати. А людей не видать. Живого человека наконец углядели в стороне, он полол мотыгой заросшую арбузную бахчу.

Тимофей Константинович Пономарев, семидесяти лет от роду. Росту, стати, сложению его можно позавидовать и теперь. Могучий уродился казак на хуторе Тепленький в 1924 году. В свою пору он отвоевал с 1942-го по 1945-й. А потом жил и работал на хуторе Осиновском шофером, трактористом, бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Хутора уже нет, но осталась просторная усадьба Пономаревых: задичавший сад, колодец, остатки фундамента.

Тимофей Константинович в 1984 году ушел на пенсию и перебрался в райцентр. Одолели приезжие: чеченцы, иные кавказцы. У них законы другие: скот пасем на хлебах, темная ночь год кормит. А непривычному к таким порядкам бригадиру на непрестанные укоры его ответ ясный: «Договоришься... Научим жить».

Пономарев вышел на пенсию и уехал, как и другие его земляки. Хутор остался во власти пришлых.

Теперь — год 1995-й, кончается жаркий месяц июнь. День-другой — и начнется уборка хлебов. Но есть ли что убирать?

Стоим, озираем округу. Она — просторная. С холма на многие версты видно. И лишь три малых лоскута бронзовеющих пшеничных полей. Справа — поле Пономаревых, прямо, за балкой, — поле Карасевича, поле Каледина. Вот и все.

Пономарев и бывший агроном отделения на память знают окрестные поля, называя их: «370... 120... 112... 136...» Это было когда-то: 370 гектаров да 136 гектаров пшеницы ли, ячменя. А теперь все брошено: не пахано и не сеяно. Вон там огромное, на 500 гектаров, поле Таловое, одно из самых лучших полей округи — каштановые почвы. Только что были на нем, букеты собирали: ромашка, осот, молочай — весь ботанический атлас. Только хлебного колоса нет.

— Раньше здесь на току семь полотен хлеба насыпали, — вспоминает Пономарев.

Семь полотен — это семь хлебных «бунтов» на семи подготовленных площадках. Так было когда-то.

В 1984 году Тимофей Константинович переехал с семьей в районный центр, а вернулся сюда, когда начали давать землю. В ту пору его сыновья — Анатолий и Владимир Тимофеевичи, — оба механики по сельхозмашинам, работали в райцентре. Но начались перемены, нелады с зарплатой, неуверенность в дне завтрашнем. Решили взять землю на родине, возле хутора Осиновский. Теперь хозяйствуют. Семьи — в райцентре, в Калаче. А работа здесь. Здесь 300 гектаров земли, а теперь еще 100 прибавили. С нынешней весны выпросили у «Голубинского» — бывшего совхоза, ныне коллективного хозяйства — вот этот полевой стан, хозяйству уже ненужный и разбитый. С ранней весны Тимофей Константинович, хозяйничая топором да пилой, новые двери навесил, настелил полы — словом, навел порядок. Теперь здесь можно жить, трудясь на своей земле.

— Как живем и работаем... — отвечает на мой вопрос Пономарев-старший. — Особо нечем хвалиться. Один у нас трактор ДТ. А как в семье одно дите — не дите, так и один трактор — не трактор. В две смены на нем работаем. Передых ему — лишь в обед. Тогда я рукава засучаю, смазку ему, кое-чего подтяну, подделаю. И снова в борозду. Кричи, а нужен другой трактор. Но где его взять? Комбайн один на пятерых хозяев. Культиватор — чужой. Хромаем на обе ноги. Как не хромать, если со всех сторон за зебры ухватили и душат. Спасибо, у сынов жены терпеливые, своими зарплатами их держат. А то бы вовсе конец. Землю получили запущенную, сплошной осот. Два года ее чистили. Нынче думали хороший урожай озимки взять. Посеяли числа двадцатого, в августе. И через день дождь пошел. Духом воспряли. А теперь вот такая сушь стоит.

Добавлю к рассказу Тимофея Константиновича, что «озимка» его в краях голубинских, по словам специалистов, самая лучшая. И хоть долгая жара ее «подсушила», но по 15 центнеров с гектара должна дать.

Но и нынче Пономаревы не разбогатеют, даже если вовремя уберут свои 200 гектаров озимой пшеницы. Долго они думали, но заключили контракт с корпорацией, взяли кредит и купили комбайн. Иначе вся их пшеница могла остаться неубранной.

— От земли не станешь богатый, а будешь горбатый, — говорит Пономарев. — Работаем все. Внуки уже помогают, за рулем, за штурвалом. Но богатства не видно. И все здесь такие хозяева, тутошние фермеры.

Беседуем с Тимофеем Константиновичем, а внизу, под бугром, в зелени балки, льется сияющая под солнцем струя Белого ключа. Прежде ключ был обделан камнем. Сейчас торчит железная труба, льется вода. Вкус у нее — особенный. Говорят, что она — серебряная, целебная. Пьешь — не напьешься.

Вспомнил другие ключи, которых теперь уже нет. Тут нет загадок. Земля смыкает уста, еще вчера цедившие влагу, чувствуя, что эта вода уже не нужна пастуху, косарю, пахарю, просто путнику. В Задонье их все меньше и меньше.

Но еще остались у земли работники. Вот он, передо мной. Рослый, большерукий, в замасленном картузе и такой же спецовке. Четыре года отвоевал, а все остальное время на земле работал. Ему семьдесят лет. Чего ему надо? Богатства великого? Он точно знает, что его не будет. Сейчас вот мотыгою арбузы пропалывает. Завтра — горячая пора уборки. Он и помрет когда-нибудь здесь, ткнувшись головой в пашню или жнивье. И не надо гадать, почему этот семидесятилетний ветеран, пенсионер не сидит в райцентре на скамеечке, в карты не играет, водочку не пьет, не ходит по начальственным кабинетам, выбивая себе «ветеранские льготы».

И если бы государство поступало по-доброму, с далеким взглядом, с мудрым экономическим расчетом, обеспечив кредитом для покупки техники ту же семью Пономаревых, то они бы и 1000 гектаров потянули. Конечно, кредит не под 213 процентов и не на два-три года, а на пятьдесят, на сто лет. Под залог ли земли, по-иному ли. Придумывать тут не надо, существует мировой опыт, в том числе и наш, российский, например времен Столыпина.

Но у нас, сверху и снизу, какая-то надежда на чудо. Вот американский миллиардер в Калач-на-Дону приехал. Как много нынче надежд на американских миллиардеров! Есть ли время о Пономаревых думать, помочь им? Да и запросы у Пономаревых не масштабные. Разуверившись в помощи значительной, просят они три сотки земли возле Осиновского полевого стана. Здесь их техника, здесь их жилье. Два года лежит разобраный склад-ангар. Негде его поставить. Но земля принадлежит коллективному хозяйству. «Дашь им клочок — они потом все оттяпают, — боится правление. — Отказать!» Склад поставить негде, а значит, некуда зерно ссыпать. Кто поможет? Государственные мужи заняты великим: референдумы, выборы, новые партии, блоки, кремлевские свары и ко всему еще и война. До пахарей ли...

— В фермерство в первые годы пошли многие лучшие люди села, можно сказать, элита, — поделился как-то со мной своими выводами опытный сельский руководитель, прошедший школу председателя колхоза. — Пошли агрономы, инженеры, экономисты, которым надоели плохая работа, вранье, показуха. Они поверили государству, которое их обмануло.

Не только инженеры и агрономы, добавлю я, но и часть лучших механизаторов — таких, как Пономарев. И свои двести ли, триста ли гектаров земли они бы всегда обработали, с доброй помощью в начале пути.

Во времена прежние, когда в крестьянской России делились семьи, отец сыну не только клочок земли давал, но и тягло, инвентарь, семена. Чтобы не по миру сынок пошел, а сразу в работу. Нынче — иное. На словах высокая власть ратовала за фермерство: «Наше будущее! Наш завтрашний день!» А что кроме слов? Лишь обман за обманом.

Они ведь не только хотят, они умеют на земле работать. Пономарев, Дубовов, Каледин. Они не чета тем «фермерам» — лодырям и пьяницам, которые землю брали, чтобы... бурьян разводить гуще, чем в совхозе. Вот они, их поля, по колено в осоте. Хлебных же полей, повторю, лишь четыре: Пономаревых, Каледина, Карасевича да совсем малое — Дубовова. Четыре клочка, словно четыре родника в жаркой пустыне.

Нет, не приезду американского миллиардера надо радоваться, а тому, что живет и работает возле Белого ключа русский пахарь Тимофей Константино-

вич Пономарев с сыновьями и внуками. Дай ему Бог здоровья и долгих лет. Без него пересохнет тот невеликий ручеек, который течет год от года.

* * *

Было время, когда здесь, возле хутора Большой Набатов, на донских берегах, в летнюю пору — не протолкнуться: машина — возле машины, палатка — возле палатки. Отдохнуть, покупаться в Дону, рыбки отведать, арбузов и прочих овощей да фруктов съезжались москвичи и ленинградцы, волгоградцы и ростовчане, украинские шахтеры и тюменские нефтяники. Нынче же — тишина и безлюдье. Лишь наша машина ночевала на донском берегу.

Тихое утро. Поднимаюсь на высокий прибрежный курган. С него далеко видать. Для подмоги — бинокль. Предо мною в ложбине, в устье речки с милым названием Голубая, лежит хутор. Вокруг него — курчавая зелень займищного леса, зеленые поляны, луга.

Хутор дремлет в утренней тишине. В огородах кое-где копошатся люди. Старый Вьючнов поливает из шланга картошку. Огород у него просторный. А годы немалые — за восемьдесят. Вижу, как по пустынной улице идет от дома бригадир, направляясь к машинному двору. Хотя «машинный двор» понятие для этого хутора условное. На выгоне грудится техника, ломаная и гожая. Там же — цистерна для топлива. Пустая. Может, лишь на донышке — неприкосновенный запас, «для крайнего случая». Там же крохотная, полуразваленная мастерская — кузня, как их раньше называли.

Время — месяц июль, позднее погожее утро. Хлеба поспели: бронзовеет пшеница, серебрится ячмень. С горы все поля видны: набатовские, евлампиевские. Тишина и покой. Зелень, желтизна поспевших хлебов, синева тихого Дона.

На хлебных полях, у колхозной скотины, возле кузни — никого. Бригадир, один-одинешенек, сидит, ждет.

Вчера мы с ним долго разговаривали. Он — здешний, хуторской. Считай, всю жизнь прожил в Большом Набатове. Тракторист, комбайнер, теперь — бригадир.

— Как жить... Как работать... — вздыхал он. — У нас один комбайн. Начал сегодня молотить, комбайн сломался. Чиним. А чем ремонтировать? За два года ни одной запчасты не получили. А теперь и вовсе: за долги электричество в машинно-тракторной мастерской, на центральной усадьбе, отключили. Пора уборки.

Во время нашего разговора вдаль поднялся столб дорожной пыли. Это гусеничный трактор катил, с культиватором.

— С поля? — спросил я. — Солнце вон где. Пять часов времени, еще работать и работать.

— Нароботались, — ответил мне бригадир. — Вон и другой работник пылит. В четвертом часу выехали.

— Рано, — сказал я. — По холодку.

— В четвертом часу дня, — уточнил бригадир, — еле выгнал их. Уже наработались. А сколько наработали? Спросите их. Сейчас подкатят «орлы».

Подкатили и вправду «орлы» — молодые ребята.

— Чего приехали? — спросил их бригадир.

— Шестой час. Конец рабочего дня.

— Да он у вас и не начинался, рабочий день.

— Мы ремонтировались.

— Ну так и работали бы. Чего ездили зря?

— Конец рабочего дня. Надо, сам поезжай... А мы...

Пошли речи известные.

За два дня двумя тракторами «орлы» прокультивировали 37 гектаров паров. Норма же на смену одной машиной — 40 гектаров.

— Как работать, как жить... — сокрушался бригадир. — Ведь мы же от результатов работы и получать будем. А что получать? Завтра не пушу их на поле. Пусть стоят. Тракторы будут целей и горючее, чем такая работа.

Это было вчера. Нынче — воскресный день. Пора уборки. В полях — ни души.

В этом коллективном хозяйстве с января по день нынешний, июльский, работникам платили один раз по 30 тысяч рублей, к празднику. И — все. В прошлом, 1994 году осенью расплачивались овцами да коровами. Денег не было. Одни долги.

В начале года договорились платить каждой бригаде по результатам сделанного. Собрал урожай — получи 10 процентов от него. Вырастил скот — получи 10 процентов от привеса и от полученных телят

Плохо ли, хорошо, но что-то посеяли. Теперь пришла пора убирать урожай. Жаркое лето. Плохие хлеба, но поспели они, и других не будет. Девять часов утра, а в поле — тишь. Но я привык мерить все старыми мерками: хлеб поспел, дни жаркие, ни ячмень, ни пшеница долго стоять не будут, осыпятся. Какие тут могут быть воскресенья!

Потом, во второй половине дня, я возвращался в Калач. Пятьдесят километров пути. Ни одного комбайна не увидел. Ни одна машина с хлебом мне не встретила. Поистине глухая пора уборки.

По дороге попадались лишь легковушки. Это селяне возвращались с райцентровского базара. Кто-то продавал там мясо, кто-то — творог, сметану, яйца. Жить-то надо. Повторю: за шесть месяцев лишь единожды получили они по 30 тысяч рублей.

* * *

На хутор Павловский, в Алексеевский район, к давнему знакомцу Николаю Милованову нынче прибыл я ко двору вместе с сеном. Но если в прошлом году я с радостью помогал ставить скирд ли, стог, то теперь за вилы браться не хотелось. То ли сено, то ли дрова? Будылья осота чуть ли не в руку толщиной, седые головки пуха-семян. Поднимешь навильник, по ветру — туман. Летит пух.

— Такое сено лишь козам класть, — говорит Николай. — Чего-то обгрызут, остальное — в печь. Тем более что угля на топку второй год не покупаем, денег нет. Двести тысяч рублей с лишним за тонну просят. Мне нужно на зиму три тонны. Значит, шестьсот тысяч. Это как раз столько, сколько я заработал за два года: девяносто четвертый и девяносто пятый. Но денег этих я не видел, лишь обещают отдать. Вот и приходится топить, как в старые годы, кизяками.

Итак, два года здесь не платят зарплату, записывая ее на бумажках в колхозной бухгалтерии. Порой в счет этой «зарплаты» дают постное масло или килограмм-другой колбасы (в колхозе пустили свой колбасный цех).

Денег в колхозной кассе давным-давно нет. А когда они и появляются, то идут на нужды первоочередные: горючее для техники, запчасти. Но всего этого — внатяг. И потому хорошо, если треть колхозной пашни кое-как, но обрабатывается. На остальной — не первый уже год растет всякий бурьян. К зиме — кормов нет. Покупать не на что. Придется, видимо, свиноферму закрыть. Того же колхоза когда-то огромный свинокомплекс в соседнем хуторе уже закрыт, помещения и оборудование растаскиваются. Остаются коровы и молодняк. Для них кое-какие корма на зиму запасают. Но жить они будут явно впроголодь.

Грядущая бескормица для скота — беда не только этого колхоза. Во всей округе и во всей области поголовье крупного рогатого скота и нынче значительно уменьшится. Нет кормов. И если прежде, при засухе, везли селу не только из Ставрополя и Краснодар, но даже из Прибалтики, то нынче помощи ждать неоткуда. Крупный рогатый скот, коров, маточное поголовье, будут вырезать. В сентябре — октябре сдать скот на мясокомбинат будет очень трудно. И потому уже сейчас, загодя, дальновидные хозяева начнут забой

Такая вот жизнь. Не больно укладывается она в привычные понятия: два года зарплату не выдают людям, а ведь зарплата не та, что у шахтеров, нефтяников, железнодорожников. За два года лишь 800 тысяч «набежало» у свинаря Милованова. Не отдают их. А это значит, что работал и работает он бесплатно, как и другие здешние колхозники.

На хуторе Павловский живут не только колхозники, но и фермеры. Два ли, три года назад, когда фермерство лишь начиналось, прикидывали мы с

председателем здешнего колхоза: кто может работать самостоятельно? Таких было немного. Братья Березневы, Иванов с товарищами. Прошло время. И оказалось, что даже они не смогли. Почти все снова вернулись в нищий колхоз... Не от хорошей жизни!

* * *

Название села — Громославка. Но особо громкой славы оно не обрело. Лишь в последние годы приходилось слышать: «...в Громославке колхоз разошелся», «...в Громославке весь скот перерезали...».

И вот она, Громославка Октябрьского района. Обычное наше степное селение: в низине, над речкой, в зелени садов. На самом въезде — пекарня и запах свежего хлеба, людская толчея. Тут же, под одной крышей, — хлебный магазин. Подъезжают, подходят. Не «четвертушками» да «половинками» берут, а две, три, четыре буханки. Как и обычно на селе.

Слава Богу, хлеб есть. Хотя пекарня и магазин при ней уже не колхозные, а частные. Три года, как нет колхоза в Громославке.

Но жизнь продолжается. В школьном дворе ребячий галдеж — последние дни учебы. На улице, возле магазинов и помещения сельской администрации — тоже народ. Утренние заботы.

А поодаль стоит двухэтажное здание бывшего правления колхоза. Возле него — пусто. Лишь забытый стенд с заголовком: «Колхоз «Дружба» в 12-й пятилетке».

В 1929 году был создан колхоз «Дружба». В 1989 году он отпраздновал свое шестидесятилетие. Работали в колхозе около 500 человек. Пахали землю, сеяли хлеб. Овец было 12 тысяч голов, крупного рогатого скота — до трех тысяч, свиноферма, птицеферма — все как положено. Урожай, надой, привесы были средние. Но вот вопрос, который задал мне П. И. Дубровченко, бывший чабан, скотник, учетчик, колхозник с 1953 года:

— Откуда возьмет страна то мясо, молоко, шерсть, которое давал наш колхоз? Из-за границы?

Вопрос резонный. Потому что овец в Громославке практически не осталось. А было, напомню, 12 тысяч. Свиноферма, птицеферма, молочнотоварная ферма — все ушло, ничего нет.

На выезде из Громославки, возле дороги, — остатки одной из кошар, где размещались овцы. Капитальную кошару кирпичной кладки поделили бывшие колхозники на погонные метры и развезли по домам.

Вот один из новых хозяев долбит ломом, разбивая свой кусок стены, — три или пять метров кладки ему досталось. Разбивает, разбивает по кирпичику, кидает в кузов грузовика, говорит: «Дома сгодится. Не пропадать же добру». Шиферную крышу тоже поделили. Но больше, говорят, побили.

Собеседник мой — шофер, механизатор, тоже бывший колхозник:

— Разошлись... Да не разошлись, разогнали нас. Приехало начальство из района, говорит: расходитесь, колхозной кассы больше не будет, живите сами. Вот мы и разошлись. Говорят, сбивайтесь кучками. Нас сбилось двенадцать человек, земли около девяти сот гектаров. Но при дележе имущества техники нам, считай, не досталось. Нечем землю обрабатывать. Ходим, у людей просим: «Дай вспахать...» Ждем, пока они свое посеют, потом нам дадут. А сроки прошли, сорняк поднялся, все забил. За два года мы ничего не заработали и разбежались. Сейчас у меня пай лишь жены, сестры, матери. Семьдесят пять гектаров. Долгов — шесть с половиной миллионов рублей. Брал кредиты на горючее и запчасти. Плачу проценты, а зерно, будет или не будет, — лишь летом девяносто шестого года. Сейчас у меня пары. О чем говорить, чего с колхозом сравнивать? Я — хозяин? Чего хозяин? Долгов или трех метров кирпичной стены, которую я колупаю? А ведь строили... И была тут животина. А начали дележ — передохла, разворовали, ничего не осталось.

Колхоз «Дружба» разваливался по сценарию, для тех лет обычному. Действие первое: из колхоза выходит какой-нибудь главный специалист, но не один, а с группой лучших механизаторов. В 1990 году ушел из «Дружбы» экономист В. М. Комлев, с ним семь механизаторов. Земля есть, техника есть. И нет колхозной обузы — «социалки» (школа, медпункт, детские ясли, водопро-

вод и т. д.), которая забирает уйму денег, нет животноводства, которое убыточно, нет кучи управленцев, нет лодырей и пьяниц. И потому «выходцы» в первый же год если не «Жигули» да «Волги» покупают, то явно выделяются своими доходами. На хуторе ли, в селе — все это как на ладони. На следующий год, вдохновленная их примером, уходит из колхоза новая группа людей, притом не худших. Так было и в «Дружбе». В 1991 году второй волной ушли шоферы, механизаторы. И колхозу пришел конец.

— Лично мы стали жить лучше, — говорит молодая женщина, жена механизатора. — И другие тоже. Люди машины купили. Но пенсионерам, конечно, хуже. И всему селу хуже стало. Были все вместе, а теперь каждый за себя. Друг у друга воруют...

Еще один собеседник, тоже механизатор с солидным стажем:

— Работать сейчас мне намного легче. Даже сравнить нельзя. Нас четверо, обрабатываем девятьсот гектаров земли, техники хватает, купили в свое время комбайн, «Беларусь». В долги не лезем и о завтрашнем дне думаем, наперед запасаем горючее, запчасти. Если бы с нами нормально рассчитывались за хлеб, то жаловаться грех.

В ночь перед моим приездом украли изгородь из металлической сетки — возле мастерских по ремонту техники. Не метр, не десять, а добрые сотни метров сняли и увезли. В мастерской разломали «пускатель» точила в эту же ночь.

— Хозяина не стало в селе, — говорит один. — Делим, ломаем, разваливаем все подряд.

— Сколько труда, сколько лет! — сетует другой. — А теперь тащат, ломают. Да хоть бы на дело, а то — на пропой. Украли — пропил, украли — пропил...

Неподалеку от разломанной кошары — огромный комплекс молочнотоварной фермы с капитальными помещениями, с выгульными базами, родильным отделением, кормоцехом. Бывший комплекс. Теперь здесь не коровий мык, а воробьиное чириканье да великий разор. Вынутые двери и рамы, разобранные и рухнувшие крыши, выломанные стены, пустые силосные траншеи. Пронесся здесь смерч разорения.

Откуда же возьмет страна мясо и молоко, повторю я тот же вопрос, если нет теперь в Громославке 12 тысяч овец, 3 тысяч крупного рогатого скота, тысячи свиней? И за год-два все это не восстановишь. Потому что разгром продолжается.

Колхоз был один — «Дружба». Потом поделились сначала на 11 «колхозов», а сейчас их — 110. Это — дело естественное. Сверху приказов нет. Хочу — работаю с Иваном, а хочу — с Петром. А поругаюсь — сам буду хозяйствовать, а может, разорюсь.

«Двадцать человек в селе будут жить хорошо, а остальные — горе мыкать», — такой я услышал прогноз.

— Кто нахал, тому хорошо! А нам с бабкой куда?! — гневно вопрошал пенсионер. — Я в колхозе жизнь отработал, колхоз мне помогал. А нынче кто мне поможет?

О чем еще поведать? О детском садике, в котором прогнили полы, не работает водопровод? О висячем мостике, по которому дети ходили в школу и который сломался, а теперь некому его починить?

Зачем собирать горькое... Зачем об этом писать, зачем тревожить чужую боль?..

Потому что боль эта — общая, как и забота.

Великая крестьянская Россия двинулась в новый поход. И если в 1929 и 1930 годах повели или погнали ее в коллективизацию не ведавшие сомнений «двадцатипятитысячники», то теперь и вести некому — спасайтесь сами.

Но почему новая жизнь должна начинаться с «красного петуха»? С закрытой пекарни, с разгромленного детского садика, с растащенной столярной мастерской, спаленного склада запчастей, с зияющих черными глазницами клуба, медпункта? Почему нужно по кирпичику растаскивать молочнотоварную ферму, кошару?

Неужели не больно? Ведь не помещичье — свое. Не заморский дядя подарил, а от скудного трудодня отделяли, сбивая копейку к копейке. Не в год и не в два, за десятилетия, но построили клуб, медпункт, детский сад; теплые

кошары да фермы, где не течет и не дует; вместо прокопченной кузни — ремонтные мастерские со станками, кран-балкой; купили автобус, чтобы ребят в школу не в тракторной тележке возить; радовались новой пекарне, кондитерскому цеху, парикмахерской, где можно кудри завить, и собственной «швейной»; водопровод вели, газ... Своими руками и для себя, чтобы жить и работать «как люди».

А теперь своими руками разрушить, потому что пришла новая жизнь. Но пришла ли она?

«Не суди в три дни, а суди в три года», — говорят у нас старые люди. Пять лет назад были обнародованы первые правительственные указы и постановления о реорганизации сельского хозяйства, от колхозно-совхозного — к частному, к фермерскому, как называли его, это название прижилось. Первые указы — и первые смельчаки, уходящие в новую жизнь. Братья Епифановы, братья Гришины, братья Двужиловы... Все они — воистину двужильные. Приходилось им очень несладко: лбом прошибали стену, которая мощней Берлинской и даже Великой Китайской. Старую привычную жизнь прошибали, спянную воедино от хутора Мартыновского до кабинетов Москвы. «Какие-то они... — говорил мне глава районной администрации. — Больные, что ли.. Чуть что, они аж трясутся и на губах — пена». А как не запениться... Осень 1991 года. Двужиловы вырастили хороший подсолнух, а убирать его нечем. Своего комбайна нет. В колхозах окрестных не дают, да еще и смеются: «Вы же — хозяева...» В райцентре и области лишь пожимают плечами. Весь урожай погиб. Тут не запенишься, тут с ума сойдешь.

Но все это теперь позади. Двенадцать тысяч фермеров было в нашей области на январь 1995-го, 1 млн. гектаров земли, пятая ли, шестая часть всей площади. Это, конечно, впечатляет. Но... На каждого фермера приходится 0,5 трактора, 0,5 автомобиля, 0,2 комбайна, одна корова, одна свинья. Урожайность у фермеров в среднем ниже, чем в колхозах. А главное, по подсчетам специалистов и по жизненной практике, для того чтобы заниматься зерном в наших краях (а фермеры наши пока занимаются только зерном), нужно иметь в хозяйстве не менее 400 гектаров земли. На январь 1995 года лишь 318 хозяев из 12 тысяч имели надел свыше 300 гектаров.

Появление свободных от колхоза крестьян — это несомненный факт. Вот он, Ляпин из села Мариновка, живет без колхоза пятый год. Не помер и даже не похудел. Такие Ляпины ли, Двужиловы, Вьюнниковы есть почти на каждом хуторе. Но появление новых Ляпиных сейчас практически невозможно. Во-первых, потому, что первопроходцы выходили в начале 90-х, когда у нас в области, не дожидаясь законов общероссийских, власти силой отняли у колхозов 10 процентов земель и отдали их новым хозяевам. Каждый получал от 100 до 400 гектаров, на семью — даже больше. Потом появился указ о «справедливом» дележе. Поделили. Теперь земли нет. Возможны лишь хитрости, просьбы и прочее. Просит Пономарев 0,03 га, чтобы амбар поставить. Колхоз дружно который уже год отвечает: «Накось выкуси».

Договорился было В. И. Штепо взять у пенсионеров в Тихоновке их земельные паи. Штепо — лучший хозяин в районе, земля была бы в надежных руках. Но как только об этом прослышало руководство колхоза, приняли энергичные меры: пенсионеры дружно отказались от своих обещаний.

Значит, первое — земли нет. Причина вторая: первые выходцы получали от колхоза имущественный пай в виде тракторов ли, комбайнов, плугов, сеялок, семян, а от государства — денежный кредит на льготных условиях, чтобы докупить необходимую технику и обустроиться. Правительственное постановление от 25.09.1993 года льготные кредиты отменило. А теперь их и вовсе нет. С имущественными паями — тоже проблема. Сам председатель облагропрома во всеуслышание заявил: «Паев нет». Великая подмога хранителям колхозного добра! И вот уже отвечает председатель колхоза выходцу, просящему свои паи: «Забирай кровати со склада, там их пятьсот». — «Мне бы трактор, пахать надо». — «Трактор не дам. Бери кровати и портреты членов Политбюро, целых три комплекта. Ха-ха-ха-ха!»

Нет земли, нет денег, а третье — уже названный живой пример. Если на хуторе Павловский братья Березневы и другие вернулись из фермерства в колхоз, который два года зарплату не выдает, значит, не больно сладко и на воле.

Земля. Вопрос первостепенный. Где земля? В чьих она оказалась руках? У нас будто и много земли, но скажи сейчас хорошему колхозному механизатору, который работает, но год зарплаты не видит: «Чего ты ждешь? Берись сам хозяйствовать. Выходи из колхоза». — «С чем? — спросит он. — Земли-то нет Пай в шестнадцать гектаров? А надо в десять, в двадцать раз больше». Он прав. Еще в первых своих очерках, когда все лишь начиналось, писал я о том, что делим мы землю по-справедливому, по-социалистически, но не по-хозяйски: сельскому почтальону, сельскому милиционеру, учителю, продавцу, пенсионеру, крепкому рукастому механизатору, агроному, парикмахеру, инженеру — всем одинаковый пай, 16 ли, 20 гектаров. Учитель, милиционер да пенсионер какую-то копеечку, но от своей профессии имеют, они живут на нее. А полученный земельный пай лишь головная боль: куда бы его лучше пристроить? А вот для механизатора, агронома земля — хлеб насущный. Но получил он ее с гулькин нос. Что ему делать? С вилами идти на тех, кто как собака на сене на своем пае сидит?

Теперь, во всяком случае в нашей области, это поняли (хотя еще вчера на всех собраниях призывали: «Не обижайте пенсионеров, учителей и т. д. Выделяйте им пай!») Понять-то поняли, но снова забирать землю и вновь делить ее — безумие. И вот появляется документ, пока характера рекомендательного:

«3. При формировании вновь создаваемых коллективов в них могут не включаться земельные пай работников социальной сферы, пенсионеров и других, которые не будут работать в сельскохозяйственном производстве...

5. Пенсионерам, работникам хозяйств и социальной сферы, которых не возьмут во вновь созданные сельхозпредприятия, будет предложено продать свои земельные пай или сдать в аренду с правом последующего выкупа».

Раздали — теперь прикидываем: как отобрать?

Но все это пока лишь теоретические поиски, причем не до, а после драки, после дележа земли. При нынешнем же порядке: отсутствие земли, полное отсутствие каких-либо кредитов на обзаведение для начинающих (за первое полугодие 1995-го фермеры области не получили ни копейки), неприемлемые для начинающего хозяина цены на сельскохозяйственную технику, а также вновь восстановленный приоритет коллективного способа хозяйствования: «Фермеры страну не накормят!» — все это делает невозможным дальнейший рост жизнеспособных фермерских хозяйств. Вдогон этой мысли цитата из доклада одного руководителя области: «Позвольте также обратиться к присутствующим в этом зале представителям органов правосудия и прокуратуры с просьбой подойти очень внимательно при принятии решений о выделении стоимости имущественных паев членам, выходящим из коллективных хозяйств. Дело в том, что... все имущество хозяйств заложено под централизованные государственные кредиты и фактически его нет, то есть нет и самих имущественных паев. Из чего же их тогда выплачивать?»

Указание прямое. Правда, и признание страшное. К смыслу его мы еще вернемся.

А теперь, чтобы закончить с разговором о фермерстве на селе, вспомним о братьях Гришиных. Они хозяйствуют пять лет, у них 800 гектаров хорошей земли. Начинали они во времена, когда фермерство поднимали на щит. Но главное в том, что много помогал им в первые годы их отец — бывший секретарь обкома КПСС по сельскому хозяйству. С его энергии, знаний, связей все и началось. А сыновья, тоже специалисты с высшим образованием, оказались земледельцами умелыми.

В хозяйстве Гришиных весь набор техники, подведено электричество, построены склады-ангары. Урожайность «озимки» в 1993 году — 41,5 центнера, в 1994-м — 43 центнера. Подсолнечник, гречиха — тоже высокие урожаи. В нашей области братья Гришины если не лучшие, то в первой пятерке лучших самостоятельных хозяев-земледельцев. Но даже они говорят: «Перспектива — туманна. В России в целом не отработана система фермерства. Кабальна налоговая политика. Теперешние начинающие фермеры — это смертники. Нам в 1990 году начинать было легче. Но много, очень много проблем. В этом году исполняется пять лет нашему фермерству. Этот юбилей прибавляет к налогам,

которые платили, еще два — подходящий, на землю. Наверное, подсчитаем — прослезимся».

А если уж Гришины «прослезятся», то какими слезами плакать всем остальным фермерам?

Нынешний фермер, для того чтобы продержаться, должен кроме земли иметь какой-то заработок на стороне. Один открывает киоск с ходовым товаром: спиртное, жвачка, сигареты. Другой едет за дешевым углем в Донбасс, а привезет, продаст — вот и барыш.

Реально на фермеров можно рассчитывать лишь в будущем. Фермерство пока лишь пятилетний ребенок-сирота, который для всех обуза. На мой взгляд, его просто терпят как знак перемен.

* * *

Итак, на сегодняшний день главный производитель, а точнее, единственный производитель сельхозпродукции — все тот же колхоз. Порою сменивший вывеску, но тот же по сути, что и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад. С той же организацией: председатель, главные специалисты, бригадиры, учетчики, рядовые труженики; и с той же заинтересованностью: «Не мое!» В районном центре — районное управление сельского хозяйства (оно каждый месяц меняет название, вывески писать не успевают), там — тоже «спецы», 15 ли, 20 легковых автомобилей, все при деле.

Захожу в районное сельхозуправление, спрашиваю:

— Как дела?

— Давим... руки выкручиваем, но чтобы пары в каждом хозяйстве не менее... Потому что пары — это...

— Давим... Чтобы сеяли и сеяли... Чтобы подсолнух... Чтобы горчицу... Чтобы просо...

Снова захожу. Опять без дела не сидят. Руководителей «Голубинского» уму-разуму учат: председателя, главного агронома, экономиста.

— заводите коров. Корова — это молоко, это...

— заводите свиней. Свинья — это...

— заводите птицу...

— Не думайте, спокойной жизни вам не будет. Будем давить и давить.

Ухожу, вздыхая. Милые мои «давитьщики», дорогие учителя... Разве вы давите? Это лишь так, слова. До вас были давитьщики посерьезней: отбирали партбилеты, лепили за «вредительство» сроки. А проку? Чего ж о нынешнем дне говорить...

В областном центре — в пять этажей управление. И там тоже без дела не сидят. В Москве и вовсе умных голов хватает. Оттуда руководить труднее, но справляются: проводят «выезд на место», «встречи с тружениками полей и ферм», всероссийские селекторные совещания-«накачки». На одном из таких «селекторных» то ли министр, то ли вице-премьер потребовал: «Надо работать так, чтобы у людей появился блеск в глазах». Смеялись собравшиеся на «узле связи» руководители хозяйств и «спецы» дружно. А потом, при встрече, приветствовали друг друга: «Как с блеском в глазах?»

Пишу об этом вовсе не для того, чтобы посмеяться, позлорадствовать. С уважением отношусь ко многим и многим сельским руководителям, специалистам, которые делают все, что могут, и так, как научены: образованием, опытом работы и жизни. Многие из них — искренни, некоторые — самоотверженны. Вот только проку от всего этого мало.

Колхоз, как уже говорилось, остался прежним «колхозом», порою только сменил вывеску. И законы в нем те же, вековечные: огород — мой, значит, в нем — «все как цветик стоит», растет и пышет, ухоженное, политое; дом — мой, значит, он побелен, покрашен, забор — крепкий; корова — моя, значит, она напоена и накормлена; и в любую засуху в доску расшибется хозяин, ночей спать не будет, в кровавых мозолях будут даже крестьянские, привычные руки, но стог сена будет стоять на подворье. Потому что это — мое.

А вот это — в двух шагах, рядом, но колхозное. Колхозное — не мое. Это было, и это осталось.

То, что рассказываю я о коллективных хозяйствах, — не злонамеренный отбор «негатива» для создания устрашающей картины. Вернусь к словам начальника Главного управления сельского хозяйства и продовольствия нашей области. Сказаны они были в марте 1995-го не с глаза на глаз, а с трибуны:

«На сегодняшний день практически все имущество хозяйств (речь о коллективных хозяйствах области. — *Б. Е.*) заложено под централизованные государственные кредиты и фактически его нет»...

Признание исчерпывающее. Ведь «имущество хозяйств» — это тракторы, комбайны, автомобили, производственные помещения всех видов: молочно-товарные фермы, машинно-тракторные мастерские со всем оборудованием; это — весь скот: коровы, свиньи, овцы.

Когда в прошлых своих заметках я писал: дело кончится тем, что, выдавая кредиты, возврата которых не будет, государство окажется владельцем колхозного имущества, то не думал, что этот процесс произойдет так скоро. Но вот он — финал. Все, что нажито трудом нескольких поколений за полвека, — пропало, исчезло, «его нет».

Для людей, далеких не только от села, но и от простой экономики, объясню, что называется, «на пальцах». Представьте себе, что имели вы дом, автомобиль, мебель, посуду. Случилась нужда, стали в банке брать деньги, естественно, под залог этого имущества, потому что «за красивые глаза» деньги дают лишь известным дамам. Брали за миллионом миллион, истратили, к сроку вернуть не можете. Что вас ждет? Конфискация имущества за долги.

В таком вот положении оказалось все наше коллективное сельское хозяйство. Признание было сделано в марте. Потом были новые долги: на проведение весеннего сева, на проведение уборочной. Год выдался засушливый. Урожай — никакой. С него не только с долгами не рассчитаешься, а в новые влезешь: проводить сев озимых, осеннюю пахоту, зимовку скота, ремонт техники, весенний сев и т. д.

Мне скажут: засуха — стихийное бедствие. А я отвечу: засуха — дело естественное, она в наших степных краях была и будет. Но ведь семь лет, один за другим, погода нас баловала: вовремя — дожди, вовремя — ведро. Годы были на удивление. Недаром говорили: «Бог перестройке помогает». И что же за эти годы припасли, насколько разбогатели? Весной было сказано: «Имущества фактически нет». А значит, не засуха нас разорила, не слепая безжалостная природа, разорены мы тем же самым традиционным для нас социалистическим методом хозяйствования, умноженным ли, усугубленным безграмотным проведением реорганизации в сельском хозяйстве.

В предыдущих своих заметках писал я: «Долгов своих колхозы не отдадут и к трехтысячному году, их придется списывать».

Что называется, чернила не успели просохнуть, пошло списывание: сначала — в августе, более масштабное — в конце года. Списывали набежавшие проценты на долги, а потом и сами долги, давали долговременную отсрочку, которая не что иное, как списывание долгов. Когда нынче, несколько смутившись тем, что все колхозное имущество уходит за долги и его фактически нет, не желая в это поверить, оставил я свои письма и пошел в районное управление сельского хозяйства к тамошнему главному экономисту, тот мои резоны с ходу отверг. «Глупости все это, — сказал он. — Ничего мы не должны... Ну, почти не должны. Рассчитались». — «Как не должны? — не сдавался я. — Здесь два миллиарда кредита, здесь — три. А у тебя прочерки?» — «Это все списано». — «Это не списано, а лишь отсрочено. Позднее, пусть через десять лет, но нужно будет платить».

Мудрый экономист, по прозвищу Гайдар, наставительно сказал мне: «Раз отсрочено — значит, списано. Мы про эти долги уже забыли». — «Тогда, конечно, все в порядке», — согласился я. «Конечно: все в порядке. Это вы все шумите: черная дыра да черная дыра...»

Конечно, не так все просто, и не дай нынче Бог никому руководить колхозом. Добыть деньги, даже свои, кровные, за произведенное молоко ли, мясо, овощи, ох как не просто! И потребитель по копейке отдает. Если отдает. И государство «доить» трудно. Привычной стала картина просящего председателя колхоза: «Горючего — ни капли. Тракторы в борозде стоят. Мазута — ни грамма. Школу и больницу закрывать, что ли...» Все это — картина уже

привычная. Не от хорошей ведь жизни людям по два года зарплату не платят. Привыкаем к попрошайничеству, к нищете, к тому, что бесплатно работаешь, за бесплатно продукцию свою отдаешь, а потом тебе что-то «выделяют», а потом — «списывают», в забвение всех и всяких, самых элементарных, экономических правил, на которых зиждется человеческая жизнь. И зачем работать? Зачем добиваться, чтобы хозяйство крепло? Выгодней поскулить, поплакаться, чтобы щедрей была милостыня-дотация. А потом все спишется и всем простится.

Такая «экономическая» политика — это развращение работников сильных и развал всего сельскохозяйственного производства страны. Это принцип: «После нас — хоть потоп». Потому что нищие колхозы проедают уже завтрашний и послезавтрашний день, обрекая на еще большую нищету тех, кто будет жить на этой земле после них.

Во-первых, они губят землю, выводят ее из хозяйственного оборота. Из 6 млн. гектаров в нашей области, где еще вчера колосилась пшеница, уже около 1 млн. гектаров просто брошено. Не по силам обработать. Но и оставшиеся 5 млн. гектаров в плачевном состоянии. Идет интенсивное истощение земли. В последние годы пашня практически перестала получать минеральные удобрения, так как они дороги, не по карману нищим колхозам и фермерам. Даже навоз от колхозных ферм, как это было всегда, на поля уже не вывозится: дорого горючее и техники нет.

Идет интенсивное засорение полей сорняками. Использование гербицидов для борьбы с ними полностью прекратилось: нет денег. Культивация на парах сведена до минимума. Приведу пример показательный: взяв землю еще пять лет назад, те же Гришины, чтобы очистить ее от сорняка, проводили до пятнадцати культиваций за сезон, да еще и гербициды применяли. В колхозах нынче проводят одну-две культивации. Зеленый сорняковый потоп — ныне картина обычная.

Потому и скатываемся мы сегодня к урожайности послевоенных времен. Это — в полеводстве. В животноводстве положение гораздо серьезнее. Если зерноводство все последние годы было рентабельным, то есть приносило доход, то животноводство оказалось убыточным, особенно у хозяев не больно радивых. Каждый литр молока приносил хозяйствам не прибыль, а убыток. Переработка была в чужих руках, и ее хозяева диктовали свои цены. А торговать на стороне не сразу научились, да и государство не позволяло.

Вспоминаю хутор Бобры, тамошний колхоз имени Свердлова. Есть молоко, есть спрос на него в райцентре, который рядом и где цены дают хорошие. Но районное начальство торговать не велит. Сдавай на молочный завод, они без тебя продадут. И без тебя положат деньги в свой карман. А колхоз опять останется без копейки. То же самое происходило и с мясом: отдай его за бесценок переработчикам, мясокомбинатам, да еще жди месяц ли, два, а то и год, а бывало, и больше, когда тебе заплатят. За месяцы ожидания инфляция «съедала» заработанные рубли, превращая их в копейки. Началось массовое обвальное вырезание молочного скота, мясного — свиней, овец. В нашем, Калачевском, районе в лучшие годы поголовье крупного рогатого скота доходило до 50 тысяч, сегодня — в два раза меньше; овец было до 100 тысяч, а сегодня в шесть раз меньше; свинью мы практически потеряли. И все это — за какие-то пять лет неразберихи. По всей области «результаты» примерно такие же. По количеству скота мы теперь ниже уровня 1916 года.

Есть у нашей читающей публики один успокоительный довод, который в газетах живет уже долго: не лейте, мол, слезы о колхозных буренках да хавроньях, нас не они кормят, мол, основное количество молока, мяса и овощей поступает с личного подворья крестьян, а оно, нынче раскрепощенное, расширяется. Вот цифры нашей областной статистики: с личных подворий поступает 52 процента мяса, 37 процентов молока, 100 процентов яиц. Но и без всякой статистики, без подсказки ее, живя летом в Калаче, иду я за мясом, молоком, сметаной, яйцами на базар. Впрочем, и зимой, в Волгограде, тоже.. на Центральный рынок. Но так же точно я знаю, что на хуторе Камыши хозяева держат на подворье от двух до шести коров только потому, что еще жив родной колхоз «Нива». Без его тракторов и комбайнов, без горючего и запчастей, без колхозных полей, без его сена, соломы, зерна, силоса 5 коров, 20 сви-

ней, 100 кур да уток не прокормишь. Личное подворье колхозника, личная скотина содержатся за счет колхоза. Вот он — колхоз. В нем два хутора, две молочнотоварные фермы. В Ильевке за пять месяцев надоили по 1120 килограммов на корову, в Камышах — 650, в два раза меньше. Почему? Потому что в Камышах издавна, с тех пор как появился базар ли, рынок, держат в два-три раза больше личных коров. Вот и вся простая отгадка.

Знакомый мой, в нашем же районе, будучи колхозником, содержал более десяти голов крупного рогатого скота, но как только ушел в фермеры, уже на другой год всех перерезал. Нечем кормить. Так что не будем обманываться: личное подворье крестьянина содержит колхоз.

Уничтожение животноводства в стране — процесс пока продолжающийся. Вырезали скот — за недолгие годы. А ведь восстанавливать все равно придется! Думаю, что десятилетиями. Во-первых, уничтожено маточное поголовье, зачастую элитное. В свое время везли породистых телок, быков, свиней, овец из Англии, Дании, Голландии, занимались собственным элитным воспроизводством. А теперь? Нынче простая коровка стоит около трех миллионов рублей, поросенок — 150 — 200 тысяч. Откуда такие деньги нынешние колхозы возьмут?

А если вдруг чудесным образом деньги найдутся, то некуда будет эту скотину поставить. Как только вчера ли, позавчера коровник ли, свинарник опустел, его тут же начали растаскивать и разламывать, снося под самый фундамент.

Рассказывал я о Громославке, где на погонные метры поделили кирпичную кладку стен, разбили и развезли по дворам. Так было и в Попереченке, и в других местах, где колхоз распался. Но и там, где не распался, а просто помещение опустело, — картина та же.

Уничтожаются не только животноводческие помещения, но и вся производственная структура. Какие были полевые станы... Не убогие вагончики на колесах — капитальные помещения с кухнями, столовыми, душевыми, комнатами отдыха. Где они теперь? В той же Громославке ворота машинно-тракторной мастерской вывернул новый земледелец, притащил на подворье и порубил на дрова. «Мне тепло будет, а там нехай думают», — сказал он.

Но кому, скажите, будет «тепло», когда закрывают и сразу до основания разносят и разбивают котельную, которая отапливала весь поселок, когда сравнивают с землей вчера еще работавший клуб, фельдшерский пункт, магазин, детский сад, школу? Хутора Вихляевский и Клейменовский, Большой Набатов и.. Счету им нет.

На день сегодняшний в жизнеспособном состоянии еще сохраняются коллективные хозяйства, во главе которых умные, волевые, что называется, «крепкие» руководители. Но таких немного. Большинство плывет по течению, ругая власти и время, выбивая дотации, зная, что спишут их, и ожидая новых времен, когда придут «наши» и «реанимируют» село. Кто эти «наши», они порой и сами толком не знают: коммунисты ли, аграрии. Лишь бы «пришли», «повернулись лицом к деревне», то есть дали денег, просто дали, а дальше «мы сами с усами», не успеете, мол, оглянуться, как потекут молочные реки и в высоких хлебных да мясных берегах. Забыто все: как при достаточном финансировании ревели некормленные коровы, десанты «доярки» привозили из райцентра, десанты механизаторов — из центра областного, десятилетиями не повышалась урожайность, — все забыто или отложено в далекую память, осталось одно: дайте денег! А в этом ожидании год от года трудовые коллективы, без руля и ветрил, без зарплаты, постепенно превращаются в кучу людей с одним лишь твердым убеждением: он должен, хоть кое-как, для видимости, работать в колхозе, чтобы иметь право взять ли, украсть зерно, силос, дробленку, лист шифера, две доски — все, что нужно для жизни, а иным — для пропоя. Пьянства становится все больше, и оно — откровеннее, наглее, потому что нечем его остановить. Воровство уже не считается воровством. Человек просто «берет», потому что ему не платят, а жить надо.

Деградация трудового коллектива и деградация крестьянина — страшнее деградации почвы. А она — налицо.

С таким коллективом порой ничего не может сделать и неглупый руководитель. Свалить его — пара пустяков. Справедливости ради надо отметить, что, стараясь как-то поддержать нынешние колхозы, руководители и сельхозначальники всех рангов, особенно «внизу», спасают село от окончательного развала. Если сейчас мы потеряли более половины животноводства, то без их усилий могли бы потерять все. Если сейчас на селе еще живы детские сады, школы, больницы, фельдшерские пункты, то могли бы рухнуть и последние. Потому что наше «реформирование села» начало проводиться новыми большевиками чисто по-большевистски: «...разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто бы ничем, тот станет всем».

И ведь, знаете, получилось. Среди моих «сельских» бумаг — набросков, заметок, статей — в этой же папке лежит фотография Акулины Арьковой, престарелой пенсионерки с хутора Большой Набатов. Снимок обычный: хатка-мазанка, ветхий забор, опершись на него, стоит старая женщина. Она осталась одна. Знаю ее давно. И прежде если не навещал, то справлялся: «Как там бабка Акуля?» — «Мы ей помогаем», — отвечали мне. А нынче летом приехал, спросил тоже, а мне в ответ: «Чего ей не жить? Миллионерша. Пенсию получает».

Вот так и получилось на пятом году реформы, что бабка Акуля с грошовой пенсией стала самой богатой на хуторе Большой Набатов и ей завидуют молодые, работающие, умелые ее земляки.

Реального реформирования бывших колхозов, конечно же, не было, потому что его начало — в главном вопросе: «Кому принадлежит земля?»

«Конституция уже все определила, — время от времени сообщают сверху. — Крестьянин просто не понимает, что он уже давным-давно владелец своей земли». Опять мужик виноват: «не понимает».

Статья 36 Конституции: «Граждане... вправе иметь в частной собственности землю». Но... «если это... не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона».

Думаю, напротив: все прекрасно понимает мужик. Что это за «собственность», которую нельзя продать, заложить, подарить? Это не собственность, а лишь красивые слова. Недаром бумажки «на право владения» (лишь «на право») стопами лежат в районном земотделе. Не спешат за ними «хозяева земли». Федерального закона ведь по-прежнему нет. В нашу областную Думу областная же администрация внесла два проекта закона: «О залоге земель» (ипотека), «О порядке прекращения прав на землю». Оба закона были немедленно, в первом же чтении, отвергнуты. Судьба российского «Закона о земле» известна всем. Одна из главных причин — ожидание: «Может, наши придут».

Вопрос другой в том, что нынешние колхозы, их производственные базы создавались в расчете не на одного-двух работников, а на большие коллективы и мощное производство: не коровник, а комплекс на три тысячи голов, не свинарник, а свинокомплекс на десять тысяч, не птичник, а птицефабрика. Как все это поделить, применяясь к одной крестьянской семье? Не разнести на куски: тебе — шифер с крыши, мне — полы, а поделить для работы? Кто подскажет? Пока помочь не может никто. В «Рассвет» Ленинского района приезжали специалисты из Москвы, помнится из Института экономики сельского хозяйства. В беседах личных они признавались честно, что проку от их рекомендаций быть не может, но им приказали ехать. Результат дележа — свезенный на бойню скот, разрушенные фермы. Так делить можно и без Института экономики.

Настоящее реформирование — дело тяжелое. Если начнутся настоящие реформы, то более половины селян останутся без привычной работы. Когда будет своя земля и придут настоящие хозяева, то вместо десяти механизаторов за глаза хватит трех, но работающих, непьющих. То же будет и в животноводстве. А уж кладовщики, учетчики, бригадиры, конторская служба и вовсе никому не будут нужны. Перелом жизни, перелом судьбы. Теперь пусть плохо, но живем, на завтра надеемся. А уйдет привычное, куда податься?

Понятно, что селу понадобятся, они и теперь нужны, парикмахер и сапожник, мастер по ремонту бытовой техники, портной. Небольшой ресторанчик — непременная деталь всякой европейской деревни. Наконец, уже сейчас

нужен сезонный наемный работник — на пахоту ли, на сев, на сбор овощей, для ремонта техники. Строители нужны. А в общем, хорошие трудовые руки.

Но ведь это — целая программа социального переустройства нашей деревни, без которой все равно не обойтись, но заниматься этим правительство не хочет или не может, видимо уповая, что все само собой утрясется, потому что селяне — не шахтеры, слава Богу, молчат.

Тем более со всех сторон уверяют нас, успокаивая: «спад остановлен», «налицо стабилизация», «рубль крепнет». «Оснований для паники нет».

Успокаивает правительство. Успокаивают мудрые ученые люди. Институт экономики Российской академии наук, сектор макроэкономической стратегии (стратегии!), устами своего заведующего, доктора экономических наук А. Френкеля в «Известиях», не просто в заметке, а в «прогнозе развития российской экономики на 1995 год», заявляет: «...на ситуацию, складывающуюся в растениеводстве, можно смотреть с большим оптимизмом, чем это делается в средствах массовой информации. Возможен рост производства растениеводческой продукции по сравнению с 1994 годом. Так зерна в 1995 году будет произведено 85 млн. т, что составит 105 процентов к уровню 1994 года». Это говорится 27 июля, когда было ясно: засуха погубила урожай. И двумя днями раньше «Российская газета» написала: «Засуха охватила 25 территорий Центрального, Центрально-Черноземного, Поволжского и Уральского районов... Погибло около 2 млн. га озимых...»

Коли не веришь средствам массовой информации, которые «вечно» врут, просто выйди на волю. Ведь и в Москве стояла жара редкостная.

Нет, это — не дикий непрофессионализм. Это — очень точное профессиональное угадывание «зорь» и «вершин» теперь уже капитализма в местах и сроках, указанных начальством, которое платит.

На той же газетной полосе «Лаборатория аграрной политики ИЭППП» (расшифровать сие затрудняюсь) сообщает: «...тяжелое финансовое положение сельского хозяйства прошлого года не оказало предсказываемого самими аграриями депрессивного воздействия на весенне-полевые работы».

Неправда, мои хорошие. И к тому же бездоказательно. Цифр нет, хотя бы необязательных. По данным же нашего областного АККОРа, более тысячи фермеров в этом году ничего не сеяли весной и не пахали, потому что не было обещанных кредитов на горючее и семена. О положении в коллективных хозяйствах я уже много говорил. Добавлю, что и сегодня, в сентябре 1995-го, ясно, что пахота и осенний сев в полном объеме не проведены. Засеяли по области лишь половину озимого клина, зяби вспахали — тоже половину. Причина — не только погода. Хлеб убрали и вывезли на хлебозаготовительные пункты в июле, денег за него нет. А значит, нет горючего, запчастей. Сроки сева ушли. Какого урожая ждать в 1996 году?

Листаю записи, вспоминая год проходящий, встречи с людьми:

- Если еще год не придет власть, значит — конец.
- В Ельцине разочаровались все, а коммунистов не допустят другие страны.
- За кого же голосовать будете?
- Кто ее знает... Это вы все делали, там, на съездах, разваливали, а теперь... (Хутор Вихляевский, июль 1995-го.)
- Как бы сделать по-старому? Чтобы порядок был. (Хутор Дурновский, июль 1995-го.)
- А чего вам Жириновский даст?
- Хуже нынешнего все равно не будет. (Станица Голубинская, февраль 1995-го.)

От такой вот несладкой жизни, когда разваливается колхоз, нет работы, нет зарплаты и завтра, по всему видно, будет еще хуже, тут не только за Жириновского — тут за черта лысого проголосуешь. И не надо лукавить: не дешевой водкой этих людей покупают. Вы слышите, чего они просят? Порядка.

* * *

Сегодняшняя наша деревня, ее люди, их работа и жизнь — это сплошная боль. А когда день ото дня не легче, когда в глазах темнеет от боли, тогда и вправду дуреешь. Тогда уж не ведаешь, куда податься: к врачам ли, к знаха-

рям, к Пантелеймону-шаману с Чукотки, возлюбившему наши края, — к любому, кто руку протянет и скажет: «Исцелю».

Грядут новые выборы, наши беды и боль остались теми же. И значит, снова кто-нибудь возгласит на весь мир: «Россия, ты одурела!» Винить мужика, который прячется, не желая своих генералов кормить, — такая ли уж это новость...

Крестьянская Россия, теряя последние силы, который уже год топчется на распутье. Перед ней — две дороги. Но старого камня стерлись письмена. Кто напишет их вновь понятными для мужика словами: «Налево пойдешь... Направо пойдешь...» Видно, перевелись на Руси грамотеи. А ругать нас — все великие мастера. На это большого ума не надо.

Калач-на-Дону
Сентябрь 1995 года.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ПОПОВ



ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО КРЕПОСТНИЧЕСТВА

Паспорт — вид, свидетельство, лист или письмо для проходу, проезду или проживания.

Вл. Даль.

1

27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР М. И. Калининым, председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и секретарем ЦИК СССР А. С. Енукидзе было подписано постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов»¹

Время выбиралось не случайно: сельское население было с корнем вырвано из родной почвы и рассеяно по стране. Миллионы «раскулаченных» и бежавших в страхе из деревни от «коллективизации» и непосильных хлебозаготовок людей надо было выявить, учесть, распределить на потоки в зависимости от «социального положения» и закрепить за государственными работами. Следовало умело воспользоваться плодами «победы», достигнутой в ходе «коренного перелома», закрепить это новое состояние — рассеивание людей, не дать им вернуться в родные места, закончить принудительное разделение русского общества на «чистых» и «нечистых». Теперь каждый человек должен был находиться под недреманным оком ОГПУ.

Положение о паспортах устанавливало, что «все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта». Отныне вся территория страны и ее население делились на две неравные части: ту, где была введена паспортная система, и ту, где ее не существовало. В паспортизированных местностях паспорт являлся единственным документом, «удостоверяющим личность владельца». Все прежние удостоверения, ранее служившие видом на жительство, отменялись². Вводилась обязательная прописка паспортов в органах милиции «не позднее 24 часов по прибытии на новое местожительство». Обязательной стала и выписка — для всех, кто выбывал «из пределов данного населенного пункта совсем или на срок более двух месяцев»; для всех, покидающих прежнее местожительство, обменивающих паспорта; заключенных; арестованных, содержащихся под стражей более двух месяцев.

Помимо кратких сведений о владельце (имя, отчество, фамилия, время и место рождения, национальность) в паспорте указывались: социальное по-

¹ «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, № 358, 28 декабря.

² С 1918 года документом, удостоверяющим личность гражданина РСФСР, начали считаться трудовые книжки. С 1924 года стали выдаваться удостоверения личности сроком на три года. С 1927 года юридическая сила подобных документов распространилась на метрические выписки о рождении или браке, справки домоуправлений и сельсоветов о проживании, служебные удостоверения, профсоюзные, военные, студенческие билеты и т. д. (см.: Шумилин Б. Молоткастый, серпастый... М. 1979).

ложение (взамен чинов и званий Российской империи советский новояз устанавливал для людей следующие социальные ярлыки: «рабочий», «колхозник», «крестьянин-единоличник», «служащий», «учащийся», «писатель», «художник», «артист», «скульптор», «кустарь», «пенсионер», «иждивенец», «без определенных занятий»), постоянное местожительство и место работы, прохождение обязательной военной службы и перечень документов, на основании которых выдавался паспорт. Предприятия и учреждения должны были требовать от принимаемых на работу паспорта (или временные удостоверения), отмечая в них время зачисления в штат. Главному управлению рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР поручалось в десятидневный срок представить в Совнарком инструкцию о «проведении постановления»³. Минимальный срок подготовки инструкции, о котором говорится в постановлении, указывает: она была составлена и согласована во всех звеньях высшего партийно-государственного аппарата советской власти задолго до декабря 1932 года.

Большинство законодательных документов советской эпохи, регулировавших основные вопросы жизни людей, никогда полностью не обнародовались. Многочисленные указы Президиума Верховного Совета СССР и соответствующие им акты союзных республик, постановления Совнаркома и ЦК партии, циркуляры, директивы, приказы наркоматов (министерств), в том числе важнейших — внутренних дел, юстиции, финансов, заготовок, — имели грифы «Не для печати», «Не публиковать», «Не подлежит оглашению», «Секретно», «Совершенно секретно» и т. п. Законодательство имело как бы две стороны: одну, в которой открыто и гласно — «для народа» — определялась правовая норма. И вторую, секретную, которая была главной, ибо в ней всем государственным органам предписывалось, как именно следует понимать закон и практически проводить его в жизнь. Часто закон сознательно, как в приведенном нами постановлении от 27 декабря 1932 года, содержал одни общие положения, а его реализация, то есть практика применения, раскрывалась в секретных подзаконных актах, инструкциях, циркулярах, которые издавало заинтересованное ведомство. Поэтому постановление Совнаркома СССР № 43 от 14 января 1933 года утверждало «Инструкцию о выдаче паспортов», которая имела два раздела — общий и секретный.

Первоначально предписывалось проведение паспортизации с обязательной пропиской в Москве, Ленинграде (включая стокилометровую полосу вокруг них), Харькове (включая пятидесятикилометровую полосу) в течение января — июня 1933 года. В том же году предполагалось закончить работу в остальных регионах страны, подпадавших под паспортизацию. Территории трех выше-названных городов со сто-пятидесятикилометровыми полосами вокруг объявлялись режимными. Позже постановлением Совнаркома СССР № 861 от 28 апреля 1933 года «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории СССР» к режимным были отнесены города Киев, Одесса, Минск, Ростов-на-Дону, Сталинград, Сталинск, Баку, Горький, Сорново, Магнитогорск, Челябинск, Грозный, Севастополь, Сталино, Пермь, Днепропетровск, Свердловск, Владивосток, Хабаровск, Никольско-Уссурийск, Спасск, Благовещенск, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Ленинск, а также населенные пункты в пределах стокилометровой западноевропейской пограничной полосы СССР. В этих местностях запрещалось выдавать паспорта и проживать лицам, в которых советская власть видела прямую или косвенную угрозу своему существованию. Эти люди под контролем органов милиции подлежали выдворению в другие местности страны в течение десяти дней, где им предоставлялось «право беспрепятственного проживания» с выдачей паспорта.

Секретный раздел вышеназванной инструкции 1933 года устанавливал ограничения на выдачу паспортов и прописку в режимных местностях для следующих групп граждан: «не занятых общественно-полезным трудом» на производстве, в учреждениях, школах (за исключением инвалидов и пенсионеров); убежавших из деревень («сбежавших», по советской терминологии) «кулаков» и «раскулаченных», хотя бы они и «работали на предприятиях или состояли на службе в советских учреждениях»; «перебежчиков из-за границы»,

³ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 54:— 138.

то есть самовольно перешедших границу СССР (кроме политэмигрантов, имеющих соответствующую справку от ЦК МОПРа); прибывших из других городов и сел страны после 1 января 1931 года «без приглашения на работу учреждением или предприятием, если они не имеют в настоящее время определенных занятий, или хотя и работают в учреждениях или предприятиях, но являются явными летунами (так именовались часто менявшие место работы в поисках лучшей жизни. — В. П.), или подвергались увольнению за дезорганизацию производства», то есть опять-таки тех, кто бежал из деревни до начала развертывания «сплошной коллективизации»; «лишенцев» — людей, лишенных советским законом избирательных прав, — тех же «кулаков», «использующих наемный труд», частных торговцев, священнослужителей; бывших заключенных и ссыльных, в том числе судимых даже за незначительные преступления (в постановлении от 14 января 1933 года приводился «не подлежащий оглашению» специальный перечень этих лиц); членов семей всех вышеперечисленных групп граждан⁴.

Поскольку советское народное хозяйство не могло обойтись без специалистов, для последних делались исключения: им выдавались паспорта, если они могли представить «от этих предприятий и учреждений свидетельство об их полезной работе». Такие же исключения делались для «лишенцев», если они находились на иждивении у своих родственников, которые служили в Красной Армии (этих стариков и старух советская власть считала уже неопасными; кроме того, они представляли собой заложников на случай «нелояльного поведения» военнослужащих), а также для священнослужителей, «исполняющих функции по обслуживанию действующих храмов», иными словами, находящихся под полным контролем ОГПУ.

Первоначально исключения допускались и по отношению к тем не занятым «общественно-полезным трудом» и лишенным избирательных прав лицам, которые были уроженцами режимных местностей и постоянно там жили. Постановление Совнаркома СССР № 440 от 16 марта 1935 года отменило такую временную «уступку» (ниже мы остановимся на этом подробнее).

Вновь прибывающим в режимные местности следовало для прописки кроме паспорта представлять справку о наличии жилплощади и документы, удостоверяющие цель приезда (приглашение на работу, договор о вербовке, справку правления колхоза об отпуске «в отход» и т. д.). Если размер площади, на которую собирался прописаться приезжающий, был меньше установленной санитарной нормы (в Москве, например, санитарная норма составляла 4 — 6 кв. м в общежитиях и 9 кв. м в государственных домах), то в прописке ему отказывали.

Итак, первоначально режимных местностей насчитывалось немного — дело новое, на все сразу у ОГПУ рук не хватало. Да и надо было дать людям привыкнуть к незнакомой крепостной привязке, направить стихийную миграцию в нужное власти русло.

К 1953 году режим распространился уже на 340 городов, местностей и железнодорожных узлов, на пограничную зону вдоль всей границы страны шириной от 15 до 200 километров, а на Дальнем Востоке — до 500 километров. При этом Закарпатская, Калининградская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края, в том числе Камчатка, были полностью объявлены режимными местностями⁵. Чем быстрее рос город и больше возводилось в нем промышленных объектов, входивших в военно-промышленный комплекс, тем скорее осуществлялся его перевод в «режимный». Таким образом, с точки зрения свободы выбора местожительства в родной стране индустриализация вела к быстрому принудительному разделению всей территории на большие и малые «зоны». Режимные города, «очищенные» советской властью от всех нежелательных «элементов», давали своим жителям гарантированный заработок, но взамен требовали «ударного труда» и полной идеологической и поведенческой

⁴ ГАРФ, д. 137, л. 59 — 60. По данным милицейских сводок, к 20 апреля 1933 года в Москве и еще десяти крупных городах страны было выдано 6,6 миллиона паспортов и отказано в выдаче документов 265 тысячам человек. Среди отверженных милиция установила 67 тысяч «сбежавших кулаков и раскулаченных», 21,9 тысячи «лишенцев», 34,8 тысячи «не занятых общественно-полезным трудом» (см.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 14а, д. 740, л. 71 — 81).

⁵ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 3, б/н.

покорности. Так выработывался особый тип «городского человека» и «городской культуры», слабо связанный со своим историческим прошлым.

Эту страшную беду глубоко понял и правдиво описал еще в 1922 году — за десять лет до введения паспортной системы! — русский поэт Сергей Есенин: «Город, город, ты в схватке жестокой / Окрестил нас как падаль и мразь. / Стынет поле в тоске волоокой, / Телеграфными столбами давясь. / Жилист мускул у дьявольской выи, / И легка ей чугунная гать. / Ну, да что же? Ведь нам не впервые / И расшатываться и пропадать». Поэт дал исторически точную, предельно правдивую и религиозно осмысленную картину разорения земли русской, хотя большинство людей и сегодня, читая эти стихи, не склонны придавать серьезного значения пророческому предвидению — они рассматривают слова поэта как лирическую тоску по «уходящей деревне».

...В тех же целях проводилась «паспортизация на железнодорожном транспорте», которая осуществлялась в три этапа — с августа 1933 по февраль 1934 года. Первоначально паспортизация проводилась на Октябрьской, Мурманской, Западной, Юго-Западной, Екатерининской, Южных, Уссурийской и Забайкальской железных дорогах. Затем на Закавказской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Пермской, Самаро-Златоустовской и Рязано-Уральской, в последнюю очередь — на Средне-Азиатской, Туркестано-Сибирской, Томской, Омской, Московско-Казанской, Северной и Московско-Курской дорогах. Серия секретных приказов ОГПУ ставила основной задачей при выдаче паспортов рабочим и служащим железнодорожного транспорта «тщательное выявление и точное установление их социального положения»⁶. Для этого предлагалось использовать не только материалы оперативного учета, которые велись на всех явных и тайных «врагов советской власти» в ОГПУ и милиции, но и данные, поступившие от добровольных помощников — политотделов, профсоюзных, партийных организаций и «отдельных лиц», то есть секретных осведомителей (в просторечии — стукачей). В результате принятых мер транспортные органы ОГПУ выявили и «отсеяли» (термин, используемый милицией) тех, чье положение определялось советской властью как социально чуждое и враждебное. Эта акция закрепляла деление территории страны на «зоны».

Следующий этап паспортизации превращал территорию «вблизи железных дорог» в режимную. Приказом НКВД СССР № 001519 от 27 декабря 1939 года, исполняющим очередное секретное постановление Совнаркома СССР, всем начальникам дорожно-транспортных отделов этого наркомата предписывалось «немедленно приступить к подготовке изъятия антисоветских и уголовных элементов, проживающих во временных жилых строениях вблизи железных дорог». Из всех этих строений (землянок, «шанхаек», «китаек», как они обозначались в приказе) в полосе двух километров от железных дорог люди выселялись, а сами строения сносились. На тридцати восьми железных дорогах СССР (без учета дорог Западной Украины и Белоруссии), включая 64 железнодорожных и 111 оборонно-хозяйственных узлов, закипела работа. «Операция» — именно так в приказе называлась эта акция — была проведена по отработанному сценарию: составлялись списки «на весь выявленный антисоветский и уголовный элемент» (с использованием следственных и архивных материалов и негласных допросов) и люди, ранее изгнанные из родных мест, но уцелевшие в ходе «строительства основ социализма», насильственно направлялись по решениям Особых совещаний в «отдаленные местности» и «исправительно-трудовые лагеря»⁷. Сносились как постройки железнодорожников, так и те, которые принадлежали людям, не работающим на транспорте. По свидетельству прокурора СССР В. Бочкова, «в Челябинске многие рабочие семьи живут под открытым небом, в сараях, сенях. За отсутствием определенного места жительства, дети остаются вне школ. Среди них начинаются заболевания. Некоторые из рабочих, оставшихся без крова, ходатайствуют перед администрацией своих предприятий об увольнении с тем, чтобы найти работу с жильем. Ходатайства их остаются в большинстве случаев без удовлетворения»⁸. Чтобы остановить стихийное бегство людей, Совнар-

⁶ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 10 — 41

⁷ Там же, д. 233, т. 1, л. 369 — 372.

⁸ ГАРФ, ф. 5446, оп. 31, д. 2289, л. 1 — 5.

ком СССР разослал в союзные совнаркомы циркуляр, обязывающий городские и районные Советы совместно с директорами предприятий «немедленно обеспечить жилплощадью рабочих и служащих, выселенных из временных жилищ»⁹. Однако эти предписания оставались, как правило, на бумаге, да и не было у Советов в резерве необходимого жилого фонда...

Особенно унижительному закреплению подвергались жители деревни, так как, согласно вышеуказанным постановлениям Совнаркома СССР № 57/1917 от 27 декабря 1932 года и № 861 от 28 апреля 1933 года, в сельских местностях паспорта выдавались только в совхозах и на территориях, объявленных «режимными». Остальные сельчане паспортов не получили. Оба предписания устанавливали длинную, сопряженную со многими трудностями процедуру получения паспортов для стремящихся покинуть деревню. Формально закон определял, что «в тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывают на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на один год. По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих основаниях» (пункт 3-й постановления СНК СССР № 861 от 28 апреля 1933 года). Фактически же все обстояло иначе. 17 марта 1933 года постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О порядке отходничества из колхозов» обязывало правления колхозов «исключать из колхоза тех колхозников, которые самовольно, без зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганами (так именовались представители администрации, которые от имени советских предприятий ездили по деревням и заключали договоры с колхозниками. — В. П.) бросают свое колхозное хозяйство»¹⁰. Необходимость иметь на руках договор перед выездом из деревни — первый серьезный барьер для отходников. Исключение из колхоза не могло сильно напугать или остановить крестьян, на собственной шкуре успевших узнать тяжесть колхозных работ, хлебозаготовки, оплату по трудодням, голод. Препятствие состояло в другом. 19 сентября 1934 года принимается закрытое постановление Совнаркома СССР № 2193 «О прописке паспортов колхозников-отходников, поступающих на работу в предприятия без договоров с хозорганами». Традиционный термин «отходники» камуфлировал массовое бегство крестьян из колхозных «резерваций».

Постановление от 19 сентября 1934 года определяло, что в паспортизированных местностях предприятия могут принимать на работу колхозников, которые ушли в отход без зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганами, «лишь при наличии у этих колхозников паспортов, полученных по прежнему местожительству, и справки правления колхоза о его согласии на отход колхозника». Проходили десятки лет, менялись инструкции и положения по паспортной работе, наркомы, а затем министры внутренних дел, диктаторы, бюрократы, но это решение — основа прикрепления крестьян к колхозным работам — сохраняло свою практическую силу¹¹.

Хотя октябрьское, 1953 года положение о паспортах узаконивало выдачу краткосрочных паспортов «отходникам» на «срок действия договора», колхозники хорошо понимали относительную ценность этих документов, рассматривая их как формальное разрешение на сезонные работы. Чтобы не связываться с милицией, они брали справки в правлении колхозов и сельсоветах. Но еще пять лет спустя после введения для колхозников так называемых краткосрочных паспортов МВД СССР отмечало в 1958 году многочисленные факты, «когда граждане, завербованные в сельской непаспортизированной местности на сезонные работы, не обеспечиваются краткосрочными паспортами»¹².

По мере того как крестьяне находили мельчайшие лазейки в паспортном законодательстве и пытались использовать их для бегства из деревни, прави-

⁹ ГАРФ, ф. 5446, оп. 31, д. 2289, л. 6.

¹⁰ «Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР», март 1933, № 21, ст. 116

¹¹ ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 91, л. 149.

¹² ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 2, б/н

тельство ужесточало закон. Циркуляр Главного управления милиции НКВД СССР № 37 от 16 марта 1935 года, принятый в соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 302 от 27 февраля 1935 года, предписывал: «Лица, проживающие в сельской непаспортизированной местности, вне зависимости от того, куда они едут (даже если едут в непаспортизированную сельскую местность), — обязаны получать паспорта до выезда, по месту своего жительства сроком на один год»¹³. Власти, конечно, понимали, что крестьяне кочуют из села в село в поисках места, откуда легче убежать в город. Например, люди узнавали, что в Челябинске строится большой тракторный завод и, следовательно, в окрестных деревнях и районах будет проводиться усиленный оргнабор. И многие устремлялись в сельскую местность ближе к этому городу, чтобы попытаться счастья.

Правда, Челябинск, как и другой город этой области — Магнитогорск, — относился к числу «режимных» и у людей с «социально чуждым» советской власти происхождением почти не было шансов там прописаться. Таким следовало искать место поглуше, ехать туда, где их никто не знал, и там пытаться получить новые документы, чтобы скрыть прошлое. В любом случае переезд на постоянное жительство из одной сельской местности в другую до марта 1935 года являлся как бы «легальным» способом бегства, не запрещенным законом.

Но после принятия вышеупомянутого циркуляра местные органы власти обязаны были удалять переселенцев, не имеющих паспортов, из деревни. Циркуляр не разъяснял, куда именно следовало отправлять беспаспортных беглецов, то есть предоставлял полную свободу действий для произвола местных властей.

Представим себе психологическое состояние человека, который подлежал «удалению». Вернуться в родное село — значит не только вновь тянуть опостылевшую колхозную лямку, но и лишиться себя всяких, даже призрачных, надежд на покойную жизнь. Ведь сам факт бегства из колхоза вряд ли мог пройти незамеченным деревенским начальством. Значит, оставался один выход: бежать дальше, туда, где, как казалось, мышеловка еще не захлопнулась, где маячила хоть малейшая надежда. Поэтому истинный смысл циркуляра заключался в том, чтобы закрепить за крестьянами-беглецами, не имеющими паспортов, их «нелегальное положение» в любой точке СССР, превратить их в невольных преступников!

В деревнях и селах оставались те, кто сделал ставку на советскую власть, кто решил верно служить ей, вознамерился сделать карьеру на унижении и порабощении односельчан, захотел построить себе лучшую жизнь за счет эксплуатации рядовых колхозников. Оставались одураченные режимом и те, кто по возрасту, семейным обстоятельствам или физическому увечью не могли убежать. Наконец, оставались понявшие уже в 1935 году, что от советской власти нигде не спрячешься.

Верное неписаному правилу утаивать от народа самое существенное, правительство не опубликовало новое постановление в печати. Милицейский циркуляр предлагал «широко объявить сельскому населению» изменения в паспортном законе «через местную печать, путем объявлений, через сельсоветы, участковых инспекторов и т. д.».

Перед крестьянами, решившими уехать из деревни с соблюдением паспортных законов, о которых они знали понаслышке, стояла трудноразрешимая задача: надо было иметь договор с предприятием — только тогда они могли получить в милиции паспорт и уехать. Если договора не было, приходилось идти на поклон к председателю колхоза и просить справку на «отход». Но не для того создавалась колхозная система, чтобы сельским невольникам разрешалось свободно «разгуливать» по стране. Председатель колхоза хорошо понимал этот «политический момент» и свою задачу — «держат и не пущать». Мы уже указывали, что формальные права на получение паспорта сохранялись и за жителями «непаспортизированных районов» — так определяло правительство постановление от 28 апреля 1933 года. При чтении этого документа у нормального человека могло создаться впечатление, что получить паспорт в районном (или городском) отделении милиции проще пареной репы. Но так

¹³ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 237 — 237 об.

могли думать только неискушенные деревенские простаки. В самой же инструкции по паспортной работе, введенной в действие 14 февраля 1935 года приказом № 0069 наркома внутренних дел СССР Г. Г. Ягоды, существовала масса юридических зававок, внешне (по форме) противоречивых, но включенных в документ сознательно с тем, чтобы дать местным царькам (от председателя колхоза или сельсовета до начальника районного управления милиции) возможность для безграничного произвола в отношении рядового колхозника. Единственным могущим возникнуть «ограничением» их всевластия был тот «высший интерес», когда индустриальный молох вновь широко отверзал свою ненасытную пасть, требуя новых жертв. Только тогда приходилось отпускать крестьян в город по так называемому «оргнабору». И они обреченно попадали под следующий зубец машины по штамповке «советского человека» из православных русских людей.

Пункт 22-й инструкции по паспортной работе 1935 года перечислял следующие документы, необходимые для получения паспорта: 1) справку домоуправления или сельсовета с места постоянного жительства (по форме № 1); 2) справку предприятия или учреждения о работе или службе с обязательным указанием, «с какого времени и в качестве кого работает на данном предприятии (учреждении)»; 3) документ об отношении к военной службе «для всех обязанных иметь таковой по закону»; 4) любой документ, удостоверяющий место и время рождения (метрическую выпись, свидетельство загса и проч.)¹⁴. Пункт 24-й той же инструкции указывал, что «колхозники, крестьяне-единоличники и не Kooperированные кустари, проживающие в сельской местности, — никаких справок о работе не представляют». Казалось бы, этот пункт дает колхознику право не представлять в милицию справку правления колхоза о разрешении уйти в «отход», иначе зачем включать специальный пункт об этом в инструкцию? Но то была лукавая видимость. В статьях 46, 47 в разной форме, чтобы было понятнее, подчеркивалось, что все крестьяне (колхозники и единоличники) *обязаны* для выезда из деревни на срок более пяти дней иметь справку от местных органов власти, которая практически являлась главным документом для получения паспорта.

Ничего этого крестьяне не знали, ведь инструкция по паспортной работе являлась приложением к приказу НКВД СССР, который имел гриф «Сов. секретно». Поэтому особенно цинично, когда они с ней сталкивались, звучала для людей известная юридическая норма: незнание закона не освобождает от наказания по нему.

Попытаемся представить мытарства крестьянина для получения «вольной»... Договора, как правило, в руках нет, так как государство внимательно контролировало и регулировало «оргнабор» в деревне. В зависимости от положения с кадрами в той или иной отрасли, стройке, заводе, шахте оно то разрешало государственным вербовщикам набирать рабочую силу по деревням (на основе государственного плана, в котором учитывались не только отрасли, нуждающиеся в «кадрах», но указывалось и их конкретное число для каждого ведомства или стройки, а также те сельские районы, где разрешался набор), то закрывало эту лазейку. Значит, перво-наперво крестьянину следовало идти за справкой к председателю колхоза. Тот отказывает прямо или тянет, предлагает подождать с уходом до завершения сельскохозяйственных работ. Ничего не добившись в колхозе, крестьянин пытается начать с другого конца — сначала заручиться согласием в сельсовете. Председатель сельсовета — такая же «тварь дрожащая», как и председатель колхоза, существо зависимое, ценящее свое место «начальника» больше всего на свете. Естественно, он спрашивает крестьянина, есть ли у того справка из правления, просит ее показать. Если справки нет, разговор окончен, круг замкнулся. Остается только возможность подкупить сельских чиновников или подделать необходимую справку. Но на то и милиция, чтобы проверять все документы до точки, а при необходимости запрашивать ту инстанцию, которая выдала справку. Так создается почва для сращивания местной верхушки власти — колхозной, советской, милицеской, — верхушки, которая становится безраздельным хозяином деревни. Она

¹⁴ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 80 — 81.

грабит, развращает, унижает народ, она создана именно с этой целью, и паспортная система предоставляет тут неограниченные возможности.

О душевном состоянии русского человека, насильственно превращенного в «колхозника», свидетельствует писатель В. Белов: «Для сельской жизни начала тридцатых годов (добавим от себя: разве только 30-х? — В. П.) очень характерно было такое понятие, как «копия» или «копия с копии». Бумага или ее отсутствие могли отправить на Соловки, убить, уморить голодом. И мы, дети, уже знали эту суровую истину. Не зря составлять документы учили нас на уроках... В седьмом или шестом классе, помнится, мы учили наизусть стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда»: «Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям». Н. А. Некрасов называл холопским недугом обычное подхалимство. Но можно ли называть холопским недугом страх беспаспортного деревенского мальчика, стоящего перед всемогущим чиновником? Дважды, в сорок шестом и сорок седьмом годах, я пытался поступить учиться. В Риге, в Вологде, в Устюге. Каждый раз меня заворачивали. Я получил паспорт лишь в сорок девятом, когда сбежал из колхоза в ФЗО. Но за пределами деревенской околицы чиновников было еще больше...»¹⁵

...Согласно инструкции по паспортной работе 1935 года, помимо паспортных книжек сроком на три года и годичных паспортов существовали временные удостоверения сроком до трех месяцев. Они выдавались «в нережимных местностях при отсутствии документов, необходимых для получения паспорта» (пункт 21-й инструкции). Другими словами, речь шла преимущественно о сельских жителях, которые выезжали в «паспортизированную местность» на временные (сезонные) работы. С помощью этой меры государство пыталось регулировать миграционные потоки и удовлетворять нужды народного хозяйства в рабочей силе, одновременно ни на минуту не упуская ни одного человека из поля зрения милиции.

Часто из деревни убегали вообще без каких-либо документов. О том, что подобные явления носили массовый характер, свидетельствует следующая выдержка из циркуляра ЦИК СССР № 563/3 от 17 марта 1934 года: «Несмотря на проведенную органами милиции разъяснительную кампанию, требование это не выполняется: наблюдается массовый приезд граждан из сельских местностей в города без паспортов, что вызывает мероприятия милиции по задержанию и удалению приезжающих»¹⁶. Нередки были попытки прописаться по поддельным и подложным справкам об отходничестве. Но, разумеется, эта «кустарщина» не могла всерьез противостоять механизму тоталитарной машины, паспортной удавке, накинутой на народную шею.

Правовое положение крестьянина в колхозную эпоху делало его изгоем в родной стране. И жить под таким психологическим прессом предстояло не только ему, но и его детям. По действующему примерному уставу сельхозартели (1935) членство в колхозе оформлялось подачей заявления с последующим решением о приеме на общем собрании артели. На практике правило это не соблюдалось по отношению к детям колхозников, которых по достижении ими шестнадцатилетнего возраста правление механически заносило в списки членов артели без их заявления о приеме. Получалось, что сельская молодежь не могла распоряжаться своей судьбой: не могла по собственному желанию после шестнадцати лет получить в райотделе милиции паспорт и свободно уехать в город на работу или учебу. Совершеннолетние молодые люди автоматически становились колхозниками и, следовательно, только в качестве таковых могли добиваться получения паспортов. Чем в большинстве своем кончались такие попытки, мы уже писали. Формально названная практика не была закреплена юридически в уставе сельхозартели. Фактически же колхозники становились подневольным сословием «из рода в род».

...Бегство в города создавало видимость обретения свободы. Жизнь вытесняла сельских беглецов из собственно русских областей на окраины.

К 1939 году резко выросла (по сравнению с переписью 1926 года) доля русских в следующих национальных районах: в Чечено-Ингушской АССР с

¹⁵ Белов В. Раздумья на Родине. М. 1989, стр. 190 — 191

¹⁶ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 63.

1,2 — 2,9 до 28,8 процента, в Северо-Осетинской АССР с 6,6 до 37,2 процента, в Якутской АССР с 10,4 до 35,5 процента, в Бурят-Монгольской АССР с 52,7 до 72,1 процента, в Киргизской ССР с 11,7 до 20,8 процента¹⁷. В дальнейшем «индустриализация» только усиливала этот центробежный процесс.

Паспортизация населения способствовала тотальному контролю над гражданами. Негласный надзор приобрел невиданные в мировой истории масштабы. В областных управлениях милиции возникали паспортные отделы, в городских и районных управлениях (отделениях) — паспортные столы. В населенных пунктах, где проживало свыше 100 тысяч «паспортизированного населения», создавались адресные бюро. В дополнение к ним, но с иными целями — не для прописки населения и выдачи паспортов, а для «улучшения розыска скрывшихся и бежавших преступников» — приказом НКВД СССР № 0102 от 10 сентября 1936 года во всех крупных городах страны (свыше 20 тысяч жителей) организовывались кустовые адресные бюро. В Москве действовало Центральное адресное бюро (ЦАБ). Если в 1936 году кустовые бюро существовали в 359 городах СССР, то в 1937 году — в 413¹⁸. Остальные города и районы страны прикреплялись каждый к определенному кустовому адресному бюро. Таким образом, вся территория СССР была охвачена сыском. Маскировалось же это под «учет движения населения».

Положение о кустовых адресных бюро, утвержденное приказом НКВД СССР № 077 от 16 августа 1937 года, устанавливало, что «основным прописочным, учетным и справочным документом является листок прибытия, который заполняется при перепрописке всего населения и на каждого прибывающего в данный населенный пункт гражданина»¹⁹. Листки прибытия и убытия имели одинаковое название — «адресный листок». Учет движения населения при этом был второстепенной задачей. Все адресные листки до помещения их в картотеку на прибывших лиц проверялись в кустовых бюро по книге розыска паспортов, ибо многие жили по чужим или поддельным паспортам. Одновременно листки прибытия сверялись с так называемыми сторожевыми листками (розыскными карточками), которые заполнялись на «разыскиваемых преступников», объявляемых в союзном или местном розыске, и хранились в кустовых адресных бюро в специальных картотеках. При обнаружении разыскиваемого об этом немедленно сообщалось «аппарату НКВД, объявившему розыск», но карточки продолжали храниться «как компроматериал до указания об их изъятии и уничтожении».

С 1 января 1939 года ввели новую, более совершенную форму адресных листов, что не было случайным. 17 января должна была состояться всесоюзная перепись населения. Предшествующая перепись проводилась всего за два года до этого. Следовательно, государство не столько нуждалось в точных сведениях о численности населения, сколько в установлении местожительства каждого человека. Ведь в 1937 — 1938 годах в стране проводилась массовая чистка («ротация») советского чиновничьего слоя. Бывшие руководящие кадры в обстановке террора и всеобщего страха пытались сменить местожительство, любым способом получить новые документы. Люди видели в предстоящей переписи прямую угрозу своей жизни, старались заранее скрыться. Поэтому режим считал необходимым усилить контроль за «движением населения», чтобы в нужный момент иметь возможность арестовать любого. Отдельные лица (дачники, отдыхающие в санаториях, домах отдыха, приезжающие в отпуска, на каникулы, экскурсанты, туристы, прибывающие на совещания, съезды и выбывающие обратно) прописывались временно на адресных листках без отрывных талонов. Для всех остальных прописка и выписка фиксировалась на адресных листках с отрывными талонами, а затем эти данные направлялись в управление, а оттуда в Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР (ЦУНХУ). Адресный листок оставался в милиции. В режимных местностях такие листки заполнялись в двух экземплярах: один оставался в адресном бюро, а другой в отделении милиции «для контроля за выездом

¹⁷ «Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги». М. 1992, стр. 59 — 79.

¹⁸ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 160 — 164, 179 — 186.

¹⁹ Там же, д. 137, л. 181.

прописанного в срок». На «социально чуждый» и «уголовный элемент» заполнялись дополнительные листки прибытия (или убытия), которые направлялись для централизованного учета в кустовые адресные бюро²⁰. Таким образом, в стране существовал двойной учет «движения населения». Важнейший — в милиции, второстепенный — в Госплане. Инструкция по паспортной работе 1935 года следующим образом определяла приоритет в задачах адресных бюро: «а) оказание содействия административным органам в розыске необходимых им лиц; б) выдача учреждениям и частным лицам справок о местожительстве граждан; в) ведение учета движения населения»²¹. Вопреки традиционным представлениям, паспортный аппарат в СССР существовал не столько для нужд населения, сколько для розыска непокорных.

Приказ НКВД СССР № 230 от 16 декабря 1938 года о работе кустовых адресных бюро прямо указывал, что они создавались для «улучшения работы милиции по розыску преступников», а не для учета движения населения. Для решения последней задачи, говорилось в приказе, существуют адресные бюро. В кустовых бюро листки на вновь прибывших проверялись на предмет наличия в биографии человека «компрометирующих сведений», после чего — в зависимости от характера «компромата» — об этом сообщалось руководителю предприятия по месту работы человека или «немедленно в уголовный розыск».

Инструкция по паспортной работе 1935 года основными задачами милиции по «поддержанию паспортного режима» в СССР определяла следующие: недопущение проживания без паспорта и без прописки; недопущение приема на работу или службу без паспортов; очистка режимных местностей от «уголовных, кулацких и иных антиобщественных элементов, а также от лиц, не связанных с производством и работой»; взятие в нережимных местностях всего «кулацкого, уголовного и иного антиобщественного элемента» на особый учет»²².

Практическая работа низового аппарата милиции по проведению «особого учета» строилась следующим образом: в справке домоуправления или сельсовета с места постоянного жительства (форма № 1), которая в обязательном порядке предъявлялась в милиции при получении паспорта, в графу «Для особых отметок органов РК милиции» заносятся все «компрометирующие данные» о получателе паспорта. Начиная с 1936 года в паспортах бывших заключенных и ссыльных, лишенных избирательных прав и «перебежчиков» стали делать специальную отметку. Справки по форме № 1 хранились в общей картотеке паспортного аппарата милиции; люди, взятые на особый учет, заносятся в списки по специальной форме. Ширилась «индустриализация», завершалась «сплошная коллективизация», росли города, фабриковались политические процессы, все свирепее становился террор, увеличивалось число «преступников», «летунов» и иного «антиобщественного элемента». Соответственно совершенствовался сыск, увеличивались картотеки Центрального и кустовых адресных бюро.

Для улучшения идентификации личности гражданина СССР с октября 1937 года в паспорта стали наклеивать фотографическую карточку, второй экземпляр которой хранился в милиции по месту выдачи документа. Во избежание подделок Главное управление милиции ввело спецчернила для заполнения бланков паспортов и спецмастику для печатей, штампы по креплению фотокарточек, рассылало во все отделения милиции оперативно-методические «ориентировки» о способах распознавания поддельных документов. В тех случаях, когда при получении паспортов предъявлялись свидетельства о рождении из других областей и республик, милицию обязывали предварительно запрашивать пункты выдачи свидетельств, чтобы последние подтвердили подлинность документов. Для ужесточения мер по «поддержанию паспортного режима» милиция кроме собственных сил привлекала дворников, сторожей, бригадмил, «сельских исполнителей» и прочих «доверенных лиц» (как их именовали на милицейском жаргоне).

О масштабах слежки за населением свидетельствует следующий факт. По сообщению Главного управления милиции, на начало 1946 года в районах Московской области «агентурно-осведомительный аппарат» состоял из 396 ре-

²⁰ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 1, л. 466 — 470.

²¹ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 98.

²² Там же, д. 137, л. 88.

зидентов (в том числе 49 платных), 1142 агентов, 24 агентов-маршрутников и 7876 осведомителей. При этом начальник управления генерал-лейтенант Леонтьев отмечал, что «агентурно-осведомительная сеть по области большая, но качественно еще слабая»²³. Словарь иностранных слов дает несколько толкований понятия «резидент», но всегда речь идет о человеке, выполняющем дипломатические, разведывательные или административные функции в чужом, иностранном, государстве. Видимо, у коммунистической власти было достаточно оснований считать Россию чужой для себя страной.

...В 1940 году проводился обмен паспортов в Москве, Ленинграде, Киеве и других «режимных» городах. Как и в 1936 году, НКВД СССР требовал проводить обмен «в порядке текущей плановой работы, не придавая ему характер массовой кампании и без создания для этой цели специального аппарата». В стране завершились мероприятия по закреплению основной массы населения, и лишняя шумиха по этому поводу властям была не нужна. К концу 30-х годов советское руководство могло с полным правом заявить на весь мир о «построении основ социализма в СССР». Окончательное формирование паспортного режима служило этому самым убедительным аргументом.

Чтобы правильно оценить характер перемен в правовом положении русского народа, коротко рассмотрим основные положения паспортной системы царской России. Основным документом был «Устав о паспортах», изданный в 1903 году²⁴. По нему все, проживающие по месту постоянного жительства, не обязывались иметь паспорта. Под постоянным местом жительства понималось: для дворян, купцов, чиновников, почетных граждан и разночинцев — место, где они имели недвижимое имущество или домашнее обзаведение или были заняты на службе; для мещан и ремесленников — город или местечко, где они были причислены к мещанскому или ремесленному обществу; для крестьян — сельское общество или волость, к которой они были приписаны. На фабриках, заводах, мануфактурах и горных промыслах, на которые распространялось действие правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности, всем рабочим предписывалось иметь паспорта, даже в случаях, когда предприятие находилось в месте постоянного жительства этих рабочих.

Не требовалось получать паспорт в тех случаях, когда люди отлучались с постоянного места жительства в пределах своего уезда или за него, но не далее чем на 50 верст и не более чем на полгода. Можно было наниматься на сельские работы без ограничения срока отлучки и без получения паспорта, если работать приходилось в соседних с уездом волостях.

В остальных случаях при перемене места постоянного жительства выдавались паспорта: бессрочные — не служащим дворянам, уволенным с государственной службы офицерам запаса, почетным гражданам, купцам и разночинцам, пятилетние — мещанам, ремесленникам и сельским обывателям. Если за последними числились недоимки по общественным, государственным, земским или мирским сборам, паспорта выдавались только с согласия обществ, к которым они были приписаны, на срок до одного года.

Лица мужского пола до семнадцатилетнего возраста, не состоявшие на государственной службе, и женского пола до 21 года могли получить индивидуальные паспорта только с согласия своих родителей и опекунов, в чьи паспорта они были внесены. Замужние женщины получали паспорта с согласия своих мужей (исключения делались для тех, чьи мужья находились в безвестном отсутствии, в местах заключения, ссылке или страдали умопомешательством).

Членам крестьянских семей, в том числе совершеннолетним, паспорта выдавались с согласия хозяина крестьянского двора. Без этого документы могли быть выданы только по распоряжению земского или крестьянского начальника либо других ответственных лиц.

Отбывшие наказание в исправительно-арестантских отделениях, тюрьмах и крепостях в соответствии с Уложением о наказаниях (в отдельных случаях

²³ ГАРФ, ф. 9415, оп. 3, д. 33, л. 347 об.

²⁴ Фактический материал взят из «Краткой справки о паспортной системе, действовавшей в царской России», которая была подготовлена начальником паспортно-регистрационного отдела ГУМ МВД СССР Подузовым 20 апреля 1953 года (ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4155, л. 214 — 222).

по решению Особых Совещаний при министре внутренних дел) находились под особым полицейским надзором. Этим лицам паспорта выдавались только с разрешения полиции, а в них делалась отметка о судимости владельца и производилась запись, ограничивающая места проживания. Существовавший в Российской империи паспортный режим позволял даже революционерам после отбытия наказания за особо опасные преступления не только не чувствовать себя в обществе изгоями, но и жить в сносных, человеческих условиях, менять местожительство, продолжать заниматься революционными делами и дальше, выезжать за границу. Многие злоупотребления были тогда связаны именно с излишней либерализацией паспортного режима.

В 1900 году заграничный паспорт был выдан, например, В. Ульянову, брату казненного террориста, активному приверженцу свержения монархии, выступавшему с пропагандой своих идей. Даже смешно представить возможность чего-либо подобного в СССР после введения паспортной системы.

К числу схожих черт паспортных систем России и СССР, имеющих, на первый взгляд, некоторое сходство, относятся ограничения, налагаемые на сельских жителей. Однако и здесь легко увидеть различные цели, которые преследовались при введении паспортных норм. В дореволюционной России — с явным преобладанием деревенского населения над городским — «отходничество» служило не только способом сглаживания сезонности сельского труда, но и дополнительным заработком для крестьян, что позволяло им расплачиваться с налогами и недоимками. В отношении правовых ограничений даже советские историки вынуждены признать, что царский указ от 5 октября 1906 года представлял крестьянам «одинаковые в отношении государственной службы права» с другими сословиями и «свободу избрания места постоянного жительства», без чего было невозможно проводить столыпинскую реформу.

Цель же советской паспортной системы — прикрепить людей к колхозным работам, а традиционный термин «отходничество» маскировал бегство людей от ужасов коллективизации.

До революции диктат главы крестьянского двора в отношении разрешения на выдачу паспортов членам своей семьи, во-первых, опирался на хозяйственную и религиозную традицию, выработанную веками и обусловленную способом ведения сельского хозяйства, а во-вторых, не шел ни в какое сравнение с произволом и глумлением советских органов при оформлении паспортов колхозникам.

2

Вторая мировая война продемонстрировала новые возможности паспортной тоталитарной системы. В 1939 году СССР вернул территории, бездарно проигранные в ходе военной кампании за девятнадцать лет до того. Население этих мест подверглось насильственной советизации. 21 января 1940 года вводится в действие временная инструкция по проведению паспортной системы в западных областях, которая ничем не отличалась от действующей в Советском Союзе.

...В том же году постановлением Совнаркома СССР № 1667 от 10 сентября начинает осуществляться новое положение о паспортах и новая инструкция НКВД СССР по его применению²⁵. Новый документ имел одно существенное отличие от декабрьского постановления 1932 года: он расширял территорию паспортизации за счет районных центров и населенных пунктов, где были расположены МТС. Заветная черта, за которой начиналась жизнь с паспортом, казалось, приблизилась. Власть как бы делала сельчанам приглашающий жест; миграция из деревень усилилась. Но, устроившись работать на новом месте на предприятия, бывшие сельские жители сразу подпадали под действие указа от 26 июня 1940 года. По нему под страхом уголовного наказания запрещался самовольный уход рабочих и служащих с предприятий. Фиктивная «либерализация» паспортной системы на деле вышла боком тем, кто на нее купился. Расширение паспортизированной территории свидетельствовало о продолжаю-

²⁵ «Постановления Совнаркома СССР за сентябрь 1940 года»; ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 1, л. 3 — 15.

щемся наступлении города на деревню, ведь в районных центрах создавалась городская атмосфера со всеми прелестями советской резервации.

Помимо названного новшества положение о паспортах учитывало перемены, которые произошли после 1932 года. Уточнялись границы режимных местностей в связи с территориальными захватами СССР 1939 — 1940 годов; законодательно оформлялось распространение паспортной системы на жителей новых земель; определялся порядок выдачи паспортов кочующим цыганам и лицам, принятым в гражданство СССР, закреплялась на неопределенный срок практика изъятия у рабочих и служащих оборонной и угольной промышленности, железнодорожного транспорта паспортов и выдача им взамен спецудостоверений. Орденоносцы, лица, достигшие пятидесятипятилетнего возраста, инвалиды и пенсионеры отныне должны были получать бессрочные паспорта; пятилетние выдавались гражданам от 16 до 55 лет. Сохранялась практика выдачи временных удостоверений «гражданам, выезжающим из местностей, где не введена паспортная система».

Еще в мае 1940 года НКВД СССР распорядился работникам угольной промышленности вместо паспортов выдавать спецудостоверения. Паспорта хранились в отделах кадров предприятий и выдавались на руки в исключительных случаях (например, для предъявления документа в загсе при перемене фамилии, вступлении в брак или разводе). Этот порядок отменили только в мае 1948 года, возвратив паспорта на руки владельцам. Как и в угольной промышленности, подобное положение в 1940 — 1944 годах распространялось на те отрасли народного хозяйства, предприятия которых отличались особенно тяжелыми условиями труда и испытывали постоянные трудности с рабочими кадрами (главным образом неквалифицированными), — черную и цветную металлургию, химическую промышленность, тяжелую индустрию, судостроение. Выдача удостоверений взамен паспортов существовала на железнодорожном, морском и речном транспорте, в системе Главного управления трудовых резервов²⁶.

В июне 1940 года запрещается самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений, а в декабре 1941 года уголовная ответственность устанавливается для всех работников военной промышленности, в том числе и тех производств, которые работали на оборону «по принципу кооперации», — самовольно ушедшие оттуда объявлялись дезертирами и подлежали суду военных трибуналов. Дополнительными указами это положение в 1942 году распространили на рабочих и служащих угольной и нефтяной промышленности, транспорта, а также на рабочих и служащих отдельных предприятий (например, Магнитостроя)²⁷. Так, в необходимых случаях паспортная система дополнялась изменением трудового законодательства.

Отечественная война 1941 — 1945 годов потребовала от советской милиции дополнительных усилий по поддержанию паспортного режима в стране. Секретный циркуляр НКВД СССР № 171 от 17 июля 1941 года предписывал наркомам внутренних дел республик и начальникам управлений НКВД краев и областей следующий порядок «документации граждан, прибывающих без паспорта в тыл, в связи с военными событиями». Первоначально следовало проверить всех, кто оказывался в тылу без паспортов: подробно допросить об обстоятельствах утраты документов, установить место их получения, послать туда запрос и фотокарточку заявителя. Только после ответа, «подтверждающего выдачу паспорта и тождественность фотокарточки», разрешалась выдача паспорта. Если из-за немецкой оккупации провести проверку было нельзя, а люди располагали другими документами, подтверждающими их личность, они получали временные удостоверения. При утрате всех документов после тщательного личного допроса, перепроверки этих данных беспаспортным выдавали справку, которая не могла служить удостоверением личности владельца, но облегчала ему временную прописку и устройство на работу²⁸.

Этот дополнительный штрих к характеристике советской паспортной системы, на первый взгляд как будто излишний, на самом деле схватывает ее суть. Трудно представить, чтобы немецкие агенты внедрялись на нашу терри-

²⁶ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 1, л. 252 — 261.

²⁷ ГАРФ, ф. 7523, оп. 12, д. 78, л. 1 — 11.

²⁸ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 1, л. 194.

торию, не имея соответствующих оперативной легенде персональных документов. Это хорошо понимали в НКВД. Без какой-либо видимой цели в условиях военного времени усилия этого огромного государственного аппарата тратились на бесконечные (и по большей части бессмысленные) проверки, допросы, перепроверки для выяснения очевидного. А именно, что имярек такой-то, спасаясь от гибели и не желая оставаться в оккупации, бежал в тыл и при этом потерял или уничтожил (под угрозой плена) свои документы. Он попал к своим, спасся от гибели, для него это радость, он вправе ожидать участия к своей судьбе. Вместо этого власти ставят его на правеш. У органов появляется зацепка, «компрометирующие данные» о пребывании человека на временно оккупированной территории. И всю последующую жизнь он обязан указывать на этот факт во всех анкетах. Этот маленький, объемом в одну машинописную страницу, циркуляр решающим образом повлиял на судьбы сотен тысяч людей и был отменен только в 1949 году.

3

Меньше всего в СССР церемонились с заключенными. 19 декабря 1933 года секретным циркуляром ОГПУ № 124 всем подведомственным органам сообщался порядок освобождения из «исправительно-трудовых лагерей ОГПУ, в связи с установлением паспортного режима». К освобождающимся из лагерей предписывалось применять «дифференцированный подход».

Не получали паспорта и не прописывались в режимных местностях осужденные за следующие преступления: контрреволюционную деятельность (исключения делались для лиц, «прикрепленных по постановлениям ОГПУ к определенным предприятиям для работы» и амнистированных специальными постановлениями правительства, то есть высококвалифицированных специалистов, без которых не могло работать ни одно производство), бандитизм, массовые беспорядки, уклонение от призыва на военную службу «с отягчающими признаками», фальшивомонетчество и подделку документов, контрабанду, выезд за границу и въезд в СССР «без разрешения», нарушение монополии внешней торговли и правил о валютных операциях, злостный неплатеж налогов и отказ от выполнения повинностей, побег арестованных, самогоноварение, сопротивление представителям власти с насилием, насилие в отношении общественников-активистов, растрату, взяточничество и взяточительство, расхищение государственного и общественного имущества, незаконное производство аборт, растление малолетних, изнасилование, сводничество, повторные кражи, разбой, мошенничество, поджог, шпионаж²⁹. Из приведенного перечня видно, что в разряд преступников попали не только уголовники и политические противники режима, но и та многомиллионная масса населения, которая стала жертвой различных «экспериментов» советской власти при построении социалистического общества. Многие были осуждены без всякой вины с их стороны, так как, согласно комментарию к уголовному кодексу в редакции 1926 года, под «преступным деянием» понималось «покушение на основные завоевания пролетарской революции; следовательно, оконченный состав преступного деяния будет уже с момента покушения; фактических вредных последствий может и не быть»³⁰.

Все, кто отбыл «срочное (на какой-либо срок. — В. П.) лишение свободы, ссылку или высылку по вступившим в силу приговорам судов и коллегии ОГПУ» за перечисленные выше преступления, включались в специальный перечень лиц, которым в режимных местностях паспорта не выдавались. Действие правительственного постановления № 43 от 14 января 1933 года, содержащее названный перечень, распространялось на всех осужденных за указанные преступления после 7 ноября 1927 года, то есть за пять лет до принятия государственного закона о паспортной системе!

...Среди отверженных советским режимом граждан на самом дне находились крестьяне. Циркуляр № 13 Главного управления милиции НКВД СССР

²⁹ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 60 — 61.

³⁰ «Уголовный Кодекс РСФСР. Научно-популярный комментарий с дополнениями и изменениями по 15 августа 1927 г.». М. 1927.

от 3 февраля 1935 года основывался на постановлении ЦИК СССР от 25 января того же года, в котором указывалось, что «восстановление в гражданских правах высланных кулаков не дает им права выезда с места поселения». Согласно этому циркуляру, всем высланным «кулакам, восстановленным в гражданских правах», паспорта выдавались «исключительно по месту расположения трудпоселения» на основе списков, представленных райкомендатурами. В паспорте следовало обязательно указать, что он выдан «на основании списка такой-то комендатуры трудпоселения, такого-то района, номер и дату списка». Пункт 3-й обязывал: «Лиц, имеющих в паспортах указанную запись, — не прописывать на проживание нигде, кроме мест поселения. При обнаружении этих лиц в других местностях задерживать их, как бежавших, и направлять этапом к месту поселения»³¹.

С 1933 года тайно (в особых учетных формах милиции), а с 8 августа 1936 года и тайно и явно (в учетных документах МВД и в паспорте) делалась отметка о судимости человека. В паспортах бывших заключенных, «лишенцев» и «перебежчиков» (перешедших границу СССР «самовольно») делалась запись следующего содержания: «Выдан на основании пункта 11 постановления СНК СССР за № 861 от 28 апреля 1933 г.». После принятия в 1940 году нового положения о паспортах и инструкции по его применению запись приобрела следующий вид: «Выдан на основании ст. 38 (39) Положения о паспортах». Эта приписка делалась и в паспортах кочующих цыган.

Найти приличную работу человеку, которого советская власть отнесла к «социально чуждому элементу» или сама насильственно превратила в «уголовный элемент», было практически невозможно.

Для миллионов людей, имевших судимость, путь домой, к семьям и родным, был, по существу, закрыт навсегда. Они были обречены скитаться по родной стране, каждый день их могли уволить с работы без всякого объяснения причин. Это была жизнь под занесенным мечом, который мог пасть на их головы в любой миг. Многие бывшие заключенные и не пытались вернуться к прежней жизни, так как понимали всю тщетность своих усилий. Иные оседали вблизи лагерей, из которых вышли, или завербовывались в отдаленные районы страны. Нередко для затыкания кадровых «дыр» на предприятиях с каторжными условиями труда правительство использовало метод своеобразной «массовой вербовки». «Во исполнение приказа МВД СССР и Генерального прокурора СССР за № 0039/3 от 13 января 1947 года, — указывалось в циркуляре МВД СССР № 155 от 19 марта того же года, — на шахты и другие предприятия министерства угольной промышленности восточных районов направляются для работы 70 000 человек, досрочно освобожденных из мест заключения и лагерей»³². Получается, что людей досрочно освобождали, чтоб заменить одну каторгу на другую, используя «досрочное освобождение» как приманку. Поскольку в 1947 году еще действовал порядок, по которому рабочим и служащим угольной промышленности взамен паспортов выдавались спецудостоверения, циркуляр предписывал министрам внутренних дел республик и начальникам управлений МВД в краях и областях обеспечить узаконенную паспортную норму.

Иногда в воспитательных целях советская власть проявляла «гуманизм» в отношении бывших заключенных. В 1945 году совместным приказом НКВД СССР, НКГБ СССР, Наркомюста СССР и Прокурора СССР № 0192/069/042/149 «О порядке выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. об амнистии, в связи с победой над гитлеровской Германией», соответствующим органам разрешалось направление в режимные местности и прописку в этих местностях несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имею-

³¹ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 137, л. 236. Только в 1955 году по постановлению Совмина СССР № 449-272 от 10 марта спецпоселенцы, «проживающие в городах, районных центрах, поселках городского типа, а также в местностях, постоянные жители которых обязаны иметь паспорта», их наконец получили (см.: ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 2, б/н). По данным В. Земскова, на 1 января 1953 года в СССР числилось 2 753 356 спецпоселенцев; с июля 1954 года по июль 1957 года из спецпоселения и ссылки было освобождено 2 554 639 человек (см. в кн.: «Население России в 1920 — 1950-е гг. Численность, потери, миграции». М. 1994, стр. 145 — 194).

³² ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 2, л. 193 — 194; 202 — 203.

щих малолетних детей, стариков и инвалидов, подпадающих под амнистию, которые «следовали к прежнему месту жительства, к родным или близким родственникам»³³. К концу ноября 1945 года были полностью освобождены 620,8 тысячи человек, осужденных на различные сроки, и 841,1 тысячи человек, осужденных к исправительно-трудовым работам. 212,9 тысячи человек, осужденных свыше чем на три года, были сокращены остающиеся сроки наказания. Тем не менее уже с октября 1945 года — после завершения амнистии — наблюдается рост поступления осужденных в лагеря. Только за четыре месяца (октябрь 1945 — январь 1946 года) число заключенных по стране увеличилось на 110 тысяч, а ежемесячное поступление людей в лагеря превышало убыль из них на 25 — 30 тысяч человек³⁴. Практически амнистия являла не акт милосердия к победившему народу, а была способом замены и обновления рабочей силы лагерей.

4

...3 марта 1949 года Бюро Совмина СССР рассмотрело вопрос о введении паспорта нового образца и проект нового положения о паспортной системе в СССР. Разработка велась МВД СССР по личному указанию и инициативе заместителя председателя Совмина СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Л. П. Берии³⁵. Предложение мотивировалось тем, что «во время войны значительная часть бланков действующих паспортов и инструкций по применению положения о паспортах попала в руки врага и уголовно-преступного элемента, чем была в значительной мере расшифрована техника паспортной работы в СССР». Важнейшим отличием предлагаемого проекта было то, что это положение о паспортной системе предусматривало «выдачу паспортов не только городскому, но и сельскому населению».

Не следует рассматривать эту попытку как действительную либерализацию советского режима. Паспортизация всего населения страны в возрасте от 16 лет и старше в тех условиях означала тотальный контроль за жизнью каждого, ведь владение паспортом создавало только видимость прав человека — гражданина СССР, так как главным в определении его судьбы по-прежнему оставались бы «компрометирующие данные», хранившиеся в Центральном и кустовых адресных бюро. Переход к сплошной паспортизации населения страны сулил немалые выгоды Министерству внутренних дел и лично его куратору Берии, ибо выросло бы значение этого министерства, появились бы дополнительные шансы в борьбе за власть. С точки зрения государственной — полный контроль за жизнью каждого члена общества, — имелись все резоны принять предложение. Но его отклонили со следующей формулировкой, не объясняющей причин отказа: «Предложено МВД доработать на основе мнений на Бюро». Больше к вопросу о наделении паспортами всего сельского населения (включая колхозников) не возвращались до 1974 года, хотя после смерти Сталина было принято новое положение о паспортах в октябре 1953 года.

...Правда, чего Берии удалось добиться во время пика карьеры, когда в марте 1953 года он был назначен первым заместителем председателя Совмина СССР и вернул себе пост министра внутренних дел, так это успеть протолкнуть в правительство до своего ареста и расстрела проект постановления «О сокращении режимных местностей и паспортных ограничений». Докладная на имя нового председателя Совмина СССР Маленкова за подписью Берии была отправлена 13 мая 1953 года. Соответствующие копии докладной разосланы всем членам Президиума ЦК КПСС — В. М. Молотову, К. Е. Ворошилову, Н. С. Хрущеву, Н. А. Булганину, Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну, М. З. Сабурову, М. Г. Первухину³⁶. 21 мая 1953 года этот проект был утвержден в качестве постановления Совмина СССР № 1305-515. Основные изменения сводились к исключению из числа режимных около ста пятидесяти городов и местностей, всех железнодорожных узлов и станций (режимные ограничения сохранялись в Москве и в двадцати четырех районах Московской области, в

³³ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 2, л. 245 — 246 об.

³⁴ ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1246, л. 163 — 202.

³⁵ ГАРФ, ф. 5446, оп. 53, д. 5020, л. 1 — 28.

³⁶ ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4155, л. 170 — 181.

Ленинграде и пяти районах Ленинградской области, во Владивостоке, Севастополе и Кронштадте); уменьшению размеров запретной пограничной полосы (за исключением полосы на границе с Турцией, Ираном, Афганистаном, на Карельском перешейке); сокращению перечня преступлений, судимость за которые влекла запрещение проживать в режимных местностях (сохранялись все «контрреволюционные преступления», бандитизм, хулиганство, умышленное убийство, повторные кражи и разбой). Но задуманное Берией реформирование паспортной системы, как отмечалось, имело более глубокий смысл. Это подтверждают многочисленные справочные материалы (в том числе о паспортной системе Российской империи), подготовленные аппаратом МВД в апреле 1953 года.

Изданный в развитие правительственного постановления приказ Министерства внутренних дел № 00375 от 16 июня 1953 года за подписью Берии, которым упразднялись паспортные ограничения, дышит прямо-таки отеческой заботой о нуждах бывших заключенных и их семей: «При существующем положении граждане, отбывшие наказание в местах заключения или ссылки и искупившие тем самым свою вину перед обществом, продолжают испытывать лишения... Наличие в стране широких паспортных ограничений создает трудности в устройстве не только для граждан, отбывших наказание, но и для членов их семей, которые также, в связи с этим, оказываются в затруднительном положении»³⁷. Далее отмечалось, что «режим и паспортные ограничения, введенные в этих районах (режимной зоне, которая простирается на сотни километров в глубь страны. — В. П.), тормозят их экономическое развитие». Имея в своих руках самые полные источники информации, Берия первым из коммунистических вождей понял, что система ГУЛАГа в послевоенное время уже нерентабельна и не отвечает необходимым условиям технократического и хозяйственного развития тоталитарного общества.

Однако своего главного врага — русского крестьянина — советская власть продолжала держать на паспортном «крючке». И по положению о паспортах от 21 октября 1953 года жители сельских местностей (за исключением режимных) продолжали жить без паспортов. Если же они привлекались временно — сроком не более чем на один месяц — на сельхозработы, лесозаготовки, торфоразработки в пределах своей области, края, республики, им выдавалась справка сельсовета, удостоверяющая их личность и цель выезда. Такой же порядок сохранялся для деревенских жителей непаспортизированных местностей, если они выезжали в дома отдыха, на совещания, в командировки. Если же они отправлялись за пределы своего района в другие местности страны на срок свыше тридцати дней, то обязаны были прежде всего получить паспорт в органах милиции по месту жительства, что было малореально.

...После смерти Сталина крестьянину жить стало как будто полегче: в 1953 году изменили порядок обложения крестьянских хозяйств сельхозналогом, с 1958 года отменили обязательные поставки всех сельхозпродуктов с хозяйств колхозников; мартовская (1953 года) амнистия прекращала исполнение всех без исключения приговоров, по которым колхозники осуждались к исправительно-трудовым работам за невыполнение обязательного минимума трудодней³⁸. Для тех, кто постоянно работал в колхозе, амнистия значительно облегчила жизнь. Люди, ушедшие в «отход» без разрешения правлений колхозов, в связи с амнистией почувствовали себя свободными. Но это был самообман, так как в правовом положении колхозника существенных перемен не произошло: продолжал действовать примерный устав сельхозартели и в годовом отчете колхоза «отходники» продолжали учитываться государством как рабочая сила, числящаяся за колхозами. Следовательно, всех, кто самовольно ушел в «отход», правительство в любой момент могло принудительно вернуть в колхозы. Меч по-прежнему был занесен над головами, его только как бы «забыли» опустить. Ограничения в паспортных правах сельчан продолжали сохраняться властями сознательно. Так, в секретном циркуляре № 42 от 27 февраля 1958 года министра внутренних дел СССР Н. П. Дудорова, адресованном руководителям этого ведомства в союзных республиках, указывалось: «Не допускать направления

³⁷ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 3, б/н.

³⁸ ГАРФ, ф. 9492, оп. 1, д. 284, л. 5.

граждан из сельской непаспортизированной местности за пределы области, края, республики (не имеющей областного деления) на сезонные работы по справкам сельских Советов или колхозов, обеспечивая выдачу этой категории граждан краткосрочных паспортов на срок действия заключенных ими договоров»³⁹. Таким образом, юридически паспортные ограничения для колхозников 50-х годов мало чем отличались от таковых же в 30-е годы.

Приказ МВД СССР № 0300 от 31 октября 1953 года, объявляющий для руководства и исполнения упоминавшееся выше правительственное постановление № 2666-1124 от 21 октября 1953 года и новое положение о паспортах, устанавливал: «Не выдавать паспортов лицам, освобождаемым из мест заключения и следующим к прежнему месту жительства в сельские местности, постоянные жители которых, в соответствии с пунктом «г» статьи 2 и статьей 3 положения о паспортах, паспортов иметь не обязаны»⁴⁰.

Получается, что в главном — отношении к русскому крестьянству — это законодательство эпохи «оттепели» стало даже изощренней, чем прежде. Такой специальный пункт отсутствовал в ягодинской инструкции о паспортной работе 1935 года и бериевском положении о паспортах 1940 года. В их времена все заключенные после освобождения получали справку (или удостоверение), а по прибытии к месту постоянного жительства в нережимную местность — паспорт. Мало того, приказ наркома внутренних дел СССР Г. Г. Ягоды № 84 от 14 апреля 1935 года порицал те органы милиции, которые отказывали бывшим заключенным и ссыльным в выдаче паспортов. «Такое бездушное чиновничье отношение к лицам, отбывшим установленную для них меру соцзащиты, — говорилось в приказе, — толкает их обратно на преступную дорогу»⁴¹. Приказ обязывал органы милиции всем бывшим заключенным и ссыльным «паспорта в нережимных местностях выдавать безоговорочно, по предъявлении справки ИТУ (исправительно-трудовое учреждение. — В. П.) об отбытии меры соцзащиты».

Безусловно, Ягода фарисействовал, но насколько же циничнее приказ МВД 1953 года! В деревню после лагерей и тюрем возвращались в массе своей отнюдь не профессиональные воры, рецидивисты, а крестьяне, которые, уцелев после всех советских «экспериментов» по построению социалистического общества, ехали домой доживать свой век. Именно они — осужденные за «колоски» и подобные же «хищения государственного и общественного имущества» в голодные предвоенные, военные и послевоенные времена — составляли основную массу заключенных. Милицейский приказ четко обозначил их место в пирамиде советского общества: ниже освобожденных профессиональных воров, возвращающихся в города, вровень с заключенными и спецпоселенцами. Особенно по-издевательски должен был восприниматься этот пункт в период массовой реабилитации бывших «государственных деятелей» (советских чиновников всех рангов), которые своей политикой загнали крестьян в лагеря.

...В сентябре 1956 года объявлялась амнистия советским воинам, осужденным за сдачу «в плен врагу в период Отечественной войны». Органам милиции предписывалось «обменять ранее выданные паспорта (с ограничениями) гражданам, с которых на основании объявленного постановления (постановление Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1956 года. — В. П.) снимается судимость и поражение в правах»⁴². Это означало, что отныне эти люди могли ехать на постоянное жительство в любой район страны, включая привилегированный режимный. В январе 1957 года было разрешено проживание и прописка калмыкам, балкарцам, карачаевцам, чеченцам, ингушам и членам их семей в местностях, из которых их ранее выселили⁴³. Реабилитационная кампания набирала обороты.

И только русские крестьяне продолжали оставаться изгоями в своей стране. По действующему положению осужденные по статьям 2 и 4 указа от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного

³⁹ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 2, б/н.

⁴⁰ Там же, д. 233, т. 3, б/н.

⁴¹ Там же, д. 137, л. 51.

⁴² Там же, д. 233, т. 2, б/н.

⁴³ Там же, д. 233, т. 2, б/н.

и общественного имущества» не могли вернуться домой на прежнее местожительство, если их село или деревня находились в режимной местности. За один только 1950 год в РСФСР по статьям 2 и 4 названного указа было осуждено 82,3 тысячи человек (четвертую часть их составляли женщины)⁴⁴. Этот указ был введен правительством тогда, когда многим сельским жителям, чтобы не умереть от голода, приходилось красть зерно с колхозных полей и токов.

...С октября 1953 года паспорта выдавались: бессрочные — лицам, достигшим сорокалетнего возраста, десятилетние — лицам в возрасте от 20 до 40 лет, пятилетние — лицам в возрасте от 16 до 20 лет. Выдавался еще один тип паспорта — краткосрочный (на срок не более шести месяцев) — в случаях, когда люди не могли представить все необходимые для получения паспорта документы, при утрате паспортов, а также выбывающим из сельской местности на сезонные работы (в «отход»). Последние, как уже отмечалось, получали краткосрочные паспорта «на срок действия договоров» и могли обменять их «лишь в случае перезаключения ими договоров»⁴⁵.

Широко бытует мнение, что паспорта стали выдаваться всем гражданам СССР, достигшим шестнадцатилетнего возраста, еще в годы правления Н. С. Хрущева. Даже те, кто уехал из деревни в 50-е годы, полагают, что среди прочих реформ Хрущеву удалось провести и паспортную. Так велика сила общественного заблуждения, замешенная на «оттепельных» предрассудках и незнании фактов новейшей отечественной истории. Имеется и психологический подтекст: для тех, кому удалось убежать из деревни в город в хрущевскую пору и получить паспорт, этот вопрос потерял остроту и перестал восприниматься как один из основных в сельской жизни.

В действительности же только 28 августа 1974 года постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР» принимается решение о введении с 1976 года паспорта гражданина СССР нового образца⁴⁶. Это положение о паспортной системе устанавливало, что «паспорт гражданина СССР обязаны иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста». Выдача и обмен новых документов должны были проводиться с 1976 по 1981 год.

Почему крестьян уравнивали в правах с остальными гражданами страны более сорока лет спустя после введения в СССР паспортной системы? Потому что такой срок понадобился для переделки русского народа в советский. Этот исторический факт и был зафиксирован в преамбуле Конституции СССР (принята 7 октября 1977 года): «В СССР построено развитое социалистическое общество... Это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность — советский народ»⁴⁷.

В то время как деревни и села России уничтожались, города пухли и индустриализировались без всякого учета их культурных традиций и сбережения экологии. Советская идеология сформировала воистину нового человека, лишенного исторических национальных корней. У него отняли Бога и вложили в руки «кодекс строителя коммунизма».

⁴⁴ ГАРФ, ф. 9492, оп. 3, д. 85, л. 2 — 2 об., 19 — 19 об.

⁴⁵ ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 233, т. 3, б/н.

⁴⁶ «Собрание постановлений Правительства СССР», 1974, № 19, ст. 109.

⁴⁷ Кукушкин Ю., Чистяков О. Очерк истории Советской конституции. М. 1987, стр. 316.

В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕКСАНДР СОКОЛЯНСКИЙ

*

...А ТОЛЬКО ГОСТЬ СЛУЧАЙНЫЙ

*Выставка «Москва — Berlin. Берлин — Moskau. 1900 — 1950».
Заметки посетителя.*

В том, что касалось родного города, у каждого из них была своя беда. Сулла наставлял сограждан в умеренности, сам будучи невоздержан и расточителен, а Лисандр населил свой город страстями, от которых сам был свободен; стало быть, вина одного в том, что он сам был хуже собственных законов, а другого в том, что он делал сограждан хуже, чем был сам.

Плутарх, «Сравнительные жизнеописания».

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Лермонтов, «Герой нашего времени».

ПОДЛЫЙ ЖАНР. «Заметки» — ошметки: не люблю их. Во-первых, «заметки» сбивают дыхание мысли: фраза то путается в периодах, то распадается на задыхающиеся назывные предложения, демонстрирующие несостыкованность отдельных впечатлений. Заметки портят не только слог, но и само умение слагать, складывать вместе; портят в человеке профессионала.

Во-вторых: предлагая заметки вместо обдуманного и стройного рассказа, попадаешь в унижайшую ситуацию: как будто попробовал всех (включая себя самого) обокрасть и большинство (включая тебя самого) тут же поймало тебя с поличным. Ведь можно было бы, наверное, свести концы с концами, сделать еще одно усилие и, поняв, что к чему, гордо предъявить конструкцию идей, сданную под ключ: вселяйтесь, обживайте. Однако же вместо этого предлагаешь поселиться на заброшенной стройплощадке.

Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, — мне хотелось описать Выставку. Не пересказать ее идею, внятно изложенную в каталоге, а сопрять собственные ощущения, ассоциации, домыслы так, чтобы они стали тенью контуром Выставки. Точной проекцией на плоскость — при субъективной, разумеется, точке зрения. Не случилось. Не удалось отойти на удобную дистанцию: разговаривая о Выставке «Москва — Берлин», я нахожусь внутри ее, как посетитель брожу по залам — и именно поэтому слово «Выставка» пишу с заглавной. Как бы «Родина». Как бы «Вселенная». Как все, что видишь изнутри, сознавая себя частью увиденного — то есть не обладая правом на оценку. Оценкой может быть только бунт: не хочу, дескать, оставаться частью.

Поэтому — заметки.

АПОЛОГИЯ КАТАЛОГА. Две тысячи экспонатов удержать в памяти невозможно. Остаться должны, в основном, лишь связи между ними, переходы из зала в зал — из времени во время и из одной страны в другую, как правило, до боли сходную. Это вошло в замысел Выставки, и это, по моему мнению, стало существенным отличием проекта «Москва — Берлин» от не менее грандиозного, до сих пор памятного проекта «Москва — Париж».

Сюжетом «Москвы — Парижа» («Москва» как-то поневоле всюду ставится на первое место) было искусство само по себе, меняющееся во времени и подчиняющее себе жизнь: моду, интерьеры, привычки. Сюжетом «Москвы — Берлина» оказалось, собственно, не искусство, а его история. Дурная, человеческая, но — какая уж была.

Поэтому нет никакого резона сетовать на то, что в экспозиции слишком мало заново обнаруженных шедевров. Маршрут от шедевра к шедевру с шорами на глазах — худшее, что может придумать для себя посетитель Выставки. На ней демонстрируются не «вечные ценности», а именно что временные, временем заданные и обусловленные, в девяти случаях из десяти совершенно понапрасну провозглашавшиеся вечными. И нет особого резона интересоваться, действительно ли работы, переданные на Выставку из собрания Вэллы Корецки (Мюнхен), — сплошь фальшивки. Конечно, было бы приятней, если бы сомнительные произведения Любови Поповой, Эля Лисицкого, Александры Экстер (из московской экспозиции осмотрительно исключенные) оказались подлинниками. Но коли нет — беда невелика. Подлинность работ — проблема, непосредственно затрагивающая искусствоведов, экспертов и коммерсантов. Посетитель смотрит не работы, а Выставку.

Он смотрит ее, как умеет. Директор Берлинской галереи Йорн Меркерт принципиально отказался от всяких стендов с поясняющими надписями, советуемыми «обратить особое внимание» (когда номер журнала выйдет в свет, мы все будем знать, решилась ли предоставить зрителя самому себе Ирина Антонова, директор Пушкинского музея). Каждый должен сам найти свою систему зависимостей и взаимосвязей, свое место в истории. Для людей, не особо доверяющих собственному мнению, существует четырехкилограммовый каталог.

Он подробен и прекрасен. Часто повторявшаяся шутка об этом каталоге как о центральном экспонате Выставки по-своему совершенно справедлива — как и любая хорошая шутка. Этот каталог — памятник, воздвигнутый современным искусствоведением самому себе: прочнее холста и ярче масляных красок. Цельное, умное, стройное суждение о пяти десятилетиях, прожитых параллельно, с огромным количеством превосходных деталей и отточенных дефиниций, с необыкновенно элегантно сноровкой передавать — от автора к автору — мысль, как эстафетную палочку. Единственное, чисто субъективное, возражение, которое против него можно выдвинуть: каталог, как ему и полагается, дорожит всем вмещенным. А я, понимая, что так и надо, что история не знает сослагательного наклонения и не пишется через «если бы», всем подряд дорожить не хочу. Не хочу вашего каталога, не хочу своей истории, дайте Жалобную книгу. Посетитель имеет право на последнее желание: позвольте пожаловаться.

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ (лирическое отступление). Оказавшись внутри темы «Россия и Германия», обязавшись услышать, понять и как-то транспонировать, сразу же закрываешь лицо и зовешь всех, кого только можно, на помощь. В одиночку справиться невыносимо и даже страшно взяться голыми руками: только через посредников, гарантов, защитников.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Почимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

.....
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой мы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

(Мандельштам, «К немецкой речи»)

Восторг перед немецким языком (что само по себе есть завуалированный оксюморон: «немец» — от «немоты») в русской культуре Серебряного века и далее, вплоть до 30-х годов, замечательно сопряжен с презрением к немецкому быту. Нет никакого желания обсуждать, в какой мере это постромантическое презрение обосновано и чем оно вызвано, — оно неспра-

ведливо по определению. Важно, что оно существует как факт культуры, и к высокомерным насмешкам над «бюргерским» и «филистерским» чем дальше, тем больше прирастает панический страх. Ярче всего это прослеживается в стихах самого беззаветного и отзывчивого из русских поэтов — Марины Цветаевой. Ее диапазон, как всегда, максимален: от «Новогоднего», элегии на смерть Райнера Мариа Рильке, с невероятным признанием: «Русского родней немецкий» и неожиданным воплем «Du Lieber», до столь же невероятных, непозволительных оскорблений в «Крысолове»: соразмерная сволочь, сытые скоты, бездушные пуговичники — да чтоб все ваши дети от вас убежали и умерли, им так лучше будет. Допустим, многое можно списать на необуздываемый поэтический темперамент Цветаевой (вспоминать о том, что в России отчаяние вовсе схватило ее за горло, не обязательно — мы же не выясняем, где хуже), но примерно те же чувства испытывал, живя в Берлине, писатель совершенно противоположного душевного склада — Владимир Набоков. Перечитаем его сардонический рассказ «Облако, озеро, башня», вспомним инвективы, щедро разбросанные по главам «Дара», — там доминирует то же самое чувство отвращения к тупому и самодовольному быту, который в критическую минуту (тут Набоков и Цветаева совершенно согласны) обязательно превращается в злобное беснование.

Рискованно было бы предполагать, что Набоков и Цветаева недооценивали всенародное торжество нацизма. Скорее уж напротив: покоя их лишало вполне демократическое полноправие мещанина. Перед нами издавна знакомая проблема «Поэт и толпа» в ее предельном обострении. Едва ли не каждый художник и писатель первой половины XX века должен был для себя решать эту проблему заново, иногда по нескольку раз. Набоков, с его барственным чувством собственного достоинства, решил ее просто и твердо: любая толпа — чернь, любой народ — чужой народ. Цветаева, так же остро сознававшая свою исключительность, но изнывавшая от неприкаянности, ощутила наконец, что сама она — всем и всему чужая. Для Мандельштама, которому жизнь «с гурьбой и гуртом» представлялась в равной степени обязательной и невозможной, проблема оставалась проблемой до самой смерти. Ахматова решила ее, может быть, лучше всех и задним числом напомнила: «Я была тогда с моим народом...»

Эти основные варианты решения актуальны и для сегодняшней культурной ситуации. Художнику снова приходится выбирать позицию: вне толпы, над толпой, в толпе, для толпы... Или принимать позу: как бы вне, но над. Как бы над, но для. Лирическое отступление заканчивается, поскольку отступать дальше некуда.

КАЛЕНДАРНЫЙ ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. В первом зале любой большой экспозиции всегда задерживаешься несколько дольше, чем следует: внимание ничем не утомлено и вообще — он же первый. Будет ли это учтено при размещении экспонатов в музее им. Пушкина — увидим; в Берлине, в Мартин-Гропиус-Бау, начало было умным и изящным: оно стоило подробного разглядывания.

Первое ощущение — контур здоровой и безоблачной жизни. Москва и Берлин, со вкусом потягиваясь, начинают ощущать себя культурными метрополиями. На фотографиях начала века Москва выглядит несколько более разлапистой и неуклюжей, чем Берлин (лужи, голуби, колоритные сбитенщики в поддевках), но ничего не скажешь: тоже столица.

Заранее настроившись на поиск параллелей и переключек, силишься замечать их на каждом шагу, причем самые разнообразные. Остротой линий «Крестьянка» Михаила Ларионова как будто напоминает «Женщину перед зеркалом» Эрнста Людвиг Кирхнера. Лицо Альфреда Дёблина на портрете того же Кирхнера чем-то схоже с лицом «Манолы» Алексея Явленского. И уж совсем забавно сравнить бронзового Карла Маркса работы Анны Голубкиной с бородатыми русскими мужиками Эмиля Нольде. Выставку можно разглядывать совершенно по-детски, она не противится.

В открывающемся мире есть и боль, и беда, и тяжелая работа (хотя, конечно, цветастым бурлакам Роберта Штерля не в пример легче живется, чем репинским) — но этот мир добротен и ярок. Смирность и добродушие худо-

жественных эпатажей попросту умиляют. А уж как строят, как искусничают — Шмитц, Мессель, Янсен, Щусев, Жолтовский, Шехтель!

Над выходом из первого зала висит «Похищение Европы» Серова. Почти в самом центре — оно же, отлитое в бронзе. Возникает нечто вроде вектора, показывающего, как пройти из календарного века — в настоящий.

БЕЗЗАБОТНО. Кажется, что немецкие художники острее переживают боль, стараются смотреть человеку прямо в лицо и по нему угадать: что, как, где. В живописи и особенно в графике экспрессионистов резче всего запоминаются лица. Рядом висят работы Аристарха Лентулова и Павла Филонова: вот уж последний вовсе не интересуется, что у кого на лице написано. В его «Войне с Германией» человеческие глаза и ногти на ногах выглядят почти одинаково.

Поймите правильно: я не выдвигаю никаких гипотез насчет «личного» и «безличного» в авангарде, я ничего не хочу анализировать, да и вообще — кто я такой? Да никто. Посетитель. Гуляю, болтаю сам с собою. Остановился перед «Москвой» Лентулова — она, диковато-веселая, вся как будто из цветных кристаллов и разваливающихся букетов. Церкви и дома втискиваются, вырастают друг в друга, мнутя и корячатся. Совершенно невероятное перенапряжение — бессмысленное и еще какое? беспощадное? Нет, скорее беззаботное. Год тысяча девятьсот тринадцатый. Хотел ли Лентулов передать ощущение жизни, загроможденной до отказа, готовой растрескаться и разлететься вдребезги под своим же собственным напором? Мне так кажется. Но откуда я знаю?

А вот смешная лубочная картинка: мужик с косой шагает по холмам, а вокруг него валяются свежесрезанные солдаты кайзера. Никогда бы не подумал, что ее нарисовал Казимир Малевич. Интересно узнать, нарочно или нет поставлен знак равенства между русским мужиком и Смертью? Если бы я был специалистом, я бы заинтересовался.

БЕСЧУВСТВЕННО. На Выставке я вдруг почувствовал, что героический русский авангард 20-х — моя первая, отроческая любовь — почти совсем утратил притягательность. Я потерял желание (или способность) откликаться на его призывы и выпады, которые раньше так волновали, перестал восхищаться его последовательной безоглядностью. Конечно, есть работы, мимо которых с пустой душой пройти невозможно, есть Шагал, всегда вызывающий восхищение и нежность, есть, в конце концов, благодарная память. Но насколько стали милее люди, пытавшиеся удерживать и удерживаться, крепить образ мира, чем все, кто с победным кличем несли в мясорубку.

Борис Гройс эффектно доказывает, что официальное искусство 30-х в самых чудовищных своих проявлениях — прямой наследник моих прежних кумиров. Так эффектно, так логично, что прямо даже не верится. А хоть бы и поверилось: у праотца Адама было два наследника. Не в этом дело. Вернее всего, Гройс сначала разлюбил, а потом уже к нелюбви подобрались аргументы.

Проще всего было бы рассориться с авангардом по политическим убеждениям, но если признать, что в традиционном искусстве убеждения (в отличие от этических норм) мало что решают, то почему для современного — для Эля Лисицкого, Родченко или Ласло Пери с его омерзительным «Памятником Ленину», похожим на обломок консервного ножа, — нужно делать из этого правила исключение? Еще того бессмысленней сокрушаться о том, что авангард заразил современное искусство энергией распада, и перекладывать предполагаемую вину на чужие плечевые кости.

Похоже, что мое охлаждение к авангарду связано с его угрюмой и недалеконювидной жестокостью по отношению ко всему мягкому, теплому. С его неутомимостью и вечной неутоленностью. С тем, что в его жизни всегда есть место подвигу и почти никогда нет места сентиментальности.

При этом — какая фантастическая энергия, сплошь тратящаяся на открытие все новых и новых неудобств! Сильнее всего это проявляется в архитектуре: впору согласиться с Бродским, не раз повторявшим, что Корбюзье и Люфтваффе стоят друг друга: «...оба потрудились от души над переменной облика Европы». Постоянное расширение границ искусства, твердая уверенность

в том, что жизнь должна уступать творческой воле без всякого сопротивления и отдавать атрибут за атрибутом, дикая энергетическая насыщенность простейших форм и объектов — все это отозвалось необратимой унификацией личного, приватного существования. На редкость не улыбочное искусство, так прихотлившееся добиваться совершенства, что идеал сделался бесстыж и доступен на каждом шагу. Остатки уважения к беглым оттенкам чувства, к праву на недоволенность из беспредметников сохранила (говорю, как и все остальное, почти наобум) Любовь Попова. Сколь бы ни были прекраснотонны и по-своему тонки Татлин, Экстер, Пуни, Габо, похоже, что смыслом их работы стало восхищенное и пламенное огрубление общей душевной жизни. Они сделали очень многое для того, чтобы заменить вежливую игру намеков смертельной борьбой идей, и, надеясь на признание, формально были правы: дело делалось в интересах массового потребителя, стремительно избавившегося от комплекса культурной неполноценности. Ждать за это благодарности — вот что оказалось ошибкой.

Свиноподобный горнист на знаменитой фотографии Родченко — как можно было без тени юмора включить эту раздувающуюся, замуренную от натуги рожу в композицию совершенно фантастического изящества? Однако же в замысле юмор начисто отсутствует, и приходится делать некоторое усилие, чтобы, воспротивившись авторской патетичности, заметить комизм кадра. К вещам такого рода искусство авангарда было совершенно бесчувственно.

НАШ МАРШ. Никита Лобанов-Ростовский заметил на Выставке в Берлине: «Русские не перестают оживленно беседовать, проходя мимо знакомого лица «отца всех народов». Немцы же притихают и выглядят явно сконфуженными перед портретами Гитлера». Видимо, это должно означать, что у немецкой аудитории сильнее развито чувство исторической вины. Либо, наоборот, что у русской гипертрофировано эстетическое чувство, произвольно подсказывающее, стоит ли картина того, чтобы перед ней притихнуть.

При тоталитарном режиме народ и искусство принадлежат друг другу взаимно, стремясь при этом максимально упростить свои отношения и — в идеале — довести их до полного взаиморастворения (поэтому такое высокое значение придается разного рода коллективам художественной самодеятельности). Цель, несомненно, высокая и замечательная, требует сразу же избавляться от всего чуждого, удлиняющего путь к финальной гармонии — как от «антинародного», так и от «антихудожественного». Строго необходимо при этом внутреннее единство: новой исторической общности должен соответствовать единый художественный метод.

Между прочим, несбыточной утопией все это не назовешь: и общность, действительно, появляется, и метод вырабатывается. Надеюсь, что после Выставки вопрос «Существовал ли социалистический реализм?», регулярно возникающий при встречах с зарубежными коллегами, будет окончательно снят с повестки дня. Пожалуй, можно назвать его «тоталитарным реализмом», но что это особый художественный стиль, совершенно очевидно, к примеру, когда сравниваешь «Немецкую симфонию» Ганса Топпера с барельефами и мозаиками Московского метрополитена. Та же строгая симметрия, тот же набор персонажей, та же эмблематика: справа от центра — трудящийся с чем-то длинным в мускулистых руках; слева — инженер с чертежом и циркулем; на заднем плане — мать с младенцем и дедушка в очках с внучком-подростком. У всех мужчин, включая младенца, сосредоточенные и вдохновенные лица. Единственное, что не могло бы подойти для станции метро «Электрозаводская», — это центральный персонаж — суровый рыцарь в латах, с двуручным мечом в руках. Впрочем, если отрезать ему голову (отдельно вполне употребимую) и ноги, по колено, силуэт будет напоминать войсковой герб (или это называется эмблема?) КГБ. К тому же у нас в метро есть князья и витязи Павла Корина.

Рыцарские доспехи художникам Третьего рейха, видимо, вообще очень нравились. Режим Гитлера был более склонен к театральности, чем сталинский, предпочитавший френч, шинель, скромный костюм и, соответственно, нейтральные, протокольные названия («И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле после дождя») — броским, типа «В начале было слово» (вдохновенный

Гитлер что-то объясняет простым людям, собравшимся в полутемном маленьком зале).

С четкостью, быть может несколько избыточной, Выставка делит художников на угодных диктатуре и опальных. Это разделение для немецких залов очень выразительно. Сторонников «дегенеративного искусства» в гитлеровской Германии, конечно, не приветствовали, но паек и мастерскую выделяли. Переход от «Немецкой симфонии» или полнотелых квазиакадемических красавиц Иво Салигера («Выбор Париса») к постконструктивистским бюстам Ганса Ульмана — впечатляет. Судьба русских инакопишущих в России была более драматична. Одна из самых тоскливых и пронзительных работ на Выставке — это «Портрет художника Ивана Клуна», написанный Малевичем в 1933 году: ничего не выражающее, онемевшее лицо и широко открытые, невероятно синие глаза, уставившиеся в пустоту. Портрет, конечно, почти реалистический: единственное, что Малевич себе позволял в это время, — это слегка напомнить в цветовых переходах женского костюма о своей досупрематической, спектральной живописи. Или изобразить флаг в виде слегка покосившегося красного квадрата...

И в России и в Германии 30-х годов власть замечательно сумела продемонстрировать художникам, что они, в сущности, никому не нужны и что сама она терпит их просто так, из милости. Придворные портретисты взаимозаменяемы, а остальным можно завтра же головы пооткусывать и побиться об заклад, что заметят это десять человек из миллиона. И ведь пооткусывали. И ведь не заметили.

Опыт 90-х годов по-своему подтверждает опыт 30-х: для массового сознания такого понятия, как «объективная художественная ценность», вообще не существует. Было бы несправедливо сказать, что оно не дорожит культурным наследием, — дорожит, и даже очень. Проблема в том, что в массовом сознании классика самой высокой пробы бесконфликтно уживается с кичем. Они не отторгают друг друга, как хотелось бы думать популяризаторам разумного и вечного, но и не вытесняют. Именно это позволяет любой доминирующей идеологии заново перестраивать культурную перспективу как заблагорассудится. Идеологическая ценность статус художественной приобретает автоматически.

ВЕЛИКОЕ КАК ГРОМАДНОЕ. «...и торчит пустячком пирамид». Нужно было обладать не только поэтическим слухом, но и замечательным здравым смыслом, чтобы написать эту — отнюдь не парадоксальную — строчку. Для Мандельштама, как известно, «Египет» — устойчивая метафора тоталитарного мира: именно метафора, не аллюзия.

Человеческая жизнь — не всегда главная ценность, но всегда — единственно возможное мерило для каждой вещи (человек в некотором смысле и относится к вещи так же, как Бог, Создатель — к самому человеку). То, что не может быть соотнесено с личностью и воспринято личностью как соразмерное — не важно, большое или малое, — ничтожно уже потому, что выражает себя в каких-то мнимых величинах.

Но ценность человека как универсального мерила — это именно то, с чем диктатура на деле никогда согласиться не может. Предполагая, что ее власть в принципе должна быть абсолютной, диктатура вообще выступает против любого мерила (отсюда постоянное стремление Сталина к непредсказуемости, известное по множеству мрачных анекдотов), но против этого — в любом случае. Архитектурные монстры Иофана и Алабяна (Театр Красной Армии, к несчастью построенный), затмевающее их чудовище Альберта Шпеера — «Германия», Берлинский Большой зал (Рейхстаг рядом с ним выглядит как пачка сигарет рядом с солдатской каской — разумеется, в макете) — и призваны были нести в себе идею надчеловеческого величия. Опять же: массовому сознанию эти идеи как минимум не чужды. Не обладая мужеством быть собой, носитель массового сознания, как правило, имеет мужество быть частью (термины Пауля Тиллиха, замечательно анализирующего проблему мужества, вряд ли требуют специальных пояснений). Предлагая радость участия в общем деле и общем служении, наглядно демонстрируя свою грандиозность и требуя лишь

одного — отказа от индивидуальной соотносимости со всем миром, — власть берет лишь то, что, как правило, отдается ей с радостью.

МАЛО ПРИЯТНОГО. В здании Мартин-Гропиус-Бау выставочный архитектор Даниель Либескинд построил супрематическую композицию: красный клин, черный клин. Фигуры огромны, они прорастают сквозь стены и потолочные перекрытия — поначалу предполагалось, что они пробьются сквозь крышу и торец здания наружу, в город, — но проект по техническим соображениям до логического конца доведен не был.

Черный клин указывает на фасад Гестапо, красный — на Берлинскую стену. Ни от цитадели политического сыска, ни от перегородки между Востоком и Западом камня на камне не осталось. Основательные люди живут в Германии. Уважаю.

След от стены еще тянется по городу, как шрам, швы побаливают (ничего точнее этого банального сравнения не придумаешь), но Западный и Восточный Берлин стремительно срастаются. Заново возводится Рейхстаг. Гуляя по Унтер-ден-Линден (по Фридрихштрассе нельзя, там на каждом шагу стройплощадки) или сидя в кафе и учась пить пиво с нерусской медлительностью, чувствуешь абсолютную уверенность: у этого города все будет благополучно. Век диктатур для него уже кончился, и знаменитое брехтовское предупреждение «Еще плодоносить способно чрево...» утратило свою актуальность.

Я только что ссылаясь на Пауля Тиллиха. Он пишет о двух формах «мужества быть частью» — о тоталитарном (или «коммунистическом»? — книги нет под рукою) коллективизме и о демократическом конформизме. С известной точки зрения, они друг друга стоят, но таких точек зрения всего одна.

Это позиция свободолобивого интеллектуала или художника, до конца поверившего пушкинским уговорам: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет...» Стоит отметить, что при демократических режимах она встречается гораздо реже, чем при умеренно тоталитарных. «Отречение от престола» ради удовольствия демократических конформистов, во-первых, выглядит не так омерзительно, как вассальное служение идеологии, а во-вторых — и в главных, — гораздо лучше оплачивается.

Германия XX века, при всех сложностях исторического развития, нарабатывала опыт уважения к обывателю. В русской культуре он, как известно, отсутствует почти начисто. Впрочем, справедливости ради надо сказать: имеющийся у нас раритет, «апология мещанина», написанная в конце 20-х годов, — гениальна.

«Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания «Всем. Всем. Всем», даже тогда не читаю я этого, потому что я знаю — всем, но не мне. А прошу я немногого. Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания — все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалование».

Это из комедии Николая Эрдмана «Самоубийца», финальный монолог Подсекальниковца, наотрез отказавшегося умирать за веру, любовь, свободу искусства, русскую интеллигенцию, экономическую реформу и т. п. — за все «высшие идеи», представленные драматургом в гомерически смешном виде. Сюжет, имеющий вполне очевидное отношение к судьбе самого Николая Робертовича.

Можно сказать: «мужество быть» и «трусость не быть» — совершенно разные вещи. Конечно, разные, и вторая довольно мизерабельна. Но жизнь более или менее благоустроенного общества, терпимого к своим членам, только ею и держится.

Русское искусство обеих половин XX века, если говорить о мало-мальски серьезном искусстве, чрезвычайно редко задавалось вопросом, как сделать приятное зрителю-слушателю-читателю. Не духовному собрату, не единомышленнику, не тонкому ценителю — а публике, какой бы она ни была. Абсолютный чемпион по подыманию «приятного» у нас — Эльдар Рязанов, и поэтому, кто бы ни победил на президентских выборах, «Иронию судьбы» на следующий Новый год нам опять покажут, а не то полстраны обидится.

В театре гроссмейстерами «приятного» были ленинградцы: Николай Акимов и — в единичных спектаклях, например в «Хануме», — Георгий Товстоногов. В литературе же советской (и тем более в антисоветской) проблему «приятного» главной не считал никто. Ни одна живая душа. Даже среди детских авторов о чистом читательском удовольствии заботился, кажется, один Эдуард Успенский.

Поэтому сегодня кино, изо всех сил стараясь угодить зрителю, горит синим пламенем. Поэтому в Театре на Малой Бронной талантливый и добрый Сергей Женовач делает все (в пределах приличного), чтобы растрогать и обрадовать людей в зале, а широкая публика его спектакли так и не полюбила.

У русского «искусства ради удовольствия» чудовищно низкий иммунитет. Пытаясь сделать что-нибудь приятное, оно моментально заражается грубостью, шаблонностью, ленью мысли, вульгарностью формы — либо остается глубоко незаразительным. Сделав небольшой логический скачок (посредствующие звенья восстанавливаются без труда), можно сказать: в сущности, самосознание русской художественной культуры живет еще установками первой половины XX века. Сравнить нынешние и тогдашние творческие потенции после смерти Иосифа Бродского было бы особенно грустно.

Публика, она же общество, судя по всему, не отказывается еще разок проехаться по знакомому маршруту — со всеми вытекающими для нее, публики, и для него, искусства, последствиями.

Приметы сегодняшней художественной жизни навязчиво отсылают к 20-м годам, подсказывают аналогии то с началом, то с серединой, а то и с самым концом этого десятилетия. Что было дальше — мы знаем. Однако не следует запугивать себя заранее.

Гадать по художественным приметам о том, как будет развиваться общество, — дело, мягко говоря, сомнительное. Да, пути искусства и судьбы двух стран, России и Германии, разительно похожи. Но с судьбой, например, Англии — ничего общего, а тенденции, появившиеся на протяжении полувека в английском искусстве (при всем его чопорном недоверии к авангардизму), очень даже сопоставимы. Отсылаю читателей к превосходной книге Алексея Бартошевича «Шекспир. Англия. XX век»: в интерпретациях шекспировских пьес на английской сцене мы с его помощью обнаружим все идеи, мотивы и фобии, продемонстрированные Выставкой. Культ красоты, культ дерзости, культ силы сменяли друг друга в строго заданной хронологической последовательности. Иное дело, что магистральные пути русского и немецкого искусства для английского остались маргинальными; что эта культура умело канализировала фанатизм и тоску по харизматическим фигурам; что Уинстону Черчиллю хватило ума и душевной силы, чтобы не стать «вождем», — энергия масс выплеснулась наружу потом, в сравнительно безопасное время. Какое фантастическое и здоровое счастье — получить «Битлз» вместо еще одного фюрера!

На этой мысли, вполне оптимистической и далеко уводящей, пора покидать Выставку: прощай, Родина-мачеха, спи в обнимку со своей крестовой сестрою. А мы — что же мы? «Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих» (Саша Соколов, «Школа для дураков», последняя фраза).



ПО ХОДУ ДЕЛА

ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН



СОБЕСЕДНИКИ ХАОСА

Есть вопросы, которые почти перестали задавать. Среди них — и те, к которым возвращают нас Наум Лейдерман и Марк Липовецкий. В несколько заходов, то в соавторстве, то в одиночку, они пытаются объяснить, что нового открылось современной литературе и куда она идет. Предложена концепция¹; введен новый термин — постреализм.

Приходилось слышать, что подобные занятия неактуальны — и незачем впустую тратить силы на такие глобальные изыски. Так, да не так. Конечно, если сводить труд Лейдермана и Липовецкого к словесной эквилибристике и понятийным манипуляциям, их статьи действительно покажутся обширной, многостраничной ненужностью. Но хоть сколько-нибудь вчитавшись, нельзя усомниться в том, что написанное нашими авторами вращается в их личный опыт и несет реальное знание о литературе и о жизни. Они, похоже, решали двойную задачу. Говорили о новом качестве литературы — и одновременно заявляли свое кредо. Мнится мне, критики не только обозначают вектор движения литературы, но и пытаются послать ее в этом направлении как наиболее перспективном.

Сумма идей такова. Признаки духовной ситуации — разрыв с традициями, потеря преемственной связи с прошлым и неверие в будущее. Гармонии и порядка в мире нет. Его базисная, единственная и неотменимая данность — хаос. С этим приходится считаться литературе, которая ныне являет собой опыт самоопределения в тотальном хаосе, в кромешном мраке жизни. Поначалу писатели играли с хаосом — так возник постмодернизм. Затем тип отклика на ситуацию меняется. Писатель создает среди хаоса собственный гармонизированный мир, свой собственный свет в сердце тьмы. Это выращивание смысла из бессмыслицы — без зерна, на пустом месте, усилием личной воли. Бытие в небытии.

Полемичность этой концепции очевидна — и двухадресна.

С одной стороны, упраздняется монополия постмодерной установки на игровое взаимодействие с хаосом. Оказывается, инфантильное перебирание обломков канувших в бездну гармонических миров — это не единственный способ художественной реакции на вызов хаоса; есть почва для более сознательного и ответственного поведения. Если готового смысла в мире нет, нужно его построить своими руками. Тоска по смыслу — вот что брезжит в теории постреализма. Ее авторы серьезны, им не до иронического кейфования, их пафосность, высокий слог в кульминационных абзацах не имеют ничего общего с гедонистической эксплуатацией словесных красот критиками-постмодернистами. Иногда чудится здесь драматическая героика, решимость людей, которые выходят на поединок с драконами хаоса, вооруженные только личным мужеством. Постреализм выглядит уже не просто новым литературным методом, но и новым методом жизни.

Этот опыт, собственно, не нов. Не так уж трудно различить тут одну из главных тем XX века, отозвавшуюся и в литературе (Хемингуэй, поздний Платонов, Камю «Чумы» и «Мифа о Сизифе»). Наши авторы про это помнят, но добавляют к прежнему, что такой подход к литературе и жизни — убедительная альтернатива постмодернизму и очевидная перспектива для современной литературы, с ним связано «набирающее силу литературное направление»: Харитонов, Маканин, Петрушевская, Дмитриев...

¹ См., например, «Новый мир», 1993, № 7; «Знамя», 1995, № 8.

Здесь, кажется, есть резон. Так что спорить не берусь. Опять же и устали мы провожать глазами царские поезда постмодерна, скользящие без малейшего трения из небытия в небытие. Когда литературная артель «Напрасный труд» множит и ксерит свои прекрасные мнимости, хочется надеяться и верить, что рядом где-то трудятся те, для кого человек — это все еще звучит.

Задевает другое. Теоретики постреализма ведут к тому, что он — единственная альтернатива и перспектива. А поиск «готового» лада, «готового» смысла — бесплоден. Это значит, что должен уйти традиционный социально-аналитический реализм: нелепо анализировать хаос. Это значит, что невозможность вселенской гармонии, панкосмического порядка — аксиома, не подлежащая проверке. Раньше от этого сходили с ума. Теперь это расхожая, обыденная истина, вполне пресное знание о настоящей природе вещей. Вера в иное старомодна, а заказ к литературе на приобщение к «предзаданным высшим истинам» заведомо неисполним: «К счастью, это мы уже проходили».

Действительно ли мироздание объято хаосом? Действительно ли в нем нет для человека ни одной внешней опоры (черепахи там или кита)? Не на кого положиться, не во что верить?.. И кто, скажите, это доказал? Я хочу видеть этого человека.

А если, к примеру, христианка-душа, уклоняясь манихейских соблазнов, полагает, что мир вовсе не постигла окончательная порча, что панхаотизм — только психическая аберрация, самообман художественного сознания, подавшагося модным настроениям богемной среды? Если она, душа, предположим, верит в конечную целесообразность сущего, ищет и подчас, кажется, находит в потоке событий скрытый смысл?

...Недавно о взглядах Липовецкого отозвался Валентин Курбатов («Москва», 1996, № 2). Он так твердо уверен в самоочевидности истины, что всякие публичные сомнения в существовании надежной реальности воспринимает, похоже, как злой умысел лихих людей, пытающихся «подложить под компас топор». «Тут сеется семя смерти, и теоретики сами знают об этом», — утверждает критик, явно имея в виду суждения Липовецкого и Лейдермана. Размахнувшись, Курбатов метил в постмодернистскую всеядность, а попал в «строящего космос» Липовецкого, не заинтересовавшись нюансами воззрений последнего. Думаю, демонизировать теоретиков постреализма и подвергать их гонению все-таки не стоит. Тем более, что этим никого не заставишь поверить ни в Бога, ни в черта. Но и соглашаться с меланхолической убежденностью во всевластии хаоса я бы повременил.

Спору нет, конец XX века — это очевидная кульминация хаоса и какофонии. Теперь острее, чем в минувшие времена, ощущается условность и относительность многих культурных традиций. Во многих старых храмах культуры прекращено богослужение.

Остыли очаги, согревавшие наших предков. Прежние гармонии обернулись шумами. В этом шуме и гаме чуть ли не затерялись, между прочим, и голоса теоретиков постреализма. Никто никого не слышит. Не потому ли померещилось, что Бог замолчал и тем самым теперь уже точно доказан факт Его отсутствия?

Нельзя говорить об Абсолюте после ужасов и катастроф XX века, утверждают наши авторы. А когда же еще о Нем говорить? После того, как в нашем беспощадном столетии Бог распинался снова в каждом казненном, уничтоженном, растоптанном и раздавленном, можно ли об этом молчать? Бог едва ли нуждается в том, чтобы мы «снимали с Него вину» за совершенные людьми преступления, объявляя Его бессильным или несуществующим.

Даже если в бытии есть для человека всего только одна точка подлинности, построение, основанное на вере в тотальность хаоса, рушится. Гвалт и хаос кончатся там, где начинается вечность. Найти бы только это место... Впрочем, можно искать — а можно, как было сказано, строить. Намеков на своего рода богостроительство в теории постреализма немало. Здесь вводится закон взаимозависимости, а именно — сочувствия, взаимных участия и помощи. Литература здесь видится обезболивающим и успокаивающим средством, а еще — агитатором за чувства добрые. Она призвана ослабить железную хватку тревог и забот, кольцом сжимающих человеческое сердце, заглушить страх, загладить беду и боль человека добротой и лаской, приобщить к сентименталистскому набору добродетелей.

Есть что-то очень грустное в рассуждениях М. Липовецкого о «хаосмосе». Человеку не по силам исправить безнадежно испорченное мироздание. Возможны

только краткие моменты эфемерной гармонии в мире без гарантий и подлинности. Зыбки и минутны осмысленность внутри бреда, логос внутри хаоса. Давид смирился с тем, что Голиаф непобедим, и решил вступить с ним в переговоры, чтобы заключить «временное и сепаратное перемирие с абсолютной логикой хаоса»... «Зависимость» здесь оборачивается уязвимостью. А нам ли не знать, что переговоры и перемирия с хаосом невозможны. Хаос неვნемлем.

Постреалистический проект новой гуманности, движение к которому его авторы находят в текущей словесности, напомнил мне одну из самых щемящих страниц Достоевского, лучший в русской литературе разговор отца и сына. Как на палимпсесте, проступил в новейших речениях Лейдермана и Липовецкого версиловский миф: «И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. <...> Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. <...> О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

Может быть, и вправду на исходе безбожного столетия литература, отрываясь от неутешительной реальности, становится проводником в изображенное Достоевским общество великой жалости? Тогда нужно вспомнить и чем кончается этот миф. А кончается он для Версилова явлением — среди осиротевших людей — Христа. «Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: „Как могли вы забыть Его?“»

Создав свою хрупкую и трогательную религию без Бога, опирающуюся на этику взаимной милостыни, наши авторы нагрузили литературу заботой о воплощении этих идей, поручили ей некий духовный багаж. Напрасно тогда М. Липовецкий в одной из статей порицает тех, кто вводит «внеэстетический абсолют», как будто для него все же существует другой абсолют — «эстетический». Но ведь, по логике теории, автономный и самодостаточный эстетизм чужд самому критику. Здесь-то как раз повода для споров нет. Литература как таковая, по определению, не может быть чем-то абсолютным, самодовлеющей сакральной ценностью. Мы измеряем и судим ее внелитературными критериями. И если Добролюбов с Писаревым или там Ермилов с Авербахом прикладывали к литературе не тот аршин, то это не значит, что нужно вовсе отказаться от ее оценки и от запроса к ней.

Что скрывать, самое для меня важное в теории постреализма — это решимость Н. Лейдермана и М. Липовецкого ввести современную литературу в круг экзистенциальных проблем. Всякие тебасни да себасни о пресловутом «эстетическом абсолют» здесь кончаются — и начинается рассуждение по существу: о проблеме человека, о смысле творчества и миссии художника. Жаль только, пафос робок. Это манифесты вполголоса, почти лишенные профетической силы. Приходит пора говорить в полный голос. Ведь наивно думать, что литература вечно будет пребывать в духовном параличе, что она навсегда демобилизована, как ветхий инвалид, с полей предстоящих сражений...

Ярославль.



СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

Марина Новикова. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М. «Наследие». 1995. 353 стр. (Пушкин в XX веке. Ежегодное издание Пушкинской комиссии. Руководитель издания В. С. Непомнящий.)

Пушкин призывал судить художника по законам, им над собою признанным. Пушкинист не художник; тем не менее — если взять крупные работы последних лет — бесполезно выяснять, почему, например, в книге Бориса Гаспарова «Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка» (Wien. 1992) отсутствует историко-архивная скрупулезность, присущая исследованиям Вадима Вацура, в частности его последней по времени монографии «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа”» (СПб. «Наука». 1993). Равно как, наоборот, глупо спрашивать, отчего В. Э. Вацура не решается на столь глобальные (подчас недоказуемые, хотя и неопровергаемые) обобщения, к каким склонен Б. Гаспаров. Во-первых, потому что на самом деле и Вацура «решается» (просто на другом, атомарном уровне), и Гаспаров — при всей спорности многих его посылов — не только широким захватом действует. Во-вторых же, и в главных, — потому, что каждый серьезный пушкинист (как, например, Ирина Сура, только что выпустившая сборник своих пушкиноведческих работ, большинство из которых впервые были напечатаны на страницах «Нового мира») занят своим, не посягая на чужое; но при этом все ищут — Пушкина, в нем и через него познавая себя.

Все ли находят — вопрос особый, и его нужно обсуждать отдельно.

Книга Марины Новиковой, открывшая серию Пушкинской комиссии ИМЛИ «Пушкин в XX веке», не затерялась на общем фоне — не только потому, что содержит множество тонких наблюдений; не только потому, что написана талантливо, ярко, подчас вдохновенно, но прежде всего потому, что здесь избран новый смысловой ракурс — и как бы разрозненные главы на самом деле спаяны внутренним сюжетом. Автор полагает, что этот сюжетный стержень образован темой, вынесенной в подзаголовок («Языческая и христианская традиции...»); что тема диктует метод исследования; на самом деле тема здесь производна от метода.

Ведь с самого начала до самого конца М. Новикова занята не столько «языческим» и «христианским» как таковым (иначе бы обоснование этих объемных, а потому расплывчатых понятий заняло не пол-абзаца, а полкниги), сколько «космическим», которое определять не нужно, ибо это все равно невозможно. То есть она пробует описать пушкинский художественный мир как неразложимое целое, лишь условно связанное с «периодами», «циклами» — и даже отдельными пушкинскими сочинениями. Каждое из них — не более чем камертон, чутко отзывающийся на некий извечный и неизменный звук и посылающий звуковой сигнал дальше... дальше... дальше. И благодаря легкости, энергии, какой-то обаятельной барочности ее письма на страницах книги постепенно возникает образ этого единого мира, из которого, как из некой области «индивидуального бессознательного», Пушкин время от времени черпает сюжеты, мотивы, коллизии для очередных произведений. Но вот противоречие: речь в книге неизменно идет о единстве и цельности пушкинского космоса, а образ этого космоса — постоянно двойится и зыблется; это настораживает и заставляет задуматься.

О чем? Да, например, об исходном послыле книги: пушкинская объективность «не равна ни одной точке зрения ни единого... персонажа, взятого по отдельности. Больше того: она не равна даже их сумме, взятой вместе. Как и фольклор, как и доновоевропейское искусство, Пушкин не предъявляет своей аудитории сумму «индивидуальных правд»... Нет, он ставит все эти «точки зрения» перед взором и судом одной-единой — правды. То есть истины». Насчет последнего — что спорить? Истина, она и есть истина. Насчет точек зрения тоже не возразишь. Но вот как быть с неслучайной и подчеркнутой апелляцией к опыту фольклора и эстетике средневековья? Насколько и впрямь приложимы фольклорные и церковно-гер-

меневтические методы к анализу русской поэзии XIX века — столь же переменчивой, сколь и неповторимо-индивидуальной; к поэзии, которая именно через эту изменчивость и личностность, как сквозь «магический кристалл», смотрит на общенародную и религиозную культуру? Насколько эстетическая «теургия» была и впрямь идеалом Пушкина, воплощенным в его творчестве?

Тут М. Новикова, как всегда, действует умно; первая глава ее «Пушкинского космоса» посвящена фольклорному влиянию на не-фольклорные вещи поэта. Подхватывая давнее наблюдение о жанровой и сюжетной связи между «Медным всадником» и сказками 1830-х годов (о царе Салтане, о Золотом петушке...), она тонко и точно сопоставляет с ними текст петербургской повести. (Особенно удачен в этом смысле «сугубый» анализ «Сказки о рыбаке и рыбке»; жаль только, что ни слова не сказано о жанровом источнике несомненных параллелей — «речной идиллии» начала XIX века.) И если бы дело этим и ограничивалось; если бы первая глава одновременно не служила бы скрытым «идеологическим обоснованием» глав последующих — что мешало бы рукоплескать автору? Ничто; даже слабая историко-литературная проработка зорких замечаний (ибо многие из указанных М. Новиковой параллельных мест в сказках и повести объясняются не целокупным архетипом, но попросту общим риторическим источником, высоким государственным штилем имперской эпохи, который в одном случае аккуратно стилизуется, а в другом прямо и откровенно пародируется).

Этим дело, однако, не ограничивается. Уже в следующей главе к рассуждениям все о том же «Медном всаднике» подверстывается общеизвестная статья Романа Якобсона об оживающей статуе в мифопоэтической системе Пушкина. Но великий структуралист был предельно осторожен; осмысляя надтекстовую мифологию, он ни разу не обмолвился о том, что миф, живущий в сознании и творчестве Пушкина, не зависит от его человеческого и писательского пути; от поворотов его судьбы и поворотов истории, русской и мировой. Потому что историческое движение культуры и структуралисты любить умеют; потому что любой из них, если он подходит к делу ответственно, обречен считаться с существованием реальных смысловых, сюжетных, образных границ между разными текстами одного и того же писателя. Пускай проницаемых, пускай включенных в этимологический контекст языка и разомкнутых в общепоэтическое пространство. М. Новикова — не на словах, так на практике — этой разграниченности не признает. Для нее миф об оживающей статуе, как любой другой миф (он же сюжет, он же образ, он же мотив...), — это некая субстанция, живущая вне и помимо пушкинского сознания, действующая вне и помимо авторской воли, исторического, биографического, любого иного контекста.

Любого — кроме народно-религиозного и фольклорного, — поскольку этот контекст действительно безграничен и надличностен.

Дальше — больше; от главы к главе, от пассажа к пассажи автор все настойчивее (и все поэтичнее!) пишет о «пире над бездной», который «вихрем прокатывается по всему творческому пространству Пушкина»; о «парадигме застолья»; о взаимных проекциях разных произведений; о «русском декабристе XIX века, царском опричнике и испанском гранде», которые «торопятся по одному и тому же адресу и с одной и той же целью»; о Сильвио из «Выстрела», которого можно назвать «невыстрелившим Воеводой» (из баллады Мицкевича, Пушкиным переведенной); о Великой Цепи Бытия; о композиции, которая на самом деле служит не организации художественного пространства отдельного произведения, но связывает «духовный мир» писателя, а потому является «большим синтаксисом»; о метасюжете безумия, который «разошелся в разные стороны»...

Опять же, во всеохватности пушкинского художественного мышления никто не сомневается; равно как никому и в голову не придет отрицать, что в конечном счете поэтический мир Пушкина внутренне един. Но это единство мозаики, а не единство скульптурной группы, хотя бы и оживающей. Главное же — из книги о пушкинском космосе невозможно понять, где пребывает, в чем обретается это сквозное архетипическое единство. Быть может, в «памяти жанра», о которой дерзко и не всегда корректно писал Бахтин? Нет; жанровая специфичность важна для Новиковой лишь во вторую, в третью очередь. Или — в «памяти языка», подчас диктующей художнику свою образно-смысловую волю (о чем, вослед Витгенштейну, толковали многие; одним из последних — Борис Гаспаров)? И это не так; языковой анализ автору «Пушкинского космоса» — при всей лингвистической чуткос-

ти — скорее чужд. Равно как приемы реальной (не декларируемой) фольклористики. Тогда, вероятно, в пресловутой цитатности, в бесконечной череде пушкинских переключек — с самим собою, со своими современниками, предшественниками и даже потомками («...доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит»)? Это скорее; М. Новикова всегда охотно, иногда замечательно верно и весьма наглядно, демонстрирует пушкинские «параллели» (описание бедного Евгения — и Гринева, Гвидона — и Петра). Но и тут сопоставление служит не более чем трамплином, по которому разгоняется исследовательская мысль, чтобы в какой-то миг оторваться от конкретики и воспарить в свободное пространство произвольных наблюдений. Наблюдений, совершаемых с высоты птичьего полета, на большой скорости и подчиняющихся заданной трамплином траектории полета.

Отрыв этот происходит как бы даже и незаметно. Сначала автор высказывает дельное замечание. К примеру, что в послании к Чаадаеву 1818 года «политика говорит... на языке эротики». Тут же происходит метафорическое сцепление с темой, которая важна не для Пушкина той поры (увы, он еще не знает, что спустя десять с лишним лет сочинит «Каменного гостя»), но для Новиковой поры создания «Пушкинского космоса»: «„Святая вольность” — прежде всего женщина. Дона Анна политической лирики». Сравнение, может быть, и удачное само по себе; но дело совсем не в нем. Просто от Доны Анны легко совершить еще один метафорический проброс. Застолье у Лауры напоминает стихотворение «Веселый пир» (1819). Но главное не в этом, а в том, что здесь совершается третий «перенос»: на пирушках «между Лафитом и Клико» лирический герой ведет себя «относительно Свободы... истинным Гуаном». Все; читатель уже успел забыть, что рассуждение началось полуслучайным сравнением — и произвольным сравнением продолжилось; читатель уже исходит из того, что «донжуановский» метасюжет пронизывает пушкинское творчество от самого начала до самого конца — и готов рассматривать последующие многочисленные примеры как бесконечную череду проявлений этого метасюжета.

Но стоит воспротивиться авторскому напору, не поддаться несомненному обаянию, проконтролировать себя самого и свое читательское впечатление, как сразу становится ясно: «архетипическое» прочтение Пушкина (в новиковском, предельно нестрогом значении термина) невозможно без системы постоянных допущений. А значит, область, в которой все эти архетипы живут, — не пушкинское сознание или подсознание, а сознание — Марины Новиковой; сознание образованного, внимательного, чуткого, но своевольного культуролога конца XX столетия. Это в нем, в этом сознании, стыкуются образы, не стыкующиеся у Пушкина; это в нем происходят не предусмотренные пушкинским замыслом встречи сюжетов и мотивов; это оно обеспечивает единство взгляда на пушкинский космос; взгляда, которым — вопреки собственному желанию — М. Новикова подменила единство самого «космоса».

Естественно, читательское восприятие как бы заранее включено в состав любого явления «большого времени» мировой литературы. Естественно, каждому из нас подарена счастливая возможность пропустить через себя ее разнонаправленные потоки — и замкнуть их в цепь. Главное, чтобы соединение происходило через предохранитель (лучший из которых — историко-литературный самоконтроль), а не напрямую, не через «жучок», который может и не выдержать опасного напряжения и привести к короткому замыканию.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.



«ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПАНИБРАТСТВО»

Станислав Рассадин. Русские, или Из дворян в интеллигенты. М. «Книжный сад». 1995. 415 стр.

У же в предисловии, многозначительно озаглавленном «Предостережение», Станислав Рассадин предупреждает: «С некоторых пор, и чем дальше, тем пуще, словосочетания «литературная наука», «наука о литературе» приводят меня в содрогание — как нечто сугубо выморочное, не нужное, если не вредное, для пи-

сателей и неинтересное для читателей». И дальше: «...моя книга ко всему этому отношения не имеет». Что конкретно подразумевается под «всем этим», понятно, думаю, лишь посвященным. Хотя и профаны могут кое о чем догадываться: уже на второй странице своей книги автор слегка поругивает тех, кто «разобъяснил и задокументировал искусство», «обременил» и даже «затемнил» «биографическими подробностями и историческими реалиями» каждую строку Пушкина. Исключения, правда, Рассадин делает для «редких талантов от Бахтина до Лотмана», однако даже за их открытия науку в целом не прощает, произнося сакраментальное: «есть вещи, которые ничем не искупишь...».

Не буду вступать со Станиславом Рассадиным в горячий спор, убеждая его и читателей в том, что составляет азбуку интеллектуального быта: «редких талантов» без научной школы не бывает, и работы Юрия Михайловича Лотмана в этом убеждают прежде всего. Не буду даже доказывать, скрупулезно выискивая примеры, что Рассадин сам пользуется (и было бы странно, если б не пользовался) в основном комментированными изданиями тех произведений, о которых размышляет на страницах книги, причем нередко обращается и к текстологическим примечаниям, и к реальному комментарию. Смешно напоминать, что подобного рода подготовку текстов осуществляют обычно ученые, которых принято называть литературоведами, и что не стоит всех их скопом отождествлять с безликими коллективами «исследовательских институтов» и их «фальшивыми поводырями типа Метченко-Храпченко-Овчаренко». Гуманитарные науки пережили в советское время свою трагедию — и это разговор отдельный. Рядом с официальной, иногда трагически сближаясь с ней, шла подлинная наука, которая оставила нам в наследство и текстологическую традицию, и культуру работы с архивными источниками, и многое-многое другое.

И тем не менее вступительное «Предостережение» Рассадина вполне уместно, будучи по крайней мере верной автохарактеристикой. Он действительно отгораживается от науки о литературе — от плохой и от хорошей, от ангажированной и от независимой, от разных ее традиций и «изводов». Более того, хотя Рассадин с пиететом поминает имена Бахтина и Лотмана, оба в равной мере чужды его собственному взгляду на литературу — а таковой, «рассадинский», взгляд существует, что в моих глазах оправдывает автора во многом, — искупает нередко и те просчеты, которые в других случаях, при других установках или при ином общем взгляде были бы непростительны.

Книгу закрываешь со смешанным чувством. Смешанным — потому что источник силы и слабости этого сочинения таится в одном и том же: в полной, иногда обворожительной, иногда отпугивающей свободе автора. Речь идет о свободе от устоявшихся — и действительно тиражируемых средним литературоведением — представлений об иерархии имен и произведений. Речь идет о свободе от сложившихся репутаций и смелости их решительно — часто убедительно — пересматривать. Речь идет о свободе от принятой в профессиональной среде узкой специализации «по периодам» и о прихотливом сопряжении фактов из дальних эпох, о вычитывании новых смыслов в известных, иногда хрестоматийных, текстах.

Надо вправду обладать немалой отвагой (говорю без тени иронии), чтобы твердо заявить об авторе «Леса» и «На всякого мудреца довольно простоты»: «...Островский в лучшем, что создал, был чистым художником, творившим искусство ради искусства, театр в театре и для театра»¹. Сказано не без эпатирующей резкости, не без вызова — но замечено верно. Замечено то, что действительно есть в Островском (как, впрочем, и в любом истинном художнике), хотя и всегда заслонялось в нашем сознании другими сторонами облика драматурга, причем вовсе не выдуманными досужими литературоведами, — заслонялось Островским, настаивавшим на воспитательном значении театра, или Островским — участником молодой редакции «Москвитянина», идеализировавшим патриархальный быт, тем более Островским в интерпретации Добролюбова. Однако размышлять над тем, что есть Островский для русской культуры, и отрывать при этом одну сторону его облика от других — путь чреватый. Русская классическая литература, особенно литература второй половины прошлого века, сама, а вовсе не в интерпретациях ангажированных исследователей брала на себя функции и философии, и церкви, и школы, и

¹ Здесь и далее в цитатах выделено Ст. Рассадиным. (Примеч. ред.)

общественной трибуны, иной раз даже сатирической буффонады, поэтому трудно понять разоблачительный пафос Рассадина, когда он рассматривает «само превращение сцены в храм... и в парламент» как нечто вроде тщеславной игры с публикой, свидетельство низкой слабости к успеху и отводит заботливо Островского подальше от этой пагубной страсти. Рассадин отрезает одного Островского от другого, выбрав того, что ближе самому автору, а может быть, более того — ближе эстетическим вкусам наших дней.

Однако почему нет? Автор, не ставящий перед собой академических задач, вольный стрелок, вправе совершать подобные подвижки. Его прихотливое повествование не претендует на статус учебного текста, не стремится дать цельной картины русской словесности, не подчинено жесткой концепции, языком которой должны быть всесторонне обдуманые аргументы. Мы имеем дело лишь со «взглядом» Рассадина, и он вправе не обосновывать свой «взгляд» в деталях. Правда, ему всегда придется помнить о зоилах-литературоведах, укоряющих за нарушение масштабов и искривление перспектив, и укоряющих не без оснований. И помнить, может быть, не столь раздраженно, потому что дело здесь не в масштабе таланта, на чем так настаивает Рассадин, нападая на «бездарных литературоведов», но в различии функций в культуре — различии, с которым приходится считаться, пока культура жива.

Некрасов, автор «плохих и скучных» «Размышлений у парадного подъезда», способный лишь в хандре и рефлексии реализовать свое дарование в подлинной глубине. Глеб Успенский, автор «Нравов Растеряевой улицы», переживающий страх и изумление при встрече с грязной жизнью городского «дна». Граф Хвостов — вовсе не бездарность, но «талант на выворот». Сквозник-Дмухановский, в котором Гоголь открыл «неправдоподобную, поэтическую доверчивость». Больной Константин Батюшков, творец безумного «Памятника», «выдерживающего сравнение с любым из шедевров любого... обэриута». Стих пушкинской эпохи — как столь же полное свидетельство о людях и их времени, что и быт в описаниях Гиляровского.

Это далеко не полный перечень пересмотренных репутаций, неожиданных сближений, переоцененных и заново продуманных фактов, которыми полна книга Станислава Рассадина. Иногда его наблюдения заражают, иногда лишь дразнят парадоксальностью или неожиданностью (бывает, он прямо пишет: «...оглошу читателей аналогией»), но в любом случае побуждают к перечитыванию и вчитыванию в знакомые тексты.

В этой способности тревожить — несомненная заслуга автора и свидетельство таланта, причем таланта не только интерпретаторского, но и беллетристического: Рассадин умеет облекать свои парадоксы в самые изящные одежды. Недаром он подчеркнуто ориентирован на писательское слово о литературе: редко и полувраждебно цитируя историков словесности (особенно досталось Леониду Гроссману — ученому во многих отношениях замечательному, которому эпоха затыкала рот), он всегда как-то по-дружески кивает Иннокентию Анненскому, Юрию Олеше, Корнею Чуковскому.

Писательское литературоведение строится на узнаваниях и прозрениях, оно импрессионистично и любит нюансы, неожиданные сближения. Именно в этих своих качествах оно и близко Рассадину. Тем более обидно, что автор книги не избегает (и как бы не хочет избегать) трюизмов, если не банальностей, претендующих, однако, на статус чего-то неординарного, не избавляется он и от тех условных клише, тех слишком обобщенных понятий, размывающих смысл любого явления, которыми нередко грешат как раз труды ненавистных Рассадину литературоведов.

Что такое «истинное, т. е. непредвзятое познание народа» в искусстве (штамп, кстати, звучит очень по метченко-храпченковски)? Мыслимо ли искать объективного понимания народа, да еще отказывать в таковом и Некрасову, и Достоевскому, и всем вообще, кроме Пушкина и Лермонтова, которые только и могли к нему подойти, но все же не подошли? Кому, кроме школьника, надо рассказывать, что все российские писатели видели свое призвание в «преображении души человека, поиске пути этого преобразования» или что Островский, давая имена героям, «сдержанно метит их, указывая, кто есть кто»? Надо ли нас убеждать, что быт — «не просто материальный достаток, но свобода и чувство достоинства»? Вообще, меня заинтересовало, на какого читателя рассчитывает автор, если полагает нужным

часто делать своего рода переводы с русского на русский, объясняя, что оппозиционер — это диссидент, что хождение текстов в рукописи — это вроде как самиздат, что век Просвещения мечтает об «осязаемых результатах „культпросвета“», что в светском баловстве Алексея Жемчужникова никак нельзя усматривать «бунтарский протест».

Возможно, эта разъяснительная манера — всего лишь издержки пера, легко выносимые за скобки. Кого-то такой стиль, наверное, привлекает — дело вкуса. Однако сочинение Рассадина подводит нас и к обсуждению еще одной проблемы, вовсе не «вкусовой». За скобки ее не вынесешь.

Обозначена эта проблема уже во второй части заглавия — «Из дворян в интеллигенты». В издательской аннотации сделаны некоторые разъяснения: сказано, что посвящена книга «формированию русской интеллигенции». Правда, сам автор в предисловии трактует свой замысел как будто иначе: «...не просто сборник очерков о людях российского искусства... но попытка словно бы набросать типологию русского характера». Однако Рассадин и от приведенного заглавия не отказывается, частью своей задачи видит осмысление «пути, которым шло русское сознание», и к теме дворянства и интеллигенции в книге порой обращается. Но именно — порой, урывками, лишь в связи с несколькими именами, в первую очередь, конечно, в связи с именем Пушкина, а удачнее всего — в связи с Сухово-Кобылиным, чью приватную и литературную судьбу Рассадин читает как воплощение сословного краха дворянства. И все же в целом эту проблему книга не вытягивает.

Если и заходит речь о диалоге дворянства и государства, о наследственной слабости императорской власти в России (причем парадоксальным образом и Николай I объявлен царем безвольным, правда безвольным навыворот), если Батюшков внезапно назван «человеком образцово дворянской биографии», причем в этом качестве в дальнейшем не интересует автора, — то все эти отрывочные замечания, далеко, кстати, не всегда любопытные, почерпнутые из какого-то общего багажа, тонут в другом материале, безусловно более близком Рассадину. Каждая глава — это отдельный очерк, и судьба каждого рассадинского героя, его место на Парнасе и его путь на Голгофу осмыслены в их собственном своеобразии — не в том сверхличном контексте, который все-таки диктуется заявленной проблемой.

«Путь русского сознания» не воссоздается через портретирование отдельных — пусть даже любимых и автором, и его читателем — носителей этого сознания. Не воссоздается и воссозданным быть не может. Для решения подобной задачи нужен и другой плацдарм, и другой масштаб обобщения, и иной угол зрения. Под пером Рассадина складывается лишь эскизная картина, имеющая, конечно, отношение к «русскому сознанию», поскольку к нему имеет отношение все, — но не более того. Не сентенциям же вроде той, что «русская душа нетерпелива», поднимать подобные проблемы.

Есть слова обязывающие. Они провоцируют повышенные читательские ожидания, и не стоит эти слова превращать в затертые и пустые знаки. Тем более знаки, используемые некорректно. Ни при каких обстоятельствах — даже в целях сознательного эпатажа — нельзя комментировать выпады молодого Бориса Николаевича Чичерина против «дряблого деспотизма» следующим образом: «...вот что случилось спустя двухлетие после Николаевской смерти. Да не каким-то там либералом, а Борисом Чичериным, прошедшим путь от любимого ученика Грановского до жесткого герценовского оппонента». Пожалуй, надо просто не интересоваться общественной мыслью середины — конца XIX века, чтобы, во-первых, не знать, что жили в ту эпоху либералы, резко полемизировавшие с Герценом, и чтобы, во-вторых, Чичерина (тем более молодого) противопоставлять либерализму, из рамок которого, кстати, и старого, сильно «поправевшего» Чичерина тоже изъять трудно. Нельзя просто так, походя утверждать, что «чувство личного достоинства» для людей XVIII века в целом «нехарактерно». Сказать такое — значит в лучшем случае воспринимать нормы поведения прошлого сквозь призму сегодняшних этических представлений. Можно даже специально не изучать позапрошлый век, но вспомнить, например, старого князя Болконского из «Войны и мира», чтобы понять, насколько иным, даже в сравнении с XIX веком, но оттого не менее обостренным было чувство собственного достоинства у людей екатерининской эпохи.

Подобные просчеты — следствие все той же свободы Станислава Рассадина. Кстати — свободы и от новообразованных стереотипов. «Нынче само слово «дворянство», едва лишь успев избавиться от классовой подозрительности, уже опош-

лено новой модой... и это опять мешает понять историю и драму сословия, которое, как нас теперь уверяют, пышно цвело и взращивало сословные добродетели аккурат до рокового 17-го. И только большевики — рраз и разрушили эту идиллию...» Объяснять историю действием демонических сил разного происхождения и достоинства — это занятие, популярное сейчас даже в ученой (точнее — квазиученой) среде. Рассадин же не боится утверждать, что в драме сословия была своя логика. Более того, он рискует нажать себе много врагов сегодня, заявляя, что не только парламента, но и храма — «в смысле реальном и неформальном», «как независимой духовной силы» — в России «на протяжении долгой нашей истории» не было. Правда, и в этих смелых по нашим временам пассажах автор книги верен себе. Слишком уж ответственны слова о храме, может быть, и не стоило их бросать походя, как нечто самоочевидное. Здесь ведь тоже своя трагедия, и трагедия не только верующих...

Станислав Рассадин удачно называет «Оду» Державина «великолепным панибратством» с Творцом. Эти слова можно переадресовать и автору рецензируемой книги. «Великолепное панибратство» с прошлым удастся Рассадину. Иногда удается счастливо.

Ольга МАЙОРОВА.



ЕДИНЫЙ ТЕКСТ

Н. А. Заболоцкий. «Огонь, мерцающий в сосуде...». Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. Составление, жизнеописание, примечания Никиты Заболоцкого. М. «Педагогика-Пресс». 1995. 944 стр., илл.

Такой книги никогда еще не было, а о художнике нашего века — и подавно. От души желала бы, чтоб и других отшедших драгоценных для нас поэтов почтили, каждого бы, похожим томом, — но ведь это неисполнимо. Для этого нужен сын, конгениальный отцу — его складу, мыслям, вкусам; столь же чуждый аффектации и глубоко чувствующий, с таким же расширенным за пределы литературы кругозором и тактом в отношении к людским душам (что не мешает резкости и определенности суждений), а главное — любящий сын, приносящий «в жертву памяти» отца бездну трудов и усилий. Он совершил федоровское дело воскрешения в форме, единственно доступной не Богу, а человекам, создав единый текст творческой жизни Николая Заболоцкого. Он — попутно — открыл новый литературно-исследовательский, литературно-публикаторский жанр, работать в котором, однако, вслед за ним вряд ли кто другой возьмется.

Но пока хватит о сыне. Поговорим об отце.

Развертывание художником своего дара во времени — всегда единый текст. Творящий дух един и в личной судьбе, и в своих, как сказали бы еще недавно, «объективациях». И это верно вовсе не только в случае романтиков и символистов, специально занимавшихся «жизнетворчеством», своего рода артистическим исполнением самих себя. Текст един и в случае Пушкина — вопреки его стихотворению «Поэт». И в случае Мандельштама. И в случае Заболоцкого. Часть его выходит на поверхность печатной страницы, часть остается сокровенной — но текст непрерывен. «В Заболоцком всегда совершалась какая-то внутренняя работа, как будто и не связанная с тем, что происходило вокруг него», — это сказано про жизнь поэта на каторге, со слов свидетеля его лагерных лет, товарища по несчастью. «Текст», саморазворачивающийся с мощью растительной органики, не прервался и там. Молния расщепила дерево, но оно продолжало жить и расти (автобиографический образ из стихотворения Заболоцкого «Гроза идет»).

И тут тысячестраничная без малого книга, книга длиною в жизнь, хотя в ней не так уж много документальных первопубликаций, дает неожиданное и капитальное приращение смысла к прежде известному. Она отвечает на вопрос, едва ли не главный для всех, кто любит этого поэта и раздумывает над его творениями. Во всяком случае, мне показалось, что я расслышала ответ.

Как, когда и в силу каких причин менялся Заболоцкий? где значки, «чтоб перейти в другое время года»? где искать годовых колец, переломных моментов? и не

переломные ли они в самом буквальном и жутком смысле ломки? А еще и того больше: менялся ли поэт вообще? В книге на эти неизбежные вопросы отвечают несколько вспоминателей. Л. Озеров — проще всех: «Нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего «штурм унд дранг» до своей классики». Что ж, в свое время и такой ответ был, как говорится, «прогрессивным» — реабилитирующим у поэта его раннее, а позднее — освобождающим от упреков в измене себе. У Н. Роскиной все сложнее и драматичнее, ведь она знала поэта близко: «Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за отказ от поэтических исканий его молодости... он сознательно строил свой духовный мир на верности и твердости своих поэтических идеалов. В этом была и сила его, и его постоянство, и он сам. ...Как-то он мне сказал, что понял: и в тех, классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных». Но тут же мемуаристка замечает с долей скептической горечи: «Все это, как мне кажется, были лишь самоутешения...» А вот как судит о том же В. Каверин: «преображение темы, навязанной необходимостью, и рождение искусства вопреки „социальному заказу“...» Ну, это автор «Двух капитанов» и «Открытой книги» обобщает, скорее, свой опыт. Но опыт ли Заболоцкого? Нет, увольте, — хотя под каверинское определение, может быть, и подходят «Творцы дорог», где рабский (каков он был в действительности) труд нелицемерно преобразен в деяние полубогов, и особенно блистающая великолепием «Горийская симфония», благодаря выдержанности тона унизившая Заболоцкого не более, чем Ломоносова и Державина — и их гимны властителям, читаемые нами до сего дня.

Впрочем, кажется, и автор предисловия к «тамиздатскому», американскому (1965 года) тому Заболоцкого (цитирую по памяти) писал, в сущности, то же: о «созидательном конформизме» поэта. Писал так, разумеется, без осуждения, даже восхищаясь и сравнивая литературное поведение Заболоцкого после разгрома «Торжества Земледелия» с поведенческой тактикой другого великого творца — композитора Сергея Прокофьева. По прочтении составленной Н. Н. Заболоцким книги эта ярко-парадоксальная и не лишенная меткости формула — «созидательный конформизм» — в моих глазах совершенно выцвела и поблекла.

Перед нами высокая трагедия — греков ли, Шекспира, но именно этого масштаба и роста. Трагедия, в которой герой падает, «побежденный лишь роком», как сказано у любимого Заболоцким русского поэта. В этом ее катарсис. Последним словом, написанным рукой Заболоцкого перед тем, как он упал замертво, сраженный вторым инфарктом, было слово «ангелы», — и его сын-биограф находит здесь тоже толику утешения, катарсис другого рода...

(Конечно, это трагедия современная, «спущенная» в переплетение по-чеховски трогательных и по-чеховски жестко рифмующихся — как то самое ружье из первого и последнего акта — подробностей. Чего стоит, например, проходящая сквозь жизнеописание история «черного костюма»: сначала молодой и безденежный Заболоцкий о таком костюме мечтает, ищет его на толкучем рынке, где «маклак штаны на воздух мечет», и приценивается к нему; наконец костюм куплен, надевается в приличествующих случаях, но тут грядет арест, лагерь; в письме из лагеря поэт просит жену продать костюм и купить детям немного съестного, но жена упорствует и сохраняет вещь; выйдя из заключения, он снова получает возможность облечься в черный костюм, который теперь висит на исхудавшем... Наконец, в самые последние годы неустойчивого благополучия — и нездоровой полноты — Заболоцкий заказывает себе новый черный костюм, из отреза, купленного в счастливо мелькнувшей Италии. «Портной принес его в окончательном виде вскоре после того, — вспоминает Б. А. Слуцкий, — как мы с Бажаном и Жгенти втащили тяжелый тепловатый труп Н. А. в полосатой спальном пижамке на стол. Кажется, в этом костюме Н. А. и похоронили». Finis... Уточню, что биограф не извлекает из этой истории никаких литературных эффектов, он вообще ее не рассказывает. Рассказала ее я, прочитав сплошной текст книги, а придумала ее — жизнь.)

Итак — трагедия. Без обиняков обозначу ее коллизию: сражение творческой силы с силой зла. А особенность этой коллизии в том, что смысл и цель поступков героя — не «духовная победа» вообще, не духовное сопротивление в социальном или абстрактно-философском плане, а победа собственно художественная, поэтическая, литературная, если угодно, — победа над насилием, враждебным возвышающей человека творческой игре.

Слово «игра» не случайно пришло на ум, оно невольно сопровождает вас по ходу чтения книги. Дочитав ее до конца, на последней странице, в кратком списке литературы, я обнаружила работу англоязычной исследовательницы Дарры Голдстейн «Nikolai Zabolotsky. Play for mortal stakes» («Игра со смертельными ставками», «Игра, где ставка — смерть»). Мне не попадалась эта книга, но, судя по названию, мысли ее автора шли в том же направлении.

Дар Заболоцкого был так велик, что на руках у него, можно сказать, имелись сплошь козырные карты. Нам, знающим лишь о том, что уцелело на поле сражения, остается только догадываться, как огромен он был, этот дар. М. В. Юдина, понимавшая поэта так, как гению свойственно понимать собрата — «когда пред ним гремит и блещет иного гения полет», говорит о «величественной партитуре творчества Заболоцкого». Действительно, ему изначально дано было потенциальное многозвучие, многоголосие при четкой очерченности творческих задач. И когда грубая идеологическая сила выбивала из рук очередной козырь, перекрывала очередной регистр звучания, в ход пускалась новая победительная карта, вступал новый полнозвучный регистр. Так — до самой смерти. «Рубрук в Монголии», предсмертная поэма, созданная столько же дерзкой мускульной силой, сколько просветленным умом и воображением, свидетельствует против всех, искавших в позднем Заболоцком следы усталости и творческой капитуляции. Но никогда мы не узнаем, не услышим, не прочтем Заболоцкого, работающего во всю мощь своего Богом дарованного полифонического инструмента. «Я нашел в себе силу остаться в живых», — напишет он поразительную фразу в заявлении, адресованном 17 февраля 1944 года Особому совещанию НКВД СССР и по сдержанному накалу сопротивления сопоставимом со знаменитым письмом М. А. Булгакова советскому правительству. «Остался в живых» — и как поэт, как звезда в великом поэтическом созвездии века. Однако — не как равный себе возможному, себе, замысленному богом искусства... быть может... страшно сказать... «вторым Пушкиным».

Конечно, идея изменения, развития, метаморфозы — сквозная мысль Заболоцкого, и представление о его неизменяемости, стоянии на уровне «Столбцов», было б ему это позволено, — такое представление в корне ложно. Мемуаристы единодушно отмечают, что в послелагерные годы к лицам, восторгавшимся «Столбцами» и пытавшимся при встрече с поэтом прочесть оттуда что-нибудь наизусть, он относился с подозрением и раздражением. (По этому поводу Слуцкий остроумно заметил: к тем, кто хвалил «Столбцы», Н. А. относился подозрительно, к тем же, кому они не нравились, — плохо.) Тут нельзя исключить и боязнь провокации — ведь именно стихи, только стихи уже стали причиной всех его бед, не исключена и реакция на чудящийся упрек в «измене себе самому» (измене, которой все-таки не было). Но, полагаю, есть еще и третье: ведь обидно, когда хвалят семя, не замечая выросшего из него дерева.

Невзирая на трагические поединки с насильственно навязываемой идеологизированной эстетикой (временно отвернувшись от этой темы), можно угадать естественную линию эволюции Заболоцкого. От наступательного экспрессионизма гротескных городских «Столбцов» — к «прекрасно-глупой», идиллически-пасторальной эстетике «наивного искусства» и одновременно к оккультно-магической таинственности таких вещей, как «Меркнут знаки Зодиака», «Змеи», «Царица мух». От изошренно-наивной, «хлебниковской» архаики и магии (в отличие от Хлебникова, Заболоцкого питала не языческая, а средневековая древность) и в диалогеспоре с нею (поэма «Деревья») — к чуть отрешенному и фресково-декоративному воплощению глобальных натурфилософских идей, подкрепляемых чтением Вернадского и Циолковского (поэма «Птицы», «Венчание плодами»), — говоря индифферентно, от Агриппы Неттесгеймского к Лукрецию Кару, с подражанием его же гекзаметрам. От натурфилософии — к душепознанию, к проникновению в душу Природы (вполне подошла бы и чуждая Заболоцкому философская терминология — в «Душу Мира», *anima mundi*, — таково несравненное «Лесное озеро», сопоставимое со стихами Владимира Соловьева озеру Сайме, но, конечно, превосходнейшее их) и в душу человеческую, освещенную духовным светом; возвращение к вечным и неустранимым из большой поэзии элементам символизма («Старая сказка», «Чертополох»). От душепознания и «некрасовского» портретирования людей и судеб — к философии истории, к судьбам евразийского континента («Рубрук в Монголии»).

Это плавное перетекание одних возможностей и откровений в другие, действительно похожее на рост дерева, когда на стволе возникают все новые ветви, а другие при этом продолжают жить или усыхают далеко не сразу, плохо поддается периодизации, и я, даже имея большее пространство для высказывания, не стала бы вступать в спор — на два, три или четыре этапа следует делить творческий путь Заболоцкого. Скажу только, что накануне перехода к «классичности» — перехода, подчеркнутого самим поэтом, разделившим в завещании написанное и отобранное на «Столбцы и поэмы» и на «Стихотворения», — Заболоцкий как художник взял свою вершину — и не утерял ее в итоге освоения новых форм, но, пожалуй, и не превзошел; стихи, названные им на склоне дней «Смешанными столбцами», и поэму «Безумный волк» можно без оговорок счесть гениальными.

(Кстати, распространенное мнение относительно того, что только поздние стихи Заболоцкого обрели «музыкальность», а прежним была свойственна одна лишь «пластичность», опровергается именно «Смешанными столбцами». Музыкальность, присущая Заболоцкому, далека от певности, ее можно сравнить не с работой человеческого голоса, а с качествами инструментальных композиций; у него нет тяги к строфике, делению на «куплеты», но легкими сбоями ритма, варьирующимся чередованием рифм он извлекает из обыкновенных ямбов и хореев особую, не певческую музыку. Обратите внимание на чередование мужских и женских рифм в колдовской, необъяснимой «Царице мух»: как вместе с ростом тревоги нарастает обилие мужских, как они окончательно вытесняют женские в момент чародейного заклятия и как снова дано возобладать женским — в час расвета, раз-очарования, успокоения...)

В основе этих перерастаний и превращений и впрямь лежала неизменность, верность себе и избранному художественному пути, вера в себя, в безошибочность своего глаза и слуха (см. его выписку из дневников Делакура: «Вера в себя является наиболее редким даром, а между тем только она способна породить шедевры»). Если говорить не о мировоззренческой, а о более глубокой и подспудной, эстетической, основе этой неизменности, то ее можно определить как верность началам искусства «наивного» (так оно зовется в исследованиях живописи), или, повторю характеристику Хлебникова в эпитафии ему из «Торжества Земледелия», — искусства «прекрасно-глупого» (многозначительная, но вовсе не ироническая травестия античного термина «калокагатия» — «прекрасно-доброе»), другими словами — принципам искусства, не вполне затронутого условиями цивилизации и потому простоудушно-истинного и фактического. Лучше всего о таком искусстве сказал сам Заболоцкий, восхищаясь «Словом о полку Игореве», над переложением которого работал: «...все в нем полно особой *нежной дикости*... (курсив мой. — И. Р.)»; вспоминаются слова о пении Мэри из «Пира во время чумы»: «дикое совершенство». Эту «нежную дикость», свойственную Гомеру, русским былинам, вообще народным эпическим книгам и фольклору, Заболоцкий хранил в себе, в своем художественном аппарате до конца — и в «Лебеди в зоопарке», и в «Утре», и в «Бегстве в Египет», и в «Рубруке...». И она, кстати сказать, отличает его от эталонных в его сознании Баратынского и Тютчева и чем-то приближает к Пушкину (Заболоцкий и Пушкин — тема особая, неявная, но многообещающая).

Мария Вениаминовна Юдина, которая работала с Заболоцким над переводами положенных классиками на музыку стихов Гёте и других немецких поэтов, пыталась, по ее словам, заинтересовать его как переводчика Новалисом и Рильке, но безуспешно: Заболоцкого у нее «похитили» грузины. Помимо житейских преимуществ сближения с Грузией «аполлиническому (отчасти)» Заболоцкому, предполагает музыкантша, были чужды эти «орфические» поэты. Думаю, диагноз ее здесь неточен: дар Заболоцкого — если пользоваться унаследованными Юдиной от серебряного века категориями — столько же «дионисийский», сколько «аполлинический»: «Но чисто русское безумье было в нем / И бурь подавленных величье» (Семен Липкин). В грузинской же поэзии присутствовала та нетронутость, девственность, та «нежная дикость», к которой Заболоцкий произвольно тянулся как к сродному себе началу.

Итак, Заболоцкий-сын, по-моему, правильно поступает, когда отказывается от претензии разделить путь поэта на периоды по принципу внутреннему, стилистическому, трудно «квантуящемуся». Он — летописец, хронист, он расставляет очевидные жизненные вехи, числом семь: детство, юность, студенчество (1903 — 1925); начало зрелого творчества (1926 — 1929); ленинградские тридцатые

(1930 — 1937); тюрьма и лагеря (1938 — 1944); возвращение к поэзии (1945 — 1948); в Москве (1948 — 1955); поздние надежды (1956 — 1958). В каждом разделе — соответствующий фрагмент жизнеописания, подбор воспоминаний об этих именно годах, письма, стихи, образцы переводов и проза самого Н. А., приходящиеся на означенное время.

Но есть еще одна периодизация — рассекающая жизнь поэта на части наносимыми ему ударами, ранами. Их было множество, но главных — четыре, как будто специально затем, чтобы трагедия приобрела каноническое, пятиактное строение. Первый удар — погром, учиненный «Торжеству Земледелия» и грозящий нешуточными репрессиями (издевательства над «Столбцами» еще не сулили «практических» последствий и уравнивались восхищением знатоков; Ю. Н. Тынянов сделал на своей книге дарственную надпись: «Первому поэту наших дней»). После этого удара, на высшей точке прервавшего утопическую и «магическую» линию поэзии Заболоцкого и сгубившего в корректуре собранную им книгу, поэзия его вынужденно (да-да, все-таки вынужденно!) «успокаивается» и принимает на время стройно-архитектурные и благоразумно «естествоиспытательские» формы. Но стоило поэту восславить разумный и общественный труд, сославшись на заключительный аккорд второй части гётевского «Фауста», как, словно накликаемые, явились за ним лемуры в образе двух сотрудников НКВД. Последовал второй удар, самый страшный, — арест, физические истязания, лагеря, общие работы на лесоповале, от гибели на которых поэта уберегло буквально чудо. Уже не перемена манеры, а сознательный зарок молчания, отказ от творчества, несущего бедствия не только самому творцу, но и семье, детям, стал ответом на этот удар (таково было именно осознанное и волевое решение, ибо внутренняя возможность творчества даже там, в аду, оставалась высокой — «Лесное озеро» и «Соловей», безусловнейшие достижения Заболоцкого, были сложены в неволе). «Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела...», «Душа моя так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков...» (из писем жене).

Но и инструмент, и душа оказались целы, а зарок — не вечен. Освободившись, Заболоцкий не только перелагает современным стихом «Слово о полку Игореве», но и, перебравшись в Москву (вернее, сначала в Подмосковье), несмотря на самоуверения, что теперь он только переводчик, пишет «Утро», «Грозу», «Бетховена», «Приближался апрель к середине», «Позднюю весну» — вещи одна лучше другой, исполненные свежим притоком гармонической энергии, счастьем бытия, счастьем нового рождения. Не тут-то было.

По жизнеописанию Заболоцкого можно изучать все истребительные приемы и навыки сталинско-коммунистической цензуры. Речь, разумеется, идет не о пресловутом Главлите, до него у Заболоцкого дело обычно не доходило, а обо всех предшествующих степенях цензурирования — от самосдерживания (уничтожения превосходных стихотворений, переделки связанных с пережитым строк на более отрешенные, как в стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок»), от дружеских советов (так, близкий друг, Н. Л. Степанов, удерживал «Колю» от прямого выражения еретических натурфилософских идей) до указаний редакторов и инструкций, исходящих от вельможных доброжелателей и благодетелей, таких, как А. А. Фадеев. Надо сказать, что на власти, как на воре, всегда горела шапка, и многие ее придирки выглядят просто трагикомически; например, власть быстрехонько прикидывала, как вслед недавней обстановке голода, детской смертности и беспризорщины может быть прочитана строфа о зайцах, которые «Лапки к лапкам прижимаючи / вроде маленьких ребят, / про свои обиды заячьи/ монотонно говорят» («Весна в лесу», 1935), — и стремилась эту строфу ликвидировать. И вкусом надзиратели обладали подчас отменным, и зоркостью глаза. Фадеев инструктирует насчет третьей книжки, разрешенной поэту (изуродованная, она вышла в 1948 году): «Всюду надо или изъять, или попросить автора переделать места, где зверям, насекомым и прочим отводится место, равное человеку». И далее подчеркнуто автором записки: «Из сборника **абсолютно должны быть изъяты** следующие стихотворения: „Утро“, „Начало зимы“, „Метаморфозы“, „Засуха“, „Ночной сад“, „Лесное озеро“, „Уступи мне, скворец, уголок“, „Ночь в Пасанаури“». Выбор мишеней делает честь литературной компетентности секретаря СП СССР. А незадолго до этого, в мае 1947 года, «Литературная газета» устами А. Макарова сплясала танец смерти на первой публикации Заболоцкого после ареста — на «Творцах дорог» (в «Стихотворениях» 1948 года они вышли в испорченном переделкой виде).

Это был третий удар, сбивший волну вдохновения. После 1948 года, отмечает жизнеописатель, Заболоцкий отошел от натурфилософской темы. Еще бы! Но опять-таки, речь идет не об иссякании творческих возможностей, а об их намеренном, усиленном самообуздании. Никита Заболоцкий, к тому времени уже повзрослевший внимательный свидетель жизни отца, то и дело поясняет: «Он сознательно до отказа загружал себя переводами, чтобы истратить на них всю творческую энергию»; в годы все новых репрессий, нависавших над жизнью и культурой страны (1949 — 1952), писать «не мог и не хотел»; «обуздывая свое стремление к серьезным стихам... компенсировал неудовлетворенную жажду творчества не только переводами, но и шуточными экспромтами» (которые в большинстве случаев тут же и уничтожал, как, впрочем, и редкие оригинальные стихотворения). «Ему хочется писать стихи, а он себе не позволяет», — объясняла его раздражение жена.

Вдумайтесь только: в то время, когда наши лучшие поэты, прикованные к тачкам переводов, тяготились ими (даже если это были Гёте, Шекспир, Шиллер) и жаловались, что переводческий труд сжигает их мозг, Заболоцкий намеренно расходовал запасы своих сил, только чтобы не заговорить! Жутко становится от мысли, что репрессивная власть вынуждала его к повторению подвижнического обета Иоанна Дамаскина, обета, который, однако, будучи невыносим, был нарушен в обеих ситуациях — древней и новейшей. (Но и в переводах иной раз прорывался вопль сердца, зов к справедливому воздаянию, как в шиллеровских «Ивиковых журавлях»: «Свершилось мщенье Эвменид!»)

Напрашивается вопрос: почему Заболоцкий почти не писал «в стол», ведь знал, что так подчас делают другие, и одобрял это? Думаю, дело в особой форме его связи с читателем. З. Масленикова передает впечатление Бориса Пастернака от свидания с Заболоцким: «Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках и они не исчезли, остались висеть...» Это очень точное впечатление. И смысл его — не в «живописности» стихов Заболоцкого, а в том, что они ни в коей мере не были самодостаточным лирическим дневником — исходно предназначались не «себе», а чувствам и воображению близкого во времени адресата. Так и художник бросит кисти, если его заставят все картины ставить лицом к стене в тесных пределах своей мастерской.

Но и в разгар переводческого «послушания» не замедлил последовать четвертый удар: в 1951 году «органы» задумали выслать Заболоцкого из Москвы как прежде судимого и репрессированного. И так бы оно и случилось, кабы не очередное заступничество Фадеева. Косвенным результатом был открывшийся в 1952 году туберкулез сетчатки глаза — и стихи, полные не свойственной прежде Заболоцкому возвышенной элегической печали, «медленного» терпенья: «Старая сказка» (к жене), «Воспоминание» (о лагере), «Прощание с друзьями» (обэриутам). Но мыслями к своему «обету молчания» он еще не раз возвращался. Так, его сразила укоризненная реплика А. Т. Твардовского, тогда уже редактора «Нового мира», на написанную еще в 1948 году «Лебедь в зоопарке» — «животное, полное грез»: «Не молоденький, а все шутите». «Не буду предлагать редакциям оригинальные стихи, буду публиковать только переводы», — сказал он по возвращении из редакции С. И. Липкину, со слов которого мы знаем об этом эпизоде. Мог ли Александр Трифонович, расходившийся с Заболоцким чисто эстетически, подумать, что для бывшего лагерника, осужденного в свое время именно из-за «шутейных» стихов, эта реплика прозвучала почти так же, как роковая реплика Радищеву его начальника графа Завадовского, который «удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало было тебе Сибири?» (А. С. Пушкин, «Александр Радищев», 1836)...

Однако, к счастью, после этого и других тяжелых непониманий и стеснений Заболоцкий не поступил так, как Радищев в статье Пушкина, а написал «Противостояние Марса», цикл «Последняя любовь», «Ласточку», «Рубрика в Монголии» (из многого прекрасного, созданного им в поздние годы, я намеренно выделяю то, где видны черты синтеза всех исканий и достижений — синтеза, который, по справедливому заключению биографа, обещала его муза на этапе, прерванном смертью).

Так где же правда — если говорить о метаморфозах Заболоцкого-поэта: в потребностях внутреннего развития или в творческих, но и приспособительных реакциях на пытку и нажим? Конечно, правда и в том, и в том. Одно уже никакими ухищрениями не отделить от другого. Каждый наш великий поэт в этом веке — израненный и павший победитель.

Не хочется кончать на такой ноте — возвращусь к работе составителя и биографа. Заслуги его огромны как в одной, так и в другой ипостаси. Составитель дал нам возможность прочитать стихи Заболоцкого в не тронутом ни цензурой, ни поздним авторедактированием, в первоизданном, неостывшем виде. Большинство вариантов было известно и раньше, но, запертые в комментариях и дополнениях, они, что называется, не звучали, не позволяли судить, какая версия лучше, где потери, а где приобретения. Теперь эту возможность мы получили. Есть и неизвестные варианты, извлеченные, кажется, впервые из архива поэта. Например, в стихотворении «На лестницах» — о коте-отшельнике, первом эскизе Безумного Волка, — было сказано: «Он держит мир первоначальный / на мозговых своих буграх». Потом это будет переправлено (как и многое острое в поэтике «Столбцов») на аморфные строки: «Он мир любви первоначальной / Напрасно ищет до утра». А ведь была тут четкая мысль — о жажде гнозиса, которой одержим отщепенец обыденного мира.

Не буду перечислять другие первопубликации — в части воспоминаний и писем. Жизнеописание, педантично оснащенное ссылками на архивные, равно как и на печатные источники, в том числе редкие, выгодно отличается в этом отношении от серийной продукции «Жизни замечательных людей», где многие авторы заимствуют чужие сведения ни на кого не ссылаясь и не давая в руки ни исследователю, ни преподавателю достоверного материала.

Но Н. Н. Заболоцкий и сам исследователь творчества отца, а не только биограф. Многие его наблюдения приятно удивляют точностью и глубиной. Таково, скажем, рассуждение о двойственном образе природы в художественной философии Заболоцкого — учительницы и ученицы человека. Хочется обдумать и продолжить предложенное здесь сопоставление стихотворения «Сентябрь» с ранним «Искушением»: от метаморфозы (из мертвого тела девушки вырастает деревце) к метафоре (осеннее деревце походит на девушку) — путь, очень характерный для движения поэтики Заболоцкого. Жаль, что в книге не приведены два превосходных «столбцовых» стихотворения, включенных поэтом в последний свод, — это «Болезнь» и «На даче»; сравнение «Болезни» с «Бегством в Египет» могло быть еще более поучительным.

Остается добавить, что я лично предпочла бы отрывкам из исследований и статей о поэте (А. Македонов, А. Урбан, Б. Сарнов и другие) обширную библиографию, — но, может быть, издательство педагогической литературы обязалось давать этого рода материалы «в помощь учителю». А уж если включать таковые, то нельзя было, на мой взгляд, обойтись без фрагмента из замечательной книги В. Альфонсова «Слова и краски», изданной в 1966 году (там — о Заболоцком и Филонове). Впрочем, это несущественные придирки. О книге хочется говорить в самых патетических выражениях. Но мною они уже произнесены.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЛОВО

Александр Солженицын. Публицистика. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. 720 стр.

И посегодняя редок в России писатель, чья деятельность ограничивается только искусством. «Не могу молчать» заставляет его выходить на поприще общественного служения. Созданное на этом поприще — полноправная часть творческого мира художника.

Мало того, публицистическое слово Солженицына на наших глазах опрокинуло тоталитарную деспотию; во всяком случае, прежде чем пасть физически, она была уничтожена им морально. Остальное стало лишь делом времени и исторической «технологии».

Впрочем, значение публицистики Солженицына оказалось намного шире и глубже схватки с маразмизирующим режимом. Его слово уже и в те годы охватывало нынешнюю цивилизацию целокупно — во всем роковом влиянии ее на сознание современного человека и биосферу.

...Первый том выходящего в Ярославле трехтомника солженицынской публицистики (составитель Наталья Солженицына — неутомимая сподвижница автора), вобравший четверть века деятельности писателя, убеждает, что его публицистика ни на йоту не остыла во времени. Ибо тут дышит сама свобода — свобода от догм, схем, господствующих умонастроений и мировоззренческих штампов.

Но свобода эта не анархически замкнута на себе, а надежно организована христианским пониманием жизни, дающим сознание правоты — «и ту душевную ясность, когда понятия добра и зла еще не были высмеяны и еще не были, по принципу fifty-fifty, затолканы вздором».

И ничто так не выявляет нашей нынешней духовной беспомощности и интеллектуального смятения, — продолжает далее Солженицын свою речь в Академии Лихтенштейна (1993), — как потеря ясного, спокойного отношения к смерти. Чем выше растет людское благополучие — тем жестче врезается в душу современного человека холодящий страх смерти. От этой-то ненасытной, громкой, суетной жизни и развился такой массовый страх перед смертью, какого не знали в старину. ...Отказавшись помнить неизменную Высшую Силу над нами — мы насытили пространство императивами личными, и вдруг стало жутко жить».

...Знаменательно, что еще в СССР, который большинство интеллигенции и диссидентуры считало просто очередной метаморфозой «русского тысячелетнего рабства», Солженицын ощущал мир в единстве и понимал коммунизм как логичную — пусть самую больную — составную часть мировой цивилизации. Даже удивительно, как можно было тогда, слушая постоянно идеологичные западные «голоса» с обязательной примесью пропагандной саморекламы, имея в самообразовательном активе скорее дезориентирующие теории вроде «русского коммунизма» Николая Бердяева и разных освободительных схем, не видя потребительской цивилизации своими глазами, столь зрело и полно сформироваться. Ведь уже в первый свой эмигрантский год он сказал следующее: «Главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что обе системы поражены пороком, и даже общим, и потому ни одна из систем при ее нынешнем миропонимании не обещает здорового выхода. ...Гремливая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытащила наши души на базар — партийный или коммерческий. ...Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних Веков к Новому Времени, — если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота. ...Если и суждены нам впереди революции спасительные, то они должны быть революциями **н р а в с т в е н н ы м и**, то есть неким новым феноменом, который нам предстоит еще открыть, разглядеть и осуществить».

Вот из этого зерна одного из ранних западных выступлений Солженицына (при получении премии «Золотое клише» от Союза итальянских журналистов) выросли и прославленная Гарвардская речь (1978), и Гуверовская (1976) и Темплтоновская (1983) лекции. Все они развивают мысль о необходимости скорейшей нравственной перестройки цивилизации — в пользу разумного самостеснения и самоограничения во имя здоровья души и достойного существования будущих поколений.

И как актуальна именно сейчас здесь — в то ли поправляющейся, в то ли агонизирующей после коммунизма России — меткая и острая солженицынская критика бед цивилизованного сообщества второй половины XX века. Ведь ничего лучшего с Запада — его добросовестности, добротности, доброжелательности и социальной дисциплины — мы не взяли: все это дается медленно и с превеликим трудом. Но то, что двадцать лет назад говорил писатель в Стэнфорде, — разве это не о современной России? —

«Свобода! — принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! — навязывать информацию, не считаясь с правом человека *не* получать ее, с правом человека на душевный покой. Свобода! — плевать в глаза и души прохожих и проезжих рекламой. Свобода! — издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью.

...Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформировать общественное мнение. Свобода! — сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! — разглашать оборонные секреты своей страны для лич-

ных политических целей. Свобода! — бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы собственную страну. Свобода! — политических деятелей легкомысленно осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности. Свобода! — для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу. Свобода! — целых государств иждивенчески вымогать помощь со стороны, а не трудиться построить свою экономику».

...Еще со времен «Письма к вождям» и сборника «Из-под глыб» (1974), с тревогой вглядываясь в гипотетическое посткоммунистическое пространство, Солженицын предупреждал, что освобождение может прийти лишь через сильную духовную и социальную дисциплину, а не ее либеральное разложение. И это вызывало неистовство политических дилетантов и конъюнктурщиков, многих идеологов эмигрантской «третьей волны»; «аятолла России» еще не самый крепкий эпитет их по адресу Солженицына.

«И прямо так и вопрошали: зачем я выжил? — и на войне, и в тюрьме, и сквозь рак. И объявляли меня — уже вполне конченным, хоронили (мыши кота)».

В солженицынских поисках новых, но и не антагонистичных традиционным форм посттоталитарного российского социума «плюралисты» видели угрозу демократии, которая суть «суррогат веры для интеллектуала, лишённого религии», — формулирует Солженицын, ссылаясь на Иозефа Шумпетера.

«Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, — предрекал провидец, — если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед ее судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость. ...В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучебы, но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымирании мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах, правах, — и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале».

Как в воду смотрел. И коммунизм напоследок крепко хлопнул дверью, выпустив на поверхность именно «эти культурные силы». Включите телевизор — они каждый день там на всех каналах, а разговор Солженицына о народных нуждах, о вымирании и земле оборван на полуслове.

...Солженицын видит историческую реальность целокупно — в связке с ее прошлым и будущим. Вот почему скрупулезно прописанный им в «Красном Колесе» март семнадцатого столь злободневен — но не за счет примитивных аналогий типа «исторические параллели между III отделением и МГБ... позволяют извлечь немало уроков, столь необходимых в наши времена» (как сказано в одной недавней, наивно старающейся завлечь читателя редакторской аннотации)¹, а структурально, даже онтологически.

«И вот мы докатились до Великой Русской Катастрофы 90-х годов XX века» — так определяет писатель наше «вхождение в цивилизованное сообщество». И так видит не он один. Россия развивается в пику чаяниям многих и многих русских людей в провинции и в столицах — людей далеко не худших, нередко составляющих соль нашей многострадальной земли. Но как раз они-то не имеют ни голоса, ни влияния. Не имели и на заре перестройки (ее «прорабы» и интеллектуальные обеспечители гужуются теперь, в основном, на Западе, предоставив российской народной толще пожинать плоды своей демагогической деятельности) — не имеют и ныне, при многократно с тех пор перелинявшем составе «временного правительства»...

«Дело в том, — пишет в своих замечательных «Заметках о национализме подлинном и мнимом» протоиерей Владислав Свешников, — что не видно действительно никакого руководящего национального и нравственного принципа, кроме власти и борьбы за нее. И тогда в государственном и политическом деле остается только один грех, который неизбежно разрушает государственность. ...Именно та-

¹ Давыдов Ю. Синие тюльпаны. М. «Московский рабочий». 1995.

кова сейчас наша действительность во всем: дразнящая, подлая, тоскливая, умирающая, остро возбуждающая, веселящаяся чумной игрой, животная. И многим людям именно это по душе, но у кого болит сердце за народ, за чистую жизнь, за семью, за детей — оно болит непрестанно»².

...Во второй части «Как нам обустроить Россию» (ее, к сожалению, мало кто вдумчиво прочитал, проглотив брошюру зараз и к концу уже подустав) Солженицын намечает контуры желаемой и эффективной народной власти, убеждая, что ни партийная рвачка, ни нынешнее всеобщее — равное, прямое — тайное голосование, ни выделенные таким путем во власть «народные избранцы» политического здоровья отечеству не обеспечат. «Власть — это заповеданное служение и не может быть предметом конкуренции партий».

А обеспечит — одно: «демократия малых пространств» — отстройка самоуправления на местах. «Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропрочной жизни, да само понятие «гражданской свободы» теряет смысл... В здоровое время у местных сил — большая жажда деятельности, и ей должен быть открыт самый широкий простор».

...Только трех-четырёхступенчатые выборы, когда каждый выбираемый зарекомендовал себя дельным и бескорыстным, обеспечивают — по Солженицыну — выделение вверх людей, действительно достойных составлять высший эшелон власти и обеспечивать «разумное сочетание деятельности централизованной бюрократии и общественных сил».

Солженицын за сильную президентскую власть. Но в будущем видит президента не как удачливого партийного ставленника, но — по мере развития на основе самоуправления земств и сословий — как достойного выдвиженца именно земских, территориальных и сословных представительств, приходящего к власти не за счет крикливой победы над конкурентом, а на продуманной, конкурсной, так сказать, основе. «Надо искать форму государственных решений более высокую, чем простое механическое голосование. Все отдавать на голосование по большинству — значит устанавливать его диктатуру над меньшинством и над особыми мнениями, которые как раз наиболее ценны для поиска путей развития. ...Обезличенное полное равенство людских выражений — есть энтропия, направление к смерти. Общество живо именно своею дифференциацией».

Выступая против утопических затей соединения человечества в «единое целое» с универсальным правлением, кастрированными религиями и культурами, но и — против агрессивного националистического узколобья, Солженицын формирует ту золотую «среднюю линию», в которой ныне мы так нуждаемся.

Его размышления — отнюдь не маниловские мечтания идеалиста, как они могут выглядеть на фоне распада. Это соображения прагматика, ясно видящего совокупность реальности, включающей и завтрашний день. И не вина Солженицына, а общая беда наша, что при нынешнем накате цинизма, эгоизма и воровства любые здравые положительные соображения, направленные на действительное оздоровление жизни, выглядят «не ко времени». Налицо классическая ситуация, замечательно сформулированная еще Достоевским: «В наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпываемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута».

...Публицистику Солженицына все чаще сравнивают с «Дневником писателя» Достоевского, полемику его с «плюралистами» — с гневными филиппиками Федора Михайловича в адрес проф. Градовского и других добропорядочных либералов.

Но в «Дневнике...» — очевидна червоточина геополитической и даже духовной «прелести», тождественной тютчевской: Константинополь, проливы, крест на св. Софии. Религиозно-альтруистическая и воинственно-политическая утопии переслаивались и подпитывали друг друга. В идеализацию народа-богоносца преломились и юношеские социалистические мечтания писателя: Белый царь и христианский социализм. Всем существом чувствуя, что почва из-под ног России уходит, Достоевский страстно пытался придать иллюзиям достоверность. Так что потрясающие пророчества и предвидения — как и у Константина Леонтьева — перемешаны в «Дневнике...» с самыми несбыточными чаяниями.

В памятном споре Достоевского — видевшего, кажется, в «святом деле» войны за «братьев-славян» еще и лучшую панацею от нигилизма и «немощи растления»,

² М. «Рарогъ». 1995.

шанс для возрождения общества — с толстовским Левиным, добросовестно занятым устройством в пределах собственного имения («Дневник писателя» за 1877 год), Солженицын, возможно, принял бы сторону Льва Толстого.

В его публицистике — полный отказ от внешнего могущества и территориальных претензий во имя выздоровления, сбережения и обустройства народа — на основе, повторяю, здравого смысла. Солженицын и любит русского человека, и — умеет с него спросить. Любит — по точному определению отца Александра Шмемана — «зрячей любовью», без утопических шор. И в недавнем интервью на вопрос: «Имеет ли для вас особое значение славянофильская традиция?» — писатель ответил: «Нет, она не имеет для меня ни особого, ни вообще сколько-нибудь сильного значения. Мне приписывают, ставят печать неославянофила, я таким ни в коем случае не являюсь, я не считаю себя носителем славянофильской традиции. Я огорчаюсь, что славянофилы преувеличивали значение особой миссии России и какого-то особого исконного превосходства в духовной сфере»³.

Солженицына нельзя идентифицировать, пожалуй, ни с одним известным направлением русской идеологической и общественной жизни: это глубоко оригинальный русский мыслитель с опытом XX века. Пройдя смолоду через клишированный марксистский соблазн, Солженицын раз и навсегда излечился от идеологическо-утопического подхода к жизни, какой бы характер эта идеология ни носила. В каждом конкретном случае у него конкретный органический взгляд на явление. Но глубинный христианский стержень и государственный ум не дают рассыпаться его взглядам в хаотическую мозаику.

Что и впрямь единит публицистику Солженицына с «Дневником писателя» — так это энергия и организация текста, делающие их полноценной долей творческого мира писателей. Тут задействован весь арсенал их великолепной художественности.

Достоевский любил читать вслух, его Пушкинская речь привела в сильное возбуждение бросившихся брататься слушателей, а в опубликованном виде многих разочаровала: печатный текст смикшировал, увы, эмоциональное впечатление.

Солженицын тоже великолепный ритор; и надо быть зашоренным политика-ном, чтобы слушать его так, как слушали наши думцы 28 октября 1994 года, — с прохладцей и жужжанием⁴. Речи Солженицына не проигрывают и на бумаге: энергию голоса заменяют энергии слова, слога. Риторические приемы, повторы, рефрены выглядят как полноценная ритмизированная проза, эмоциональная зажигаемость произнесенной речи остается и на бумаге. Написанное слово первичней произносимого и рассчитано на самостоятельное горение.

Иногда, правда, лексические новации в публицистике как жанре могут быть не вполне уместны. В вышеупомянутом интервью, отвечая на вопрос о своем отношении к Достоевскому, Солженицын заметил: «Меньше всего он, пожалуй, обогатил нас в чисто лексическом отношении. Вот лексически, в его такой торопливой захлебывающейся манере, — лексически он над языком работал мало».

Однако что понимать под лексикой, и слово не должно царапать острым углом, нарушая повествовательное течение. Тем более в публицистике — мешая эмоциональному восприятию.

А его Солженицын всегда умеет добиться пером-приводом от души к душе. По завету Ахматовой, он «весь настезь» распахнут перед современниками, кажется

³ «Москва», 1995, № 9.

⁴ М. Полторанин: «...хихиканье в зале и в нашей фракции некоторых молодых людей». Молодая поросль выбороссов хихикала, зато старшие испытали грусть, жалость. Е. Гайдар: «Я с грустью воспринял выступление Солженицына. Грусть вполне понятная...» А. Гербер: «Многие из нашей фракции «Выбор России» сидели опустив глаза — нам было обидно, стыдно, грустно». Подытожил А. Нуйкин: «...просто жалко человека, который не осознает, что он настолько не соответствует сейчас нашей ситуации, что в итоге оказывается он никому не нужен»...

Вот все, что сказано о Солженицыне в новейшем учебнике «История России. XX век» А. Данилова и Л. Косулиной (М. «Просвещение». 1995): «Были опубликованы работы эмигрантов «третьей волны» — И. Бродского, А. Галича, В. Некрасова, В. Аксенова, В. Войновича, за которые они были лишены советского гражданства. Одним из ярких событий литературной жизни стала публикация работ А. И. Солженицына, представлявших собой наиболее полную историко-литературную картину сталинского ГУЛАГа». ...Оцените словарь и глубину информации; каждый школьник с жадностью набросится теперь на работы перечисленных авторов.

даже и не подозревая, что такое снобизм. О чем бы он ни писал — о лагерях, шарашке, тюрьме, об омерзительном бесновании революции, или вот в публицистике: о коммунистическом зле и болезнях цивилизации, — в какие бы круги ада исследовательски ни опускался — все в Солженицыне энергия, здоровье, здравый смысл, духовная бодрость. Он щедро и с радостью подзаряжает положительными энергиями, меняя сам состав личности читателя — к лучшему. (Эти его качества — особенно раздражающая синильная кислота для выморочных середняков, занятых собственным устроением.)

И именно потому же в Церкви его слово особенно ценимо сильными проповедниками — отцом Александром Шмеманом, митрополитом Феодосием и другими, — чувствующими его связь со словом религиозным.

Да и само писательское служение Солженицына — в соответствии с национальной нашей традицией — до конца не секуляризировано и несет в себе элемент служения проповеднического; непреклонная воля и постоянное труженичество — его неперенные составные.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



СВОБОДНЫЙ ГОЛОС

Анна Берзер. Сталин и литература. — «Звезда», 1995, № 11.

Многие годы Анна Самойловна Берзер была своего рода *genius loci* «Нового мира». Талантливый литератор и чуткий, строгий редактор, к чьим советам прислушивались В. Некрасов, Ю. Домбровский, В. Шукшин, В. Войнович, Ася (как мы ее называли) свои последние двадцать лет прожила в непривычном и потому особенно трудном одиночестве. Изгнанная — вслед за Твардовским — из любимого журнала, для которого она столько сделала, высленная с родного Арбата, Ася чувствовала себя на далекой московской окраине почти как в ссылке. Но она продолжала писать — в стол, а с началом перестройки стала все чаще печататься. И вот еще одна, посмертная, публикация — главы незаконченной книги; их стоит прочесть не только из-за интереса к нашему недавнему прошлому.

«Сталин и литература» — не название, а тема исследования, которое Берзер писала на склоне дней и над которым думала, подчас против воли — так уж пришлось! — с юности. Тема, мало сказать, выстраданная — навязанная жутким мороком сталинского социализма, не раз ножом подступавшая к горлу, мешая дышать, и потянувшая за собой рой воспоминаний, наблюдений, горестных замет, которые сообщают этому литературно-социологическому эссе неповторимое — и такое узнаваемое — обаяние авторской личности. «Я так любила литературу, что всегда страдала от ее несчастий, с детских лет, с минуты, когда первый раз узнала, что Пушкина убили». В этом мимоходом оброненном признании — ключ к книге (и к душе автора). «Великий провокатор» Сталин был для Берзер самым страшным, самым черным несчастьем, которое когда-либо случилось с русской литературой, — палачом живого слова, и если не убийцей, то всегда растлителем писателей. И именно любовь к убиваемой, унижаемой литературе питает холодную ясность и скрытый жар Асиной мысли, ее язвительную и изящную иронию.

У нас много писали о том, как пристально и неотступно следил Сталин за тем, чтоб «инженеры человеческих душ» не отклонялись от генеральной линии (то бишь колебались вместе с ней). Но, кажется, именно Берзер проникла в тайную причину его интереса, угадала, почему властитель полумира так упорно дрессировал, ломал, усмирял, подкупал или приручал писателей. Объективная реальность, которую он признавал на словах, но с которой никогда не считался, не желала подчиняться воле всемогущего диктатора. «И добивался он успехов только в литературе», которая и воплотила утопию, в действительности обернувшуюся кровавым миражом. Под личным присмотром вождя коллективными усилиями советских писателей, художников, кинематографистов и прочих мастеров культуры, а также народных умельцев был сотворен идеальный «параллельный» мир, в котором счастливые, свободные труженики города и деревни выполняли и перевыполняли пятилетние планы, собирали невиданные урожаи, ставили небывалые рекорды и,

благодарно славя мудрого Сталина, с радостными песнями и плясками строили светлое будущее. И точно так же подменялась, выворачивалась история страны, прежде всего те ее периоды и фигуры, которые были важны Сталину (Иван Грозный, Петр I, революция, Гражданская война). Особенно преуспел в этой фальсификации А. Н. Толстой (поведавший, между прочим, в автобиографии, что Сталин дал «правильную историческую установку петровской эпохе»!).

Читатель наверняка оценит подобного рода находки и «изюминки», разбросанные в тексте, и, главное, остроумную авторскую концепцию. Но мне дороже всего в этой книге звучащий с ее страниц живой, искренний голос свободного человека. На полях заявленной темы и в противовес поданному крупным планом трагическим, трагифарсовым и фарсовым историям о раболепстве и падениях, добровольном холуйстве, вознагражденном цинизме и наказанной преданности (бедный Демьян Бедный, публично высеченный за то, что «огульно чернит»... «богатырей русского былинного эпоса»!) словно бы непроизвольно выстраивается совсем другой сюжет — о противостоянии духовно независимой личности сталинизму.

Не задаваясь специально такой целью, Берзер как бы между прочим приоткрывает секрет формирования бесценного дара, который так редко встречается не только у бывших подданных сталинско-брежневской империи, но и у нынешних раскованных российских граждан-дам-господ, — я имею в виду внутреннюю свободу. Секрет этот, впрочем, общеизвестен, чтоб не сказать — банален (но, в конце концов, все вечные истины банальны). От массового психоза поклонения вождю, слепой веры, утешительного самообмана и/или удобного цинизма Асю спасли отец и русская литература. О нравственных уроках отца, «дореволюционного интеллигента» (в прошлом, однако, революционера-меньшевика), она говорит кратко, но достаточно определенно. Суть сводится к тому, что отец, в отличие от большинства советских родителей, оберегавших детей от опасного конфликта с действительностью, говорил своим совсем еще юным дочерям правду, в частности научил понимать, что Сталин — «злодей» (и «был прав, что не щадил нас и доверял нам»). Что касается литературы, то ее спасительная роль для Берзер столь очевидна, что она не считает нужным особо останавливаться на ней. Но я не могу не привести один эпизод, в котором эта подразумеваемая очевидность выходит из подтекста в текст. Отец, вспоминает Ася, часто повторял фразу о Льве Толстом, сказанную неким партийным деятелем: «Хорошо, что старик умер. А то принес бы нам много хлопот». И дальше следует такой авторский комментарий: «Что было бы, если б он не умер на пороге войн и революций? Что было бы с нами? И со страной? Какая библейская трагедия обрушилась бы еще на нашу жизнь? ...Толстой, вероятно, умер, чтобы остаться с нами. Без него мы не сумели бы прожить». Прекрасные слова! Наивные слова!

Сегодня часто приходится слышать, что мы относились к литературе с неподобающей серьезностью и совершенно напрасно приписывали ей особую духовно-нравственную миссию, которая, дескать, чужда ее природе. Крутые молодые и не очень молодые писатели, выступающие от лица нового поколения, бойко развенчивают этот устаревший миф, рожденный в душной атмосфере несвободного общества. Что ж? Каждому свое. Прожить без Толстого и Пушкина, конечно, можно. Но, как заметил Иосиф Бродский, «над человеком, читающим стихи, труднее восторжествовать, чем над тем, который их не читает».

Майя ЗЛОБИНА.



КОРОТКО О КНИГАХ



І. АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Американская азбука. Нью-Йорк. «Эрмитаж». 1994. 104 стр.

«Америку... читать нельзя. Ее можно только увидеть» — как всякое царство природы, а не культуры. Отсюда — форма путеводаителя, экскурсоводческие интонации и организующий принцип — жест: взгляните, это — автомобиль, это — банк, это — бассейн, а это — мотель... При чем тут природа? При том, что все это — мифологемы цивилизации, которой не иначе как «свыше» дана привычка называть себя «естественным порядком вещей». Поэтому — читать все-таки можно: автомобиль — «форма американской души», банк — «бог-бухгалтер», бассейн — «персональный баптистерий», парк — тот же собор; бензоколонка — «постоялый двор», а мотель «в прошлой жизни был... конюшней». Такое чтение-письмо порождает порой забавные картинки. Например, Базар: «В любой из европейских стран на рынке можно встретить похожих персонажей: ражие мужики и румяные бабы. Но в Гринвич-вилледж, на главном из дюжины нью-йоркских базаров, преобладают поэты, радикалы и сектанты... мужики здесь — оперные. Стоит только посмотреть, как они, читая в перерывах Кьеркегора, нарочито грязными пальцами привычно быстро переверачивают страницы».

Метод явно восходит к «Мифологиям» Р. Барта. Противопоставление Нового Света — Старому при описании американского дискурса отсылает к оппозиции «лук — капуста», с помощью которой Генис описывал дискурс советский (см.: «Знамя», 1994, № 8). Если советская культура строилась по принципу капусты — вокруг кочерыжки, то американская цивилизация — милая просвещенному уму российского литератора луковица (пустота вместо стержня). Америка Гениса — от Автомобиля до Яхты — пространство по-домашнему уютное. Пафос — противоположный

бартовскому: не разоблачающий, но — принимающий, даже — оправдывающий. И то: жест Барта имел в виду зарвавшегося буржуа, творящего от имени Нормы и Естества вещи ненормальные и противоестественные. Жест Гениса — из цивилизованной Америки в Россию, где норма «капустная» неактуальна уже, а «луковая» — еще. С любовью. Жест просветительский. Предсказуемый. Американская норма выписана либо с заслуживающей того симпатией: «Чтобы мир стал здоровым, его надо избавить от больных... Но чтобы мир был нормальным, он должен признать нормой и болезнь. Вот больница и учит больных жить с болезнью, а здоровых — с больными» (Больница), либо с — опять же — понятной незлой иронией: «Зоопарк, как и Америка, дитя демократии... В эпоху, когда на женщину в шубе смотрят как на живодера, у людей прав меньше, чем у зверей. С тех пор, как последние стали меньшинством, они пользуются большей безопасностью, особенно в Нью-Йорке, где зайцы пасутся в аэропорту Кеннеди, совы спят в сабвее, а орлы выют гнезда на крышах небоскребов этого огромного города, где обитает 300 видов диких животных. Это если не считать тараканов...» (Зоопарк).

Считается почему-то, что алфавитный порядок — самый неумышленный порядок на свете. Азбука — жанр, снискавший изрядное число разумных, добрых и вечных поклонников — от Флобера до Пригова. Жанр, расцветший в «эпоху постмодернизма», упоминаемую в «Азбуке» не реже Ролана Барта. Подобная организация пространства книги обусловлена также и материалом: автор стремился избежать, с одной стороны, «энциклопедической занудности», с другой — «безответственного импрессионизма» при помощи этой жесткой, заставляющей вспомнить сонет или Санкт-Петербург, структуры. Избежать удалось. Книга, кроме того что нескучная, еще и удобная: ее можно читать в

любом месте, в любое время и с любой страницы. К сожалению, имеются полиграфические ляпы: Метро следует за Мотелем, Аптека заползает на территорию Автомобиля... А так — все в норме.

Рисунок Вагрича Бахчаняна на обложке.

II. АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ. Инвенции. М. Изд-во «Гендальф». 1995. 247 стр.

Семантическое поле заглавного слова — от «открытия» до «сочинения». Целиком этот перечень приводится на странице 3. И вообще, автор с удовольствием вам растолкует: и что означают «инвенции», и из каких частей состоит книга, и почему она состоит именно из них. Все продумано: и композиция книги, и композиция каждого «этюда» — от исследовательской статьи «с претензией на краткость и читабельность» до «металитературного рассказа» с претензией на нескудность. Собственно, это — избранное. Вас интересует «творческий путь»? В книге имеется и биография, и «научно-исповедальное» эссе. А в общем — структуралистская прямая, где основные точки — «пред-» и «пост-».

Обратимся сразу к «пост-» — учитывая, что перед нами новая книга. Не только к «-структурализму», но и к «модернизму» — учитывая писательские претензии автора. На фоне массового мероприятия по размыванию границ ситуация Жолковского все же нетривиальна: к границам традиционного пространства литературы он вышел не из самой литературы, а из науки, традиционно относящейся к литературе как к объекту — во-первых, изучения, во-вторых, письма. Обе точки пересечения важны, но примечательней — вторая. Разочаровавшись в возможности объективного описания, наука о литературе заменила эту претензию другой: быть в том числе и литературой (так же как и литература задумалась о самой себе). Новая (писательская) проблема: как писать? Как завоевать читателя вне узкого круга владеющих метаязыком коллег? Традиционному писателю свойственно, отправляясь на поиски своей индии, упираться в америку; «открытие» здесь зависит от «сочинения», от письма. Писатель — исследователь литературы вынужден всякий раз облекать априорное «открытие» в некую «форму». Чаемая «вторая простота» достигается с невероятными,

заметными читателю усилиями. Тем ценнее завоевание. Дискурс Жолковского по-своему замечателен: сохраняя «научообразность» (терминология, комментарии), он дышит пусть не легко, но ровно. Одышки не наблюдается — и слава богу. Однако «металитературные рассказы», не худший из которых помещен в «Инвенциях», выглядят все-таки очень... закомплексованно; читая, так и хочется сказать... тексту: «Ну, ты что, расслабься...» Я, как читатель, гораздо естественней воспринимаю «исследовательские статьи», отличающиеся желанной автору краткостью-читабельностью. Металитература может быть отменной литературой. Где герой — писатель, действующий на грани жизни и литературы; причем и жизнь, и литература понимаются как текст, а детективной напряженности сюжет соткан из нестыковок, неизбежных при любого «направления» переводе одного текста в другой. Здесь все начинается и кончается не Словом, но Текстом — дьявольская разница (за пояснением — к «Инвенциям»). Жолковский пишет «с сознанием пограничности ситуации», и герой предпочтителен соответствующий: плохой писатель и хороший гражданин Чернышевский; постструктуралист Мельчук; Лидия Гинзбург, название заметок о которой — «Между жанрами».

Идеально же подходящ для этого «жесткого жанра» — разносторонне «пограничный» Лимонов (о нем см. также статью Жолковского «Графоманство как прием» в книге «Блуждающие сны...») в сюжете о «Красавице, вдохновлявшей поэта»: «Как мужчина он жаждет жизни, силы, успеха, а как тонко чувствующая поэтическая личность он обречен страдать, наблюдать жизнь и описывать ее, зная... что она кончается старостью и смертью». Начальный текст — стихотворение Мандельштама «Соломинка», обращенное к Саломее Андрониковой. Финальный текст — рассказ, «на который красавица, в молодости вдохновлявшая поэта, состарившись, вдохновила прозаика». Метатекст Жолковского — также и рассказ о том, как текст Лимонова вдохновил исследователя на данный метарассказ. Лимонову рассказ удался — «уж не благодаря ли «соавторству» с Мандельштамом, Пушкиным и Эдгаром По?». Читай: уж не знаю, как Лимонову, а мне мой рассказ удался именно поэтому. «Проведенный анализ рассказа может озадачить читателя, убежденного, что

кто-кто, а Лимонов попросту написал «то, что было». Но одно не мешает другому: факты отлить в законченную форму не легче, чем вымысел». Ну, это понятно: что «факт», что «вымысел» — все равно «текст». Озадачивает другое: «отлить в законченную форму». Вот уж где не стоит судить по себе, особенно — в ожидании «непредсказуемой реакции Лимонова».

Между тем на реакцию Лимонова Жолковский рассчитывает не напрасно. Писатель-маргинал и маргинал-литературовед обживают границы литературы, приближаясь к ним с разных сторон. Чем друг другу и интересны Жолковский — писатель для писателей-постмодернистов и исследователей-постструктуралистов, что иногда — одно и то же.

III. АНДРЕЙ ЛЕВКИН. Письма ангелам. — «Ё», 1996, № 1; **АНДРЕЙ ЛЕВКИН. Тварь, больница, клоуны et c.** — «Комментарии», 1995, № 6; **АНДРЕЙ ЛЕВКИН. Смерть в СПб.** — «Рижский альманах», 1994, кн. 3; **АНДРЕЙ ЛЕВКИН. Наступление осени в Коломне.** — «Шпиль», 1993, № 1.

«Когда человек хочет курить, он должен — если у него нет сигарет — выйти на угол и спросить сигарету. Когда человек не знает, что ему делать дальше, он должен выйти на угол и спросить об этом у первого встречного. Ему дадут в морду. И он должен понять, что ему — повезло». Конец абзаца. Не угодно ли еще? Наугад: «Ты это то, что ты думал, что это было хорошим: всегда обмылочки, ошметочки с ангелов — ну, даже белого цвета и падали сверху. И до того, как ты стал взрослым, ты думал — это бумажки, на которых надо написать что-то для себя и прочих». И т. д. и т. п. в любом направлении — фирменное левкинское «et cetera, et cetera, et cetera».

Вполне самостоятельные абзацы, связанные в самостоятельные же фрагменты, связанные в законченное и вместе с тем разомкнутое — в силу своей многослойности — целое, которое можно, конечно, назвать «рассказом», но разве что для того, чтоб в сравнении обозначились отличия. Плотный текст, не поддающийся пересказу. Текст — плотности тумана или музыки в авторском понимании этого слова: «Мы стали взрослыми со своей музыкой, со своей музыкой из запятых, двоеточий, черто-

чек длинных, черточек многих, точечек, стоящих под строкой, и считаем, что вся эта дрянь, которая из улицы, поворота, лужи, белых бумажек, — для нас. Раз уж мы тут». Текст — плотности букв на бумаге и вещей вокруг тебя.

Связующие лейтмотивы: з и м а («Конечно, это я думаю зимой, потому что летом я бы не знал, что об этом надо сказать») — снег, смерть («Смерть тебе сухим снегом», — «неделанному ангелу» Янке Дягилевой — одно из лучших «писем») — ангелы (классификация коих, имея в виду знаменитую борхесовскую, является все же сугубо левкинской) — угол, сигареты («Странно, всю жизнь меня пугало, что не окажется сигарет: ну, когда-то магазины закрывались рано, и не спрашивать же на углу у всех подряд. С тех пор прошло время, по ночам лавочки работают, а страх остался»).

«Мне повезло в жизни, и любая философия мне нипочем» — позиция, имеющая тем не менее философическую подоплеку: «Степень свободы всегда осознается по тому, что увидишь между прутьями решеток: мы зоопарк для ангелов...» — и представляем зоопарком — их. Человек привык судить по себе, между тем как — от ангелов до знаков препинания — все живет по своим, неведомым человеку, законам.

«Я не знаю, что откуда берется, и, значит, это можно представить себе как угодно»; «...если мои мысли не озабочены больше ничем, то они, конечно, должны обшаривать то, внутри чего они лежат»; «проснувшись с утра и увидев на улице прыщик или, скажем, какую-то шершавую сыпь, ничему не удивляешься, принимая сей факт как должное, признавая за ночью право произвести с твоим телом что угодно», — позиция честная и плодотворная. Неожиданно и успешно взаимодействующая с традицией. Майор Ковалев, обнаруживший свой нос независимым, здесь явно «свой человек». К тому же — записки по поводу снега и программное пристрастие «чиновника для письма» к некоторым знакам: «СПб», «и т. п.», «et c.», «&» («некоторые буквы у него были фавориты»). Фавориты-персонажи: мысли, понятия, предметы, которые под рукой, а если люди, то уж — «свои». Литератор Могилев, например: «Когда я ехал в Петербург в конце декабря, то думал — интересно, забрал ли Могилев из коридора свои сапоги? Сапоги у него резиновые, целые, а погода в Риге была сырая, снег таял, кроссовки

же дали течь по всей длине канта... Сапог весьма требовалось». Знак качества: читатель может не знать ни литератора Могилева, ни его творений (они и вправду мало кому известны), но «Могилев» без «сапог» — что «Башмачкин» без «шинели». «Ангелы» — они же и атрибут «свободы».

«Если человеку удалось завернуть за угол, ему нет нужды помнить то, что было раньше». Левкин пишет исключительно про «здесь и сейчас». «Улица, когда повернуть направо, выводит к проспекту, где, если повернуть налево, точно будет висеть время на следующем перекрестке, возле входа в метро, но, подойдя к перекрестку, про него и забыл». Время — «висит», про него забываешь, пространство же многообразно и соблазнительно. В результате «соблазнения» возникает реальность — насколько самостоятельная, настолько и вписанная в контекст. Все «новое» является таковым на фоне «старого» — Левкин это знает и «вписываться» умеет: Коломна, Кавказ, Петербург — чем «значительнее» фон, тем ощутимее сугубо здешняя, тихая любовь автора к трамваям-булочным-пивным-и-консервным-банкам. Как значок «СПб» на фоне Петербургского Текста.

«Тихо», согласно Левкину, и есть «красиво». Главный завет его прозы: «Не повышай голоса». Хочешь поговорить — подойди, прислушайся. Автор доверяет читателю как самому себе, мысля его не иначе как «своим ты». Потому и речь — старательно небрежная, внутренняя: «Лучше напейся, чем». Мы ведь «про себя» недоговариваем фразу, когда и так понятно. (Его «братья по речи» — Александр Введенский, Венедикт Ерофеев, Саша Соколов.) Такая речь далеко заводит: «С утра он встанет и, умываясь, вспомнит, что очень долго с кем-то прощался вчера вечером под утро». Она может быть расслабленной или напряженной, но — к чему кричать, когда «кругом... такая зима, что чиркнешь спичкой, а в соседнем лесу — слышно»? Когда ты сам себе — лес, тихий омут et c.

При имени Андрея Левкина вспоминается что? Журнал «Родник», город Рига, потом — Петербург, маргинальные рассказы в маргинальных изданиях... Но, подобно неприличным уже, казалось бы, «ангелам» и «музыке», «маргиналии» «маргиналиям» рознь. Дело всего лишь в том, что — отличная новая проза.

Ольга КУЗНЕЦОВА.



РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



КРИВАЯ ПЕАНО

И. ГРЕКОВА. Свежо предание. Роман. США. «Hermitage Publishers». 1995. 214 стр.

Известная литературная «старомодность» рецензируемого здесь произведения, сочетающего форму и стилистику «семейного романа» и «романа воспитания», провоцирует меня на зачин в духе развернутых подзаголовков из старинных книг:

Свежо предание,

или Роман о судьбах еврейской семьи в России первой половины XX века, повествующий о жизни главного героя Константина Левина от рождения в 1917 году до ранней смерти в марте 1953 года и о такой же бурной и короткой жизни друга его Юрия Нестерова, погибшего в застенках госбезопасности, а также о пересечении судеб многочисленных героев романа с историческими событиями тех десятилетий.

К этому следует добавить, что роман был написан в 1962 году, что это одно из первых крупных произведений И. Грековой и что произведению этому выпало тридцатитрехлетнее ожидание публикации.

Один из важнейших для содержания романа эпизодов относится к концу 40-х годов: два молодых ученых-экспериментатора, друга детства, Константин Левин и Юрий Нестеров, изготовив и испытав опытный образец изобретенной ими машины, приступают к написанию теоретической статьи. «Писали-писали, все казалось, что ей конца нет, и вот — кончили. Отдали на машинку — и все.

— Что же теперь мы будем делать? — спросил Костя.

— Не знаю... Придумаем что-нибудь другое. Чем бы дитя ни тешилось...

— Я уже придумал. Слушай, Юра...

— Помолчи. До завтра я не хочу говорить о работе.

— О чем же нам еще говорить? Ведь за душой у нас ничего, кроме работы. Нищие духом.

— Редкий случай, когда я с тобой вполне согласен. — Юра вынул гривенник, положил на стол и обвел карандашом. — Вот наш кругозор... мы стали кандидатами наук. Это сильно сужает поле зрения. Закопались в свою науку, как кроты».

И как водится, далее потек разговор — об экономике, о теории Маркса, о начинающейся кампании берьбы с космополитами и, наконец, о сугубо российском — о корнях антисемитизма, о черте оседлости до и после революции.

Здесь употреблены два ключевых для романа понятия: «кругозор крота» и «черта оседлости».

Словосочетание «кругозор крота» уже мелькало в первой половине романа. Так Костя и Юра обозначили уровень мышления своей учительницы обществоведения Софьи Яковлевны. Фигуры эпизодической, но в романе очень важной. «Член партии с 1910 года... лично знала Ленина... фанатичная, с туго обтянутыми скулами, с туго повязанной красной косынкой на черных прямых волосах. ...Без семьи, без привязанностей, кроме одной, поглотившей всю жизнь. «Вероятно, так выглядел Савонарола», — говорил Юра. И верно. Могла бы взойти на костер... Могла бы и книги жечь... «Кругозор крота», — сказал Юра. Ничего не скажешь, верно». В отроческой высокомерной снисходительности — уверенность подростков в том, что время революционных фанатиков-начетчиков уходит. И что их — Костю и Юру — ждет будущее разносторонне развитых, свободно реализующих свои

возможности интеллигентов. Ожидания эти — небеспочвенны. У обоих — ранний и трудный жизненный опыт (у Кости безвременная смерть матери, разрыв с отцом, оставшаяся на руках новорожденная сестра, которую подросток берется вырастить и воспитать самостоятельно) способствовал раннему взрослению. У обоих — широкая начитанность, вкус к мысли и ничем пока не сдерживаемая энергия молодости...

И тем не менее в итоге: «закопались в науку, как кроты».

Первым «сопротивление материала» почувствовал Костя — еще в детстве он споткнулся на факте существования антисемитизма. И не так уж много было у Кости этих столкновений: слово «жид», почти беззлобно употребленное одноклассником; отказ девочки встречаться с ним потому, что «жиды... все такие, сквалыжные»; глухие угрозы соседа по коммуналке, нацелившегося на Костину жилплощадь, — вот почти и все. Можно было бы даже сказать, что жизнь оказалась благосклонной к Косте, он всегда находил понимание и поддержку со стороны своих близких-неевреев: друга, соседки, второй жены. Проблема национальной самоидентичности вставала перед Костей редко, а если и вставала, то без всякого насилия над собой он решал ее так: «У меня нет еврейских корней. Я не знаю еврейского языка. Я не слышал еврейских песен. Кто же я? Где моя родина? Где моя Россия? ...Россия... — это не гусли и не частушки, не битье по морде и не «И-эх!». ...Россия — это совесть. Русский — тот, у кого болит... чистая, но отягощенная совесть. ...И я русский, русский...» И тем не менее глубокий, поначалу не заметный ни окружающим, ни самому Косте надлом обозначился; некий механизм бессознательного отбора — что можно говорить, думать, делать, а чего нельзя — уже включился. Если рука занесена для удара, то в конечном счете не важно, ударит или не ударит. Важно — что занесена.

До определенного момента сохранять внутреннюю целостность помогало Косте перенятое им от родителей, профессиональных революционеров, самоощущение преобразователя мира. Для Кости революция «была личным делом. Он получил ее по наследству, владел ею как собственник. Для многих она была просто повседневность — советская власть. Для Кости она была Революция».

В отличие от Кости, для Юры точкой внутреннего разлада с окружающей действительностью становится как раз революция. Едкость и пронизательность ума не позволяли ему разделить Костины иллюзии — святые для Кости строки поминальных стихов на памятнике жертвам революции с Марсова поля кажутся Юре написанными рукой Васисуалия Лоханкина. А прочитав вышедшее после убийства Кирова постановление об упрощении процессуально-следственных процедур, Юра отчеканил: это — провокация, и провокация похлеще поджога Рейхстага.

Прячется Юра в иронию, в свою увлеченность техникой. Костино же убежище — в бессознательно культивируемой слепоте.

Подозрительно легко дается Косте простенькое, явно недостойное его ума объяснение причин высылки безобиднейшего старика-соседа. «Недоразумение. Единичный случай. В Германии — фашисты (их Костя ненавидел!), а у Генриха Федоровича немецкая фамилия, и по паспорту он — немец».

Что-то зловещее примерещилось однажды Косте в облике Сталина. Но только примерещилось. Сталина он любит. Любит, если так можно выразиться, «без возражений», присоединившись к любви всеобщей. «Великая страна, раздувшая навстречу будущему красные паруса, а у руля — твердый, прекрасный — Сталин. Сталь». Страна, которую Костя ежедневно видит вокруг себя в убогом быте коммунальной квартиры или в таком же, пусть трогательном, но — убожестве их школьной жизни, ну никак не соотносится с «великой», «раздувшей красные паруса». Но это не смущает героя, не колеблет веру в официальный миф. Даже когда цена за эту веру оказывается непомерной. Скажем, поверив, вернее, подавив в себе сомнения в истинности официальных уверений о невозможности войны с Германией, он посылает двух самых близких — сестру и первую жену — отдыхать к границам, навстречу немецкому нашествию, по сути, на смерть. Проходит время, и Костя все так же доверчиво скользит глазами по газетным строкам, обличающим космополитов-критиков, и с благодушной иронией размышляет, что это за такая загадочная общественная прослойка — «театральные критики»; «Хорошо, что у нас это невозможно. У нас, в точных науках, все просто. Доказал теорему — и она верна. Верна и верна, без оговорок. ...Нет, это хорошо, что я занялся техникой».

И. Грекова не судит своего героя за слепоту. Она предлагает художественно — а значит, и социально-психологически, и исторически — убедительное исследование феномена, перед которым в тяжелом недоумении останавливаются многие из последующих поколений. Чем объяснить вот такое свойство людей 30 — 40-х годов: умные, образованные, с блеском занимавшиеся наукой, техникой, способные на глубокие суждения, скажем, о Толстом или Лермонтове — и даже нравственно цельные и несомненно порядочные люди — проявляли неожиданную глухоту и слепоту, как только дело касалось политических и общественных реалий их времени? Да, разумеется, морщились от грубой безвкусицы и угарности пропагандистских кампаний, но в вере оставались тверды. Что хранило их от сомнений?

Для Константина Левина (об этом уже говорилось выше) опорой была идея революции. Убогость окружающего могла ведь не только убивать веру в нее, но и, напротив, подстегивать ожидание будущих побед. Конечно же, «внешний» страх заставлял почти бессознательно приноравливаться к постоянно сужающимся границам того пространства, в котором можно свободно думать, говорить, творить. Но был страх не только тот — перед «черным воронком». Был и другой. Почти принципиальная невозможность для нравственно здорового, честного и чистого человека поверить в немыслимую меру жестокости и цинизма, что воплощал сталинский режим.

Согласиться с тем, что подобное зло возможно, значило разрушить в себе некое глубинное, перенятое от прежних поколений и позволяющее жить в ладу с собой представление о мире и о человеке.

Когда Костя и Юра иронизировали над узостью, ограниченностью своей учительницы, они не могли знать, что обречены на подобную узость, только уже не на добровольную, а вынужденную. Полуинстинктивно друзья выбрали науку и свою «закопанность» в нее как черту оседлости, гарантирующую безопасность.

Однако само понятие «черты оседлости» с течением времени сильно поменяло свое содержание. Вот как объясняет это старший коллега Юры и Кости профессор Поспелов: «Итальянский математик Пеано... построил особую кривую. Эта кривая заполняет квадрат, то есть проходит через любую точку внутри квадрата. ...До революции была черта оседлости. Заметьте, черта кривая. Это была обычная, честная кривая. По одну сторону от нее евреям можно было жить, по другую — нельзя. Теперь у нас тоже есть черта оседлости. Только это — не обычная кривая, а кривая Пеано. Она проходит через каждую точку территории. И ни в одной точке не ясно — можно там жить или нельзя?»

«Закопанность в науку» не спасает. Кротовье убежище героев неожиданно оказывается открытой площадкой, продуваемой идеологическими ветрами. Направление науки, в котором они работают, имеет самое прямое отношение к «так называемой кибернетике», и, значит, сами они оказываются «антипатриотами», «оголтелыми мракобесами», «фашиствующими лакеями империализма». И поступать с ними нужно соответственно. Черта оседлости обернулась кривой Пеано.

Вот в этом месте романа, на мой взгляд, окончательно формулируется его основная тема, заявленная вначале как тема национальная, но постепенно осознаваемая художником (не знаю, благодаря или вопреки первоначальным намерениям) как тема социально-психологическая, тема интеллигенции и — шире — тема изгойства каждого, кто в ситуации тоталитарного общества внутренне независим, умственно не зашорен, верен общегуманистическим нормам.

На этом пути у автора есть удачи и есть очевидные просчеты, но здесь тот случай, когда и те и другие имеют важное, содержательное для затронутой темы значение.

В начале романа, еще мальчиком, Костя впервые ощущает свое изгойство как изгойство, так сказать, родовое. Соседка тетя Дуня говорит неприятное о его маме. Говорит справедливо, это мальчик вынужден признать. Но он выбирает сторону мамы. «Тут, пожалуй, впервые столкнулись в его душе две силы, верность и справедливость... Справедливость была за тетю Дуню. А в другую сторону тянула верность: верность своим, тем, чей ты». Предполагается, что в дальнейшем эта оппозиция будет развита как противостояние национальных влечений в герое общечеловеческим ориентирам. Однако художественная логика делает эту оппозицию попросту ненужной, неработающей. В тех нравственных ценностях, которые берет Костя у своих единокровных, не оказывается ничего, что противоречило бы ценностям общечеловеческим.

Думаю, что здесь нет нужды разбирать всерьез предложенное, точнее, продекларированное в романе противостояние «верности» и «справедливости» как некий ключ к национальной проблеме. И не только потому, что излишняя элементарность и сомнительная нормативность этой оппозиции делают ее инструментом совершенно непригодным в анализе такого сложного и деликатного вопроса, как национальный. Дело в другом: уровень разработки этой темы в романе предполагает использование самого понятия «еврей» в специфически нашем, российско-советском, смысле, то есть не как обозначение национальности, а как обозначение некой позиции в определенных социальных обстоятельствах. Евреями в романе можно назвать и тетю Дуню, и Юру, и профессора Поспелова, и многих других героев его — всех тех, кто отказывается исповедовать бандитскую мораль: «нравственно то, что полезно для нашего дела», тех, кто отказывается жить по законам стаи. Здесь И. Грекова-художник оказалась сильнее И. Грековой, анализирующей национальные проблемы в России.

Из собственно художественных просчетов автора я бы отметил такой: в романе есть сцены — их плотность увеличивается ближе к финалу, — где пафос исследователя заменяется пафосом обличителя, и изображенное начинает иллюстрировать мысль, а не рождать ее. По авторской воле именно в разгар кампании против космополитов гибнет Юра, а Костя лишается работы и затем попадает в психиатрическую лечебницу. Надежды на выздоровление еще остаются, но вот новая волна той же кампании, на этот раз связанная с делом «врачей-убийц», — и умного, чуткого психиатра Софью Марковну, лечившую Костю, вынуждают уйти из лечебницы — Костя умирает. В те же дни Костин дед, старый мудрый человек, врач, пользующийся заслуженным почетом и уважением, принужден выслушивать на собрании идеологически сдобренный антисемитский бред — вернувшись домой, старый доктор умирает тоже. Да, так было или могло быть в жизни, но ведь логика жизни не становится автоматически логикой художественного произведения.

Перечисление издержек можно продолжить. Но не хочется. Останавливает дата написания романа. Публицистическая выпрямленность некоторых сюжетных ходов — мета времени. Что же касается литературного и общественного контекста, в котором мог бы, но не появился роман И. Грековой, то огромная дистанция, пройденная автором в осмыслении прожитых страной десятилетий и отделявшая И. Грекову от тогдашних ее современников, очевидна. Взрывная сила романа «Свежо предание» была такова, что Твардовский, уже запускавший в печать «Один день Ивана Денисовича», вынужден был прятать роман в редакционном сейфе не только от глаз недругов, но и потенциальных друзей романа. Появись тогда роман хотя бы в самиздате — судьба автора могла бы сложиться драматично.

Сегодня, по прошествии десятилетий, мы можем сказать, что роман «Свежо предание» — одно из самых смелых произведений нашей прозы середины века. Что же касается его недостатков, то они в известной степени компенсируются судьбой романа. Тут все тот же наш, специфический российско-советский, вариант, когда судьба произведения становится еще и прямым продолжением его содержания.

Сергей КОСТЫРКО.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



N. N. SHNEIDMAN. Russian Literature, 1988 — 1994. The End of an Era. Toronto — Buffalo — London, Univ. of Toronto press. 1995. 245 p.

Н. Н. ШНЕЙДМАН. Русская литература, 1988 — 1994. Конец эры.

С благодарным изумлением констатирую, что у нашей куда-то текущей литературы нашелся по ту сторону Атлантики свой летописец, прилежно исполняющий задачу, которая на местной почве оказалась по плечу разве что Андрею Немзеру: воспроизводящий год за годом, пятилетие за пятилетием пеструю панораму российской словесности, с неотъемлемым от нее обилием персоналий, повременных изданий и премиальных событий.

Книга канадского профессора-слависта продолжает два его предшествующих труда: «Советская литература в 1970-х: художественное разнообразие и идеологический конформизм» и «Советская литература в 1980-х: переходное десятилетие».

Нечего и говорить, что для англоязычного читателя такого рода обзорная литературно-критическая серия должна послужить ценнейшим, если не уникальным, информационным и справочным источником. Среди указателей к книге, о которой идет речь (избранная библиография современной русской прозы и литературы о ней, указатель имен, перечень новых литературных журналов и альманахов числом 46!), имеется также список переводов русских писателей на английский язык. Так вот, из сравнительно новых, «перестроечных» и «постперестроечных» имен переводились (не считая участников нескольких антологий) только С. Алексиевич, Л. Бородин, Виктор Ерофеев, А. Кабаков, С. Каледин, М. Кураев, В. Сорокин, Т. Толстая. Между тем Шнейдман в своем обзоре 1988 — 1994 годов фиксирует многие десятки имен и произведений, сообщает сведения об авторах (включая даже даты рождения дам), добросовестно, в духе старомодной рецензионной дотошности пересказывает содержание приметных сочинений, описывая попутно стиль, направленческую принадлежность и отношение сего искусства к действительности. Те, кому такого рода характеристики покажутся слишком элементарными, пусть задумаются: не то же ли самое и не в том же ли объеме они хотели бы узнать о литературе, в их представлении далекой и экзотической — скажем, об австралийской или аргентинской... Другими словами, автор имеющимися у него средствами заполняет провалы, через которые не перевалили «почтовые лошади просвещения». За что — честь ему и слава.

Встает вопрос: интересна ли такая книга для российского читателя, профессионально причастного к литературе? И если да — то чем именно? Мне она была интересна. Во-первых, охват материала (надо оговориться — прозы) оказался в ней несколько шире того, которым более или менее владею я (хотя и не намного шире — я была о себе, как о критике ленивом и нелюбопытном, худшего мнения). Думаю, что и другие мои коллеги (за исключением двух-трех наблюдателей) могли бы признаться в таком же обнаружении собственных пробелов. Во-вторых, при чтении книги Шнейдмана убеждаешься, что при существующем смешении всего со всем примитивные поколенческие признаки (сколь бы раздраженно ни относиться к распределению писателей по поколениям) действительно являются наиболее надежным ориентиром в «литпроцессе». Косвенно это свидетельствует об отсутствии больших идейных течений, которые могут иногда совпадать с инициативами выходящих на сцену поколений, а могут и не совпадать.

Композиционно книга построена вокруг этого простейшего стержня. За предисловием, где отмечена хаотичность нынешней литературной ситуации, и вводной главой «Политика, литература и общество» (идеологический вакуум, распад

Союза писателей, падение тиража толстых журналов, обновление книжного рынка и прочее известное) следуют разделы: «Русская литературная панорама», «Старая гвардия», «Среднее поколение» и «Новые писатели перестройки».

Что касается «панорамы», то здесь справедливо замечено, что прежнее, свойственное советской литературе, хотя и затрагивающее только официальную ее поверхность, тематическое деление на прозу деревенскую, военную, бытовую, производственную — нынче полностью испарилось. Зато возникло такое литературное подразделение, как «женская проза», прежде немыслимое, несмотря на всегдашнее присутствие писательниц в литературе советского времени, и свидетельствующее о некоторой «вестернизации» литературного самосознания. Добавим от себя, что при всей активности и порой громкой самоподаче молодых писателей никто уже не заикается о «молодежной прозе», тоже специфически советском явлении, канувшем в Лету.

Из той же «панорамной съемки» можно сделать еще два вывода, один из которых отмечен самим автором, а другой — как бы подразумевается.

Прежде всего это успех писателей из провинции. Автор перечисляет: А. Иванченко, А. Матвеев, А. Верников — из Екатеринбурга, О. Ермаков — из Смоленской области, Л. Габышев — из Волгограда, А. Слаповский — из Саратова, А. Гаврилов — из Владимира, Н. Горланова — из Перми, И. Клех — из Львова. Если дальше выяснять, кто откуда, то: И. Полянская — из Челябинска, М. Харитонов — из Житомира, А. Кабаков и Нина Садур — из Новосибирска и т. д. Впрочем, то же можно сказать и о писателях старшего и среднего поколений, попавших в поле зрения нашего автора: Ч. Айтматов — из Киргизии, В. Белов — с Севера, В. Быков — из Белоруссии, В. Астафьев — сибиряк, В. Маканин — с Урала. И все-таки список «провинциалов» нового призыва — внушительней. А то, что многие из перечисленных стали уже столичными жителями, свидетельствует о разрыве культурных возможностей между периферией и центром, словно мощный магнит, притягивающим к себе творческие силы (многоцентренность присуща, увы, только высокоразвитым странам). Другое возможное наблюдение заключается в том, что почти вся сколько-нибудь примечательная проза, как засвидетельствовано указаниями на источники первопубликаций, была в течение описываемого семилетия «пропущена» через толстые журналы и альманахи. Старая традиция не только не рухнула, но даже не пошатнулась, несмотря на угрюмые пророчества, в которых не было недостатка. Кстати, в этой же главе абзац-другой посвящен новой литературной критике, но здесь автор фактически ограничился маловразумительным перечнем имен. Названы: А. Агеев, М. Золотоносов, М. Липовецкий, Д. Лекух, В. Курицын, А. Немзер, С. Костырко, О. Дарк; не упомянуты: А. Архангельский, П. Басинский, А. Михайлов, Д. Бак, Е. Иваницкая, А. Василевский. Оба перечня равно случайны. Чего все-таки не скажешь об отборе имен писательских в последующих трех главах.

Шнейдман, предупреждая о субъективности и произвольности выбора персоналий, выражает надежду на их тем не менее «репрезентативность». И не зря: почти все главное — схвачено. Конечно, жаль, что, отводя отдельные подглавки героям «старой гвардии»: В. Астафьеву («Людочка», «Прокляты и убиты»), Ю. Бондареву («Искушение»), В. Быкову («Облава», «Стужа»), Ф. Искандеру («Пшата»), почтительно разбирая отрывки из так и не написанных романов Ч. Айтматова, упоминая и других (А. Приставкина, Б. Окуджаву), автор не удостоивает даже отрицательным отзывом «Год великого перелома» В. Белова (на это есть идеологические причины), не интересуется новыми вещами С. Залыгина (на это никаких видимых причин нет). Конечно, жаль, что в главе о «среднем поколении, о «сорокалетних», где персональные параграфы отведены В. Маканину, А. Киму (меня порадовала высокая оценка романа «Отец-лес»; живой интерес проявлен и к «Поселку кентавров»), А. Курчаткину («Записки экстремиста», «Стражница», вызвавшая скептическую реакцию), Л. Петрушевской (прежде всего — «Время, ночь»), Андрею Битову («Ожидание обезьян») и даже Виктории Токаревой, а также В. Крупину и А. Проханову (очевидно, во имя разнообразия мировоззренческой палитры), не оказалось даже упоминания о том, как за эти годы складывались литературные судьбы Р. Киреева и А. Афанасьева. Конечно, жаль, что, говоря в последней главе о писателях-реалистах новой волны, автор обходит молчанием имена П. Алешковского и А. Дмитриева, уже вполне заявивших о себе в эти годы, зато в «реалистическом» перечне вскользь упоминает И. Оганова, писателя фантазийного и поставангардного.

Несмотря на все эти лакуны, у читателя пестрит в глазах от привлеченных к делу имен, названий и сюжетов, от разности манер, раскрепощенности поисков, напряженности кризисов. Хочется воскликнуть: какая богатая литература! И какая бедная — где закатные светила куда несомненное восходящих и нет никого, кто в перспективе обещал бы стать абсолютной величиной. Это не мой вывод, это вывод автора — мной он только акцентирован.

Наибольший интерес для нас, здешних, представляет последняя глава. Новые писатели постсоветской сцены расклассифицированы по литературным течениям: те, кто пишет в реалистической манере; те, кто, используя приемы поставангарда, остается в пределах реалистического письма; и, наконец, «чистые» постмодернисты. Классификация весьма сбивчивая: например, в «эклектике» зачислен М. Кураев, только за то, что в «Зеркале Монтачки» он ввел фантастическую посылку (а могло бы группу писателей этого «смешанного» стиля украсить имя Г. Петрова, но он пропущен), и так далее.

Однако есть смысл перечислить сгруппированные автором персоналии. В традиции реализма: С. Каледин, Л. Габышев (автором, кстати, отмечена почти соцреалистическая умильная назидательность главы «Одьяна», не вошедшей в журнальный вариант и включенной в отдельное издание, и сделан небезосновательный, по-моему, вывод о слабых надеждах на творческое возрастание этого писателя), Олег Ермаков («Афганские рассказы», «Знак зверя»; другие авторы афганской темы, кроме С. Алексиевич, здесь не упомянуты), А. Терехов, М. Палей (без особого сочувствия отмечен ее переход к экспериментальной манере), А. Матвеев («История Лоримура, или Обретение веры»), Ирина Полянская («Предполагаемые обстоятельства») и А. Росляков (повесть «Сучьи петли», привлекающая внимание Шнейдмана скорее всего из-за нетривиальной по недавним меркам теме — истории проститутки). Также упомянуты извлеченные из букеровских номинаций 1994 года Г. Головин и О. Новикова. К «эклектикам», писателям «смешанной» манеры, причислены: первый букеровский лауреат М. Харитонов, чей «Сундучок Милашевича» поверг нашего исследователя в некое трепетное недоумение; Вяч. Пьецух («Новая московская философия» и «Александр Креститель»; отмечена трагиироническая пародийность его философствования); Анатолий Королев («Голова Гоголя»; «Эрон» еще не прочитан, но все же непонятно, почему писателю отказано в праве быть беспримесным постмодернистом, хотя бы с учетом удачно найденного им самим жанрового определения — «документальная мифология»); А. Кабаков («Невозвращенец» — опередивший, как отмечено, курчаткинские «Записки экстремиста» и «Лаз» Маканина); М. Кураев (явно недооцененный здесь!); Т. Толстая (разбираются последние рассказы — «Сомнамбула в тумане», «Лимпопо» и «Сюжет»); А. Иванченко; В. Пелевин; П. Кожевников; Н. Якимчук — в связи с альманахом «Петрополь». Упомянуты «Спички» А. Бородыни, повести Слаповского. В общем, компания слишком пестрая, чтобы составить что-то вроде направления, даже промежуточного.

Зато «истинные» постмодернисты, выделенные в третью подгруппу, выступают тесной когортой. Экскурс о постмодернизме вообще и русском постмодернизме в частности мало что проясняет, кроме того банального обстоятельства, что западный постмодернизм был реакцией на модернизм, а русский — на соцреализм. А точнее — «на догматический стиль советского философствования и бессодержательность советской эстетической теории». Далее представлены: Виктор Ерофеев со своей «Русской красавицей» (попутно отмечена его нетерпимость как автора статьи «Поминки по советской литературе»); Евгений Попов («Прекрасность жизни»); Владимир Сорокин (с тихим смущением автор пишет, что не только «консервативно-националистическому крылу», но «даже либеральным критикам трудно принять сексуальные извращения, жуткие подробности и безумный бред, изображенные в этой прозе»); Валерия Нарбикова (которая в глазах автора тоже, видимо, нуждается в застенчивых оправданиях, таких, как: «Проза Нарбиковой отражает ее время»); Нина Садур; А. Лаврин (высоко оценена его повесть «Яма»); А. Верников (мимо «Пустыни Тартари» действительно трудно пройти); наконец, авторы журнала «Соло» — А. Гаврилов («История майора Симинькова»), Е. Лапутин (версия его новомирского романа «Приручение арлекинов», оказывается, первоначально печаталась в «Соло»), И. Клех, З. Гареев. Чувствуется, что русский постмодерн не слишком воодушевляет Шнейдмана, но — «ноблесс оближ»: «Независимо от ее художественного качества проза русских постмодернистов — подлинное выражение нового плюрализма. А это само по себе важное достижение».

И тут отмечу еще один поучительный аспект книги о «конце эры». В нее в наивной и обнаженной форме перенесен ряд клише и предрассудков, прижившихся среди нашей «литературной общественности». Скажем, святая уверенность в том, что литература напрямую «отражает жизнь», непонимание, что идейные и эстетические мотивы в искусстве имеют собственную динамику, самодвижение. Поэтому у автора и Петрушевская — «отражает» (конечно, распад семьи и упадок нравов), и Нарбикова, как мы видели, — «отражает», и вообще постмодернисты «просто отражают общую атмосферу замешательства и социального разлада в стране». Автору невдомек, что Петрушевская строит свою модель вселенной, между тем как, скажем, Сорокин обустроивает свой уголок каннибала, и то и другое невозможно редуцировать к «действительности», минуя душевный мир и духовное задание каждого из сочинителей. Что ж, таковы и старые понятия нашей «реальной критики», не бессмысленные, но ограниченные.

Есть клише более свежие, подхваченные, так сказать, на лету. Автор вслед за большей частью нашей передовой прессы различает только две актуально существующие у нас идеологии — «консервативно-националистическую» и либерально-западническую; другие варианты и оттенки для него исключены. Поэтому он с легкостью упоминает Солженицына в одном ряду с Прохановым («неославянофилы!»), а то и с Лимоновым («националисты!»), не видит никакой разницы — ни в даровании, ни в исходных позициях — между Беловым и Проскуриным. А борьба против поворота северных рек (поскольку к ней в какой-то момент подключился Ю. Бондарев) рассматривается у него как сопротивление техническому прогрессу. И тому подобное. О «Новом мире» автор доверчиво сообщает, что его считают «„Нашим современником“ для интеллигенции» — с туманной ссылкой на № 4 и 7 «Литературных новостей», откуда ему удалось выудить это *mot* (мне-то помнится, что впервые я прочитала его на страницах «Нового времени», и меня тогда поразило, что сочинитель афоризма простодушно готов счесть сам «Наш современник» изданием для рабочих и крестьян — для народа, одним словом). В целом же «Новому миру» с его «половинчатой позицией» дается следующая — типичная не для зарубежных, а именно для наших вершителей мнений — характеристика: «Под руководством Залыгина журнал избегал коллизий и напряжений. Он избрал проведение умеренного национально-религиозно-философского курса, во многом в духе и на линии русской мысли XIX — XX веков, таких философов, как В. Соловьев и В. Розанов, что не вполне отвечало запросам большинства среднего класса (?! — *И. Р.*) современной России. Тем не менее журнал все же публиковал полемический критический материал и открыл свои страницы молодым писателям и их экспериментальной прозе». Автора тут несколько подвели источники информации: он не подозревает, какие «коллизии и напряжения» были связаны с публикацией «Чернобыльской тетради» и «Стройбата», а того более — «Архипелага ГУЛАГ»; он не знает, что введение в оборот русской общественно-философской мысли в то время, когда многие прочие еще бредили «социализмом с человеческим лицом», а «веховство» еще оставалось одиозным понятием, было шагом весьма и весьма радикальным, пионерским даже.

Такого рода неосведомленность имеет, конечно, российское происхождение, потому что как раз ляпсусов, связанных с неусвоением чужого языка и метафорики, в книге на редкость мало. Ну, положим, говоря о повести «Сучьи петли», Шнейдман производит слово «сучьи» не только от «суки», но и от «сука», «сучьев». Бывает. Ну, скажем, переводит он название вещи Нарбиковой «Около эколо» как «Around and About», между тем как речь идет об «экологии», а в имени персонажа другого ее сочинения — Отматфеян — слышится ему «бранное слово „мат“», а не «Евангелие от Матфея», как задумано нашей проказницей, — так ведь она сама повинна в своих кульбитах. В целом же собственно славистическая сторона труда — на высоте.

После всего сказанного вывод, сделанный автором, может показаться неожиданным — «консервативным»: «Нельзя утверждать, что в русской литературе нет места для художественного разнообразия и для применения нереалистических повествовательных манер, но будущее русской прозы, по-видимому, лежит в области нового реалистического искусства, проникнутого значительными идеями».

КНИЖНАЯ ПОЛКА



П. Г. Вудхауз. Сага о свинье. Составление Н. Трауберг. М. «Бук Чембер Интернэшнл». 1995. 5000 экз. Том 1 — 335 стр. Том 2 — 320 стр.

Сергей Гандлевский. Праздник. Книга стихов. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 112 стр. 1000 экз.

Наоборот. Три символических романа. Составление и предисловие В. М. Толмачева. М. «Республика». 1995. 463 стр. 11 000 экз.

В сборник вошли романы: Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот» (перевод с французского Е. Л. Кассировой под редакцией В. М. Толмачева), Райнера Мария Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» (перевод с немецкого Е. А. Суриц), Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» (перевод с английского М. П. Богословской-Бобровой). Примечания Е. В. Герасименко.

А. Очеретянский, Дж. Янчек. Антология авангардной эпохи. Россия. Первая треть XX столетия (поэзия). Нью-Йорк — Санкт-Петербург. «Глаголь». 1995. 378 стр. 500 экз.

Д. А. Пригов. Явление стиха после его смерти. М. «Текст». 1995. 110 стр. 2500 экз.

В. В. Розанов. Собрание сочинений. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. Под общей редакцией А. Н. Николюкина. М. «Республика». 1995. 462 стр. 20 000 экз.

Елена Скульская. Записки к N... Tallinn. «АНТЕК» — «KOOSTÖÖ». 1996. 252 стр. 5000 экз.

Лирическая эссеистская проза о друзьях по жизни и литературе, среди героев книги — Григорий Скульский, Юхан Вийдинг, Сергей Довлатов, Николай Крышук, Давид Самойлов и другие.

В. Славкин. Памятник неизвестному стилисту. М. «Артист. Режиссер. Театр». 1996. 314 стр. 5000 экз.

Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. Роман в 3-х томах. Т. 2. Перевод с китайского В. Панасюка. М. «Художественная литература», «Ладомир». 1995, 638 стр. 3000 экз.

Алан Черчесов. Реквием по живущему. Роман. М. Издательство Сабашниковых. 1995. 366 стр. 3000 экз.

Чеченские песни. Перевод с чеченского Н. Гребнева. Составление, подготовка текста Вад. Дементьева. Предисловие Р. Гамзатова. М. Фонд имени И. Д. Сытина; Фонд Расула Гамзатова. 1995. 56 стр. 500 экз.



Демонология эпохи Возрождения. (XVI — XVII вв.). Общая редакция и составление М. А. Тимофеева. М. Издательство «Российская политическая энциклопедия». 1995. 464 стр. 5000 экз.

Демонологические трактаты и памфлеты Иоанна Триттемия, Джорджа Гиффорда, Фридриха фон Шпее, Сирано де Бержерака, Людовико-Мария Синистрати; а также посвященные этой теме работы писателей и историков XX века Станислава Пшибышевского и Роджера Харта. Переводы В. А. Гафнера, С. А. Койранского, Н. В. Симоновой, М. А. Тимофеева, Е. А. Шервуд. Примечания Н. В. Симоновой, Ю. О. Суворовой, М. А. Тимофеева.

И. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. М. «Независимая газета». 1995. 320 стр. 8500 экз.

Г. Лебон. Психология социализма. СПб. «Макет». 1995. 542 стр. 5000 экз.

Ги де Маллак. Мудрость Льва Толстого и других мыслителей. Перевод с английского под редакцией Ю. А. Шрейдера. М. «Аслан». 1995. 144 стр. 1000 экз.

Б. И. Николаевский. Тайные страницы истории. Редактор-составитель Ю. Г. Фельштинский. М. Издательство гуманитарной литературы. 1995. 512 стр. 2000 экз.

Документы и материалы из архива русского историка Бориса Ивановича Николаевского (1887 — 1966), высланного из РСФСР в начале 20-х годов. Архив ученого хранится в Гуверовском институте (Стэнфорд, США). В книгу вошли работы: «Ленин и деньги большевистской организации», «Биография Маленкова», «Германия и русские революционеры в годы первой мировой войны», «Протоколы Политбюро и документы Особого отдела НКВД СССР, 1934».

Р. В. Овчинников. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. Источниковедческое исследование. М. Институт российской истории РАН. 1995. 272 стр. 500 экз.

Н. Примочкина. Писатель и власть. М. Горький в литературном движении 20-х годов. М. «РОССПЭН». 1996. 256 стр. 1000 экз.

Русский позитивизм. Лесевич. Юшкевич. Богданов. Составитель, автор предисловия, обзорной статьи и указателей С. С. Гусев, ответственные редакторы А. Ф. Замалеев, А. И. Новиков. СПб. «Наука». 1995. 361 стр. 3000 экз.

Современное зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США. Концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. Научные редакторы и составители И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. М. «Интрада»-ЮНИОН. 1996. 319 стр. 3000 экз.

Состоит из двух частей. В первой — общий свод терминологий «новой критики», структурализма, рецептивной эстетики, нарратологии, деконструктивизма. Во второй — анализ понятийного аппарата герменевтики, феноменологических школ, мифологической критики и постмодернизма.

Сто русских философов. Биографический словарь. Составитель и редактор А. Д. Сухов. М. «Мирта». 1995. 320 стр. 5000 экз.

На букву «А» представлены Аввакум, Аксаков И. С., Аксаков К. С., Андреев Д. Л., Антонович М. А.; на букву «Б»: Бакунин М. А., Башкин М. С., Белинский В. Г., Бердяев Н. А., Бугаев Н. В., Булгаков С. Н. И, даже если предназначено «для широкого читателя», почему именно сто философов?

Н. И. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. М. Издательство «Индрик». 1996. 288 стр. 10 000 экз.

Единственная в исторической литературе работа на затронутую тему, принадлежащая эмигранту второй волны Николаю Ивановичу Ульянову (1904 — 1985). Обращаясь к фактам истории Украины, автор пытается опровергнуть взгляды русских и украинских историков (Костомарова, Драгоманова и других) и доказать полное отсутствие какого-либо национального своеобразия у украинцев.

А. Л. Чижевский. Космический пульс жизни. Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. Составление, вступительная статья, комментарии Л. В. Голованова. М. «Мысль». 1995. 768 стр. 15 000 экз.

Давид Юм. Малые произведения. Эссе. Перевод с английского М. А. Абрамова, М. О. Гершензона, Е. С. Лагутина, С. М. Роговина, С. П. Церетели. Примечания И. С. Нарского, Б. В. Мееровского, М. А. Абрамова. М. «Канон». 1996. 464 стр. 10 000 экз.

Издав в 1995 году основное произведение английского философа Давида Юма (1711 — 1776) «Трактат о человеческой природе», издательство «Канон» выпускает его малые произведения: «Естественная история религии», «Диалоги о естественной религии» и эссе.

Составитель С. Костырко



ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Так хочется жить. Повести и рассказы. М. «Книжная палата». 1996. 447 стр. 15 000 экз.

В книгу вошли повести «Так хочется жить» (1994 — 1995), «Пастух и пастушка» (1967 — 1971 — 1989), рассказы «Ясным ли днем» (1966 — 1967), «Жизнь прожить» (1985), «Тельняшка с Тихого океана» (без даты), «Передышка» (1971). Об этих повестях и рассказах критика писала много — поэтому мы даем только информацию о новом издании прозы Астафьева.

Книга вышла без пометок «В рамках федеральной программы» или «На средства фонда...». То есть вышла на деньги издательства. Издатели не считали, что рискуют. Астафьев — один из самых не только именитых, но и читаемых авторов.

Проза его способна вызывать удивление, благодарность, испуг, раздражение, возмущение, восхищение, желание оспорить, готовность согласиться. Единственное, чего нет во взаимоотношениях читателя с писателем, — это равнодушие. Астафьев всегда живой и всегда современный автор.

Он не боится помещать свои новые вещи рядом с теми, что уже стали нашей классикой. Астафьев сосредоточен на работе для него неизмеримо более важной, чем забота о сохранении своего сложившегося писательского образа.

В эту книгу он включил произведения о войне, написанные в разные годы. Для Астафьева война не кончилась. И не может кончиться. Ибо то, что война открыла для писателя в природе человека, в природе современного общества, стало точкой отсчета в его размышлениях о сегодняшней нашей действительности.

Вместо предисловия к книге издатели поместили запись беседы Астафьева с корреспондентом «Литературной газеты» Ириной Ришиной. Вот несколько отрывков из нее — писатель о своем времени и о себе, писателе в этом времени:

«Мы общество надсаженное... Мы не можем позволить себе новой свалки, к которой сегодня кличут наши фашисты... В России так много прививалось всего противоестественного, в том числе и революция, которую пробовали прививать во многих странах, но удалась только у нас. Сейчас время обнажило, какие разрушительные ее последствия мы претерпели. Есть такое русское слова «порча»... Красные вообще никогда не были созидательной силой — только разрушительной. А что дальше разрушать?!»

«Меня потрясает вот что. Я Москву-то не очень вижу, а в Красноярске бабы одеты в меха, в дорогие меха, в соболя. Мужики — в кожу. Детки, как попугайчики, нарядные. В заплатах никто не ходит. Приехал я на день поминовения на деревенское кладбище, где дочь похоронена. Оно у нас большое, на три поселка — сплавщиков, деревообработчиков — и нашу деревню. Так чуть не две тысячи машин около кладбища стоит, я прямо ахнул, и половина — иномарки. И на столах... не самогонка, я ее узнаю, покрашенную чаем. Длинные бутылки с дорогими напитками, «сникерсы» всякие, детки шоколадки кусают. И все ругают власть».

«Потенциал у русского народа был крепок, надо было доброе поддержать. Революция же возбуждала только темное, страшное. Что ж сейчас удивляться, как мы испорчены... И каких ждать реформ, каких перемен, если вокруг те же обкомовцы, крайкомовцы, чины из ВПК, генералы — они и в Думе, и в области, и в городских креслах?!»

«Куда я денусь от этого? В «Правде» про меня написали: от народа оторвался. Да я и рад бы от него оторваться, хоть немножко с голландцами пожить. А неделю поживу, так тянет к этому всему...»

Утром встаю — из-за гор солнце выкатывается, испорченный, но родной Енисей шумит, петухи орут — появились; односельчане ковыляют угрюмые с похмелья — тоже часть пейзажа. Печку топлю, мусор выношу, дрова затаскиваю и отрабатываю за утро «кусочек», который мне предстоит написать. Сажусь за стол, а он уже готов в башке — только води ручкой по бумаге...»

С. К.



ПЕРИОДИКА



«Арион», «Волга», «Диалог. Карнавал. Хронотоп», «Дружба народов», «Знамя», «Континент», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Новая Европа», «Общая газета», «Октябрь», «Русская мысль», «Химия и жизнь», «Юность»

Сергей Аверинцев. Слово Божие и Слово Человеческое. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 7 (1995).

Выступление на Международном коллоквиуме «Творение мира и призвание человека» (Новгород — Санкт-Петербург, 1995, 27 августа — 2 сентября).

Михаил Айзенберг. Вокруг концептуализма. — «Арион». Журнал поэзии. 1995, № 4.

Вокруг Д. Пригова и Л. Рубинштейна.

Академик И. П. Павлов: «Разве это не видно всякому зрячему?». — «Химия и жизнь», 1995, № 8.

Два документа. Письмо, которое И. П. Павлов в декабре 1934 года отправил в Совнарком, и ответ Председателя Совнаркома В. Молотова (январь 1935 года). Из письма академика: «Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <...> Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. <...> Пощадите же родину и нас». Из ответа В. Молотова: «Должен при этом выразить Вам свое откровенное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказанных в Вашем письме политических положений. <...> Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен». Публикация подготовлена председателем Комиссии по документальному наследию Павлова, членом-корреспондентом РАМН В. О. Самойловым и ученым секретарем комиссии Ю. А. Виноградовым.

В этом же номере печатается статья В. Е. Синельникова об ученике Павлова — профессоре Б. П. Бабкине (1877 — 1950).

Валерия Алфеева. Пасха таинственная. Рассказ. — «Континент», № 86 (1996). Рассказ о священнике.

Борис Антоненко-Давидович. Сибирские новеллы. Перевод с украинского Ярины Голуб. — «Дружба народов», 1996, № 1.

«Три чечена», «Конный милиционер» — лагерные рассказы украинского писателя Б. Антоненко-Давидовича (1899 — 1986).

Анатолий Афанасьев. Московский душегуб. Роман. — «Москва», 1996, № 1, 2.

Заключительная книга трилогии А. Афанасьева. Начало — «Первый визит сатаны» (1993), продолжение — «Грешная женщина» (1994). Цитата. «Посапывая, он взгромоздился на нее, и все его горести и беды остались позади. Вдруг он испытал колющую, свирепую боль, точно сверху его пронзили штыком. Возопив, он открыл глаза и увидел ее окровавленный рот и запрокинутое, скованное мукой, изумительное лицо... В миг торжества Вика прокусила ему шею. В ужасе он спросил:

— Зачем ты это сделала?

— Ничего, — сказала она, — потерпи. Так мне нужно»

Леонид Баткин. Вещь и пустота. Заметки читателя на полях стихов Бродского. — «Октябрь», 1996, № 1.

Из книги о смысловом мире и поэтике Иосифа Бродского, подготавливаемой автором для издательства Российского государственного гуманитарного университета.

М. М. Бахтин. Лекция о Маяковском. Наброски к статье о В. В. Маяковском. Публикация В. В. Кожина и Н. А. Панькова. Подготовили к печати Г. М. Теплова и Н. А. Паньков. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. Витебск, 1995, № 2.

Публикация сопровождается статьей Вадима Кожина.

Аркадий Белинков. Черновик чувств. Главы из романа. — «Независимая газета», 1996, № 28, 13 февраля.

В ноябре 1995 года Архивное управление ФСБ РФ вернуло вдове писателя единственный сохранившийся экземпляр первого романа А. В. Белинкова (1921 — 1970) «Черновик чувств». За этот роман, представленный в качестве дипломной работы, Белинков, студент Литературного института, получил в свое время первые восемь лет лагерей.

Александр Бородин. Цепной щенок. Роман. — «Знамя», 1996, № 1.

«В пять часов вечера, как и обычно, как он делал уже на протяжении трех недель, он спустился в метро в самую давку, в медленный будничныи кошмар. Он хотел убить человека. В общем, все равно какого...»

Иосиф Бродский. «Рембрандт. Офорт». Неизвестные стихи. — «Московские новости», 1996, № 5, 4 — 11 февраля.

В 1971 году, пользуясь давностью знакомства, редактор студии «Леннаучфильм» Виктор Кикнарский обратился к поэту с просьбой написать текст в стихах к фильму «Рембрандт. Офорты». Фильм был снят, стихи отвергнуты сценарным отделом студии. Тексты остались у В. Кикнарского. Публикуются впервые.

Лариса Ванеева. Прощеное воскресенье. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 7 (1995).

Рассказ об интеллигентке, приехавшей в монастырь.

Владимир Виноградов, Вадим Гусаченко, Григорий Файман. Переписка из одного угла. Неизвестные автографы Михаила Булгакова. — «Независимая газета», 1996, № 15, 23 января.

Неизвестные автографы писем М. Булгакова из лубяньских архивов.

Игорь Волгин. Homo substitutus: человек подмененный. Достоевский и языческий миф. — «Октябрь», 1996, № 3.

Статья написана на основе доклада, прочитанного в ноябре 1990 года на конференции в Музее-квартире Ф. М. Достоевского в Ленинграде.

Рената Гальцева. Новое начальство. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 7 (1995).

Заметки о нравах: «...формирующийся рынок российской прессы в ее частях быстрого реагирования — в газетной периодике — вскоре обнаружил такую укомплектованность и самодостаточность, что для обратной связи с обществом в этом главном сегменте нашего общественного мнения люфта практически не осталось» Один из персонажей — В. Курицын.

Георгий Гачев. «Острый галльский смысл». К 400-летию со дня рождения Декарта. — «Независимая газета», 1996, № 61, 2 апреля.

Обширная, на целую полосу, философская статья в ежедневной политической газете. Среди прочего, Гачев уместно вспоминает грустный парафраз знаменитого декартовского тезиса «Мысль — следовательно, существую», принадлежащий советскому философу Э. В. Ильенкову: «Мысль — следовательно, скоро перестану существовать».

Владимир Глоцер. «Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии». — «Русская мысль» (Париж), 1996, № 4110, 25 — 31 января.

К 90-летию со дня рождения Даниила Хармса.

Геннадий Головин. Наденька и Чемоданов. Из цикла «Приключения шестиствольного американца». — «Юность», 1996, № 1.

Повесть из XIX века. Остросюжетная. Шестиствольный американец — это револьвер для медвежьей охоты системы Смита и Вессона.

Фридрих Горенштейн. Куча. Повесть. — «Октябрь», 1996, № 1

История жизни потомственного математика Аркадия Лукьяновича Сорокопута, «человека бездетного, а значит, завершающего целую ветвь на древе российской интеллигенции». Повесть датирована ноябрем 1982 года.

Даниил Гранин. Рассказы. — «Нева», 1996, № 1.

«Затмение», «У окна», «Дилемма» и другие короткие рассказы.

Борис Диденко. Цивилизация каннибалов. Кардинальная типология людей. — «Дружба народов», 1996, № 1.

Людоедство как колыбель человеческого разума (автор ссылается на исследования русского ученого Б. Ф. Поршнева). Можно читать как Пелевина. Собственно, только так и можно читать.

Денис Драгунский. После войны и мира. — «Знамя», 1996, № 1.

«Рискуя быть обвиненным во всех смертных грехах, хочу отметить следующее. Агрессия меньшинств в узком смысле — то есть вооруженная борьба сепаратистов — разбивается в более широком контексте. Этот контекст — чрезмерный упор на права и интересы меньшинств, иногда в ущерб правам и интересам нации в целом. Не так давно в США возникла идея дополнить конституцию поправкой примерно следующего содержания: «Никто не может подвергаться дискриминации или получать льготы по причине расы, этнической принадлежности, страны происхождения, религии, пола и т. п.». Этот проект подвергся яростной критике со стороны либералов, для которых вина перед меньшинствами превратилась в хорошо оплачиваемую профессию».

Ион Друцэ. Суббота в Назарете. Повесть. — «Континент», № 85 (1995).

Продолжение повести «Жертвоприношение» (№ 82). Обе представляют собой часть более обширного сочинения, посвященного апостолу Павлу.

«Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова. Вступление, публикация, подготовка текста и примечания Андрея Чернышева. — «Октябрь», 1996, № 1.

Письма Набокова и Алданова 1940 — 1956 годов ранее не печатались ни в России, ни за ее пределами. Тут же — статья об этой переписке, принадлежащая перу американского слависта Николаса Ли (университет штата Колорадо).

Анатолий Ким. Рассказы. — «Дружба народов», 1996, № 1.

«Венера Сеульская», «Над рекою чисто» — новые рассказы известного прозаика.

Вячеслав Курицын. Заветный вензель — «К» на «Е». Юбилейное. — «Октябрь», 1996, № 3.

О прозаике Евгении Попове. К 50-летию со дня его рождения и к 20-летию первой заметной публикации (два рассказа в журнале «Новый мир» с напутствием В. М. Шукшина).

Израиль Мазус. Березина. Эпизод Отечественной войны 1812 года. — «Континент», № 86 (1996).

«Повесть Израйля Мазуса основана на интуиции и фактах. Факты — пророчество рабби Залмана Шнеерсона о гибели Наполеона, решимость русских евреев поддержать Александра, большие суммы, пожертвованные кагалами на ведение войны, сообщения евреев о передвижении французских войск, опережавшие российскую разведку...» (из послесловия Григория Померанца).

Владимир Махнач. Диагноз. — «Москва», 1996, № 1.

Статья о так называемых «антисистемах» (термин Льва Гумилева) в русской истории и культуре. Проблема: что делать со злостными «антисистемщиками»? Цитата: «Рецептов излечения от антисистемы нет. Все известные исторические антисистемы были уничтожены путем поголовного истребления их представителей. Вместе с тем трудно не замечать, что современное общество вряд ли готово к массовому кровопролитию, которое для этого требуется, даже если общество осознает наличие антисистемы...» Автор предлагает: всех — на черные работы.

Владимир Набоков. Забытый поэт. Рассказ. Перевел с английского А. Коловтов. — «Нева», 1996, № 1.

Рубрика — «Неизвестная классика» (противоречие в определении?). Без даты, без источника.

Виктор Некрасов. Из парижских тетрадей. Вступительная заметка и публикация Григория Анисимова. — «Дружба народов», 1996, № 1.

Париж Некрасова. Записи, сделанные писателем для его передач на «Радио Свобода». Тексты предоставил наследник писателя, профессор Виктор Кондырев.

Владимир Орлов. Шеврикука, или Любовь к привидению. Роман. — «Юность», 1996, № 1.

Начало третьей части бесконечного романа о людях, ведьмах и проч., проживающих в Останкине. Образчик стиля: «И раньше, в минуты общения с Дударевым и Концебаловым, Шеврикука ощущал энергию сегодняшнего интереса к нему Радлугина, потоки ее были куда почтительнее и уважаемо-преданнее прежних. Оказавшись рядом с Шеврикукой, Радлугин застыл в полупоклонном свидетельстве усердия и прилежания,

будто Шеврикука восседал перед ним за столом с клумбой разноцветно-переговорных устройств. А ведь в последние дни в своих устремлениях разбогатеть, стать покровителем шикарной женщины (Нины Денисовны Легостаевой, или Денизы), с привилегиями заслуженного участника Солнечного затмения пробиться к Пузырю, казалось, Радлугин был уже не способен к гражданским подвигам и с пренебрежением начал относиться к общественному долгу, жрецом которого, в его глазах, был несомненно Игорь Константинович».

Шеврикука — это домовый.

Олег Павлов. Запой. Фрагмент романа. — «Московский комсомолец», 1996, № 24, 7 февраля.

Фрагмент романа «Казенная сказка», не вошедший в журнальный вариант («Новый мир», 1994, № 7).

Олег Павлов. Конец века. Соборный рассказ. — «Октябрь», 1996, № 3.

«Людей этих называют бомжами...»

Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Вступительная статья, публикация и комментарии Евгения Пастернака. — «Знамя», 1996, № 1, 2.

Фрагменты переписки поэта с женой — Евгенией Владимировной Лурье (20-е годы). Полный текст готовится отдельным изданием.

Людмила Петрушевская. Маленькая волшебница. Кукольный роман. — «Октябрь», 1996, № 1.

Сказки про куклу Барби. См. изящную рецензию Бориса Кузьминского в газете «Сегодня» (1996, № 27, 21 февраля).

Людмила Петрушевская. За стеной. — «Общая газета», 1996, № 6, 15 — 21 февраля.

Новый рассказ. Сентиментальный.

Дмитрий Александрович Пригов. Место Бога. — «Волга», 1995, № 10.

Пьеса. Короткая: девять журнальных страниц. Действующие лица: Отшельник и Черт.

Генрих Сапгир. Париж, который я выдумал. — «Знамя», 1996, № 1.

Проза поэта.

Александр Сегень. Тамерлан. Роман. — «Москва», 1996, № 3, 4.

Историческая проза.

Сергей Смирнов. «Империя здоровья». Роман. — «Наш современник», 1996, № 2, 3.

По определению отдела прозы «Нашего современника», роман молодого московского писателя С. Смирнова «тешит душу описанием того, как рядовой гражданин России, вовсе не супермен, возмущенный беспрецедентным разграблением страны, ломает планы мощной международной банды разбойников».

Александр Солженицын. Выступление на «Рождественских чтениях» (Москва, 21 января 1996). — «Русская мысль» (Париж), 1996, № 4116, 7 — 13 марта.

По убеждению писателя, Русская Православная Церковь «тоже разделяет ответственность за сокрушительное историческое поражение русского народа, испытанное и испытываемое им в XX веке». Печатается по магнитофонной записи. Тут же публикуется (в сокращении) «Ответное слово Патриарха Алексия II».

Витторио Страда. Значение «открытия» Бахтина для мировой культуры. — «Континент», № 85 (1995).

Доклад, прочитанный на 7-й Международной бахтинской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Бахтина, которая проходила в Москве в июне 1995 года.

Виктория Токарева. Система собак. Рассказ. — «Октябрь», 1996, № 3.

«Прошло десять лет. Ты бросил жену и женился во второй раз. Не на мне. На другой».

Уцелевший обломок «потонувшей эпохи». Из дневниковых записей Михаила Кузмина. Предисловие, публикация и примечания Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1996, № 45, 7 марта.

В РГАЛИ хранятся 18 объемистых тетрадей — дневники поэта Михаила Кузмина за 1905 — 1931 годы. Запись от 27 октября 1917 года: «Действительно, всё в их (большевиков. — А. В.) руках, но все от них отступились, и они одиноки ужасно. Власти они не удержат...» И далее: «Опять не исполнится надежда простых, милых, молодых солдатских и рабочих лиц».

Евгений Федоров. Величие и падение Рима. — «Независимая газета», 1996, № 64, 5 апреля.

Отрывки из романа «Смена веж», который полностью будет напечатан в журнале «Континент». Лагерная проза, являющаяся частью обширной эпопеи, в которую входят опубликованные ранее тексты «Жареный петух», «Одиссея» и др.

Анастасия Цветаева. Три поэмы. Вступительная статья, публикация и комментарии Ст. А. Айдиняна. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп», Витебск, 1995, № 1.

Три поэмы А. Цветаевой конца 30-х годов посвящены друзьям ее довоенного круга, в котором главенствовал профессор-археолог, поэт, философ Б. М. Зубакин.

Юлиу Эдлис. Записки недотепы. — «Октябрь», 1996, № 3.

Мысли о писательстве.

«Этому человеку я верю больше всех на земле». Из переписки И. А. Бунина и М. А. Алданова. Вступление, публикация, подготовка текста и примечания Андрея Чернышева. — «Октябрь», 1996, № 3.

Письма даются в извлечениях. «Как я могу писать и думать по ночам глупости вместе с мыслями о смерти и о всех ее гадостях? А почему же нет? Близкая моя смерть неизбежна, и что же мне топтать ногами и вопить? С какой-то тупостью — или мудростью перед непреложностью этого — жду своей казни. А вот если бы я сидел в остроге и ждал, что вот-вот потащат меня на рассвете под топор, тут я даже и весь связанный так бы орал, извивался как одержимый дьяволом, что, верно, даже у палача встали бы дыбом волосы!» (из письма Бунина Алданову, ночь с 10 на 11 декабря 1950 года). См. также переписку Алданова и Набокова в январском номере журнала «Октябрь» за этот год.

Составитель **Андрей Василевский.**



РАЗБИТЫЙ КОМПАС. Журнал Дмитрия Галковского. Самиздат. 1996, № 1, январь — февраль.

Выражение «самиздат» ассоциируется скорее с замусоленными машинописными листочками, ксероксными копиями, самодельными тетрадочками и проч. Тем не менее «самиздатский» журнал «Разбитый компас» выпущен типографским способом, на хорошей бумаге, с хорошим качеством печати, с иллюстрациями, на обложке помещен офорт Гойи «Сон разума рождает чудовищ» (однако и стоит номер \$5,00). Главный редактор — Дмитрий Галковский, но он еще и заместитель главного редактора, и, судя по напечатанному штатному расписанию, еще и редактор отделов философии, истории, критики и публицистики, экономики и статистики, писем и художественной литературы, а также — художественный редактор, кадровик, главный бухгалтер, художник, наборщик, курьер и охранник. И конечно, издатель и директор-распорядитель. Все это чистая правда, и внушает невольное уважение.

Первый номер журнала открывается программной статьей; приведу из нее некоторые характерные цитаты, без которых невозможно понять смысл всего предприятия. «Первая моя серьезная публикация вышла в свет в конце 1990 года. Вскоре в советской прессе появились первые отклики... Если суммировать общий смысл 95% высказываний обо мне за последние пять лет, то их можно свести к одной краткой, но настоятельной просьбе: «Чтоб ты сдох». Я всегда стремился учитывать пожелания окружающих». И далее: «Собственно, я никогда и не помышлял о какой-либо конкуренции или соперничестве. Просто мне хотелось опубликовать свою книгу «Бесконечный тупик» — пускай без гонорара, пускай тиражом в 200 экземпляров». Тут я прерву цитату и напомню читателям, что обширные фрагменты «Бесконечного тупика» печатались в «Новом мире», а также в «Континенте» и других журналах, но полностью эта без сомнения интереснейшая книга так и не была опубликована. Итак: «Теперь я ухожу из советской литературы... Что ж, раз вы говорите, что я графоман, — правильно, я с этим совершенно согласен. Раз вы говорите, что я забиваю своей галиматьей страницы советских газет и журналов и отнимаю тем самым хлеб у талантливых писателей и ученых, — правильно, я согласен освободить место и никогда больше ни при каких условиях не печатать ни одной строчки в вашей прессе». Для этого: «Мы произведем небольшой раздел собственности. У ВАС вся пресса «Российской Федерации» с многомиллионными тиражами, тысячами журналов и газет, с сотнями тысяч сотрудников, со всеми атрибутами блестящей и счастливой жизни — светскими/советскими раутами и банкетами, бесчисленными презентациями, конкурсами и наградами, поездками во все страны мира, с огромным аппаратом рекламы, с финансированием в миллионы долларов и во-

обще со всем, всем, всем — в общем, с 1/6 суши. У МЕНЯ — этот журнал в 100 экземпляров, да несколько читателей».

Вот как главный редактор и издатель определяет содержание и структуру своего журнала: «Журнал «Разбитый компас» — журнал авторский. Это означает, что основную его часть составляют произведения Дмитрия Галковского. Кроме того, в журнале будут публиковаться материалы, связанные с моим именем (критические статьи, письма читателей, документы и т. д.). Третьим видом печатаемых в «Разбитом компасе» текстов являются всякого рода исторические документы и статистические материалы, в той или иной степени прошедшие с моей стороны редакцию и, как мне кажется, небезынттересные для моего читателя... Но прежде всего я рассматриваю это издание как единственную не оскорбляющую моего достоинства форму литературного существования на территории РФ».

В первом номере журнала помещены провокативные статьи Галковского, печатавшиеся ранее в «Независимой газете» («Письмо Михаилу Шемякину», «Андерграунд», «Разбитый компас указывает путь», «Стучкины дети» и др.), а также не менее скандальная история разрыва автора с этой газетой. Мне уже приходилось писать о том, что в «Бесконечном тупике» Галковский создал свое особое, заколдованное пространство, внутри которого он оказывался неуязвим и всегда прав (даже когда не прав). С газетными статьями произошло иное: написанные, как мне кажется, по законам «Бесконечного тупика», они стали читаться и оцениваться по общим законам газетной полосы, и в результате автор оказался кругом не прав (даже там, где прав). Теперь эти статьи, собранные вместе, обретают наконец свой родной галковский контекст, что, впрочем, вряд ли примирит с ними тех, кто физиологически не переносит само существование Галковского. А таких немало. В разделе «Выбранные места из переписки с товарищами» напечатана восхитительная подборка «Травля» — двадцать два ругательных высказывания о Галковском в нашей периодике (в том числе и принадлежащие новомирскому автору В. Сердюченко).

С точки зрения истории русской журналистики есть по крайней мере два (относительных) аналога «Разбитого компаса» — это знаменитый «Дневник писателя» Достоевского и менее известный сборник Бориса Эйхенбаума «Мой современник. Словесность. Наука. Критика. Смесь» (Л. Издательство писателей в Ленинграде. 1929), тоже представляющий собой как бы номер журнала, заполненный от начала до конца разножанровыми произведениями одного автора. Есть ли будущее у «Разбитого компаса», или он так и замрет на первом «пилотном» номере? Во всяком случае, Дмитрий Галковский рассчитывает не только на случайных покупателей, но и на постоянных подписчиков.

А. В.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

5 лет назад — в № 6 за 1991 год начинается публикация книги Александра Солженицына «Бодался телёнок с дубом».

10 лет назад — в № 6 за 1986 год началась публикация романа Чингиза Айтматова «Плаха».

40 лет назад — в № 6 за 1956 год публикуется подборка стихотворений Николая Заболоцкого, в том числе ныне хрестоматийное «Лесное озеро».

50 лет назад — в № 6 за 1946 год печатается стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

«ГРАНИ»

литературно-публицистический журнал

Основан в 1946 году в Германии,
40 лет нелегально распространялся в России.
Ныне выходит в Москве 4 раза в год.

Журнал, положивший в 1956 году начало «тамиздату»,
долгие годы печатал авторов, чьи произведения не позволяла
публиковать цензура. Вернувшись в Россию, он стремится
помогать преодолению остатков тоталитаризма в душах людей
и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.

*Индекс «Роспечати» — 73078 (раздел «Журналы»). Для льготной подписки
(I полугодие 1996 г. — 15 000 руб.) — перевести деньги почтой по адресу:
Россия, 103031, Москва, К-31, Русакову Константину Владимировичу.
Подписаться можно также и в Российском филиале издательства «ПОСЕВ»,
связавшись по телефону: (095) 927-27-37*

«ПОСЕВ»

общественно-политический журнал

Основан в 1945 году в Германии. С 1951 по 1991 год
нелегально распространялся в России. Ныне выходит
в Москве 6 раз в год.

Журнал стремится осмыслить настоящее и будущее России,
соединяя традиции «Вех» и их последователей в зарубежье,
традиции земского созидания в дореволюционной России,
традиции Белого движения и движения демократического.

*Индекс «Роспечати» — 73308 (раздел «Журналы»). Для льготной подписки
(I полугодие 1996 г. — 15 000 руб.) — перевести деньги почтой по адресу:
Россия, 103031, Москва, К-31, Русакову Константину Владимировичу.
Подписаться можно также и в Российском филиале издательства «ПОСЕВ»,
связавшись по телефону: (095) 927-27-37*

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Mikhail Pozdnyayev, Marina Kudimova, Aleksandr Revich and Vladimir Levinzon.

We are publishing the novel «Freedom of Choice» by Sergei Zalygin, the short story «On the Breaks» by A. Solzhenitsyn, as well as the end of the narrative «The Cage» by Anatoly Azolsky.

The section «Essays of Nowadays» presents the essay «At the Crossroads» by Boris Yekimov.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the article «The Passport System of the Soviet Serfage» by V. Popov.

The section «Art World» offers the notes by Aleksandr Sokolyansky about the «Berlin — Moscow» exhibition.

In the section «Book Review» Aleksandr Arkhangelsky reviews new books on Pushkin studies; Irina Rodnyanskaya reviews a new edition by Nikolay Zabolotsky; Olga Mayorova reviews the book «The Russians» by Stanislav Rassadin; Yuri Kublanovsky reviews the first volume of the collected publicistic works by Aleksandr Solzhenitsyn; Maya Zlobina reviews the book «Stalin and Literature» by A. Berzer.

In the section «Briefly About Books» Olga Kuznetsova reviews the books «The American ABC» by Aleksandr Genis, «Inventions» by Aleksandr Zholkovsky and «Letters to the Angels» by Andrei Levkin.

In the section «Russian Books Abroad» Sergei Kostyrko reviews the novel «Though Fresh in Its Renown» by I. Grekova.

In the section «Foreign Books About Russia» Irina Rodnyanskaya reviews a book by N. Shneidman on Russian literature of 1986 — 1994.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, М. В. Бутов,
А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин,
А. А. Ким, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко,
Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко,
П. А. Николаев, И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов,
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.02.96 г. Подписано к печати 22.04.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 30.770 экз. Зак. 1274. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1996 И В 1997 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 Обертон (повесть);
 ИНГМАР БЕРГМАН. Исповедальные беседы (роман, перевод со шведского);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Синдбад Мореход (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. Повесть;
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда (повесть);
 АНДРЕЙ ВОЛОС. Собака (рассказы);
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Дневники (перевод с польского);
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
 ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. Путешествие к Набокову;
 ОЛЕГ ЛАРИН. С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);
 ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ. Сорок лет Чанчжоэ (роман);
 МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);
 ЕЛЕНА ОРЛОВСКАЯ-БАЛЬЗАМО. Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн;
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы;
 ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Утка по-пекински (рассказы);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morgus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;
 ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Из литературного наследия;
 АНТОН УТКИН. Хоровод (роман);
 АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;
 В. ШЕНТАЛИНСКИЙ. Савинков на Лубянке;
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 У. ШОУН. Лихорадка (повесть, перевод с английского);
 АСАР ЭППЕЛЬ. Рассказы;

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**